

А. Клейн ДИТЯ СМЕРТИ



А. Клейн

ДИТЯ
СМЕРТИ

Александр Клейн

ДИТЯ СМЕРТИ

Невыдуманный роман

Министерство культуры Республики Коми

Сыктывкар 1993

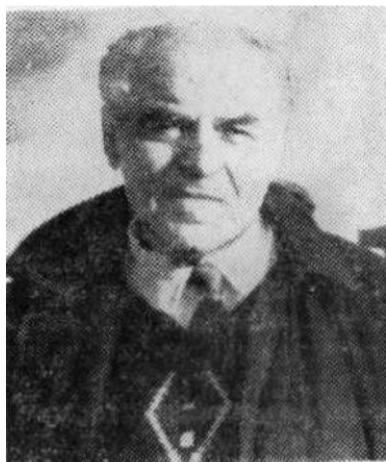


Все, казалось бы самое невероятное, мельчайшие подробности — все, что описано в этой книге, было в действительности; не изменены даже фамилии и имена, ничто не приукрашено, не искажено и потому не имеет права оставаться в неизвестности.

Автор

ISBN 5-900280-31-4

© Клейн А. С., 1993.



Часть I. НАЧАЛО КОНЦА

1. ВМЕСТО ПРОЛОГА. КТО? ЧЕЙ ПРИГОВОР!

«...Спасая свою шкуру, скрыл свое происхождение под вымышленным именем,.. артиста... Не верил в победу... Выявлял... Завербовал... Втерся в доверие... Стал другом и советником фон... ..к расстрелу. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и должен быть приведен в исполнение...»

Перед заключительными словами я, на всякий случай, сжал вытянутые по привычке по швам руки в кулаки. Слышал, что с людьми, выслушивавшими смертный приговор, случались обмороки, всякие другие неприятности. Некоторые сразу лысели, седели и так далее. Я, впрочем, за истекшие два с половиной года мог привыкнуть ко всему...

Уверен: ни одного седого волоска на моей стриженной голове не появилось.

«...за враждебную пропаганду расстрелять». Внизу стояла подпись командира роты полевой жандармерии Главного командования шестнадцатой армии обер-лейтенанта...

...Нижнюю часть лица обер-ефрейтора почти до глаз закрывало черное кашне... Тыча кулаком в грудь каждого, он считал: «Айн, цвай, драй,.. ахт, нойн, цэйн!» — и выдергивал десятого из строя.

«Один, два, три,.. восемь, девять, десять!»...

Унтер-офицер Мартин был пьян, когда с полутора или двух шагов, подойдя сзади, выстрелил из пистолета мне в голову...

Но это было потом...

«Один, два, три,.. восемь, девять, десять!»

До поры — была не судьба...

2. СТОИТ ЛИ ЖИТЬ? МАРИЯ СЕМЕНОВА

При выходе из окружения, когда, контуженный и больной, еле брел после девятидневной голодовки, я встретил... Их было двое. Один — товарищ по институту, по взводу на передовой. Мы вместе пошли добровольцами в народное ополчение.

К вечеру десятого дня мне стало хуже. Ночью началась

кровавая рвота. Кровь шла из носа и ушей. Пришлось лечь в каком-то сарае на сене. Под утро я потерял сознание.

...Нет, это не снилось... Когда снова началась рвота, а голова раскалывалась от страшной боли... И нигде никого. Я один лежал в сарае. Оставленный...

Стиснув зубы, я чуть наклонился — голова заболела еще сильнее — и расшнуровал правый ботинок. Размотал гиртянку. Снял винтовку с предохранителя, вставил дуло в рот. Большим пальцем правой ноги нажал спусковой крючок. Что-то щелкнуло. Показалось, что толкнуло в верхнее небо. Но выстрела не последовало...

...Меня нашли мальчишки. Двое. Одного, помню, звали Колей. Лет тринадцати. Потом к сараю пришла пожилая женщина, его мать; принесла кринку молока и большую желтую лепешку...

Я попытался приподняться,.. приподнялся,.. начал есть — и опять рвота...

Стемнело, когда женщины (пришла еще одна на помощь) и мальчишки перетащили меня в избу. Женщина помоложе была фельдшерницей.

Утром я проснулся на какой-то подстилке на полу. В маленькое оконце струился свет. Пожилая гладила мою выстиранную гимнастерку. Фельдшерница разглядывала мой комсомольский билет, а Коля с нескрываемым восхищением вертел в руках длинный трофейный кинжал, снятый мною в недавнем бою с убитого немца.

— Лежите. Старайтесь не двигаться,— сказала фельдшерница.— Вы — еврей?

— Да.

— Я пока спрячу ваши документы. Вас же расстреляют сразу, как только найдут... У нас уже было: воши,.. захватили несколько человек, тут же в деревне. Среди них — два еврея, оба раненные. Тяжело... Молодые, черненькие... Застрелили. Приказали закопать за селом. Остальных повели в плен.

— А сейчас в деревне есть немцы?

— Ушли. Но могут прийти. Облавой. Они ж не предупреждают...

...Потом опять я лежал в сарае...

...Неделю укрывала меня в своем доме Мария Семенова.

...Мальчишки предупредили, что в деревню пришли немцы. Осматривают сараи. Ворошат сено. В том, в котором лежал я, была солома. Под потолок. Мальчишки помогли мне залезть под самый низ. Никогда не думал, что солома так туго поддается. С трудом затолкали меня.

Я положил руку на шею, лежа лицом вниз: чтобы вилы или штык, если достанут, не продырявили шею.

...Они пришли. Топтались наверху. Ругались. Ударяли вилами в солому. Обстучивали стенки снаружи. Слышалась речь, немецкая и русская. Верно, заставили кого-либо из крестьян сопровождать. Ушли.

А сколько еще?.. Истощенный, как загнанный зверь, метался я от села к селу, пробираясь к своим, к фронту... А он все дальше уходил от меня.

Но я все шел, таща на плечах винтовку номер сто два девять девять один выпуска тысяча девятьсот восемнадцатого года, а в сумке для противогаза — патроны. Матерчатые подсумки порвались еще до прихода на передовую. У всех... В вещевом мешке лежали засохшие цветы. Их принесла Валя на вокзал. А среди них — дешевенький томик Пушкина — «Лирика». Запасное белье, противогаз, еще какие-то мелочи — все выкинул: сил не было тащить во время голодного выхода из окружения. А вот это оставил.

...Сколько нас шло через эти русские деревни, убогие до невероятности?! Но почти из каждой избы выходили женщины, и, не дожидаясь просьб, выносили, что могли — картошку, молоко, хлеб...

А шли тысячи и тысячи,.. голодные и растерянные, — где же, наконец, фронт?! Где наши? Почему среди выходящих из окружения так мало командиров? И мы убеждались, что те, которые твердили об измене, правы: нас предали. Где наши самолеты, танки? Где сила, которая так блистала на парадах, славилась в песнях? Где «малая кровь», «война только на чужой территории», «могучий удар»?..

В 1939 году, за несколько дней до подписания договора с Германией о дружбе и ненападении, я купил в газетном киоске роман-газету — «Первый удар» Шпанова. Прочел — и сразу почувствовал: очень уж автор легко хочет добыть победу.

В книжечке рассказывалось как во время первомайского парада в Москву пришло известие о нападении фашистской Германии на нашу Родину. Прямо с парада улетели в бой наши самолеты. Массированным ударом бомбили они один из крупнейших промышленных центров Германии. Там поднялось восстание. Война кончилась в считанные часы. Потери минимальные.

Книжку после подписания договора из киосков убрали. Чуть началась война, «Первый удар» снова лег на прилавки киосков. Но уже через три-четыре дня «победоносную» книжку убрали. На сей раз навсегда.

...Старики толкуют, что в библии предсказано: Гитлер придет и освободит от колхозов», война будет длиться «сто сорок один день и Советская власть падет».

Говорю, что читал библию и в ней ничего нет, ни о Советской власти, ни о Гитлере, ни об этой войне.

Старики, их двое, подозрительно глянули на меня:

— Еврей?.. Не зря немец таких уничтожает.

Я возразил, что не обязательно быть евреем, чтобы понимать: конца войне еще не видно, а немцы пришли сюда не потому, что им жалко стало колхозников. Они сами хотят захватить эту землю. Земля им нужна. Своей мало.

Старики замахали руками.

Несколько дней назад в этом селе немцы без единого выстрела захватили человек сто пленных; построили и с одним или двумя конвоирами пленные двинулись в лагерь, распевая песни.

Не верилось. Но о чем-то похожем слышал не раз. Правда, без песен.

Самолеты с крестами на крыльях по-хозяйски деловито носились над крышами изб.

В дни наступления десятки таких самолетов волнами заходили на наши, уже превратившиеся в сплошное месиво окопы, пикировали, бомбили, обстреливали. А наши не показывались...

Мне, солдату, трудно понять и, возможно, я был неправ, когда рассуждал, что мы напрасно дали немцам навязать нам их тактику: они наступали по дорогам и мы всюду старались встретить их на дорогах в открытом поле. Даже мой недолгий опыт доказал, что в лесах мы сильнее. Враги лесов боялись, а мы, даже я, коренной горожанин, чувствовали себя там уверенно. Мне довелось участвовать в нескольких лесных боях — и мы оказывались победителями, даже захватывали пленных.

3. ПО ЛЕСАМ И БОЛОТАМ. Я — «АЛЕКСАНДР»

Это было в середине августа. Бомбили с зари до темна. Как тараканы при дезинфекции, мы ползали по заваленным ходам сообщения своих окопов, заранее вырытых для нас — и не в том направлении, откуда появился противник.

Вечером мой товарищ вдруг предложил: «Давай, я выстрелю тебе в руку, а ты — мне. Я больше не могу».

— Ты что, с ума сошел? — поразился я.

— Не могу... Ты же видишь: они сильнее.

— Это здесь,— попытался его успокоить я,— но скоро подойдут наши.

Я не был уверен, что наши подойдут так «скоро», но друга по студенчеству, с которым вместе пошли на передовую ополченцами, хотелось подбодрить.

— Не подойдут,— твердил он,— а нас просто убьют. Давай мигом туда,— и он кивнул в сторону немцев.

— Ты обалдел!— вскипел я.— Забудь, что ты сказал!

Он был старше меня. В бою показал себя хорошо. А тут так рлстерялся.

Приятель замолчал. Мы отправились спать в полуразрушенный дзот. Легли и моментально уснули.

Вероятно, часа через полтора-два меня кто-то начал трясти за плечо. Я открыл глаза.

— Живо — на построение,— приказал отделенный.

Рота построилась в тишине тут же в ходах сообщения.

Сделали переключку. Приятеля не было.

— Кто видел?..

Я молчал. Вопрос повторили. Снова — молчание. Мы двинулись в темноте к речке, потом к лесу. В молочном густом тумане проскользнули под самым носом противника и углубились в лес. Там через несколько часов был бой. И потом все дни бои. Наш полк вышел из окружения. А затем оказалось, что окружен целый корпус, тысяч семьдесят бойцов со всей техникой. Мы бились в окружении. Но, по-моему, могли бы держаться дольше, если б после боя за переправу начальство, успевшее раньше всех перебраться на другой берег, не занятый врагом, не бросило свои части на произвол судьбы.

Нас вел лейтенант. После боя у переправы, когда немцы опять замкнули кольцо, нас собралось вокруг этого молодого обстрелянного командира человек двести из разных частей. Плутали девять суток. Прорвались с боями через две шоссеиные дороги и железную. Все надеялись: близко свои. Но фронт отодвигался дальше и дальше.

После форсирования железнодорожной насыпи узнали у стрелочника, что здесь еще позавчера прошли немцы — несколько танков и около двух батальонов пехоты. До реки, на другом берегу которой должны были стоять наши, оставалось по словам стрелочника километров двадцать пять.

И тут лейтенант и еще двое его товарищей заявили, что мы пробиться не сможем, надо выходить по одному, по два,— кто как может и как хочет.

Я возразил, что мы уже не раз обходили и пробивались через немецкие заслоны — и теперь сумеем. Мы обошли за все

эти дни без потерь: несколько легко раненных и контуженных, как я, еще в бою при переправе. Но все мы готовы к бою и всем вместе пробиться легче.

Меня поддержали. Но младший политрук, видимо, уговоривший лейтенанта уйти от нас, настоял на своем и они ушли. А когда я и еще два бойца захотели пойти за ними — карт и компаса у нас не было — политрук пригрозил мне наганом.

Более двухсот километров, если не больше, мы прошли вместе и вот, когда свои уже казались недалеко, так по-дурацки рассыпались, чтобы наугад брести еще черт знает сколько времени, блуждать по чащобам, прежде чем выйти к населенным пунктам, где можно будет достать что-либо поесть.

* * *

...Я не запомнил имя фельдшерицы. Она что-то прикладывала к моей голове, промывала уши, делала уколы...

Потом я начал поправляться, даже вышел на улицу. На стенах изб висели объявления: «За укрывательство красноармейцев — расстрел». «За укрывательство политработников и евреев — казнь через повешение».

Объявлений такого рода красовалось много, и почти все они в конце сулили «царствие небесное».

И все-таки нас прятали, укрывали, подкармливали. Когда немецкие облавы заскакивали в деревню, выпрашивая есть ли коммунисты, евреи, комсомольцы, все оказывались «крепко беспартийными», а евреев «вообще не водилось».

Семенова была полнотелой, но не толстой, рослой женщиной лет тридцати восьми. Муж ее погиб на финской войне и с тех пор она хозяйствовала одна, воспитывая шестилетнюю дочурку и сына Колю. Из разговоров с ней я понял, что она в хороших отношениях с председателем и другими членами правления колхоза, ушедшими в лес при приближении немцев.

Семенова добавила, что один выпивоха было ляпнул немцам, что есть скрывающиеся в лесу. Болтуна одернули. Но немцы насторожились. Пообещали негодяю шнапса и денег... К счастью, немцы тут же двинулись дальше, а через день этот тип так напился какой-то дряни, что умер. По тону Семеновой я догадался, что выпивохе «помогли» поскорее отправиться на тот свет...

Когда Марию предупредили, что в деревню должны снова нагрянуть оккупанты, она решила на время обезопасить и себя, и меня.

Я был еще очень слаб, хотя кровавая рвота прекратилась.

Партизаны, как их называла Мария Семенова, должны были рано утром выйти из лесу на похороны бабки председателя сельпо. Мария успела переговорить с родственником одного из укрывавшихся в лесу, и тот согласился помочь мне пройти к ним.

С зарей Семенова привела меня на кладбище. У свежерытой могилы вскоре собралась вся деревня. После похорон ко мне подошли трое пожилых крестьян, коротко спросили, кто я, из какой части и предложили следовать за ними.

Шли мы долго, потому что уже через километр-другой я начал заметно сдавать, хотя кроме винтовки и вещмешка не нес ничего, а мои спутники в деревне нагрузились порядком.

В километрах пяти-шести от нее мы вышли к трем маленьким шалашам.

Между ними, в ямке, горел костер. Вкусно пахло жареным мясом. Возле огня рядом с крестьянами, их было еще трое, сидели четверо красноармейцев, команды службы ВНОС (воздушного наблюдения), располагавшаяся до прихода немцев в Кривино. Их не предупредили об отступлении, и они остались во вражеском тылу. Не получая ниоткуда распоряжений, сержант, начальник поста ВНОС, чуть появились враги, спрятался вместе с председателем колхоза и членами правления в лесу. Здесь красноармейцы провели несколько дней до моего прихода в деревню. Теперь сержант решил попытаться пройти к своим и на следующее утро увел товарищей за собой. Взять меня они не могли, так как после перехода я свалился опять. Всю ночь меня знобило. Только на третьи сутки я начал приходить в себя.

О каких-либо активных действиях против оккупантов партизаны не помышляли: не трогали бы их — и все тут, хотя в нескольких километрах отсюда находился в Сенной Керести плохо охраняемый немецкий полевой аэродром и, по словам партизан, многие самолеты стояли так близко у кромки леса, что их можно было подорвать ручными гранатами.

Прошло еще дня три и, когда бабы из села принесли известие об амнистии, мои товарищи, оставив мне немного еды, вернулись в деревню.

...Целый день шел я из Кривина семь километров до деревни Крапивно. Выждал у околицы, убедился, что немцев нет, зашел в крайнюю избу.

Хозяйка только ахнула: «Тощий какой!» — и сразу пригласила к столу. Муж был сдержаннее. Он спросил — кто я и откуда. Умудренный горьким опытом бесед со стариками и случаями, когда мое имя — Рафаил — казалось недостаточно христианским, я назвал себя Сашкой.

Ночевать мне предложили в сарае на сене. Утром я зашел в избу — и тут вбежал сын хозяев, мальчишка лет двенадцати: «Дядь Саш! Немцы!»

Откуда силы взялись! В шинели с винтовкой и вещмешком за плечами, я выскочил из избы и помчался через открытое место к мостику, за которым темнел лес. Я бежал с винтовкой наперевес через мостик, а сзади и сбоку ошалело кричали: «Рус, штой! Рус! Не бойса! Хальт!»

Видимо, немцев ошарашило мое появление. Они не ожидали, что я откажусь от плена. Они начали стрелять, когда я уже очутился за деревьями. Несколько пуль чирикнуло возле меня, сбивая ветки. Я отбежал довольно далеко. Обессиленный лег. Приложил ухо к земле. Но, кроме стука собственного сердца, ничего не уловил. Все же побрел в гущу леса. Петлял. Переждал. Прислушивался.

К вечеру выбрался к кромке леса. В ложбинке текла речушка. Начинало темнеть. Вдруг неподалеку я увидел человека. Он шел вдоль берега. Это был крестьянин. Я тихонько приблизился, позвал шепотом: «Товарищ, стой!»

Он вздрогнул, остановился.

— Вы откуда?— спросил я.

Он назвал деревеньку, из которой я утром убежал.

— Немцы еще у вас?

— Ушли.

— Давно?

— Да часа уже три тому.

— А точно ушли?

— Точно.

— Ну смотри,— сказал я,— иди вперед и, если неправду говоришь,— пеняй на себя.

Я последовал за ним, держа винтовку наготове, и вскоре мы оказались у того мостика, который я утром «форсировал» под носом у фрицев.

На той стороне, возле избы, стоял сын хозяина. Парнишка обрадовался, увидя меня, и пригласил в избу. Я не отказался. Ночь под крышей — великое дело.

Я помню фамилию хозяина — Николаев. По-моему, его звали Павлом. После ужина он спросил:

— Что думаешь делать дальше?

— Добираться до своих.

Павел посоветовал переодеться: кто знает, через сколько деревень еще придется идти. Переодетому скорее дадут поесть. А человеку в красноармейской форме подать опасно, а приютить — и того страшней.

— Видел, небось, объявления?— заключил Николаев, попы- хивая сигаркой.

Я считал, что если сниму форму, то буду кем-то вроде дезер- тира. Правда, шинель на мне была серая, не наша черная опол- ченская. При выходе из окружения я поменялся с одним па- реньком из кадровой дивизии. Он сам предложил: его шинель была на него велика, а моя на меня чуть коротка, ему как раз впору. Мы поменялись и оба остались довольны.

Я молчал и думал.

— А где я возьму штатскую одежду?

— Кой в чем я помогу. Может, и мой старшой, как ты, сей- час где-нибудь шастает?.. Ватник, брючишки, кепку дам. Толь- ко не пойму, как ты — и форму не снимешь, и гражданское но- сить будешь? Впрочем, смотри...»

Он принес поношенные штаны из чертовой кожи или чего-то сходного; ватник и засаленную кепку.

Я сразу прикинул, что они примерно на мой рост.

— Еще бы документы какие, на всякий случай, если прове- рять вздумают,— попросил я.

Николаев хмыкнул, встал из-за стола, полез в ящик комода, вынул бланк совхоза «Восход».

— Как звать-то?

— Александр Степанов,— не моргнув, ответил я.

Так в моих руках оказалась справка:

«Дана настоящая Александру Степанову в том, что он на- ходился на летних работах в совхозе «Восход» и возвращается домой после окончания работ». Круглая печать удостоверяла правдивость написанного.

Мы простились и я продолжил путь.

Днем в ватнике под шинелью было жарко. Но зато ночью в лесу под деревом, не мерз.

Вскоре я подошел к небольшой деревеньке. Сперва долго шаждал у окраины, высматривал, нет ли в ней немцев; потом обошел ее, спрятал неподалеку от опушки шинель и винтовку и смело зашагал по дороге.

Из крайней избы появилась хозяйка. Я спросил, как пройти к следующей деревне. Женщина объяснила и, явно догадываясь, с кем имеет дело, предупредила: «Только там немцы».

Старик, отец хозяйки, хитро прищурился и буркнул, что «насквозь» меня видит, что я «окруженец». У них в деревне немцы тоже человек пятьдесят «таких» захватили.

Рассказывая о немцах, хозяева охали: «Какая у них «техни- ки»! На обращение не жаловались. Говорили, что пленных про-

сто построили и погнали. Только одного, еврея или комиссара, расстреляли.

— Гладкие все такие, — качал головой старик, — форма чистая. Техника — первый сорт. Посреди села, чуть приехали, поставили грузовик, а на нем радио. Как занграло! И наши, русские песни, тоже. Веселые немцы такие. Все повторяли: «Шталин капут. Москва капут...» В общем, Советская власть кончилась. — Заключил дед. — Подавайся домой, солдатик. Ты откудова?

— Из Ленинграда.

— Так он же взят.

— Неправда, дедушка.

4. КИЕВ. УГОЛ БОЛЬШОЙ ЖИТОМИРСКОЙ И СТРЕЛЕЦКОЙ

Не верилось, что взяли Киев, Москву, Ленинград...

Если взяли Киев... Мой старик, семидесятилетний ученый, дядя Борис... Он усыновил меня после смерти родителей... Старый холостяк. Простой, как дитя. Ученый с мировым именем. Он безукоризненно владел всеми европейскими языками. Знал их около восемнадцати. Блестящий знаток литературы, истории, философии, ценитель искусства, доктор ботаники, доктор медицины хонорис кауза, профессор. И его, издеваясь, могут потащить на расстрел какие-то сопляки в серо-зеленых шинелях?! Над ним будут насмехаться подонки, чья единственная заслуга, что они родились не евреями!.. Или его, как большого ученого, помилуют и он будет ходить с шестиугольной звездой на спине?..

Киев... В доме на углу Большой Житомирской и Стрелецкой сейчас немцы!.. Дом с плоской крышей. На ней мы играли в футбол и побеждали все другие дворовые команды. Они не умели так ловко обходиться нижними пассажами, а их вратари боялись падать на бетон... Дом строил Павел Федотович Алешин, друживший некогда с монархистом Шульгиным, принимавшим отречение Николая второго. Дом заселили осенью тридцатого пайщики — врач, профессора, сам архитектор Алешин и второй инженер-строитель Юдовский. При строительстве во дворе, имевшем форму подковы, снесли маленький одноэтажный домик. В нем, рассказывал дядя Борис, некогда жил известный поэт Надсон.

После эпидемии сыпного тифа Юдовский, потеряв жену, женился вторично на некоей Забеле, родственнице знаменитой

певицы Мамонтовской оперы, жены художника Врубеля.

А, может быть, дом разрушен бомбежкой?.. Я знал всех его мальцов. Дружил с Зориными, с Жориком, внуком кардиолога профессора Саввы Филипповича Тартаковского. Его красавица дочь Лидия Саввишна была невестой сына Шульгина. В восемнадцатом или девятнадцатом году молодой Шульгин посватался к Лидии Саввишне. Назначили день свадьбы. Собрались гости. Вдруг пришли товарищи жениха — белые офицеры — и прямо со свадьбы увели его. В бою под Бердичевом он погиб. Так и осталась свадьба недоигранной. А лет через пятнадцать после окончания гражданской войны Лидия Саввишна познакомилась с академиком Иваном Ивановичем Шмальгаузенем. У него хорошо запомнил — лысый, худощавый, белесый, лет на двадцать старше Лидии Саввишны. Он был известным генетиком. В гостях у Жорика я их часто видел. А потом... году в тридцать седьмом, Лидии Саввишне припомнили, что она невеста сына Шульгина... Напрасно Савва Филиппович хлопотал, ездил в Москву... Лидию Саввишну сослали куда-то в бухту Нагаева, в Магадан. Об этом узнали уже после смерти Саввы Филипповича. Сердце одного из лучших кардиологов Украины не выдержало...

Как все в доме, дядя Борис имел частную практику. У него была химико-бактериологическая лаборатория. Дед, Илья Борисович, учитель начальной местечковой школы, был страстным книголюбом. В пятикомнатной квартире не было ковров, модной мебели, никакого настоящего уюта. После смерти матери, она на год пережила отца, а затем и деда, в квартире оставались двое — дядя Борис и я. И книги. Все комнаты были заставлены шкафами с книгами. Помню, к дедушке приходили его знакомые книголюбы — бывший ректор Киевской духовной академии отец Глаголев, раввин Гроссман, красавец священник Софийского собора отец Виталий, светлоглазый, похожий на Христа. Он казался молодым в этом обществе: ему всего было около пятидесяти пяти лет.

В сумме всем четверым было лет триста пятьдесят. Они по долгу читывались в старинные тексты, вполголоса спорили, совсотовались. Особенно частым гостем и другом деда был отец Глаголев, милый старик небольшого роста, но более плотный, чем худощавый дед. Глаголев во время известного черносотенного процесса — «дела Бейлиса» — в ответ на провокационные утверждения ксендза Пронайтиса открыто заявил, что, изучив все еврейские книги, нигде не нашел даже намека на то, что евреи в ритуальных целях должны совершать убийства иноверцев.

Меня еврейскому языку не научили и учить не пытались. Но иностранные языки я знал.

Предвоенный Киев был городом многонациональным. Школы — польские, немецкие, еврейские, татарские, украинские, русские... Сын двоюродной сестры дяди Бориса, Люсик, после окончания медицинского института практиковал в Поволжье и вернулся оттуда с изумительной красоты голубоглазой блондинкой Евгенией Николаевной. Тетя Бэлла и Константин, родители Люсика, такие патриархальные евреи, радостно приняли в свою семью эту чудесную женщину. И родилась дочь Ирочка. После окончания финской войны Люсик еще оставался в Ленинграде. К нему приехала мать с Евгенией Николаевной и Ирочкой. Я их навещал.

А теперь значит — и тетю Бэллу, и Константина, и, может быть, Ирочку — тоже должны убить?! Или уже убили... Люсик, конечно, на фронте. Он подполковник медслужбы.

А где гарантия, что фашисты после евреев, цыган и негров не захотят уничтожить поляков, белорусов, всех русских?.. Они возьмут Ленинград и какой-то фельдфебель будет насиловать Валю, русскую девушку, провожавшую меня на фронт?! Такие думы заставляли меня, спотыкаясь, ускорять шаги.

Иногда я прислушивался. Издалека доносилась орудийная стрельба.

И вдруг я увидел большак. Лес тут изгибался этаким заливом, по краям подходил совсем близко к шоссе, а там, где притаился я, отстоял от него шагов на четыреста.

В «заливчике» несколько палаток на дощатых помостах. Тишина. Обед. От меня до палаток шагов двести. Между палатками я вижу большак, а по нему движется колонна машин. За ней другая. А над шоссе, охраняя его, низко-низко пролетают самолеты.

Обеденный перерыв кончился. Из палаток выскочили солдаты в серо-белых штанах. Выстроились. Человек тридцать. Офицер стал им что-то говорить.

Зажмуривая один глаз, наставив палец на цель, проверяю расстояние. Двести шагов. У моей старой винтовки прицельная рамка в шагах.

Очевидно, я в кого-то попал. Заметались. Поднялся крик. Но, выпустив обойму, я уже снова углублялся в лес, за холм, над которым свистели пули, сбивая ветки.

Странно: я владел немецким почти как русским, а грамматику знал, пожалуй, лучше. Но русские слова я мог разобрать на большом расстоянии, а немецкие нет. Конечно, когда они

и нескольких шагах от меня орало «Рус, хэнде хох! Хальт!» — и понимал и... бежал еще быстрее.

...В русских деревнях всегда давали что поесть, а в нерусских скупались, драли за кружку молока по пять-десять рублей...

Пожилые люди сразу догадывались, что я переодетый и грубо советовали явиться в ближайшую комендатуру и сдать.

— Там накормят,— уверяли они,— там хорошо обращаются.

Еще при выходе из окружения, когда лейтенант и политрук оставили нас, мы объединялись и плутали по лесам маленькими группами. Как-то ночью мы прилегли и попутчик заговорил о плене. Там, дескать, накормят, спать будем в тепле.

Вел этот разговор человек в зеленой фуражке. Не принимая участия в болтовне, я отодвинулся к кусту и попытался уснуть. Но что-то настораживало.

Из-за уголка воротника шинели я незаметно приглядывал за «фуражкой». Ему было не меньше тридцати пяти лет. Он был груб, цинично говорил о женщинах и не был истощен, как большинство окруженцев. Кивнув на меня, когда я притворился спящим, он предложил: «Вот сдадим его. А нам за жиды еще заплатят».

Сосед «фуражки» одобрительно поддакнул. Но третий спутник, молоденький солдатик, с которым я перед тем поменялся шинелями, запротестовал. «Фуражка» убеждал его. Но солдатик только мотал головой, не соглашаясь. «Фуражка» зло ругался сквозь зубы, уговаривая «задержать» и «сдать». А потом выцедил: «Вот сейчас, пока он спит... (Следующее слово я не разобрал)... и притащим в комендатуру. Спасибо скажут».

Во время наступившей паузы я тихонько потянулся и, будто из нуждой, завернул за куст, потом — за второй и, хотя ночь была темнущая, поспешил прочь от моих спутников.

Было такое... А еще выследили меня, когда я ушел из деревни, и в стого, где оставил винтовку и шинель, только примостился ночевать.

Их пришло пятеро. Здоровенные ребята. Хотели окружить. Но я их окликнул, сразу поняв, зачем явились: двух узнал: они, когда я ходил по деревне, советовали идти сдаваться.

— Ну-ка ты, как там тебя, вылезай! — крикнул крепкий мужик лет сорока. — Отведем тебя в Померань. А то шляешься тут. Давай, выходи.

— Убирайтесь! — прошипел я, наставив винтовку на них. — Кто сдвинется — уложу!..

— Ну-у, потише,— заметил другой кряжистый парень. — Убери! — и он шагнул ко мне.

— Прочь!— гаркнул я, нажимая на спусковой крючок. К счастью, грохнул выстрел. Двое поспешно отступили. Остальные затоптались на месте в нерешительности.

Направив ствол на них, я бросил: «А теперь — без предупреждения!» Они повернули.

— Быстрее!— они чуть прибавили шагу. Но первые остановились.

— А ну!— и выстрелил им вслед.

Когда пуля свистнула над их головами, они побежали.

Но ночлег был сорван. Пришлось опять углубляться в лес.

Два раза еще удавалось мне потом выбираться к большаку и обстреливать немцев на марше. Но пробиться через шоссе я не рисковал: непрерывным потоком по нему двигались войска, обозы, техника. А шагах в ста-двухстах по обеим сторонам дороги на лесных опушках и в зарослях кустарника дежурили патрули и часовые. И эти посты были частыми.

Пока гитлеровцы не бесчинствовали. Жители говорили, что солдаты угощают стосковавшихся по сладкому детишек «бон-бошками», леденцами, глядят по головамкам, показывают фотографии своих «киндеров» и «фрау». В общем, люди, как люди. Правда, слышали, что поблизости от железной дороги, захватив в плен человек полтора-два добровольцев-ополченцев, их тут же расстреляли из пулеметов. Ну, а евреев, комиссаров, само собой разумеется, расстреливают...

В селах, где раньше болтались окруженцы, теперь не мелькали красноармейские шинели. В одном селе бойкая грудастая бабенка лет двадцати пяти-двадцати восьми предложила мне остаться у нее «в примаках», обещала, что никакой «Ганс» не подкопается»: скажет «муж»— и все тут»: многие так пристроились...

Я поблагодарил, но отказался: наши дезертиром посчитают. Женщина стала уверять, что «война кончена», что «не придут красные». Но я не принял приглашение. А ночью, когда мерз в лесу под деревом, пожалел: хоть одну бы ночь отогрелся, обсушил. Но в то село больше не заворачивал, пробирался к своим...

С детства я был мечтателем и даже сейчас, блуждая по занятой врагом местности, строил воздушные замки: вот наши прорываются и я встречаю их «в полной амуниции» с винтовкой. А ведь многие побросали оружие, еще выходя из окружения... Конечно, карабин бы лучше: легкий, не так цепляется за каждую ветку. А тут, хоть несешь с убранным штыком дулом к земле, а все время цепляешь за кусты. А, если б, как у снай-

нера!.. С оптическим прицелом. Вот бы «нащелкал» у большака!..

Партизан не встречалось. Жители неопределенно говорили, что, мол, первое время были, пока немцы не объявили, что кто выйдет из леса, тех простят.

— И простили. Не тронули.

— А кто ж там прятался в лесу?— интересовался я.

— Председатель колхоза, из сельпо, даже коммунист один.

— И не тронули?— удивлялся я.

— Нет. Только будто подписку взяли, что ничего супротив не предпримут.

Я только головой качал: не верил.

Старая Семенова перед уходом из Кривина повесила мне на шею маленький крестик: носи на здоровье... И я носил.

За Крапивным я завернул в лоскуток плащпалатки и положил в трофейную жестянку для чистки винтовки комсомольский билет и билет профсоюза Рабис. Фото отлепил, спрятал в карман вместе с жетоном, в который вписал, благо он был незаполненный, «Александр Степанович Степанов», а адрес указал правильный, приписав игранные на институтской сцене роли. Убьют — найдут когда-нибудь и передадут.

Жестянку с документами зарыл под приметной березой на приметном месте, на высоком берегу речушки, на сгибе.

Блуждая по лесу, не раз натыкался я на раздувшиеся трупы, Смерд разносился далеко. Еще издали было видно, что трупы эти без шинелей. Конечно, сняты сапоги, если таковые были. Единственное, что валялось вокруг,— патроны. Но их у меня хищало.

Вот так я тоже буду валяться и никто не захочет подойти, никто не похоронит, каждый, как я, побрезгует даже порыться в нагрудном кармане истлевшей гимнастерки, чтобы найти жетон с фамилией и адресом без вести пропавшего.

Кто были эти люди? Бывшие люди. Скорее всего, такие же, как я, рискнувшие в ответ на окрик «штой!» бежать в чащу и там застигнутые шальными пулями.

Догадка подтверждалась тем, что трупы, как правило, лежали не очень далеко от дороги, шагах в ста-двухстах.

В одной деревне мне подсказали, что у лесника — он живет с другого конца в крайней избе — есть карта района.

Вечером я зашел к нему. Леснику было лет тридцать. Светловолосый худощавый с впалой грудью. Почему-то подумалось: туберкулезник.

Сперва он всячески отказывался, потом признался, что кар-

та есть, но немцы запретили кому бы то ни было показывать. Я поклялся, что никому не скажу, что видел ее.

Лесник разложил карту.

Боже мой! Сколько же напетлял я за месяц и как мало продвинулся! На восток лежало Чудово, чуть западнее Тосно, а поблизости Померань и Любань. Вот, где я «курсировал».

5. ВОРОНИЙ ОСТРОВ. Я ГОВОРЮ ПО-НЕМЕЦКИ

Следующий день выдался солнечным. В чаще оказалось множество отличных грибов, почти не тронутых заморозками. Переходя проселочную дорогу, я обратил внимание на свежий след гусениц. Не наш след. Здесь недавно проехал танк. Я углубился в лес. Снял нижнюю рубашку и наполнил ее грибами. Так я делал и раньше, а заходя в село, предлагал какой-нибудь хозяйке и та выносила в обмен вареный картофель или другую домашнюю снедь. Жители в лес ходить боялись: немцы запрещали. Разводить в нем костер для приготовления пищи я опасался. Убедившись, что большак не форсировать, я решил повернуть к Кривину, где настроения колхозников были наиболее дружелюбными и жила Мария Семенова.

Но, выйдя из леса у поворота проселочной дороги, я вновь наткнулся на след гусениц, виденный утром. За поворотом открылось небольшое поле, а за ним на пригорке деревушка Вороний Остров. В нее я уже заглядывал: заблудился, значит.

С холма я некоторое время наблюдал за единственной деревенской улицей. На ней играли детишки. Я знал, что немцы здесь были позавчера или вчера. Вряд ли станут они наведываться каждый день.

Оставив винтовку и шинельную скатку в укромном месте за опушкой, я смело вышел на дорогу и зашагал к деревне.

Как раз загнали стадо. Я зашел в палисадник одного домика и постучался. В дверях показалась старушка. Я спросил не нужны ли ей грибы?

Старушка впустила меня. В чистенькой, бедно обставленной комнатке сидела девочка лет семи. Я выложил свои трофеи.

— Но что же вам дать за них? Коровы у нас нет. Отца мобилизовали. Мать на работах в Померани.

Я попросил горячего супа или борща. Старушка налила мне глубокую тарелку пустых щей, к счастью густых, и горячих и я с наслаждением принялся за еду.

Сел я у окна боком, чтобы видеть улицу.

Соседи напротив заметили как я зашел к старушке. Из их

домика вышли дети с отцом, рослым молодым мужчиной. Он глянул в сторону дома, где находился я, и повернул куда-то по своим делам.

Старушка, пока я ел, рассказала, что приехала сюда с внучкой к родственникам. Дочку, мать девочки, немцы чуть пришли, стали гонять на работу в Померань. Сестру старушки, проживающую здесь с недавно умершим мужем, также гоняют на работу к шоссе. Жители относятся к ним недружелюбно.

— За поллитра молока для внучки приходится платить втридорога. Да и кому сейчас наши деньги нужны?— вздыхала женщина.

Я уверял ее, что наши все равно вернутся и они с внучкой не пропадут. Старушка вздыхала и приговаривала: «Дай-то Бог, дай-то Бог».

По-моему, она поверила, что я иду с полевых работ и вовсе не военный.

Вдруг мимо окон проехал большой грузовик с солдатами и, судя по звуку, остановился поблизости. Раздались лающие слова команды.

Я отпрянул от окна. Старушка тоже взволновалась. Застыла, боязливо поглядывая в окно. Я быстро выбежал в сени, надеясь уйти из дома огородами. Но, выглянув из маленького окошка в сенях, увидел, что немцы цепочкой обходят дома с тыльной стороны. Я хотел было выйти в пустой хлев, но вдруг услышал громкий детский хор со стороны улицы: «Дяденька русский, приходи». Этот «припев» детишки повторяли дружно и упрямо.

— Эх, подумал я,— не зря их «бонбошками» угощали.

Из дома напротив показалась хозяйка, мать детей, вероятно.

Она не сводила глаз с окна, у которого, прикрывшись занавеской, сидел я.

Оставалось надеяться, что «минует чаша сия».

— Скажите им что-нибудь,— попросил я, наконец, старушку.

Она выглянула в окно: «Нишкни! Чего расшумелись? Какой вам русский? Тут дядя просто зашел».

Но дети не унимались. Вдруг с той стороны, где остановился грузовик, несколько немцев бегом бросились в калитку.

Я поспешно надел кепку. С места не сдвинулся.

Короткий топот ног. Дверь распахнулась. На меня направили стволы автоматов. Вслед за солдатами выглянул и вошел молодой сосед из дома напротив, возможно, староста, а за ним — пожилой офицер лет сорока и еще несколько солдат. Комната сразу наполнилась военными.

— Русский?!— бросился ко мне один, рыжий.

— Русский,— степенно ответил я, не поднимаясь с табуре-

та. На вид я должен был выглядеть старше своих лет, так как еще с ухода на фронт не сбривал усов, чуть отвисавших по сторонам рта.

— Зольдат?— продолжал рыжий.

— Не-ет,— протянул я.— Нет.

Теперь ко мне приблизился офицер.

— Папирэ? Докумэнт? Паспорт?— продолжал рыжий.

Я, не спеша полез за пазуху под пристальным взглядом рыжего и вынул бумагу — бланк с гербовой печатью совхоза «Восход».

— Да какой же он солдат, не видно что ли?— испуганно вымолвила старушка.

— Швайг маль! (Помолчи!) — буркнул на нее рыжий.

Остальные солдаты сгрудились вокруг со скучающими лицами.

Офицер протянул руку к моей справке. Рыжий подал ему и перевел. Офицер глянул на печать, кивнул, опять вернул рыжему, говорившему по-русски с сильным акцентом. Я почему-то подумал, без всяких оснований, что он финн.

По выражению лица офицера я понял, что справка удовлетворила его, что вся эта церемония — облава — ему осточертела. Его немного утомленное лицо выражало полнейшее равнодушие.

Но рыжий не отставал: «Где биль? Где работаль?»

— В совхозе «Восход» на летних работах, да вот задержался, а сейчас домой иду.

— Вохин? Куда?

— В Тосно,— кивнул я.— Я же оттуда.

Старушка согласно закивала: уж очень ей хотелось, чтобы отстали от меня эти «гости», заполнившие все помещение.

— Унд вас хаст ду да гемахт? (А что ты там делал?)

Я вопросительно посмотрел на рыжего.

— Вас хаст ду дорт гебаут? (Что ты там строил?)

Я опять непонимающе посмотрел на него.

— Ште ти делаль ф софхозе, што строили?

— А-а,— протянул я.— Сарай мы строили, хлев,.. коровник.

Офицер сделал нетерпеливое движение: хватит, пора отстать. На мгновение у меня загорелась надежда, что все обойдется.

Рыжий, взяв у офицера бумагу, кажется, хотел уже вернуть ее мне, но вдруг задержался, пристально глядя мне в глаза.

— Не зольдат?

— Не-ет, конечно.

— А не фрешь?

Я хотел было перекреститься в подтверждение правды

своих слов, но тут рыжий внезапно сорвал с моей головы кепку: волосы отрасли не успели. Я был стриженный.

Следующим движением он рванул ворот телогрейки — выглянул уголок воротника гимнастерки.

С поразительным проворством рыжий стремительно нагнулся, ударив меня головой в подбородок, задрал мою штанину: под ней показались обмотки.

Растерянная старушка едва не плакала: «Что вы?! Оставьте!» — и крестилась.

Тут и офицер на нее прикрикнул: «Швайген!» (Молчать!).

— Комиссар?! — впился в меня белесыми глазами рыжий. Я отрицательно покачал головой.

— Партизан! — упрямо возгласил рыжий и «перенес огонь» на растерянную старушку: «Вир верден дыхь ауфхенген, альте хэксе, мит дайнем мэдхен цузамэн! Хаст ду бэфэйле дер командатур нихт железен!? (Мы повесим тебя, старая ведьма, вместе с твоей девочкой. Разве ты не читала приказы комендатуры?!).

Рыжий с руганью шагнул к бедной женщине.

Я понял, что моя песенка спета. Все равно, сейчас или часом позже, они снимут с меня штаны, как рассказывали мне, делали у пленных, чтобы убедиться, что среди них нет евреев, и меня расстреляют. А если это произойдет через день или два, это дела не меняет. Мне было щемяще жаль старушку. А ведь за то, что она накормила незнакомого человека, пусть простого солдата-красноармейца, она, что черным по белому значилось на всех объявлениях комендатур, а они висели чуть не на каждом доме, подлежала расстрелу или повешению.

Старушка,.. плачущая девочка, прижимавшаяся к ней,.. Стоявший в сторонке староста (лицо его хранило печать суровой беспристрастности, смешанной с тенью злорадства)... Лица солдат — все они походили друг на друга... — Все это мгновенно пронеслось перед моими глазами.

— Лясэн зи ди альте ин руэ,— четко и громко произнес я.— Зи ист гар нихт шульд: зи хат нихт гевуст дас их зольдат бин. (Оставьте старую в покое. Она вовсе не виновата. Она не знала, что я солдат).

Если бы в комнате разорвалась граната, она бы меньше ошеломила присутствующих.

Первым после наступившего оцепенения очнулся офицер:

— «Вас хабэн зи гезагт?» (Что вы сказали?).

Я снова по-немецки повторил сказанное.

Рыжий отшатнулся от старушки, с изумлением смотревшей на меня.

— Ди альте ист гар нихт шульд,— повторил я.

— Зи шпрехен тадльлез дойч,— поразился офицер. (Вы безукоризненно говорите по-немецки).— Во хабен зи гелернт? (Где вы учились?).

— Ин дэр шуле унд ин дэр хохшуле. (В школе и в институте).

Конечно, я не обязан был докладывать, что ни в школе, ни в институте у нас овладеть иностранным языком невозможно, исключая факультеты иностранных языков.

— Вэр зинд зи фон беруф? (Кто вы по профессии?).

— Шаушпилер. (Артист).

— Шаушпилер?!— тут все присутствующие уперлись в меня удивленными глазами.

— Фон во? (Откуда?) — мягко спросил офицер.

— Аус Ленинград. (Из Ленинграда).

— Аус Петербург?!— повторили офицер и еще кто-то.

Вновь начала просыпаться надежда, что как-то моя участь будет смягчена, а там...

— Ви альт? (Возраст?).

— Им ярэ нойнцэйн хундерт ахцэйн геборен. (Родился в 1918 году). Я умышленно прибавил себе четыре года, так как мой возраст, мой год рождения,— тысяча девятьсот двадцать второй — не подлежал мобилизации. Первыми мобилизовали мужчин 1904—1918 года.

— Ван айнгецоген? (Когда мобилизованы?).

Тут я назвал правильно дату своего вступления в Красную Армию — 4 июля. Это не играло никакой роли.

Затем на соответствующие вопросы я ответил, что служил в пехоте, в 237 стрелковой дивизии (она частично оказалась вместе с нами в окружении), что был рядовым стрелком.

На удивленный вопрос офицера, почему меня, артиста, не использовали по специальности, я ответил, что, вероятно, тут сыграла роль моя молодость. А когда идет мобилизация, не всегда до специальности.

Офицер утвердительно закивал головой, вздохнул: «Криг ист криг». (Война есть война).

— Коммунист?— вмешался рыжий.

Я отрицательно мотнул головой.

— Варум? (Почему?).

Я пожал плечами: «Цу юнг филияйт» (может быть, слишком молод).

— Комсомоль,— не отставал рыжий.

Я вздохнул: «Их бин шаушпилер». (Я артист). Говоря театральным языком, подтекст напрашивался сам собой: разве артисту это обязательно?

Офицер удовлетворенно кивал головой. Понял. Он спросил, где я был в боях. Я ответил, что под Лугой, а названия сел, возле которых шли бои, не запомнил; уже месяца полтора после контузии пробираюсь домой, к Ленинграду.

Спрашивать было больше не о чем. Офицер, солдаты и даже староста (видимо, это был он) с некоторым почтением глядели на меня, так свободно говорившего по-немецки.

Но во время наступившей паузы проклятый рыжий снова придвинулся ко мне». «А не жид?»— в упор спросил он. Я почувствовал, что щеки мои сразу вспыхнули. Мне показалось, что при моем безукоризненном выговоре такая мысль даже не успела прийти в голову офицеру.

Тем более «шаушпилер»... Но я уже понял, что здесь первую скрипку играет рыжий и, если я попытаюсь отрицать свое происхождение, его докажут без труда. Я не стал обращаться к рыжему, а посмотрел на офицера:

— Вэн инэн эрлих цу загэн, майн фатер ист айн дойчер, майне мутер ист юдин. (Если вам сказать честно: мой отец немец, моя мать еврейка).

Теперь растерялись: как быть с таким метисом (и как только я сразу сумел сообразить подобное?!).

Офицер тяжело вздохнул: шадэ, шадэ. (Жаль, жаль).

Рыжий бегло ошупал меня. Впился жадными глазами в наручные часы с золотым циферблатом, память рано умершего отца, и на дедовский серебряный портсигар с монограммой. Денег у меня оказалось рублей восемьдесят. Видимо, потому, что обыск происходил в присутствии офицера, все вещи мне вернули.

Офицер больше ни о чем не спрашивал, только с сожалением смотрел на меня.

Я еще раз повторил, что старушка вовсе не знала, кто я, попросил у нее извинения и тут же бегло перевел немцам, что говорил. Офицер закивал головой: «Я, я, вир верден зи ин руэ лясен, зи ист ниht шульд». (Да-да, мы оставим ее в покое, она не виновата).

— Пошоль,— сказал рыжий.

К моему удивлению, на лавочке у соседнего дома сидели под охраной еще трое окруженцев в нашей форме. Не зря фрицы наведались в Вороний Остров,

Загрохотали два грузовика, на которых приехала облава. Теперь они уехали далеко вперед, а мы, уже пленные, топали под конвоем. Нас окружали человек десять. Перегоняя друг друга, и покрикивая, чтоб мы быстрее двигались, они вели нас по проселочной дороге. Я заметил, что в зарослях у кромки ле-

са тоже идут солдаты. Видимо, это объяснялось наступлением темноты.

Началась депрессия. Уже с простым любопытством я оглядывал конвоиров. До того я видел вблизи лишь трупы вражеских солдат да пленных, когда они, сорвав с себя погонь, грязные, испуганные, или мрачно диковатые, оглядывали наших бойцов в ожидании обещанной им Геббельсом расправы. Для нас они были просто объектом жгучего любопытства. Их угощали, чем могли. Раненых перевязывали раньше, чем своих, кормили лучше, чем нас. Ненависти они, во всяком случае у меня, не вызывали. Помню чувство, овладевшее мной при виде первого убитого немца, фельдфебеля с рыцарским крестом (помню его фамилию: Халле из Рура, по-моему, я разбирал его документы) — жалость: такой молодой... Ему шел двадцать второй год. Стройный блондин и, судя по зольдбуху, уже воевал во Франции.

На красных петлицах конвоиров серебрились маленькне металлические птички. Одеты все были в знакомые нам серо-зеленые кители в сапогах с маленьким подъемом и широченных наверху под коленом.

Вместе с конвоирами шагал рыжий. По чину он был не выше остальных, просто немного владел русским языком. Я чувствовал, что неспроста он вертится около меня и, помня, какой жадный взгляд он бросил на мои часы, догадывался, что ему нужна добыча.

— На, шаушпицер, канст айн вениг шнеллер шрайтен,— услышал я у своего уха его голос. (На, артист, можешь шагать немного быстрее).

В это время конвоиры оказались сзади и далеко впереди нас.

— Кароший часики,— продолжал рыжий.

— Возьмите их, пожалуйста, и отдайте вашему офицеру, а себе — на память обо мне — портсигар,— и я протянул ему вещи.

Рыжий глянул по сторонам, сунул добычу в карман и побежал вперед.

Минут через сорок мы достигли большака. Нам приказали лечь на землю и спать. Вокруг поставили часовых. Кто-то подложил плащ-палатку. Мы примостились на ней, прижались друг к другу. Молчали. Рядом попыхивали сигареты постовых, молодых ребят лет двадцати трех-двадцати пяти. Они не были острижены наголо, как мы. Из-под пилоток с маленькими трехцветными кокардами — черно-бело-красными кружочками — выбивались волосы, обычно светлые. Правда, среди солдат

встречались и брюнетки, по виду смахивающие на типичных евреев, благо носы некоторых отличались не только отменной длиной, но и горбинками.

— Арийская раса,— ехидно подумал я,— кто только не принимал участия в ее создании...

Вслушиваясь в разговоры немцев, я сперва понимал немного: между литературным языком и обиходным у них куда большая разница, чем у нас. Настораживали слова «ари», довольно часто повторяемые.

«Ну и фанатики,— думал я.— Все толкуют об арийцах». Я еще не знал, что «ари» сокращенно называют артиллерию, а «штукас» — пикирующие бомбардировщики.

Рыжий не показывался. Он ушел вслед за офицером куда-то к окраине поселка.

В полусотне шагов от нас шумел большак, «ди рольбан». Непрерывным потоком двигались машины, обозы, пехотные соединения на велосипедах. Над дорогой, широко расставив шасси, проплывал «Фюзлер-шторьх», самолет, похожий на аиста. Время от времени пролетали с грохотом огромные брюхатые «Юнкерсы».

В нескольких десятках метров от шоссе стояли скорострельные зенитные пушки.

Мы лежали у самой кромки леса.

Когда окончательно стемнело, шоссе перешло на ночной темп и уже не сплошным потоком покатились по нему машины и повозки.

— А что если?..

Все мы, пленные, были слабы и часто должны были справлять нужду. Я примерно знал, куда идти, чтобы вернуться к Вороньему Острову и направиться к другим деревням в глубокий тыл, где меньше немцев. Главное — уйти из-под конвоя. Мне казалось, что больше уже не попадусь никогда.

Я приподнялся, будто со сна, огляделся, подошел к часовым, они стояли по двое невдалеке от нас, и попросил разрешения справиться нужду.

— Мах хир (делай здесь),— ответил один, видно, старший.

Я объяснил, что нужда не маленькая... Часовые перекинулись двумя-тремя фразами и один из них кивнул в сторону кустов — «лёз» (давай). При этом он взял карабин наперевес, чуть не касаясь стволом моей спины. Я побрел к лесу. Зашел за куст. Конвоир и тут последовал за мной. Пришлось, пользуясь знанием языка, попросить его стать хотя бы с другой стороны куста. Конвоир отошел подальше.

С бьющимся сердцем я завернул за еще один куст, затем —

за третий, четвертый — и увидел за ним часового. Он спокойно направил на меня винтовку.

— Вартен зи айн вениг. (Погодите немного), — попросил я. — Их вэрде хир (я буду здесь), их виль хир (я хочу здесь)...

— Цурюк! (Назад!) — коротко кинул немец, указывая дулом на куст, из-за которого я появился.

Пришлось присесть за кустом между двумя часовыми и, посидев там «для приличия» с минуту, вернуться к товарищам. Оставшиеся с ними конвоиры уже ругались из-за долгого отсутствия. Я убедился, что убежать не так-то просто.

Солдат, сопровождавший меня, успокоил своих товарищей и заодно завязал со мной разговор, в который вступили и его приятели. Замечу: сперва враги показались мне довольно культурными людьми: все они владели «иностранным», немецким языком... Они относились к частям «флак» (зенитчики). Они охотно объяснили, что «штукас» — это пикирующие бомбардировщики, которые обрушивались на нас под Лугой, Косицкой, в боях у переправы. Мне не спалось и к утру я уже знал столько, сколько бы мне не дал ни один полевой военный справочник. При допросах пленных, когда мне случалось переводить, вопросы не касались зенитных частей и пикировщиков, а вертелись вокруг «штиммунг» (настроения), вооружения пехотных частей, снабжения горючим, боеприпасами и продовольствием. Нас упорно убеждали, что у противника не хватает ни горючего, ни снарядов, что солдаты вермахта голодные. Увы, даже из допросов пленных я знал, что это неправда. Когда под хутором Холминным мы разгромили немецкий батальон и захватили множество трофеев, то убедились, что вражеские солдаты обеспечены едой лучше нас. Захваченные «энзе» утоляли наш голод еще не один день.

Из разговоров с немцами я выяснил, что они ждут падения Москвы и Ленинграда. Киев взят уже около месяца тому назад. Мне не верилось, но немцы клялись, что это правда. Мысль о том, что быстрое продвижение врагов стало возможным благодаря предательству на самых высоких уровнях, не оставляла меня.

6. ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС. ВОСПОМИНАНИЕ О ЯКИРЕ

Летом известие о назначении Сталина верховным главнокомандующим мы восприняли как нечто должное: думалось, кончится беспорядок со снабжением, с отсутствием самолетов, со всякой бестолковщиной, которой всегда хватало в нашей жизни не

только на фронте. Я сомневался в полководческих способностях Сталина. Но ведь его окружали опытные военачальники. Думалось мне и о тех, кого не стало... Не верилось, что Якир, Егоров, Блюхер, Тухачевский, Путна, Корк, Эйдеман и другие военные — враги народа. Помню, как мы пионерами, приветствовали в Киеве прославленных героев гражданской войны. Мы стояли в первом ряду на Крещатике. После каких-то маневров или переговоров по нему медленно проезжали в открытых машинах наши кумиры. Встали, широко улыбаясь и приветствуя нас, Буденный, Ворошилов,— люди, в которых мы были влюблены, за каждого из которых без раздумья отдали бы жизнь. Запомнилась мягкая, чуть грустная улыбка Якира, командующего Киевским военным округом. Через год или два после того Якир заходил к нам. Профессор Губергриц, его личный врач, счел нужным посоветоваться о здоровье Ионы Эммануиловича с моим дядей, химиком-бактериологом. К нему обращались многие, в том числе академик Збарский, хранитель тела В. И. Ленина. Дядя заведовал кафедрой микробиологии во втором мединституте, заведовал сывороточным отделением бактериологического института, вел научную работу и дома имел частную химико-бактериологическую лабораторию. Естественно, когда требовался точнейший ответ на анализ, обращались не в государственные поликлиники, а к частным специалистам. Они более ответственно с подлинным знанием дела отвечали за результат исследования. Так была у нас и Эва Бандровска-Турска, знаменитая польская певица, гастролировавшая в Киеве, и другие интересные люди.

Помню: дядя Борис заметил, что может прийти к Якиру и на дому взять анализ. Но Якир сказал, что не вправе затруднять профессора и просит сообщить, когда моему старику будет удобно его принять.

По-моему, на следующий день после этого разговора возле дома остановилась широкая открытая машина. В ней остались шофер и адъютант, а из машины вышли Губергриц и Якир. Последний чуть прихрамывал. Зная о предстоящем визите, я дежурил в скверике перед домом. Когда Якир и Губергриц скрылись в подъезде, я помчался во двор, через черный ход вошел в квартиру и, услышав в приемной шаги (дядя на назначенное время отложил прием) с бьющимся сердцем отворил дверь в прихожую. Якир уже надевал плащ, о чем-то переговариваясь с дядей. Увидя меня командующий спросил: «Ваш сын?» Дядя, как обычно, ответил: «Племянник, сын покойного брата». Якир спросил как меня зовут, еще что-то насчет учебы. Узнав, что я учусь хорошо, а тогда это соответствовало действительности, мате-

матика в первых классах еще не вытравилла любви к школе, Якир вздохнул: «А мой ленится». Прощаясь очень душевно, он и мне пожал руку и я был на седьмом небе. Запомнились изумительной красоты глаза Якира, медовые или пчелиные. Не мог я поверить, что он враг народа, шпион, изменник... Но... вслух об этом говорить не следовало. Как и все мое поколение, я с детства знал, что можно говорить, о чем нельзя...

Егорова я не видел. Но профессор Левин, когда ему пришлось трудно (он еще тогда не был профессором), знаю из разговоров взрослых, ездил в Москву к Егорову. Тот до революции прятался от царских шпииков у Левиных. И Егоров помог. А теперь, оказывалось, он тоже враг народа... Но он не проходил по делу Тухачевского-Якира. А сын Путны учился со мной в одном классе (сын Котовского — на класс младше). Жил Путна рядом с цирком. Мы бывали у сына Путны. Носил он широкие штаны типа галифе, приспособленные для верховой езды. Импортные. Учился он плохо, но как товарищ был добр, не обижал слабых, держался спокойно с достоинством, несмотря на плохие отметки. Перед очередной переменой места жительства — Путну, как всех военных, перебрасывали с одного конца страны в другой, — сын пригласил нас и всем раздал на память свои книги. Об отце-Путне я ничего не мог сказать. Видел его один-два раза — и то мельком. А Путна тоже оказался в том страшном списке...

Не верил я ни в измену военных, ни во всякие «вредительские процессы». Но наступила война, самая справедливая, и в ней Советская власть и Сталин противостояли еще невиданному мракобесию.

Я читал в дедовской библиотеке «Азбуку антисемитизма», юдофобские книги Шмакова, материалы дела Бейлиса. Дядя Борис рассказывал мне о погромах. Я понимал, что Советская власть дала евреям великое равноправие, что я учусь в Театральном институте, благодаря победе Великого Октября, а Валька дружит со мной, как и другие русские девушки и юноши, как друг с другом, — короче, все мы — одна семья. И в этой войне еврею нельзя отсиживаться по тылам: его священный долг защищать Советскую родину. Она — его жизнь, его существование — все. В готовности отдать жизнь за Россию, за русский народ я защищаю и Вальку, и других русских девушек, и моих родных.

Наш взвод, составленный из студентов театрального института, представлял соцветие народов — русские, украинцы, белорусы, евреи, хакасы, якуты... Какая тут могла быть национальная рознь?

...И все это было позади. На родной земле я оказался во власти чужих законов и порядков, чужих понятий и целей.

Странно выглядели конвоиры в погонах. Мы считали их пережитком дореволюционного прошлого. На воткнутых палках с указателями красовались пестрые аляповатые рисунки — когтистая пятерня, олень, тигр... Такие же знаки я увидел на машинах. Оказалось, каждая дивизия имела свой знак, вроде герба. «Хватай — дивизия» («граф-дивизион» — с когтистой пятерней), «Оленья — дивизия» и так далее. Целая геральдика.

Появился ефрейтор с двумя нашими винтовками. Поташил в сторону сарая и швырнул в него. Что-то загромыхало. Верно, там лежала груда таких же винтовок. Часовой выругался: чего швыряешь.

Кстати, когда меня захватили в плен, никто даже не поинтересовался, есть ли у меня оружие и где оно...

— Цум лейтнант! (К лейтенанту), — прибежавший солдат махнул рукой и пристроился позади меня, держа руку на кобуре. Пистолеты они носили с левой стороны. — Шнель! (Быстро).

Он привел меня к маленькому домику за сараем в котором складывали трофейные винтовки.

У крылечка стоял солдат в серо-белой одежде (в таких я стрелял несколько дней тому назад) и ваксил длинные черные сапоги.

— Денщик, — догадался я.

Конвоир подвел меня к нему: «Цум альтен». (К старому. Так немцы называли своих командиров, не смотря на их возраст: раз по чину старший, значит, «старый»).

Денщик еще немного повозил щеткой по голенищам, взял сапоги и скрылся в дверях.

Через минуту он появился: «Херайн!» (Входите).

В комнатке стояло нечто вроде наскоро сколоченной кровати с соломенным матрацем, покрытым шерстяным одеялом. Рядом — стол на ножках крест-накрест. У стенки — длинная скамейка, в углу тумбочка, возле нее табурет. На нем большой эмалированный таз с мыльной водой. Очевидно, офицер недавно встал. На гвозде над кроватью висел его китель. Сам он был в галифе. Широкие подтяжки двумя темными полосками спускались с плеч к поясу. Когда я вошел, он как-то странно скривился, словно у него болел живот, и придвинув скамейку к столу, сел.

При входе я не отдал честь (не умел еще), а просто стал как по команде «Смирно». Офицер не обратил на это внимания, махнул рукой около ушей «хайль!».

— Вы просили передать мне свои часы?

— Так точно.

— Почему?

— А зачем они мне? Моя песенка спета. Пусть же они достанутся тому, кто честно взял меня в плен.

Офицер помолчал, раздумывая.

— Война есть война,— вздохнул он.

— Конечно.

Он опять уставился на меня: «Сколько вам лет?»

— Двадцать три (на самом деле было девятнадцать).

— Вы превосходно владеете немецким языком.

— Французским тоже и английским.

— А ваш родной язык?

— Русский, конечно.

— Почему вы сказали, что вы еврейского происхождения?

— Часом раньше, часом позже — все равно бы узнали.—

Я сделал жест, поясняющий, что в детстве перенес ритуальную операцию. (И надо же было: раввину не доверили родители-атеисты, сделал хирург. Но сделал. А зачем?..).

— А-а,— досадливо протянул офицер,— вэр вирд да нахкукен? Зи зинд гар нихт эйнлих. Заген зи бэссер кайнен. Хабен зи фэрштандэн? Хайль! (А-а, кто там будет смотреть. Вы совсем не похожи. Никому не говорите. Поняли? Хайль!).— Аудиенция закончилась.

— Ауфвидерзэен. (До свидания).

Он кивнул. Я вышел. Конвоир отвел меня к остальным пленным. Через несколько минут нас повели по обочине шоссе в направлении дорожного указателя, на котором стояло «Любан» (Любань).

* * *

Мимо струился поток машин. Над головами гудели низко летящие самолеты. Справа и слева от дороги стояли грузовые, легковые, санитарные машины, тягачи. Кругом хлопотали люди в серо-зеленых шинелях или кителях. Неужели эта лавина техники и людей хлынет на Невский проспект, на Литейный?! Нет! Конечно, предательства много: ведь только предатели могли покинуть столько частей в окружении? Да и вообще довести столько войск до окружения. Неужели найдутся предатели среди тех, кто возглавляет оборону Ленинграда и откроют его врагу?

А справа от шоссе в желто-серых шинелях работали немцы — строители, «Организацион Тотт». Они закончили пере-

шивку нашей широкой железнодорожной колеи на более узкую немецкую. И казалась вся эта масса людей чем-то механическим, будто одной огромной машиной.

Но могли же мы отбивать их атаки! От Сольцов и Уторгоши сумели наши в десятых числах июля отбросить фашистов километров на семьдесят, если не больше. Тогда отличилась краснознаменная семидесятая дивизия. Но почему не развили успех? 23 июля стоявшая перед нами в хорошо укрытых и оборудованных позициях дивизия возле железнодорожного разъезда Кчеры вдруг в панике побежала. Немцы полторы недели не занимали этот лес с его выгодными позициями и готовыми дзотами и наблюдательными пунктами. Не верили, что без боя могут уступить... Паникеры.

Внезапно конвоиры приказали нам отойти в сторону на шесть шагов и остановиться.

По шоссе двигалась длинная колонна пленных. Они шли по три в ряд, грязные, хмурые, истощенные. Их было человек пятьсот. Конвоировали колонну несколько немцев.

Колонна прошла мимо нас. Никто не смотрел по сторонам. Ни с кем мои глаза не встретились. А вдруг среди них окажется кто из нашей роты и окликнет меня? А я-то назвался Александром, Сашкой... Сразу можно выдать себя. Если в плену встречу с Генкой, и он не успеет назвать меня по имени, будет легче. И вместе убежим. Генка Некрасов — друг, ему можно довериться. Можно и Сереже Николаеву и любому из хакасов нашего взвода. Но ни одного знакомого лица в проходящей колонне не заметил.

Я стал приучать себя к тому, что меня зовут Сашей. Мысленно окликал себя настоящим именем и следил за тем, чтобы не реагировать: зовут не меня...

Наконец, мы вошли в Любань. Неподалеку от первых полуразрушенных домов возле шоссе стояли две наши трехдюймовки, третья валялась чуть поодаль колесами вверх. Возле нее зияла широкая воронка от бомбы.

— Штукас,— самодовольно кивнул конвоир.

Жители навстречу не попадались, а поселок тянулся и тянулся. Наконец, возле одноэтажных домиков стали изредка появляться бедно одетые женщины. Почему-то все пожилые.

Примерно посредине поселка чуть в сторонке от шоссе мы увидели низкий забор. Он ограждал довольно большой квадрат. Внутри его шевелилась беспокойная серая масса. Это был пересыльный лагерь военнопленных.

Внутри этого квадрата яблоку было негде упасть, как на

знаменитой базарной толкучке, где впритык друг к другу и продают, и покупают, и обворовывают.

Нас остановили у подobia ворот, более напоминавших широкую калитку. Возле них стояла маленькая будка.

Заспанный немец равнодушно оглядел нас и, заметив, что я в фуфайке, спросил:

— А это что за штатский?

Конвоир пояснил, что это солдат тоже.

Немец причмокнул губами, прогундосил что-то неразборчивое, отворил калитку, махнул рукой: «Херайн!» (Заходите!).

7. ПОД НЕБОМ ЛЮБАНИ. МИННОЕ ПОЛЕ

Мы влились в колышущееся людское озеро. Нас сразу окружили пленные, стали выспрашивать, кто из какой части, где и когда попал. Наша четверка оказалась самая «свежая». Многие мерзнут здесь под открытым небом уже больше недели, а то и две. Все ждут отправки в Германию. Там, обещают немцы, их пристроят у бауэров (крестьян), будут хорошо кормить, хорошо содерждать. А здесь хлеба вовсе не дают. Кормежка страшная. Немцы не успевают подвозить провиант для себя, не то что для пленных.

Оглядевшись, я заметил, что внутри толкучки можно походить, даже при желании прилечь, правда, в грязь или в лужу, но можно... А самое милое дело, когда зябнут ноги, топтаться на месте. Так делают все. Топчись и ты...

Иногда калитка отворялась и в этот кораль вливалась вернувшаяся с работы колонна пленных; иногда к забору подходили конвойные, окликали уже знакомых красноармейцев и уводили на работу.

В загоне этом дымило несколько костров. Нос ловил запах печеного картофеля. Посреди толкучки шел бойкий обмен. Меняли кирзовые сапоги на ботинки с добавлением махорки или жмыха, портянки на ножичек и так далее.

Некоторые торговали шинелями, касками (они служили вместо котелков для баланды), сапогами. Пленный в комсоставской шинели продавал солдатскую, хотел получить за нее две буханки хлеба или банку мясных консервов. Я располагал несколькими пачками махорки и десятком печеных картофелин. К моему удивлению «продавец» охотно уступил шинель за эту цену. Махорка была также большим дефицитом в лагере.

Я тут же нарядился в шинель и теперь уже ничем не отличался от остальной массы. Достал из вещмешка свою пилотку.

Благодаря тому, что она лежала среди засохших Валькиных цветов, рыжий ее не нашупал. Незаметно снял я с пилотки звездочку и спрятал в подкладе своего ватника. И еще одну вещь я там спрятал и до последних минут сохранил — маленький круглый значок, как пуговица, с двумя профилями посередине, Ленина и Сталина.

Дико... Сутки тому назад еще был свободным, а теперь — бесправный пленный. Да еще какой! Кому-то покажется, что ты похож на еврея — и все: расстреляют — и никто не удивится. Просто пленный имеет шанс остаться живым, несмотря на голод, издевательства, холод, бестолковую непосильную работу. А ты, то есть я — нет. У меня шансов ни на что нет.

Почему овладевает тобой проклятая покорность? Неужели под влиянием остальных? Стараешься быть незаметным, расвторенным в грязно-серой массе измятых шинелей.

Повели на работу — расчищать дворы сгоревших домиков. Здесь предполагают строить новые, для офицеров.

Как непривычно звучит: «Герр офицер, герр унтер-офицер»... (Герр — господин). Какие широченные голенища у немецких солдатских сапог! Неуклюжие. А подъем малюсенький... Этот подъем спас меня: в лесном бою с убитых немцев стаскивали сапоги. Мне тоже надоело тяжелые, задубевшие ботинки и обмотки. Примерял. Ни одни сапоги, даже сорок четвертого размера, не лезли. Все из-за подъема. Большой. Русский подъем. Но, не бывать бы счастьем, да несчастье помогло: захватили бы в трофейных сапогах — прикончили б на месте, не спрашивая ничего...

А сами, смотришь, наши карманные часы носят, наши комсоставские хромовые сапоги...

Слухи ползут самые невероятные. Почему-то немцы считают своим другом... Молотова. Он, дескать, со Сталиным поругался, хочет немедленно мир заключать, отдать Гитлеру все, что тот требует. А Сталин — против. Так поругались, что Сталин Молотова «по морде ударил».

Когда нас выводили, к забору подъехала наша трехтонка и из нее через борт чуть не на головы спустили несколько корзин полусгнившего картофеля. Пленные ринулись к нему, но откуда ни возмись появилось несколько дюжих красноармейцев, поваров, растолкали товарищей, подхватили корзины, побежали с ними в дальний угол загона, где находилась кухня — два или три больших котла из русской деревенской бани, уставленные на кирпичях. Немцы с грузовика что-то рывнули и уехали.

Пленный повар передал, что немцы Москву взяли, сам слышал от них. Развесили уши, толкуют: «Войне конец».

Неужели такова сила предательства?

Таскаем обгоревшие бревна. Пленный, силач огромного роста, несет один балку, которую еле-еле поднимаем мы вчетвером. Немец похрюкивает «Гут, гут». (Хорошо, хорошо). Силач и нам предлагает поживее двигаться: тошно смотреть.

Ты что — для себя работаешь? — спрашивают его.

Силача природа умом, видать, не наградила. Ответить он не может. Сердится. «Вот, — говорит, — отправят в Германию, там у бауэра буду жить хорошо».

Один из попавших в плен со мной, подмигивает: «Во — дает! А ты как думаешь?» — поворачивается ко мне.

— Не знаю. Только в Германии у бауэров, думаю, уже все места заняты. Там и французы, и поляки, и все, кто раньше нас в плен попали.

— Лёс! Лёс! (Давай! Давай!) — покрикивает конвоир.

До чего тяжеленные балки!.. Проходит офицер. Смотрит на нас. Мы в это время несем огромное бревно. Ноги подламываются. А до места у забора, где должны его опустить, еще шагов пятьдесят. Непомерная тяжесть вдавливается в плечо. Ломит затылок. Офицер смотрит на меня. Говорит конвоиру: «Айн типш руссишес штурэс гезихт. (Типично русское тупое лицо). Слава Богу! Русское. Слышу: офицер беседует с конвоирами о преимуществах германской расы. Легко говорить: пока они хозяйничают. Хозяин всегда умнее холопа..»

Наконец, бревно опущено на землю. Даже не верится.

— Шнель, шнель! — торопит немец. Офицер удаляется.

— Послушай, — обращается ко мне солдатик, взятый в плен со мной в Вороньем Острове, — скажи ему, ты же умеешь, пусть даст дух перевести. Сил нет больше.

Я не хочу вступать в разговоры с немцами, боюсь неприятных вопросов. Меня устраивает «айн типш руссишес штурэс гезихт»...

Но солдатик приближается к конвоиру и указывает на меня: «Пусть он тебе дойч скажет». (По-немецки).

Конвоир глазеет на меня: «Фольксдойчер». (Русский немец)?

— Руссэ.

— Официр?

— Зольдат.

Конвоир кивает на солдатика: «Вас виль эр заген?» (Что он хочет сказать?).

— Эр виль зи биттен унс айн вениг раст цу гебен». (Он хочет вас попросить дать нам немного отдохнуть).

Конвоир озирается. Офицера не видно. Другие немцы по углам двора равнодушно следят, лишь бы кто из пленных не вышел за пределы остатков ограда.

Конвоир подзывает другого немца. У того на погончиках серебряная окантовка: унтер-офицер. О чем-то шепчутся.

— Воллен зи раст хабен? (Вы хотите отдохнуть?) — обращается унтер-офицер ко мне.

— Я. (Да).

— Шпрехен зи дойч? (Вы говорите по-немецки).

— Я, айн вениг. (Да, немного).

— Фон во бист ду? (Откуда ты?).

— Аус Ленинград. (Из Ленинграда).

— Унд во хаст ду дойч гелернт? (И где ты учился немецкому?). (Охота мне объяснять, что я сын профессора и учил дома).

— Ин дер шуле унд ин дер хохшуле. (В школе и в институте).

— Ду хаст айне фабельхафте аусшпрахе». (У тебя баснословный выговор). Раухст ду? (Ты куришь?).

Унтер-офицер кивает: можно отдыхать. Достает сигареты. Протягивает мне коробочку.

— Данкешён. (Спасибо).

— Ду браухст нихт арбайтен вайль ду зо файн дойч шприхст,— говорит унтер. (Ты не должен работать, потому что так хорошо говоришь по-немецки).

Я от такой милости отказываюсь, но об отдыхе для всех прошу. Теперь мы отдыхаем довольно часто. Великан силач хмуро поглядывает в мою сторону: не он в центре внимания «господ».

Унтера и конвоиров подмывает меня расспросить поподробнее. Но заметно, они побаиваются и друг друга и, главное, проходящих или проезжающих по шоссе мимо нас офицеров.

Все же «в обмен» на то, что я «шаушпицер» (артист) и мне двадцать три года удается узнать, что до Москвы еще они не дошли. Унтер полагает, что Москва падет даже раньше, чем Ленинград. (Ага, значит, у самого Питера сумели организовать отпор!).

Таская очередное бревно, передаю пристроившемуся рядом солдатику, что и Москву и Ленинград не взяли и вроде бы их наступление застопорилось... Хоть бы так!..

Подъезжает маленькая железная машина. Унтер и конвоиры вытягиваются по команде смирно; смешно оттопыривают локти,

прижимают ладони «по швам» и становятся похожими на старинные самовары.

Офицер что-то указывает немцам. Те кивают: «Яволь». (Так точно). Нас выстраивают и ведут «на обед».

«Столовой» является... поле. Здесь не успели убрать турнепс, кормовую свеклу для скота, и мы можем «подкрепиться», хотя, безусловно, до нас здесь уже «наслись» другие пленные, мы их видели издали.

Унтер объясняет, что так как «дер нахшуб» (подвоз), не успеваешь, продуктов для нас не получено, и мы можем утолять голод здесь, на поле. А вечером что-нибудь сообразят (бывалый пленный, пожилой, небритый, тяжело вздыхает: который день «соображают»?..).

Земля приморожена. Мы вытягиваем, вырываем из земли огромные турнепсыны. Обмываем их в придорожных лужах от налипшей грязи; имеющимися у немногих перочинными ножиками или железками очищаем и жадно вгрызаемся в горькую холодную массу плода. С собой брать не разрешается: надо оставлять на завтра, себе и другим.

После «обеда» конвоиров сменяют. Нас ведут по шоссе. Но нем — многочисленные воронки, наспех засыпанные землей и гравием.

Машины идут потоком. «Дэр нахшуб ролът», — говорит конвоир, кивая вслед колонне гигантских грузовиков. («Снабжение катится»).

Вдруг затрещали выстрелы. Разноцветными гирляндами понесли к небу трассирующие пули и снаряды. Там появилась тройка наших ястребков, «чаек». Родные! Они пронесли над шоссе и скрылись. Но как полегчало на душе!

Нас разделили на несколько групп, каждой отвели участок шоссе. Конвоиры указывают на воронки и на лежащие рядом кучи гравия: засыпать, разравнивать. У обочины лежат лопаты.

Проезжающие машины обдают грязью и, вылетающими из-под колес камушками.

Вскоре появляются наши утренние конвоиры с тем же унтером. С ним рядом еще один унтер, очень толстый.

«Типичный немец», — думаю я. Его полнота меня успокаивает. Помню в «Юлии Цезаре» у Шекспира: «Опасны худые люди». Хотя эта реплика Цезаря не аксиома, но толстяк действительно производит впечатление добродушного человека.

Он отзывает меня в сторону, дает сигарету, засыпает обычными вопросами. Охает: «Дер криг ист шайсе. (Война — говно), — и кивает, — продолжай работу». Я берусь за лопату, предварительно поделившись сигаретой с соседом. Вдруг!..

Очнулся я на обочине. Надо мной склонились товарищи и немец конвоир. Толстый унтер рядом отчаянно ругался.

Из кабины огромного «Элькаве» (грузовика) вылез немец-шофер. В ответ на ругань унтера он отрезал: «Вас ист лёс? (В чем дело?) «Хаб дир айнен руссен умгекипт». (Опрокинул тебе одного русского),— и выругался.

Унтер в долгу не остался, но добавил: «Абер дер керль шприхт перфект дойч». (Но парень превосходно говорит по-немецки).

Шофера будто подменили. Он подошел ко мне, наклонился: «Ду шприхт дойч? (Ты говоришь по-немецки). Я кивнул головой.

— Ах ду армер хунд (ах ты бедный пес),— неожиданно мягко выдохнул шофер.— Тут вэй (болит)?

— Айн вэниг. (Немного).

Два-три вопроса и ответа — водитель развел руками: «Шадэ, шадэ (Жаль, жаль),— шофер покачал головой и почесал затылок, что-то соображая.— Зо айн шайс криг (такая говно — война). Их хаб дох гар ниht гедахт дас ду зо файн дойч шприхст (я же вовсе не думал, что ты так хорошо говоришь по-немецки). Их фаре. Зэе: да штэен ди руссэн. А! Вэр вайс вас фюр лёйте?.. (Я сду. Вижу: стоят русские. А! Кто знает — что за люди?). Варт маль! (Погоди!),— он метнулся к кабине и через несколько секунд вернулся со свертком с бутербродами и начатой пачкой сигарет: «Ним! (Возьми). Дер криг ист шайсе. (Война — говно). Хаб дох гар ниht гевуст дас ду зо файн дойч шприхст». (Я же вовсе не знал, что ты так хорошо говоришь по-немецки).

— Унд хэт их ниht зо файн дойч гешпрехэн да конте ман ниx умкиппен? (А если б я не говорил так хорошо по-немецки, значит, можно меня опрокинуть, переехать?),— слабо улыбнулся я.

— Зай дох ниht бёзе,— ухмыльнулся примирительно водитель.— Эс гейт алес форбай! Дер криг ист шайсе. Альзо! (Не сердись. Все проходит мимо. Война — говно. Итак!),— и уехал.

Из-за контузии я не дослышивал на левое ухо и потому не расслышал предостерегающего окрика конвоира. Другие успели метнуться в сторону, а меня, вернее, мою шинель он задел крылом. Я отделался ушибами колена и головы.

Толстый унтер тоже угостил меня сигаретами. Всю добычу мы разделили по-братски. Особенно вкусными оказались два маленьких бутерброда. Каждый откусил по кусочечку. Хлеба нам вовсе не давали. А тут, хоть немецкий, но все же хлеб.

В кювете лежали в нескольких шагах друг от друга три на-

ших бронемашин. Нам приказали оттащить их еще немного в сторону. Но это оказалось нам не по силам. Унтеры махнули рукой. В кабине каждой машины на сгоревшем сиденье висела черная обугленная фигурка водителя с протянутыми к рулю угольками предплечий. Руки дочиства сгорели, как и ноги. Каждый — на своем месте. Сгоревшие обрубки рук — к штурвалу. Мы попросили разрешения закопать останки сгоревших. Разрешили. Но торопили, и глубоко зарыть не успели.

Внезапно подъехал мотоцикл. Сидевший в нем офицер стал что-то возбужденно объяснять конвоирам. Те только щелкали каблуками и отвечали свое «яволь». Офицер указывал вперед и вправо. После очередного «яволь» конвоиры построили нас и погнали в сторону, указанную офицером, помчавшимся дальше к следующей партии пленных, занятых на дороге.

Нас пригнали к довольно большой опушке. В нескольких шагах от дороги на равном расстоянии друг от друга стояли немцы с карабинами и автоматами. Когда мы приблизились, приказали перейти через канаву и выстроиться. То же велели следующей партии пленных.

Подъехал мотоцикл с уже виденным нами офицером. Вскоре пригнали еще пленных. Всего набралось нас человек четыреста-пятьсот.

Мелкий снег смешивался с дождем. У самого леса серебрилось припорошенное поле. Подъехали грузовая машина и легковушка. Из первой высыпали солдаты, из второй — три офицера. Они поднялись на маленький холмик у обочины, оглянули опушку, что-то крикнули. Нас всех построили в один ряд, приказали повернуться лицом к лесу, спиной к дороге. Ничего не понимая, мы исполнили приказание, повернулись кругом и тупо уставились в простиравшееся у наших ног пространство.

— Расстрел... Сейчас расстреливать будут, — пронеслось шорохом по рядам. Справа треснул выстрел: кто-то с краю метнулся, видно, в сторону. Пристрелили сразу.

Мы стояли, не решаясь повернуть голову в сторону выстрела или оглянуться, но всем существом чувствуя за спиной уставленные в нас дула винтовок и автоматов.

Сбоку вынырнул унтер-офицер:

— Ахтунг! (Внимание!). Ви все дольжен герадеаус (прямо) (он указал по направлению к лесу) марширен ту-да (снова жест в сторону леса). Абэр (но) ниht (не) бежалы! Зонст (иначе) — пиф-паф! Альзо (итак), шлюшайти командо! Герадеаус алле дортхин: все туда, унд алле — цурюк (и все) видэр цурюк (снова назад). Марширен ту-да унд цу-рюк: на-зад, — вспомнил он, смешивая русские и немецкие слова.

Огромная шеренга двинулась медленно, нерешительно неровной серой линией.

— Шнель, шнель! (Быстро, быстро!) — подгоняли шедшие сзади солдаты. Снова с краю грянул выстрел: кто-то нарушил строй или метнулся в сторону.

Мы двигались, подгоняемые окриками, выстрелами над головами, а иногда и толчками сзади.

— Минное поле, — шепнул кто-то. — Проверяют.

От этого известия, а оно показалось правдоподобным и все-таки более гуманным, чем расстрел ни с того, ни с сего, чуть успокоились. Мы же не евреи и не комиссары, не политруки, чтобы нас всех расстреливать (к тому времени уже все знали, кто подлежит истреблению).

Слева снова выстрелили. На этот раз недалеко. Пленный упал, неловко подвернув ногу. Мы продолжали путь. Опушка тянулась бесконечно. А была она всего шагов двести в глубину и шагов четыреста вширь. Что на ней могло быть стратегического, что понадобилось минирование?.. Вероятно, какая-нибудь случайная мина. А может быть, кто из немцев напоролся здесь на нашу чуткую мину к ротному миномету, завалившуюся в траве, и поднял тревогу?.. Во всяком случае, опушку назвали минным полем и решили обезвредить. Саперов беспокоить не стоило, когда под рукой пленные...

Не могу описать, что было в душе, когда вместе с другими товарищами по несчастью я шагал по проклятой опушке, пытаясь делать шаги чуть-чуть короче и в то же время боясь, что вдруг отстану и получу пулю в затылок, как получили некоторые. Вероятно, другие тоже пытались, как я, делать шаги чуть короче. Все глаза были устремлены вперед, напряженно всматривались в пространство на несколько шагов и под ноги: вдруг шагаянет подозрительный кусочек провода или что-либо похожее на мину?..

Была мысль: «Пусть взорвет, только сразу так, чтоб не могли разобрать, чтоб никто не узнал, кто я, не успел опозорить и поиздеваться. Рано или поздно, все равно узнают, докопаются. Еще и свои «помогут»: вон, с кем поделюсь, те со мной друзья, а те, кому не достается,.. Не могу же я двумя бутербродами угостить больше десяти человек — и то каждому достается, как и мне самому, кусочек меньше спичечного коробка.

А вижу я, есть такие, что уже с завистью и подозрением подглядывают на меня, пытаются выведать, кто я, да откуда, да почему языком владею, да кто мои родители?.. С нашими опаснее и труднее объясняться, чем с немцами. Хорошо, что недавно говорят, один пленный донес на другого, что тот еврей. Про-

верили, а тот не обрезан, не жид значит. Ну, а лицом похожих мало ли? Так доносчику за ложь немцы приказали всыпать двадцать пять по голой заднице и пригрозили, что за ложные доносы будут расстреливать и карать беспощадно. По таким доносам, видать, уже немало людей понапрасну пострадали.

А для меня медосмотр — смерти! Что станешь говорить врачу или фельдшеру?.. Капут. Так лучше уж сразу...

Дошли до конца опушки. Приказали повернуться кругом и также идти назад к дороге. На сей раз никого не пристрелили. Тревога оказалась ложной. Несколько трупов пленных велели наскоро закопать тут же в яме.

Вечерело, и нас погнали обратно.

Разговаривали мало или отрывисто. Уверен, все пожалели, что сдались в плен: лучше погибнуть со своими, чем сдохнуть тут безвестным. Все продрогли. На ночь загнали в большие сарай. Разводить огонь не разрешали. Все же в единственной печке ухитрились разложить маленький костер. Но к нему было не протиснуться.

Кое-как примостились на земляном полу, подложив плащ-палатку и шинель. Легли мы вчетвером. Поворачивались по команде. Накрылись тремя шинелями. Я оказался крайним. Спина, пока лежали на одном боку, была в тепле. Потом повернулись и спина стала мерзнуть. По счастью, рядом примостилась такая же четверка. Сдвинулись и, дрожа, забылись подобием сна.

И снился мне Ленинград, театральный институт, Валя...

Резкий толчок разбудил меня. Вокруг мелькали лучи карманных фонарей. Немцы расталкивали спящих ударами сапог. Лёс! Шнелы! Бистро!

Мы вскакивали, ничего не понимая. Прикладами и пинками нас выталкивали из сарая. Возле сарая стояли высокие повозки. Распряженных огромных лошадей заводили под крышу.

— Бальд ист морген. (Скоро утро), — успокоил нас часовой.

Действительно, часа через полтора забрезжил рассвет. Утро началось с «фрюштука» (завтрака) на турнепсном поле. Как мы ни полоскали в лужах турнепс, как ни пытались счищать с него землю, все равно она хрустела на зубах. Только крайний голод заставлял набивать живот этой скотской едой.

Немцы стояли по краям поля и посмеивались: разве ози себе такое позволят? Только «низшая раса» способна питаться таким образом...

Долго «завтракать» не дали. Нас построили, пересчитали и вновь повели на какую-то бестолковую работу. Если вчера мы перетаскивали бревна в одну сторону, то сегодня — обратно.

так как строить здесь жилье раздумали, а оставлять пленных без дела не хотели.

— Скорей бы в Германию,— вздыхал рядом со мной пожилой солдат.

— Неужто думаешь, тебя там ждут?

— Отец мой в ту войну работал там у бауэра; говорил, что хорошо кормили. Чуть не остался. Да вот про революцию услышал, что тут землю раздадут — и вернулся. А так бы, говорил, там женился и остался.

— А ты б, значит, тут без него рос?

— Что поделаешь? Его, один черт, в тридцатом раскулачили, сослали так, что до сих пор — ни слуху, ни духу, да и нас, всю семью переселили на север. Хлебнули...

— Слышь, бают, в Москву вошли.

— Ну уж и вошли. Вошли бы — нас по турнепсам не гоняли б.

— А ён, слышь, питательный тоже. В ём витамин «цэ», чтоб цинги, значит, не было...

За три дня до моего прибытия в пересыльный лагерь в нем всех построили и предложили выйти вперед комиссарам, политрукам, вереям и цыганам. Политработников не оказалось. А двух или трех евреев пленные сами вытолкнули из своих рядов. Их тут же расстреляли.

Знаю, что все это правда. Конвоиры удивляются, что среди пленных и гражданских почти нет евреев. В Польше, Латвии — там их хватало...

Вечером нас набивают, как дрова, в грузовики. Подгоняют прикладами. Колонна машин трогается. Через час выгружают.

— Шнель! Бистра, бистра!

Каждому достается прикладом по спине. Вдруг немцы замечают, что пол грузовика мокрый. Многие из нас (я не исключение), ослабленные голодом, часто мочимся. Мочиться хочется нестерпимо мучительно и мы в страшной тесноте грузовика, прижатые друг к другу, лежим рядом на полу и мочимся под себя.

Нас заставляют шинелями вытирать полы грузовиков. Ругаются шоферы и конвоиры неистово. Лица искажены злобой.

Мы жмемся возле машин под ударами прикладов. Кого-то возле соседней машины прибили насмерть.

Ночь. Мокрый снег. Пронизывающий ветер. Выстраивают на обочине. Все дрожат от холода. Нестерпимо хочется мочиться. Многие опять мочатся прямо в брюки. Над нами стоит облачко вонючего пара.

Кого-то потеряли. Который раз пересчитывают. Наконец,

нашли: из первых грузовиков сразу не выгрузили два трупa. Нашли. Сбросили. Приказ; тут же закопать. Из рядов выхватывают несколько человек. Вручают лопаты, торопят: «Лёс, лёс, бистра!»

Закопали. Построили по три и погнали бегом в сторону развалившегося складского типа здания у железнодорожной насыпи. Всех загнали внутрь. Дрожа, в безнадежно мокрых шинелях мы прижимаемся друг к дружке. Теснее — теплее. Кто послабее — с краев возле выхода и холодных стен, в которых зияют огромные щели. Часовые занимают места у входа: «Шляфен!» (Спать!).

Толчок в бок будит меня. Видно, дремал я недолго. Сосед шепчет: «Сил нет больше терпеть. Ты знаешь по-ихнему. Попроси, чтоб разрешили помочиться».

Мы лежим недалеко от выхода. Дрожа, отрываюсь от соседей, поднимаюсь.

— Вас нет лёс? (Что случилось?)

— Эрляубэн зи битте майнем нахбар цу шиффен. (Разрешите, пожалуйста, моему соседу помочиться).

— Херр Готт! (Господи Боже!). Ду шприхст фабельхафт дойч! (Ты баснословно говоришь по-немецки). Вэр виль нох шиффен? (Кто еще хочет мочиться?).

Включая и меня, набирается большая группа. Выпускают по два в сопровождении конвоира и мочатся тут же на стенки сарая. Два шага от входа — и лёс!..

Кажется, все справили нужду. Теперь просят уже по одному. Но спать уже не придется.

Конвоиры, подбрав оттого, что я говорю по-немецки, чтобы разогнать ночную скуку, завязывают со мной беседу. Они поминутно оглядываются по сторонам: нет ли дежурного проверяющего? Убедившись, что все спокойно, угощают сигаретой. Жадно затягиваюсь, передаю соседу, тот дальше. Но «эффекта» никакого: табак слаб, не то что наша махорка. И все же носу чуть теплее и можно поддерживать «беседу».

Через каждые три-пять минут они вспоминают Францию.

— Какие города! Какие дороги! Какие бордели! Какие женщины! Еда! Вина! Мы купались в шампанском. Продуктов кругом полно.

— В первую мировую,— вставляет пожилой,— наши солдаты стремились на русский фронт: тут всегда была еда. А теперь...— и он мотает головой,— все у вас съели большевики с их колхозами.

— Но кто лучше воевал, мы или французы?

— Никакого сравнения: там по-благородному, видят, что

дело проиграно — и не сопротивляются. Вывесят белый флаг, хэнде хох! — и сдаются. Зачем напрасное кровопролитие? С ними в плену, конечно, совсем другое обращение.

— Так, значит, они плохо воевали?

— Как тебе сказать? Они хотели жить и не так, как вы, сопротивлялись.

Я понимал, почему Германия всей свежей силой обрушилась на нас. На западном фронте за счет трофеев и промышленности оккупированных стран Германия только укрепилась.

— Ты веришь, что война скоро кончится? — поворачивается ко мне «воздыхатель Франции».

— Очень хочу, чтоб так случилось.

— Да, война говно, — кивает другой. Что я тебе сделал, что ты мне сделал? «Нитшево», не так ли? Но есть такие господа, которые любят войну. Это жида и коммунисты.

Спорить с ними я не решаюсь. Они рады, что нашли слушателя, угощают меня куревом и треплют, треплют длинными языками.

Где-то за Волховом, не так далеко, громыкает артиллерия.

8. ДРУГ ДЕТСТВА

Россия — не Франция. Они смотрят на нас свысока. Значит, и Валя и ее подруги, мои подруги для них только «цу плезир» (для удовольствия). Я не сомневался, что они несут нам рабство. Слова о «свободе», «освобождении от большевизма», «от юден», которые только и жили «при Советах», — этим меня не обманешь. Кстати, евреев «при Советах» сажали не меньше, чем представителей других народов, а то и больше. В тридцать седьмом — восьмом у нас в классе у трех четвертей учеников посадили кого-нибудь из родителей. А это были на три четверти евреи. В тридцать девятом кое-кого выпустили, но остальные не вернулись. Вот и у Соли, моего лучшего друга, дядю, участника гражданской войны, награжденного двумя или тремя орденами Красного знамени, тоже расстреляли. Муж Солиной сестры Бэллы был итальянцем. Родился чудесный малыш Руальдо Мансервиджи. Муж работал на дирижаблестрое под Москвой. Принял советское подданство.

В тридцать восьмом Бэлла приехала в Киев. Красавица стала старухой. Это в двадцать пять лет-то... Мужа расстреляли...

А в тридцать четвертом нашего классного руководителя, учителя математики Александра Ивановича Финицкого?.. Его сына

расстреляли в Ленинграде в связи с убийством Кирова. А фамилию Александра Ивановича, нашего общего любимца, мы прочли в киевской газете в списке расстрелянных... Александр Иванович, знаю, был благородным, мужественным человеком. Он знал, что его «возьмут» и предупредил, что если он завтра не придет, чтоб мы хорошо занимались... На завтра он пришл, а послезавтра его уже не было и через день мы прочли...

В смысле арестов соблюдался «интернационализм»... Евреев сажали и тогда, когда расправлялись с нэпом и во время «золотухи» (так называли в тридцать первом году акции по изъятию у населения золотых вещей и разных драгоценностей — «эпидемия золотухи»).

В Киеве в конце тридцатых годов пересажали немцев и поляков, закрыли их школы и театры. Закрыли также консульства Германии и других стран. Все посольства сосредоточились только в Москве.

Поражало, что коммунистов-немцев, бежавших из Германии от Гитлера, пересажали. Всем «шили» шпионаж.

Если в газете появлялась маленькая официальная заметочка «В прокуратуре СССР», все уже знали: начинается новая «кампания». Объявят о десятке «вредителей», а расстреляют и сошлют десятки тысяч.

9. «ЙОЗЕФ» СОВЕТУЕТ. РОТА ДОКТОРА ФЁРСТЕРА

* * *

Этот обер-ефрейтор никак не мог запомнить, что меня зовут Александром и упорно называл «Йозефом», потом опять Александром, потом снова Йозефом.

Каждый немец может взять пленного, увести его куда угодно и заставить делать что угодно. Никто не спросит. Если же не приведет обратно в лагерь, просто надо объяснить, куда девал русского — пристрелил или пристроил при своей части дрова пилить или полы мыть.

Так и этот обер-ефрейтор, буду называть его самого «Йозефом», взял меня и повел вдоль шоссе, желая облегчить мою участь. Это было в один из первых дней плена, когда я еще только привыкал к своей новой роли и к своей новой «биографии» (старше на четыре года, уроженец Челябинска и т. д.).

Йозеф, видя, какой я истощенный, попытался подкормить меня бутербродами из своего пайка, дал курить, и так как был с велосипедом, предложил, чтоб я держался за руль с одной стороны, он — с другой, чтоб мне легче было идти по шоссе.

Он спросил: верю ли я в Бога? Я ответил, что это жутко трудный вопрос и, если по-честному, я верю в судьбу: от нее никто не уйдет.

Тут Йозеф стал уверять, что Бог есть, что в нем все начала и все концы. Йозеф католик и, как все истинно верующие, считает войну противоестественной, грехом. Родители Йозефа очень набожные. Он с тяжелым сердцем принимает участие в войне. Но... солдат есть солдат...

— Тебя надо пристроить где-нибудь при кухне,— сказал он.— Будешь там подкармливаться. Много ваших пленных работают у нас при кухнях. Вот,— показал он.— Тут у меня знакомый «шпис». Что такое «шпис» (старшина) я не знал и невольно забеспокоился.

Мы свернули с дороги и подошли к какому-то складу. Встретивший нас у входа хмурый оберфельдфебель исподлобья неприязненно глянул на меня:

— Это что за русский?

Йозеф объяснил, что я — пленный «шаушпицер» из «Петербурга». Неплохо бы пристроить, чтоб не голодал. Парень образованный, говорит по-немецки.

«Шпис» смерил меня взглядом с ног до головы, спросил сколько мне лет, откуда я, где учился и вдруг — в упор:

— А не еврейского происхождения?

Через два-три месяца на подобные вопросы я отвечал смеюх: «Разве, если человек знает немецкий, он должен быть иудеем? Комедия!»...

Но эта встреча была, повторяю, в начале моего пребывания в плену.

Я почувствовал, что в груди у меня что-то остановилось и повторил то, что сказал, когда меня захватили в плен.

Йозеф разинул рот, «шпис» набросился на него: кому это он покровительствует? Неужели не видит, что никакой я не полунемец, а самый настоящий большевик, явно из проклятых немецких эмигрантов, которые в тридцать третьем убежали в Советский Союз, так как были неисправимыми коммунистами.

Я возразил, что родился здесь и за границей не был. Но «шпис» не поверил: больно гладко болтаю по-немецки. «Шпис» приказал Йозефу, «скрывающегося врага» отвести в сторону и пристрелить, так как сомнений нет в том, что я — большевик...

Бедный Йозеф пытался возражать, но это лишь больше распалаяло «шписа». Он на него так прикрикнул, что мой добрый спутник только щелкнул каблуками и приказал мне побыстрее идти. «Шпис» вслед бросил, что проверит «исполнение приговора». Сам «шпис» вероятно последовал бы за нами и не погну-

шался проверить выполнение приказа, но не мог бросить открытым склад, где как раз пересчитывал консервные банки, всякие пакеты, упаковки, коробки, сложенные тут же возле входа в помещение — и без того доверху заполненное ящиками с продуктами.

Йозеф быстро повел меня прочь к шоссе и все время торопил, иногда оглядываясь.

Когда мы отделились от злого «шписа», Йозеф стал меня укорять за мою неосторожность (он до «шписа» вовсе не думал о моем происхождении).

— Смотри, малыш,— говорил он,— нельзя быть таким доверчивым. Среди нас очень много собак, много скота («риндфи»). Ты должен говорить, что ты кто угодно, только не еврей, хоть бы у тебя ноги из задницы стали выдирать. Иначе пришлепнут: злодеев («безевихте») среди нас тоже хватает.

По пути «стрельнув» у какого-то встречного бутерброд для парня, который «перфект шприхт дойч», Йозеф на прощанье снова предупредил, чтоб я никому не смел признаваться в своем происхождении и вернул меня нашим охранникам.

Меня глубоко тронула сердечность Йозефа. Как-то, примерно через полмесяца, когда я с другими пленными работал на стройке деревянного дома в Чудово, я случайно увидел Йозефа, точнее, он меня узнал и подошел. Оглянулся, угостил сигаретами и тихонько спросил: «Ты никому не сказал?»

Я подтвердил: никому.

— Смотри, малыш, не смей признаваться: среди нас много собак («унтер унс гибтс филе хунде»).

Больше мы никогда не встречались.

Через день или два после знакомства с Йозефом, видимо, для проформы, всех, кто был в лагерьном ограждении, повели на допрос: пленным положено допрашивать.

Процедура проходила на полянке. В центре ее на невысоком дощатом помосте сидели пожилой хауптман (капитан) и еще два-три офицера. Вокруг стояли еще два-три офицера и унтер-офицеры. Офицер с узенькими погончиками, видимо, из прибалтийцев, переводил. Допрос носил чисто формальный характер, потому что среди нас «свежих» пленным не было, одна замученная пехота из осенних, а то и еще летних окружений.

Никто ничего не записывал, только считали: «Нойн унд нойнцигстер,.. хундерт драй унд зэхцигстер» (девяносто девятый, сто шестьдесят третий) и так далее.

Подчас этот «допрос» носил анекдотический характер. Например, спрашивали фамилию, а растерянный пленный отвечал:

«Слесарь» или «Плотник», а допрашивающие кивали: «гут» (хорошо) и махали рукой — следующий!..

Дошла очередь и до меня. Спросили: когда попал в плен, где служил, из какой дивизии (я назвал двести тридцать седьмую). Интересы я больше не представлял. Говорил через переводчика. Кто-то спросил: «беруф» (специальность), я ответил артист.

Хауптман внимательно посмотрел на меня:

— «Айн рехт интеллигентес гезихт» (интеллигентное лицо). Ви альт? (возраст).

Я сказал, что родился в 1918 году.

— Кайне юдише абштамунг? (Не еврейского происхождения?).

Что было делать? Поблизости стоял очень симпатичный черненький, как мавр, молодой врач, как я услышал по фамилии Ганнибал. Конвоировавший нас унтер сообщил ему, что я владею языком.

Я сказал то же, что при взятии меня в плен.

— Нну, тогда ты свою сцену больше не увидишь,— заявил хауптман.

— Тогда расстреляйте меня.

Офицеры переглянулись. Гауптман, его фамилия была Гофман, поморщился, подозвал доктора Ганнибала и они тихонько перекинулись несколькими фразами. Ганнибал подошел ко мне, спросил, откуда я, играл ли в немецких драмах, как отношусь к творчеству Гёте, Шиллера. Я ему прочел наизусть первый монолог Фауста. Он обалдело раскрыл рот и подвел меня снова к хауптману. Я и тут повторил монолог, добавив балладу Шиллера «Перчатка». Хауптман заулыбался, но развел руками: ничего не поделаешь — еврей... После этого мы с доктором разговорились. Он оказался культурным человеком. Касаясь известных мне имен крупных медиков, я назвал и своего дядю, профессора Клейна из Киева. Ганнибал знал его труды, в частности по каким-то сывороткам, считал его немцем, что я не оспаривал. Доктор посоветовал мне никому не говорить о своем происхождении.

Между тем, еще несколько сот пленных опросили таким же «скоростным методом». Начальство могло доложить, что произвело допрос. Пленных рассортировали. Те, что назвались плотниками, столярами, печниками, кровельщиками, стояли в стороне. Мне приказали стать вместе с ними. Затем нас повели мимо развалин поселка или города, привели к полуразрушенному двухэтажному деревянному дому типа общежития. Здесь жонвоиры передали нас другим солдатам, а те приказали войти

внутри и там разместиться. Нас набралось около двухсот человек. Все обрадовались, что, наконец, после долгих мытарств у нас крыша над головой; растянулись на грязных полах, прижались друг к другу и заснули.

Утром нас выстроили во дворе, обнесенном колючей проволокой. Сухощавый бледный лейтенант с узким лицом, седой, подозвал двух пленных, перебежчиков Карла и Франца из Немцев Поволжья, не пришедших с нами, а уже находившихся при взводе лейтенанта. Через них он объявил, что мы должны привести в порядок это общежитие, но, конечно, после своей основной работы. Нам, так называемой рабочей роте, предстоит строить и ремонтировать дома и квартиры офицеров немецкой армии, так как они не привыкли жить в таких условиях, как в России.

Лейтенант Фёрстер добавил, что приказал своим солдатам относиться к нам по-человечески, хотя Россия, в силу того, что не примкнула к «Генфской» (Женевской) конвенции, бросила своих пленных на произвол судьбы. Но немцы — люди гуманные, а потому, он в частности, постарается, чтобы нас получше кормили, будет стараться создать условия, лучшие, чем те, в которых мы находились до сих пор.

У ворот уже дожидались конвоиры. Каждая часть, которой требовались строительные работы, с утра делала заявки, высылала сюда своих конвоиров и доктор Фёрстер распределял по ним рабочую силу. Опоздавшие заказчики ее не получали. После развода в зоне оставались повар, два-три пленных, коловших дрова, убравших мусор, таскавших воду. Первые дни Фёрстер оставлял в зоне еще человек десять для починки крыш, печей, полов.

Не уходили на работу также Карл и Франц, околавившиеся за зоной у немецкой кухни. Обоих перебежчиков считали безвинными страдальцами. Они получали армейское довольство («фэрпфлегунг») и передвигались без конвоя.

Они были из крестьян. Румяный толсторожий Карл держался высокомерно, хотя грамотностью не превосходил своего земляка. Худощавый Франц казался добродушным и, не в пример приятелю, менее болтливым. Карл любил при гитлеровцах распространяться об ужасах жизни немцев в Поволжье и всячески ругал русских и, если пленный просил перевести какую-нибудь просьбу (а переводил он плохо), сперва ругал беднягу, а потом или отказывал, или нехотя переводил, снабжая самую безобидную просьбу, например, что пленный чувствует себя плохо и просит дать ему завтра немного отлежаться, своими комментариями. Обычно это приводило к отклонению просьбы. Со мной

Карл держался настороженно, зная, что я владею языком. Но ни с тем, ни с другим я не искал близости. А Фёрстер и пленные предпочитали пользоваться моими услугами, так как я переводил всегда точно и лучше формулировал мысль.

В рабочей роте, благодаря самому Фёрстеру, пленным не били. Полиции не заводили. Когда один пленный пожаловался лейтенанту, что на работе конвоир его ударил, Фёрстер на следующий день утром отказал в рабочей силе той части, где это произошло.

Но кормили плохо. Одну немецкую буханку хлеба давали на семь человек (около двухсот граммов на одного). Приварком была жидкая баланда. Фёрстер приказал сливать в нее остатки от немецкой кухни. Но много ли их у взводной кухни?..

В двухэтажном бараке-общежитии, разделенном на маленькие комнатухи-секции, в каждой валялось на полу шесть-восемь человек. На первом этаже разобрали несколько перегорожек и сделали нечто вроде конторы, канцелярии, где Фёрстер или дежурные унтер-офицеры принимали заказы на рабочую силу.

В узенькой угловой комнатухе еще с тремя пленными спал майор медицинской службы. Крупный человек лет сорока пяти, он тяжело переносил постоянное недоедание. Его, как и меня, захватили в плен после длительных скитаний по лесам и деревням при выходе из окружения. Вскоре у него начали отекать ноги.

Не доверяя Карлу и Францу, он через меня попросил Фёрстера добавить ему рацион. Когда Фёрстер утром делал развод, майор вышел из строя, приблизился к лейтенанту и указал на меня. Я попросил разрешения также выйти из строя и перевел его просьбу, акцентируя возраст майора и сердечную болезнь.

Фёрстер внимательно посмотрел на врача и обещал что-либо придумать. Действительно, вечером майор мне сказал, что в обед через нашего повара ему передали немного хлеба и кусочек маргарина и сообщили, что будут поддерживать его.

Еще до того с этим майором мы таскали доски на постройке «особняка» для какого-то немецкого офицера. Вдруг все вокруг засуетились.

Мимо нас шла группа офицеров, а среди них жилистый старик с жесткими хищноватыми чертами худого лица. Это был командир «чертовой», 161-й дивизии вермахта генерал-лейтенант Гёнике. На вид ему было лет шестьдесят пять.

Вдруг застрекотали пулеметы, заквакали скорострельные зенитки и в воздухе появились наши милые «чайки». Все взоры

обратились к ним. Гёнике сделал несколько шагов в сторону, очутился рядом с нами и задрал голову, как мы.

Не в пример нам, неопытным воякам сорок первого года, немцы стреляли из всех видов оружия по самолетам, вынуждая их либо отклоняться от курса, либо держаться на большой высоте, откуда хуже вести наблюдение и прицельный огонь.

Наших отогнали, но не сбили.

Неожиданно совсем рядом я услышал голос генерала: «Хауптман Домбровский, это что за вшивые пленные?»

Плотный хауптман с маленькими усиками, а ля Гитлер, вытянулся перед генералом: «Сейчас выясню»,— и резко обратился к ничего не понимающему майору: «Откуда? Из какого лагеря?»

Майор растерялся и, открыв рот, только успел выдать: «Не понимаю». Хауптман в сердцах толкнул его и обругал.

— Простите,— вмешался я.— Это врач. А мы — пленные из рабочей роты доктора Фёрстера.

— Врач!— воскликнул хауптман,— так почему же он не говорит по-немецки?

— Он знает латынь,— нашелся я.

Генерал приблизился. Хауптман доложил ему. Гёнике исподлобья оглядел нас.

— А ты кто?— спросил он меня.

— Пленный.

— Кто по профессии?

— Артист.

Генерал сжал губы, помолчал, опять посмотрел на меня, отвел взгляд, повернулся к хауптману: «Дер керль шприхт дойч унд зит фердамт интеллигент аус. Зольхе зинд безондерс гэфэрлих. Зи кёнен ин ауф дэм нэестен баум ауфхэнген. Вир браухэн кайне шаушпилер». (Парень говорит по-немецки и выглядывает чертовски интеллигентно. Такие особенно опасны. Вы можете его на ближайшем дереве повесить. Нам не нужны артисты.)

— Яволь!— вытянулся хауптман.

В этот момент перед оглянувшимся генералом появился другой офицер и доложил, что машина подана. Действительно, роскошная легковушка, сверкая черным лаком, подъехала неслышно и остановилась. Генерал снова посмотрел на небо, где таяли вдалеке силуэты наших нетронутых ястребков, и с неожиданным проворством влез в автомобиль. Офицеры вытянулись во фронт. Появились еще две машины. В них быстро вскочили офицеры свиты, в том числе хауптман Домбровский, и уехали за генералом.

— Старый офицер,— сказал вслед Гёнке конвойный.— Сорок пять лет в строю».

Я перевел все врачу. Он заволновался:

— Тебя же могут повесить,.. вернутся и повесят.

Я пожал плечами: подождут. Поблизости нет ни одного дерева и ворот нигде нет. На чем вешать?

10. ОПАСНАЯ БАНЯ. «ЗИМНЕЕ ОБМУНДИРОВАНИЕ»

Майор тяжело переживал плен. Дома у него остались жена и трое детишек. Он опасался, что с ними поступят как с членами семьи «врага народа». В том, что мы победим, майор не сомневался. Слишком велика Россия, неисчерпаемы ее ресурсы. На нашей стороне могучая Англия со всеми колониями и доминионами, ее флот, а значит, и все французские колонии. Рано или поздно Германию возьмут за горло тисками блокады. Только бы ей не успеть подобраться к нашим кладовым... Не везде же такой бардак, как на этом фронте...

Когда Фёрстер убедился, что от майора, пожилого, истощенного человека на строительстве толку мало, он разрешил ему оставаться в зоне в качестве врача. Но никаких медикаментов ему не дали, только немного бинтов, марли, йода для лечения пустяковых производственных царапин и, как майор ни просил, указывая на простудные заболевания и желудочные расстройства, никаких лекарств не добавили; только утром во время развода Фёрстер торжественно вручил майору... термометр.

А фронт гремел в осязаемой близости. От немцев я узнал, что мы находимся в городе Чудово поблизости от реки Волхов. На той стороне ее — наши. Может быть, до них всего километров пятнадцать...

Немцы вокруг производили впечатление очень доверчивых людей, и я решил попытать счастья.

Действительно, пока я шел по шоссе, никто не обращал на меня внимание: мало ли пленных по мелким поручениям так ходили?

Но уже на окраине меня задержали. Я начал уверять, что послан за столярным инструментом, который может случайно оказаться в покинутых домах (в одном из них меня захватили; заметили, что я в него вошел, надеялся переждать до вечера, а в темноте уже выйти за город).

Задержали меня, по-моему, швабы: они разговаривали на жутком диалекте. Швабы стали спрашивать, откуда я, из какого лагеря. Я ответил, что из маленького и имел неосторожность

сказать; что из «рабочей роты доктора Фёрстера». «Мои товарищи,— добавил я,— трудятся недалеко отсюда (до них было немногим больше километра). Тогда один из солдат проконвоировал меня до моих товарищей и там сдал охраннику, даже не заметившему моего отсутствия. Перед уходом вдруг шваб схватился и спросил мою фамилию. Я назвал ему первую, пришедшую в голову.

Вскоре на утренней поверке лейтенант подозвал меня и сказал, что ему доложили, что я пытался бежать. Я, конечно, сделал удивленные глаза. Фёрстер поморщился и кинул: «Проверю».

Через день он сообщил, что произошло недоразумение и назвал фамилию, которую я ляпнул швабу. Такого у нас в роте не числилось.

Загрохотала канонада. Над головами понеслись «штукасы» и уже на следующий день по шоссе бесконечной вереницей потянулись колонны свежих пленных, с Волхова. Немцы форсировали его и устремились к Тихвину.

Пленные двигались в сопровождении жиденького конвоя. Мы из-за проволоки, окружавшей нашу зону, смотрели на товарищей по несчастью. Мне показалось, они шагают чересчур бодро: неужели думают, что идут в рай?!

Грохнул выстрел. Один пленный вдруг выскочил из рядов с криком «За Родину! За Сталина!», ударил конвойного и сбил его с ног. Но никто из пленных не пошевелился, не поддержал бунтаря. Второй конвоир его тут же убил выстрелом в упор. Колонна, которой не виделось конца, продолжала движение.

На утреннем разводе пленный украинец Гончаренко выступил из строя с бумажкой в руках и попросил перевести ее Фёрстеру. Карл и Франц стали разбирать написанное и, наконец, перевели.

Бедняга писал, что ему «очень нравится немецкая власть», что он «всей душой предан Гитлеру», что «очень хорошо, что немцы пришли наводить порядок» и так далее.

Фёрстер терпеливо слушал, потом спросил: чего он хочет?

Гончаренко ответил, что он просит, чтоб ему «за преданность» давали хотя бы лишний черпак баланды.

— Пусть работает,— скривился Фёрстер,— пусть в работе покажет преданность. На этом политический разговор о баланде закончился.

Уже через пару дней после плена я познакомился со вшами. В тех условиях говорить о какой-либо гигиене не приходилось. Умывались снегом. А многие вообще не пытались даже смыть

с лиц налипавшую коростой грязь. Вши быстро переходили от одного к другому.

В «рабочей роте» все были вшивыми. На двести с лишним человек во дворе красовался всего один ржавый сосковый умывальник. Когда на утренних разводах пленные заговаривали о бане, немцы отмахивались: успеется. Где они сами мылись,— не знаю. Конечно, в соседних дворах за зоной, где размещались оккупанты, были колодцы, а у немцев имелись большие тазы, изъятые у местных жителей или привезенные из райха.

Карл и Франц жили с немцами и только по недоразумению еще носили наши шинели. Правда, вскоре на рукавах у них появились широкие белые повязки с германским орлом и надписью: «Им динст дер дойчен вермахт» (На службе немецких вооруженных сил). Оба «фольксдойча» свободно гуляли по городу и нередко от них пахло винным перегаром. Оба получали полный немецкий рацион. Увы, солдаты чаще давали нам покурить, не говоря о каком-либо кусочке хлеба, чем наши «волгари». Они избегали разговоров с нами. Единственное, что мне удалось как-то выведать от Франца, когда поблизости не было Карла, это информацию о том, что мы еще живем очень хорошо. В больших лагерях в конце шоссе и возле железной дороги кормят куда хуже, бьют и убивают на каждом шагу.

Франц опасливо оглядывался: «Там тысячи содержатся как скоты. Там охрана бьет палками, плетками, чем попало. Там каждый день умирает тридцать-сорок пленных. У вас еще рай».

Шла к концу третья неделя пребывания в этом «раю», когда нас всех построили и повели куда-то к центру.

Прошли мимо складских построек возле железной дороги, на которой пытели паровозы. На деревянных настилах и платформах, у насыпи — везде под окрики и ругань конвоиров и полицаев-пленных работали бывшие красноармейцы. Даже за те считанные минуты, что мы их видели, я заметил плетни, мелькавшие над спинами истощенных работяг.

— Видишь,— сказал мне, шагавший рядом ефрейтор из взвода Фёрстера.— Как обращаются с вашими товарищами. (Мне кажется, он не одобрял такого отношения).

Завернув в боковую улицу, мы подошли к большому деревянному барaku. Нас построили. Длинный, как жердь, фельдфебель вышел на крылечко: «Есть ли тут жиди или цигайнер?»

Кто-то из рядов за всех ответил: «Нет. Кто был, тех давно расстреляли».

— Крош,— одобрил фельдфебель,— но ми будем смотреть. Все во мне замерло. Часы моей жизни отстукивали послед-

ние минуты... Я понимал: рано или поздно, это должно было случиться.

Нас загнали в большое помещение; оно сразу стало тесным, когда его заполнили двести с лишним человек.

В этом огромном предбаннике, кроме дверей, в которые мы вошли, были еще две. Одна напротив входной вела в моечную, другая справа от входа в дальнем конце предбанника открывала маленькую комнатку, в которой за столом сидел санитарный фельдфебель. Войдя, мы должны были раздеться догола, подойти к фельдфебелю, который, убедившись, что перед ним не еврей, давал железный жетон, вроде номерка в гардеробе. С жетоном пленный возвращался к двери в моечную, показывал его стоящему у входа немцу и проходил в банное отделение. Перед тем как идти к фельдфебелю каждый навешивал на железное кольцо свою одежду, шинель, белье — все, кроме обуви, конечно. Вещи затем отправляли в «прожарку», в дезинфекционную камеру.

Один из сопровождавших нас конвоиров познакомил меня с молодым симпатичным немцем-санитаром, дежурившим у дверей, через которые нас ввели. Конвоир представил меня как «шаушпилера» и санитар страшно обрадовался: ему не с кем здесь было поговорить: он — начинающий музыкант, сын берлинского дирижера. Мы увлеченно затараторили об операх и опереттах... Но, вздыхая о великом искусстве, я мучительно соображал: как мне быть? Что делать?..

Толпа пленных редела. Многие уже прошли осмотр у фельдфебеля и, получив жетоны, исчезли в моечной. Я тоже разделся, но, «из приличия», поддерживал разговор с санитаром, подвывая бедра полотенцем.

Что-то следовало предпринимать — и срочно. Я извинился и отошел к длинной лавочке, где раздевались и лежала одежда. Рядом со мной оказался пожилой пленный, уже прошедший осмотр. У него была куча одежды и он с ней завозился. В тот момент, когда он повернулся спиной ко мне, я заметил на лавочке между моей и его одеждой жетон. Я быстро взял его и направился к моечной.

— Мать твою так! — выругался пожилой. — Где он?

— Верно, в щель попал (в полу действительно было множество щелей), — заметил другой пленный.

— Что ж делать? — забеспокоился пожилой.

— А чего? — хмыкнул второй, — пойдешь еще раз. Сунь ему под нос гаду свой хер. У него уж от них в глазах рябит. Пусть подавится...

Через минуту пожилой мылся со мной рядом и рассказывал о своем приключении.

Воды каждый из нас получил по одной шайке. Но и эта мойка была наслаждением. После нее мы вышли в другое помещение, где на длинных скамьях нас ожидали кучи прошедшей дезинфекцию, дымящейся паром одежды. Здесь было холодно и все поторопилось влезть в еще горячую одежду. Вшей в ней не поубавилось...

На прощанье сопровождавший нас унтер бросил фельдфебелю: «Я же тебе говорил, что жидов у нас нет. Мог и не осматривать».

На что фельдфебель хмуро ответил: «Динст ист динст» (Служба есть служба.)

Опасность миновала, и я шагал в зону куда бодрее, чем в баню. Мимо шагали немцы, гнали пленных, но гражданское население отсутствовало. Или его успели эвакуировать, или выселили немцы, или оно само разбрелось по окрестностям в поисках пропитания?..

— Тихвин взят, — доложил мне конвоир, — двадцать четыре тысячи захватили в плен только при форсировании Волхова. Поверь, Алекс, скоро падет Москва — и конец войне.

Я вздохнул.

— Фюрер уже готовит условия капитуляции для Сталина. Фюрер...

Перед сном я тихонько поделился своими сомнениями о божественном предназначении фюрера с майором, хотя заодно считал нужным сообщить о падении Тихвина.

Врач посоветовал мне быть поосторожнее в общении с немецкими солдатами и пленными.

— Что Россию они возьмут, в это я не верю, — добавил он, — но беды наделают и они, и наши. Мы уже не жильцы на этом свете.

— Почему?

— Кто побывал в плену — считается изменником.

— Да разве я рвался в плен, разве я перебежчик?

— Все равно, — грустно констатировал собеседник. — Никого это не интересует. Поверь, наши расправятся с нами, если захватят, не хуже немцев, а то еще почище.

— Чепуха, — зашпел я. — Какне мы изменники? Только и ждем часа, чтоб улигнуть.

— Ну, ты уж, — зашептал майор, — молчи. Дай Бог, целыми останься.

Ночью, помимо наружной охраны, у проволочного ограждения и у подбоя проволочных же ворот, внутри нашего двух-

этажного барака также дежурят немцы и, если надо выйти на двор по нужде, а все мы, ослабленные, выбегаем часто, обязательно нужно спросить у дежурящих. Один из них — на лестничной площадке второго этажа, другой — под ним, на первом. Они следят, чтоб выходили только по одному, максимум — по двое, один — с первого этажа, другой — со второго.

Всю ночь слышно, как топают по лестнице.

Большинство нас на втором этаже: часть первого занята канцелярией. В конце коридора второго этажа в крайнем отсеке пять человек. Верно, все из одной части. Держатся всегда вместе. Делятся друг с другом каждой крошкой и сигаркой и с заметным уважением относятся к одному из своих товарищей, молчаливому пленному лет тридцати-тридцати трех. У него еще не совсем зажила раненая рука. Почти ежедневно майор делает ему перевязки. На работе товарищи делают за него все, а когда поблизости оказывается немец-надсмотрщик, они стараются отвлечь его, чтобы тот не заметил неработающего. Про себя я думаю, что это их бывший командир, ротный или взводный.

Как-то вечером один из крайнего отсека позвал меня.

— Слушай внимательно,— сказал тот, кто был явно старшим.— Мы не верим ни Карлу, ни Францу, сам понимаешь... Завтра утром (он указал на одного из товарищей) он подойдет к лейтенанту и скажет, что должен сообщить важное дело. И попросит тебя перевести: лейтенант сам видит, что ты переводишь лучше и вернее, чем эти. Чтоб ты был в курсе дела: мы знаем, где Красная Армия оставила запасы теплых вещей на зиму, всякие склады в разных местах; мы, каждый из нас, знает такие места,— и вот, если нам дадут машины и немцев провожаемых, мы поедem, укажем эти места, погрузим все, что там есть, а то с каждым днем холоднее, и привезем. Понял?

— Понял,— кивнул я, еще не совсем догадываясь, что они задумали.

— Твое дело — все перевести и убедить лейтенанта, чтоб нам поверил. А пока помалкивай. Мы хотим нашим помочь, а то вот лежим мерзнем на полу.

Утром, после того как я перевел заявление пленных, Фёрстер задержал их после развода.

Пленные убедительно доказывали, что медлить нельзя, иначе все окончательно заметет снегом. А тут продувает насквозь с полу и через стены. Я заметил, что Фёрстера больше всего заинтересовали упоминания о полушубках, шапках и валенках. Про себя я был уверен, что если б товарищи действительно пре-

поднесли обещанный подарок фашистам, те бы нам ничего не дали, кроме разве самых плохих шинелей или портянок.

— А где эти запасы сложены?— Фёрстер вынул планшет и извлек из него карту...

Пленные стали наперебой тыкать в нее пальцами и лейтенант лишний раз убедился, что русские солдаты не умеют по ней ориентироваться, а потому остается только поверить и положиться на их память и умение ориентироваться без карт.

— Добираться не меньше суток, а то чуть больше, дороги больно плохие,— добавил старший,— но не пожалееете.

Я в точности все перевел и, думается, Фёрстер поверил. Он оставил товарищей в зоне, рассчитывая, если потребуется, еще расспросить их о складах с зимним обмундированием. Когда мы остались одни, я спросил: «А мне нельзя с вами поехать? Давайте поеду. Пригожусь».

— Что ты пригодишься, в этом мы не сомневаемся,— сказал старший,— но, если ты начнешь проситься и мы согласимся тебя взять, они сразу заподозрят неладное и вообще никого не пустят.

11. КРУГ ЗНАКОМСТВ РАСШИРЯЕТСЯ

На другой день после развода на двух машинах пятеро пленных в сопровождении унтера и трех солдат, не считая немецководителей, отправились за зимним обмундированием.

В ожидании их возвращения Фёрстер вздумал сделать перепись всех военнопленных и каждый получил фанерную бирку с номером, которую привязал к пуговице или крючку шинели на груди. В толстую тетрадь, лежавшую на столе в канцелярии, записали фамилию и имя каждого, национальность, рабочую специальность и порядковый номер. Все со слов. Хотя, объясняя свое знание языка, я при первой встрече с Фёрстером упомянул, что отец у меня немецкого происхождения, а мать русская, но при переписи указал национальность — русский.

Фёрстер поднял белесые брови, но я поспешил объяснить, что так записан в паспорте, у меня брат тоже в армии, а потому я должен нести крест со всем народом. Если же меня запишут немцем, то завтра же могут мобилизовать.

Лейтенант ничего не возразил, кивнул, и унтер дал мне фанерку с номером 178. В толстой тетради записали: «Александр Штефанов».

Поблизости от нас расквартировали молодых здоровенных юношей лет восемнадцать—девятнадцать в рыхих шинелях,

ботинках и обмотках. Это оказались выпускники немецких школ, отработывавшие трудовую повинность («Арбайтсдинст»). Сперва мы плотничали вместе, устанавливая стропила на каком-то сарае. Им не терпелось узнать, что думают русские о войне, о Германии, о ее победе. Несмотря на запрет (за ними следил строгий надзиратель), они сами пытались заговорить с пленными. Некоторые были на редкость грубыми, свысока глядели на нас, подсмеивались. Но были и другие. Один из них, заметив, что я владею немецким, тихо спросил: как я думаю, когда кончится война?

Я ответил, что не скоро: Россия велика и с нами Англия.

Боязливо оглянувшись, юноша кивнул головой: «Мне отец то же самое говорил. А как ты относишься к истреблению евреев?»

Я отвечал, что вся жизнь на земле от Бога и уничтожать какой-нибудь народ никто не имеет права.

— Ты уж извини,— добавил я,— но это не по-божески.

— У меня в школе в первом классе был товарищ,— зашептал немец,— еврей. Мы очень дружили. А теперь нельзя. Их увезли. Но я думаю, что скоро война кончится. Фюрер обещал...

Я посмотрел в его открытые, немного грустные глаза:

— Знаешь, я всей душой желаю тебе остаться живым после этой бойни, увидеть своих родных и убедиться, что ваш фюрер все-таки не Бог. Ты меня понимаешь?..

Он испуганно взглянул на меня и согласно кивнул: «Я верю в Бога».

— Это хорошо. Может быть, вера удержит тебя от жестокости, которую Бог никогда не прощает.

Как-то на окраине мы ремонтировали маленький, похожий на конуру домик для одного немецкого майора. Он был каким-то комендантом, чего — не знаю. Мы делали крыльцо. А когда закончили, майор позвал меня с товарищем в комнату и показал, чтоб мы навешивали на стенку «картины».

Он был карликом, этот ариец, худенький с лысой маленькой желтой головой, напоминавшей, простите, голову члена, с маленькими бледно-синими глазками на сморщенном личике с немного выдающейся вперед нижней челюстью дегенерата. Ходил он, словно подпрыгивая, говорил визгливым тонким голоском и при этом заметно любовался собой и, чувствовалось, восхищался собственным умом.

Он не знал, что я понимаю по-немецки, а потому с наслаждением обзывал нас на редкость вульгарными прозвищами. Видно, ему доставлял удовольствие сам процесс такой руготни. Улыбаясь и, заглядывая в лицо, он ласково, похихикивая, обзы-

вал нас «свинособаками» (швайнехунде), дураками, ослами и так далее. При этом умильное выражение не сходило с его лица: он сознавал свое превосходство над «низшей расой».

Руководя «художественным оформлением» своей конуры, он подавал вырезку из журнала или фотокарточку и указывал, где ее нужно прикрепить.

— Дас ист криг, — лукаво улыбался он, показывая предназначенные для украшения стенки огромные порнографические снимки. — Аус Франкрайх. (Из Франции).

Обложив подобными иллюстрациями буквально всю стенку, он вздохнул и на остававшемся месте приказал поместить маленькую фотографию своей семьи: «Унд дас ист фриден» (а это мир) — пояснил карлик, тыча на свою «фрау» и «тохтер».

Вообще меня поражало у многих немцев сочетание способности восхищаться и смаковать свои похождения во французских борделях и, демонстрируя порнографические открытки, одновременно с нежными вздохами показывать фото своих жен и детей.

Несмотря на попытки Фёрстера подкармливать свою «рабочую роту» среди пленных, особенно старших по возрасту, начались заболевания. Врач-майор почти ежедневно просил Фёрстера хоть как-то улучшить питание. Но лейтенант только разводил руками и, если пленный, даже очень хороший рабочий, болел трое суток, на четвертые его отправляли в лазарет общего большого лагеря, где, все знали, еще хуже.

На работе мне постоянно приходилось говорить по-немецки. Товарищи — чуть что — просили перевести, а то и просто тащили немца к тому месту, где работал я и требовали объяснить что-либо и я поневоле много общался с немцами. От них при этом часто перепадало и мне и товарищам, курево и немного хлеба или еще чего из питания, что являлось отнюдь не лишним в нашем рационе.

Обычно, вступая со мной в беседу, немцы предупреждали, что мне не надо работать («ду браухст нихт арбайтен»), за что я всегда выговаривал отдых и для товарищей.

Немцев удивляло не только мое знание языка. Жалкие попытки проверить мои знания в литературе, истории и в других языках кончались позорным крахом «экзаменаторов». Я просто-душно отвечал, что артист должен быть культурным. Я — сын слесаря и домохозяйки, простых людей. У нас все могут получить образование.

Немцы припоминали, что самые лучшие здания, которые они видели в селах и городах — школы.

О Ленине говорили тихонько, но почтительно и нередко в

разговорах проскальзывали мнения, что если б он не умер, войны бы, возможно, не было.

— Я был раньше коммунистом,— случалось мне слышать тихие признания немца,— я всегда верил в вашу страну, что у вас тут земной рай. Я переходил границу — вот (и он сжимал кулак в приветствии Рот Фронт). Но когда я увидел ваши колхозы, увидел, как вы живете, я сказал: «Хайль Гитлер!» Россию довести до такой нищеты могли только большевики и потому вы проиграли войну.

— Война еще не кончена.

— У вас уже женщины воюют, не хватает мужчин. Только под Вязьмой взято в плен больше семисот тысяч солдат и офицеров, а под Киевом, Минском, Смоленском... И начиналось длинное перечисление.

Я не верил в эти цифры, но меня грызло сознание, что все могло быть иначе, если б наши руководители не доверились Гитлеру.

— Конечно,— рассуждал я,— в первый день войны они уничтожили тьму нашей техники, сумели на несколько недель дезорганизовать наши войска, если б не внезапность нападения, не зашли б они так далеко, не был бы я в плену.

Однако я начал замечать, что мои слова, пусть очень осторожные, о нашей жизни, которую я сознательно приукрашивал, о возможности всем учиться, о том, что наша сила не в захваченных оккупантами районах, а за Уралом, о том, что война будет долгой — все это не пропадало даром. Немцы прислушались. Им твердили, что в СССР сплошь необразованные люди, а тут сын слесаря из далекого сибирского города такой дока!.. Да и мысли о бесконечных просторах России не обещали скорого окончания войны...

Впервые разговаривая с немцем, я делал вид, что порой забываю слова, в глаголах часто пользовался инфинитивом (неопределенной формой), чтобы не ошарашивать собеседника парадоксальным знанием языка. Когда он привыкал, я мог говорить свободно. Но, на всякий случай, не забывал «вдруг забыть» слово, особенно, если мне требовалось время, чтобы собраться с мыслями или остерегался слишком «обострять ситуацию».

Очевидно, я как-то научился держаться так, что вызывал долю уважения и никто не сомневался, что мне двадцать три года, что я «человек с положением» — артист.

А газеты трубили о новых успехах вермахта, о скором крахе Советской власти.

Я не верил в полководческий дар Сталина, но в его желез-

ную жестокою волю верил. А она, думалось, не позволит пойти на позорный мир с врагом.

Между тем, уехавшие за зимним обмундированием немцы тихо вернулись... без обмундирования и без наших товарищей... Один ефрейтор по секрету сообщил мне, что русские завезли «камраден» в дикую глушь, разоружили, сломали машины, а сами скрылись в лесах. Немцы были рады, что хоть в живых остались.

Через несколько дней на утреннем разводе Фёрстер через Карла объявил, что группа пленных обманула его доверие и убсжала. Если в течение десяти дней беглецов не найдут, то будут расстреляны десять пленных из рабочей роты. «По закону надо сорок, — уточнил Фёрстер, — но руководствуясь соображениями гуманности, мы расстреляем десять, по жребью».

Что это за «жребий» никто не знал. Но, как ни странно, сообщение лейтенанта не произвело угнетающего впечатления, даже немного приободрило: значит, есть среди нас решительные люди и побег — не мечта.

Врач-майор попросил перевести его в общий лагерь. Фёрстер согласился. Прощаясь, майор сказал мне, что надеется в большом лагерном лазарете быть хозяином, распоряжаться вопросами питания и получать с кухни военнопленных все, что захочет. Меня немного покорибило от этой откровенности. Но врач там своими знаниями мог спасти много жизней, а здесь несмотря на жалкий дополнительный черпачок со взводной кухни у него тоже начинались голодные отеки ног.

И вдруг во взводе Фёрстера началась суета. Поспешные сборы. Утренний развод прошел без Фёрстера. К вечеру нас привели в зону и, сопровождавший солдат из охраны шепнул мне: «Алес гуте, Алекс, вир цшэн нах Тихвин» (Всего хорошего, Алекс, мы отправляемся в Тихвин).

В нижнем этаже дверь, отделявшая отсеки пленных от канцелярии, оказалась открытой. Я заглянул в канцелярию. Никого. Горела печь. На столе лежала толстая тетрадь — список пленных. Я бросил ее в огонь.

За проволокой отзвучали слова команды. Взвод Фёрстера ушел.

12. СМЕНА ОХРАНЫ. ПРОРОЧЕСТВО РАЙЗЕНА

К своему ужасу, выйдя поздно вечером по нужде, я увидел на верхней лестничной площадке незнакомого унтер-офицера с ог-

ромной светящейся бляхой на груди: «Фельджандармери». (Полевая жандармерия).

Не желая вступать в разговор, я знаками показал, что мне нужно вниз, и толстяк унтер, попыхивая сигаретой, добродушно кивнул: «Гей!» (Иди!)

Но, когда я возвращался, он тронул меня за плечо: «Бист ду рускис?» (Ты русский?)

Я кивнул.

— Фон во бист ду? (Откуда ты?)

— Ленинград.

Видимо, толстяк изнывал от скуки: «Ви хайст ду? Дайн на-мэ?» (Как тебя зовут? Твое имя?)

— Александр.

В это время подошел пленный и, как я минуту назад, знаками показал, что ему нужно вниз. Унтер закивал и я уже хотел завернуть в коридор, когда вышел еще один товарищ и, обращаясь ко мне, попросил: «Скажи ему, что мне тоже нужно по нужде. Я быстро»,— и остановился в ожидании.

Унтер, поймав его взгляд, перевел глаза на меня: «Вас хат эр гезагт?» (Что он сказал?)

Делать вид, что я не понимаю, было глупо: «Эр виль аух нах уnten». (Он тоже хочет вниз...),— примитивно перевел я.

— Гут,— кивнул жандарм и обратился ко мне: «Ду шприхст дойч?» (Ты говоришь по-немецки?). «Варт маль» (Погоди),— и он протянул мне сигарету.— Раухст ду? (Ты куришь?).

— Данкешён (Спасибо).

Так я познакомился с унтер-офицером Райзенем. Ему было пятьдесят лет. Разговорились. Меня поразила его откровенность и я сказал ему об этом.

Райзен усмехнулся:

— С русским можно быть откровеннее, чем со своим товарищем. Если русский вздумает донести, ему никто не поверит. Да и выгодно ли это будет русскому?— и он процитировал выражение короля Фридриха Великого: «Их либе ден феррат унд хассе ден ферретер» (Я люблю предательство и ненавижу предателя).

И раньше я слышал от немцев весьма скептические отзывы о «юденполитик» (еврейской политике); звучало в них сочувствие, недоумение, а то и возмущение истреблением целого народа. Но то, что мне сообщил Райзен, превосходило все ранее услышанное.

Вкратце поинтересовавшись, кто я (Фёрстер перед отъездом сообщил, что есть военнопленный Алекс, владеющий языком),

Райзен выложил мне не только свою биографию, но и сокровеннейшие мысли.

До прихода Гитлера к власти Райзен работал кельнером в ресторане, который содержал еврей. Райзену жилось хорошо и он искренне уважал хозяина и его семью. Все в ней честно трудилось и по-человечески относились к обслуге. Когда хозяева уехали, Райзен с трудом прискал работу. В нем не было ни капли антисемитизма, он до глубины души возмущался зверствами гитлеровцев и (первый раз я услышал!) ненавидел Гитлера, не верил ему и его клике и — это было в первых числах ноября сорок первого (!) заявил: «Ты увидишь, мы переживем такое поражение, что Версаль по сравнению с этим покажется пустяком». Райзен осуждал и немцев, и жителей Польши и Прибалтики, расправлявшихся зверски с евреями по призыву гитлеровцев.

До прихода фюрера к власти Райзен чувствовал себя спокойнее. Здесь он ощущал себя одиноким среди нынешних «камраден» (товарищей). Он предупредил, что с ними нужно вести себя осторожно, не обольщаться улыбками и похлопыванием по плечу, и вкратце охарактеризовал, называя по именам, жандармов его взвода.

Я был поражен. В двухчасовой ночной беседе жандарм открыл мне много интересного, волновавшего меня. Так я узнал, что в первую мировую войну русские сражались куда хуже, чем теперь (а я-то думал, что раньше бились по-настоящему...); Райзен сам тогда был на русском фронте; что сейчас немцы стали проще, общительнее, несмотря на запреты, в контактах с населением, даже менее заносчивы (какими же они были в восемнадцатом году, когда оккупировали Украину?!)

— Как?— удивлялся я,— выходит, Красная Армия сражается лучше, чем царская, на которую не напали врасплох?! Но, конечно, наши кадровые части у границы бились лучше, чем мы?

Райзен покачал головой: «Сейчас русские совсем другие. Вы под Лугой, Новгородом, Шимское дрались упорнее, чем в Прибалтике, чем в Западной Украине, чем под Минском. Чем дальше мы продвигаемся, тем ожесточеннее сопротивление.

— А Тихвин?— не выдержал я.

— Это все временно. Помяни мои слова: «Весь немецкий народ поплатится за это безумие (и он повторил сказанное о неизбежности катастрофического поражения).

Вероятно, он действительно никому не мог довериться, что его так «прорвало» в беседе со мной.

Я уже собирался уйти (во время разговора раза два опять

спускался по нужде), когда пришла смена караула и Райзен представил меня обер-фельдфебелю Руди Нойману, стройному светловолосому красавцу двадцати восьми лет с маленькими желтыми усиками над верхней губой. Завязалось еще одно знакомство. В эту ночь я не сомкнул глаз, зато, кроме пачки сигарет, смог также поделиться с товарищами двухсотграммовым трофейным брикетом пшенной каши, угощением Руди. Товарищи сварили ее, разведя пожиже, и мы, по тем понятиям, замечательно позавтракали, разделив на восьмерых.

За сутки общения с Райзеном и его сослуживцами я больше узнал о немцах и положении вещей вокруг нас, чем за все время пребывания в «рабочей роте», где общаться с охраной не разрешалось и отдельные разговоры носили случайный характер, были короткими, отрывочными.

Увы, я узнал, что полувзвод жандармерии, сменивший охрану Фёрстера, через день-другой передаст всех нас в общий лагерь военнопленных. Жандармы от меня не скрывали ужасов этого огромного «чистилища», где свирепствуют полицаи из пленных (?!), избивая своих недавних товарищей по оружию плетьюми.

Один из жандармов, поражаясь жестокости, сообщил, что некоторые, особенно ретивые полицаи, не довольствуясь плетками, стали к ним на концы прикреплять пули. После избивания такими плетьюми некоторые становились калеками; выбивали глаза. «Одного, «особо отличившегося» полицая мы вынуждены были сами расстрелять,— рассказывал немец,— а другим на строго запретили цеплять на плетки пули. Такое отношение друг к другу унижает русских в наших глазах».

А доносничество?! Жандармов поражала эпидемия предательства и угодничества среди населения и пленных.

— Стучалось, не успеет стать на квартиры, как приходят с улыбочками, докладывают: а у вашей хозяйки сын в Красной Армии, а у соседа жена еврейка или коммунистка. И сколько при этом ложных доносов! Сведения личных счетов!— качал головой жандарм.— Мы бы мимо прошли, «не заметили», но ваши многие земляки стараются поскорее донести, так что и невинные страдают. Очевидно, это их ГПУ при Сталине научило.

Что я мог возразить! Только разделял удивление немцев.

В «рабочей роте» такого не наблюдалось. Немцы с презрением смотрели на пленных, выпрашивавших докурить со словами «Гитлер гут. Сталин капут. Россия капут», а то и с робким приподниманием руки в фашистском приветствии со словами «Хайль Гитлер». Нет, за такое с меня бы лишней шкуры не сод-

рали: ни разу ни при каких обстоятельствах не мог я позволить себе ни этого жеста, ни этих слов.

На утреннем разводе жандармский унтер Войчек объяснил на невообразимой смеси чешского и русскообразного языков, что всех нас переведут в большой лагерь, откуда отправят в Германию. Конвоиров из частей, явившихся за «рабочей силой», предупредили, что на следующий день они должны будут брать ее уже из большого лагеря.

Немцы порядком разленились и, помня обещание фюрера, что после победоносной войны никто из них не будет заниматься физическим трудом, заставляли все делать пленных — таскать воду, пилить и колоть дрова, чистить картошку, стирать, мыть полы, подметать... Почти половина «рабочей роты» столяров, плотников и прочих «фахлэйте» (специалистов) занималась «бытовым обслуживанием» господ...

Меня на работу не вывели. Руди Нойман завел меня в канцелярию, где сидели штабсфельдфебели Клостермайер и Керкенмайер.

— Нам доложили, что ты хорошо владеешь немецким, — улыбнулся первый из них, видимо, исполнявший обязанности цугфюрера (командира взвода) или полувзвода. — В большом лагере есть свои переводчики («дольмечер»), а мы должны сейчас поехать поближе к Ленинграду (у меня под сердцем екнуло). Там мы будем заниматься своей прямой обязанностью: мы ведь только громко называемся «фельджандармери АОК зехцейн» (Полевая жандармерия верховного командования шестнадцатой армии. Была также дивизионная полевая жандармерия). В мирное время мы — городские полицейские, регулировщики уличного движения. И здесь наш взвод так и числится «регелунгоферкер» («регулировка движения»), — и он сделал руками два-три жеста, знакомых каждому, кто видел милиционера на перекрестке.

— Так вот, — продолжал Клостермайер, — мы возьмем тебя с собой. Будешь воду таскать, пилить дрова, а при случае, переводить. Мы же с хозяевами объясняться не умеем. Они считают, что мы глупые, что по-русски не научились, а мы считаем, что они такие же, потому что по-немецки «нитшево» не понимают. Будешь помогать Ивану. У нас уже один Иван есть. Но пилить ему одному неудобно, просить всегда кого-то — тоже неловко. А становиться немцу пилить в паре с военнопленным — и вовсе неприлично. Так вот, ты будешь с Иваном (как все немцы, штабсфельд делал ударение на первом слоге имени, произнося «Иван»). Понял? Не удосуживаясь спросить моего согласия,

заклучил Клостермайер,— баню и медосмотр ты прошел, нам Фёрстер все сказал, мы все знаем. Можешь идти».

Слово «жандарм» меня пугало, вселяло подозрительность и настороженность. Но эти люди, ей-ей, показались мне не хуже остальных. Ненавидя, я в душе признавал, что, если откинуть принадлежность к враждебной стороне, среди них много глубоко порядочных, в силу принуждения служащих в армии Гитлера. Но... криг ист криг (война есть война), а враг есть враг и даже самое ласковое обращение не могло заставить меня доверять или сочувствовать им, хотя внешне свою враждебность я никогда не выказывал.

На следующее утро после уборки обонх этажей (сюда должны были вселиться немецкие солдаты (то-то вшей наберут!) «рабочую роту» повели в общий лагерь. Несколько человек разобрали по своим кухням отдельные постоянные клиенты Фёрстера. Карл и Франц в составе его взвода уехали в Тихвин, а меня посадили в кузов грузовика, где уже находились кражистый пленный с широким грубым лицом, молчаливый Иван, и еще три жандарма.

13. ЖАНДАРМЫ

Машина тронулась. Начался новый этап моего пребывания в плену. Жандармы знали, что я — чисто русский (я понял, что они считают это чем-то само собой разумеющимся). Я и сам чувствовал себя увереннее, чем в первый месяц. Однако по-прежнему каждое новое знакомство с немцем или своим братом пленным настораживали и неизвестно чем могли кончиться. Но... пока Бог миловал. В рабочей роте евреев не встречалось (разве тот командир, который, обманув Фёрстера, сумел убежать со своими бойцами, когда «поехал за зимним обмундированием»). А может быть и нет. Как-то хауптман Хофман прислал трех «кавказцев-инженеров», но Фёрстер, глянув на них, а все они были типичными евреями, сказал, что у него для них работы нет. Все они были в штатской одежде, из беженцев, очевидно. Покормив «специалистов» из нашего котла, лейтенант отправил их обратно. Я понял, что он не хочет «пачкать руки». Многие офицеры так делали, передавая подлежащих уничтожению от одного к другому, пока жертвы не попадали в лапы эсэсовцев или каких-нибудь более жестоких и пунктуальных исполнителей воли фюрера.

Я подал Ивану руку. На мой вопрос: давно ли он в плену, он буркнул что-то неразборчивое и я сообразил, что чем мень-

ше с ним общаться,— тем лучше. А ухо надо держать востро: ох, как много «бдительных» среди молчунов!..

Носатый и чернявый унтер-офицер Турехт, рейнландец, если б не его «партайабцайхен» (не помню уже, серебряный или золотой значок, свидетельствовавший о давнишней принадлежности к нацистской партии), мог бы вполне сойти за типичного еврея. Если б по иронии судьбы рейнландец без немецкой формы попал в плен к немцам, они бы его сразу расстреляли как еврея. Конечно, Турехту никто не смел даже шепнуть о таком варианте. И как обычно в подобных случаях, кто похож ненавидит похожего. Турехт ненавидел всех евреев. Ненавидел, как он считал, глубоко сознательно — за Маркса, за Моисея, за Ротшильда, за Христа, за всех без исключения. Евреи, убеждал меня Турехт,— создатели Советской власти, только они при ней хорошо жили, оглуляя подобных мне, наивных русских.

— О-о, их кенне ди хунде («О-о, я знаю собак!»). Канст мир айнен юдэн драй километр вайт мит дем рюкен хинштеллен, их эркене ден хунд! (Можешь еврея поставить ко мне спиной за три километра — я узнаю собаку),— и он начинал расписывать приметы «проклятых евреев», а копировать их ему ничего не стоило, благо сходство его с ними облегчало задачу. Приписывал он к «иудейским вырожденкам» и президента США Рузвельта и президента Чехословакии Бенеша.

Но более горячего Турехта меня поразили его спутники, оберфельдфебели Рёр и Гофман. Первый — типичный арнец, высокий блондин лет тридцати, второй — лет сорока-сорока пяти, жилистый, такой же высокий, но в противовес ясноглазому Рёру, с какими-то серыми волосами и серым же, притушенным взглядом небольших глаз, глубоко посаженных по сторонам тонкого ястребиного носа.

Эти двое не были столь словоохотливы, как рейнландец, хотя всем своим видом и сочувственными поддакиваниями выражали полное согласие с Турехтом. Последний, выпучив огромные чернильно-синие глаза, и жестикулируя, описывал вред, чинимый евреями человечеству. И вот, когда Турехт чуть не задохнулся от собственных эмоций, негромко заговорил Гофман. В подтверждение истинности своих слов он в качестве свидетеля указал на Рёра.

— Вот этой самой рукой,— Гофман слегка отставил правую руку,— в Польше я сам вот этим кинжалом (рука легла на кинжальный штык) убил десять евреев. Они стреляли до последнего патрона, а затем мы набросились на них. Меня не смутило, что среди них были две женщины. Я их всех поразил. Рёр (он кивнул на товарища) пожалел тех, кого я не доколот кинжа-

лом, и пристрелил их. Ни один еврей не уходил и не уйдет от меня.

Кровь стыла от подобных откровений. Я не пытался расспрашивать о подробностях. Я только не мог понять оснований этой звериной ненависти. Я только слушал.

Гофман мне сразу не понравился: он чем-то походил на киевского гэлзушника, который 2 февраля 1938 года руководил «акцией по обезвреживанию врагов народа», и, когда дядю Бориса, ни в чем неповинного старого ученого, уводили, и дядя сказал мне: «Помни, что я ни в чем не виновен», грубо дернул его за рукав: «Хватит! Иди!— и не разрешил даже выпить чашку чая: «Там дадут!..» Такое же серое сухое лицо, такие же свинцовые, глубоко посаженные глаза. Мне почему-то подумалось, что тот был марафетчиком, во всяком случае, я такими представлял их.

А Рёр был красив и в нервных чертах его лица не угадывалась печать жестокости. Высокомерия — да. Он походил на изображение средневековых рыцарей на иллюстрациях к «Айвенго».

Иван за время пути не проронил ни слова. Прислонясь к высокому борту головой — в брезент покрытия, он подремывал, изредка приоткрывая заспанные глаза. Но чуть мы приехали, он моментально оживился, проворно первый соскочил через борт грузовика, опустил маленькую железную лесенку и поставил плечо кряхтящему Гофману. Затем Рёру, Турехту. Потом стал быстро выгружать из кузова их вещи. И тут он впервые заговорил: «На. Бери. Держи. Быстрей. Осторожно. Опускай»,— приказывал он мне, подавая ранцы, какие-то картонные коробки, мешки.

Подошел Клостермайер и указал, в каких домах размещаться. Он приехал немного раньше.

14. ВОКРУГ ЭСЭСОВЦЫ. ЗНАТОК ИЗ ПСКОВА

Мы находились в огромном поселке, перерезанном двумя дорогами, шоссейной и железной. Соответственно и поселок как бы делился на две части, железнодорожную и... не железнодорожную. Возле шоссе стояли дома, избы, где расположились жандармы. По обеим сторонам шоссе дома в основном были одноэтажные и почти все деревянные. Справа чуть впереди на пути к центральному перекрестку белела, отступившая немного от шоссе, каменная церковь. В ней, по-видимому, располагался эсэсовский госпиталь. Перед церковью вся площадь рябила березовыми крестами с касками на немецких могилах. «Фюр фю-

пер унд фатерлянд гефаллен», — красовалась надпись. (Пал за фюрера и отчизну).

По узким обочинам дороги, скользя на плотно утоптанном снегу, проходили подтянутые бодрые эсэсовцы с серебряными «эсэс» на черных петлицах и маленькими металлическими изображениями мертвой головы на черных же пилотках. Эсэсовцы в знак приветствия резко выбрасывали правую руку вперед. От них не слышалось «гутен таг» или «гутен морген» при встрече, а только «хайль Гитлер». Весь поселок был густо начинен этой гитлеровской гвардией. В Тосно стояла бригада эсэс. Обычных пехотинцев попадалось мало.

Я находился еще под впечатлением откровений Турехта и Гофмана. Райзен в ночной беседе предупредил меня об этих фанатиках. Но... такого я не ожидал.

Внезапно затарахтели скорострельные зенитки, пулеметы, винтовки: над шоссе на бреющем полете, чуть не задевая за провода и низкие крыши, летел наш разведчик. Летел медленно. Вокруг него искрились трассирующие пули. С нами рядом шипели в снегу осколки от бесполезно стрелявших скорострельных «квакушек»: они не могли достать самолет на такой высоте. Когда он пролетал над нами, я видел сидящего в открытой кабине летчика в шлеме. В северной стороне поселка самолет взвился за лесом.

Немцы и Иван стояли под навесом, а я — у крылечка и только случайно не погиб от осколков.

Так как настоящей полевой кухни не было (она находилась в Чудово, где располагалось командование роты жандармов), пищу ежедневно на машине привозили сюда в канистрах, а здесь подогревали в летней кухне во дворе. Обязанности повара выполнял пожилой обер-ефрейтор с на редкость безразличным выражением лица и на редкость скупой. Он сразу заявил, что из их котла ничего не сможет уделить «русским»; пусть обходятся своими двумястами граммами хлеба и, если достанут, кониной, которую иногда смеют предлагать немцам.

Клостермайер не стал спорить: обойдемся. И тут я заметил, что Иван обменялся с поваром чем-то вроде улыбки. Она чуть заискрилась и сразу погасла. Повар буркнул, что я должен буду помогать Ивану пилить дрова. Ивана поселили в чулане домика, где расположились повар, шофер, еще несколько жандармов.

Мне отвели тоже чулан через два дома. Чулан был холодный, но запирался снаружи крепким засовом. Жандармы устроились в жилых комнатах, а в кухне — хозяйева, старик и старуха, ворчливые, сразу предупредившие, чтоб я поскорее из-

базился от вшей (это старик заявил по догадке, зная, что без них пленные не обходятся). Под одной крышей со мной ночевали Турехт, Рёр, Гофман, а во второй половине дома — штабс-фельдфебели Клостермайер, Керкенмайер и Салоמו, между прочим, все трое очень приветливые, частенько угощавшие меня и куревом и, реже, миниатюрными бутербродами. То, что большинство жандармов было «в чинах» не ниже унтер-офицера, ефрейторы были редкостью, объяснялось характером их службы: нередкой необходимостью делать замечания, а то и арестовывать или задерживать старших по званию. Жандармы имели право проверять документы у любого, кто им покажется подозрительным. Делать замечания жандарму на посту имел право офицер в чине не ниже майора. А снимать жандарма с поста мог, не считая непосредственного начальства, только генерал.

Не только у нас, но и у немцев, известных своей пунктуальностью, приказы издавали не всегда своевременно. Полувзвод регелунгсферкер должен был навести порядок на шоссе, где из-за потока беженцев затруднялось движение немецкого транспорта. Жандармы должны были указывать беженцам, чтоб те следовали не по шоссе, а по параллельным улицам, а за пределами Тосно — по проселочным дорогам.

Но к тому времени, когда полувзвод прибыл на место, поток беженцев давно иссяк и жандармам оставалось только выделять постовых, в конце поселка, в сторону Любани, и на центральный перекресток — дежурного регулировщика. Его сменяли каждые два часа. Клостермайер приказал, чтобы, напилив дров, я также отправлялся за дежурным постовым: а вдруг ему понадобится что-либо перевести.

В первый раз со мной шли унтер-офицер Летцель и фельдфебель (он получил первую звездочку на погон) Войчек. Последнего я уже немного знал. Небольшого роста бойкий весельчак, худенький, юркий и, видимо, большой бабник, он ежеминутно вспоминал «веселую Францию» и проституток всех мастей.

Летцелю, старейшему в роте, было далеко за пятьдесят. На лице его, полуприкрытом огромными толстыми очками (унтер был дико близорук) виднелись шрамы от рапир или шпаг. Я ошибочно заключил, что он когда-то принадлежал к студенческой корпорации. Это подтвердилось. Летцель двигался медленно, тяжело, и говорил так же, хриловатым голосом роняя увесистые слова. Оба считали своим долгом просветить меня в отношении величия фюрера и справедливости войны. А так как я, не решаясь спорить с первым положением, не был убежден в правильности второго, оба объясняли мне «еврейскую опас-

ность» и основы арийского взгляда на жизнь. Оба вздыхали о своих верных женах и со вкусом рисовали недавние картины разгула во французских домах терпимости.

Не уверен, что Летцель закончил университет, но его познания в истории, а он преподавал в начальных классах, поражали своей ограниченностью. Не лучше обстояло дело и с литературой. Но зато унтер-офицер знал наизусть тьму порнографических поэм, не уступавших знаменитому «Луке Мудищеву» Баркова, таких же сальных стихотворений, песенок, куплетов, анекдотов. Репертуар жандарма был воистину неисчерпаемым. Рассказывал он весь этот пестрый хрестоматийный набор с видимым удовольствием, но лицо оставалось безразличным, а голос звучал ровно, будто сообщал о чем-то вполне официальном и ординарном. Отказать ему в мастерстве было невозможно. Войчек покатывался со смеху. Я многого не понимал, так как ни в каких курсах не могли числиться некоторые слова и выражения, рожденные фольклором особого толка. Память на всю эту похабщину у Летцеля была отличная.

Морозило. Дойдя до перекрестка, Летцель и Войчек распределили обязанности. Первый остался на перекрестке, благо никакого движения по шоссе не было, а старик зашел со мной погреться в угловой дом. В нем внизу уже грелись немцы. При виде пленного они вытаращили глаза, но Летцель успокоил их: «Этот русский при полевой жандармерии и говорит по-немецки».

Вдруг все вскочили с криком «Хайль!». Летцель и я не поднялись. Вошедший не обратил на нас внимания.

Это был лейтенант лет тридцати пяти, худощавый, с крупными чертами несколько утонченного интеллигентного лица. На ногах его были не сапоги, мне запомнилось, а ботинки и, плотно облегавшие худые икры кожаные краги, отчего ноги казались еще тоньше.

Лейтенант зашел погреться. При нем разговоры смолкли. С рассеянным видом он уставился на меня: «Рускис?»

Я встал и кивнул головой.

— Почему он здесь сидит? — поинтересовался вошедший. — Вместе с нашими солдатами русскому находиться не положено.

— Парень у нас при взводе полевой жандармерии главкомандования шестнадцатой армии («АОК зэхцэйн»), — вмешался Летцель. — Он проверен, работает при кухне и говорит по-немецки.

— Почему ты мне об этом сразу не сказал? — поинтересовался лейтенант.

— Вы не спрашивали об этом.

Последовали обычные вопросы. Лейтенант, выяснил, что я

читал Гёте, Шиллера, Тика, Гордера и Кернера, вдруг с необычным любопытством спросил: что мне известно о Гумбольдте.

Я улыбнулся и ответил, что имя великого немецкого путешественника и естествоиспытателя мне знакомо: он вместе с русскими учеными, насколько помню, занимался исследованиями также на Урале. Я читал о нем.

Лейтенант с довольным видом расстегнул шинель, достал из внутреннего кармана кителя и показал мне визитную карточку: «Доктор (имя не запомнил) фон Гумбольдт».

Я поднял на него удивленные глаза: «Вы — потомок знаменитого Александра фон Гумбольдта?»

Да, это был его правнук. Вероятно, в моем взгляде отразилось такое недоумение, что Гумбольдт спросил: чему я поражаюсь.

Я не нашелся, что ответить: у меня в голове не укладывалось: потомок великого ученого, гуманиста... и среди эсэс?..

Лейтенант, вероятно, прочитал мои мысли. Он усмехнулся, сказал «Криг ист криг» (Война есть война), отошел к печке, погрел озябшие руки и вышел. После того я издали еще раз видел его на улице.

Это было Тосно. На указателе у перекрестка стояло: «Ленинград. 51 километр». Тут же были другие указатели: «Шапки», «Любань», «Ушаки», а перпендикулярно шоссе — стрелки с надписями «Мга», «Банхоф» (Вокзал), «Ортскомендатур». (Местная комендатура). Комендантом был майор эсэс Краузе. Его имя даже немцы произносили с боязнью. О жестокости Краузе только тихонько шептались. Если уж сами эсэсовцы боялись коменданта, то местные жители — подавно. Рассказы вали, что сразу после занятия Тосно он приказал всех жителей выселить из домов, так как эсэсовцы не имеют права жить под одной крышей с русскими. Те только должны обслуживать цвет немецкого войска. Жители домов, занятых эсэсовцами переселились в другие кварталы или в плохие дома, не приглянувшиеся оккупантам, а также в бани.

На обратном пути Войчек начал ругать эсэсовцев за их высокомерие и глупость. Войчек был из судетских немцев и, возможно, этим объяснялось его недовольство. А Летцель, держа меня под руку, чтобы не поскользнуться и не упасть, умиленно расписывал как прост фюрер, как он демократичен. «Однажды, — вздыхал унтер, — мне довелось быть в охранении станции, когда приехал фюрер». Затем он начал плести о фюрере, об энтузиазме и так далее. Все сводилось к тому, что фюреру захотелось помочиться. Каким-то родом будущий глава райха отошел в сторонку и очутился возле Летцеля, где и справил

свою нужду, совсем рядышком от обезумевшего от счастья жандарма. При этом несколько капель мочи попало на шинель Летцеля.

Тут я не выдержал: «Если б он какнул на вас, вы бы еще больше обрадовались?»— Войчек прыснул, а Летцель заметил, что как бы ни был образован русский, говорить с ним о высоких материях бесполезно.

Каждую ночь Тосно бомбили. Старались попасть в товарные поезда, склады, станционные постройки. Они располагались недалеко от шоссе, потому что грохот разрывов оглушал, и ветхие дома, и замороженная земля вздрагивали.

После одного ночного налета Керкенмайер пошел со мной на перекресток. Когда мы проходили возле церкви, то обратили внимание на большую толпу эсэсовцев у дома напротив. Возле него ночью упала бомба. Стену начисто выломило, открыв одну из комнат, как витрину.

На высокой крестьянской кровати всем на обозрение лежали убитые осколками, молодая женщина, а на ней эсэсовец без штанов.

Керкенмайер плюнул — и мы двинулись дальше. Говорили затем, что муж отказался хоронить жену. А ведь эсэсовцам, как, впрочем, всем оккупантам, запрещалось даже сидеть за одним столом с русскими...

У перекрестка, рядом с огромной воронкой от бомбы, стоял двухэтажный деревянный дом. На верхнем этаже жила семья местного рабочего железнодорожника — жена, тетя Мария, как я ее называл, девочка лет пятнадцати и двое малышей. Квартира находилась в невыгодном месте: днем и ночью сюда без спроса заходили погреться немцы из проходящих или проезжающих частей и все, кому только вздумается.

Керкенмайер тоже не был исключением, как и его товарищи. Видя, как я в своих ботинках приплясываю на месте от холода, жандарм разрешил мне зайти к этим людям погреться. Я у них бывал и до этого. Мать порой угощала меня вкуснящей горячей лепешкой из картофельной шелухи. Каждое утро Иван выдавал мне двухсотграммовый кусочек пресного немецкого хлеба (болтали, будто в его составе древесина) и несколько граммов маргарина, который я с голодухи принял сперва за масло. Вечерами в кухне у хозяев я готовил себе пшеничную кашу из выдаваемого мне красноармейского брикета, распределяя его на четыре дня. Понятно, разводил пожиже, чтоб обмануть желудок. Случались прибавки. С некоторых пор жандармам стали выдавать сырую конину, а так как некоторые из них считали ее несъедобной (вскоре убедились в своей ошибке!), то сперва от-

давали свои порции Ивану и мне. Иван пропускал конину через мясорубку, солил и этому научил меня. Сырая конина оказалась очень вкусной. По-прежнему мы почти не общались друг с другом. Он без моей помощи объяснялся со своим шефом, который считался поваром и весь день ничего не делал. Иногда жандармы, получив посылки из райха, или где-нибудь раздобыв что-либо посущественнее горохового супа, которым их потчевал повар, вообще не брали обеда и тогда мы с Иваном съедали по полному котелку, а я, если предстояло отправляться к пере-крестку, брал еще котелок с собой для «тети Марии».

Как-то, зайдя к ним погреться, я услышал коверканую русскую речь. Слова выговаривались правильно, но очень уж книжному и с сильным акцентом.

В комнате я увидел пожилого обер-ефрейтора, беседовавшего с Марией. Он пристально поглядел на меня и начал расспрашивать. Мне показалось необычным его назойливое любопытство. Оно было настойчивым и пронизано недоверием. Он интересовался и моим немецким языком, а я старался при нем «забывать» побольше слов и предпочитал отвечать по-русски. Когда я спросил его, из какой он части, обер-ефрейтор ответил, что из комендатуры Пскова. Это меня еще больше обеспокоило. Всякий немец, говоривший по-русски, был для меня опасен. Не говоря о том, что в нем жила профессиональная зависть к тому, как я владею немецким, он мог за моей спиной выведывать у русских обо мне. А некоторых «смущали» успевшие отрасли мои выющиеся волосы, почему я предпочитал поменьше снимать пилотку. Правда, усы у меня были светлые, выгоревшие. Но... этот обер-ефрейтор казался чересчур дотошным.

И вдруг он спросил: не жил ли я в Киеве?

Я спокойно ответил, что много слышал об этом красивом городе, но посетить его не довелось.

— А ты говоришь по-немецки, как киевские немцы,— сказал, пристально глядя мне в глаза обер-ефрейтор.— Ты знаешь как ми много жидов расстрелял в Псков (он сказал «Псков», хотя немцы всегда называли этот город «Плескау»). Ты не из Киев ли жид?

Хорошо, что во время этого диалога мы оказались в комнате одна: тетя Мария с детьми обедали в кухне.

Я сделал безразличное лицо и заметил, что не понимаю, откуда у него подобные мысли. Он поднялся со стула и, продолжая глядеть на меня в упор, продолжал: «Да, мне кажется, что ты жид. Можит бить я ошибаюсь, но мне так кажитесь».

В этот момент раздался голос Керкенмайера: «Алекс!»— и я стремительно покинул обер-ефрейтора. В душе царило смяте-

ние: никогда я еще не сталкивался с таким знатоком. Недаром он в комендатуре... Так оставлять это подозрение нельзя. Он же непременно затеет проверку — и мне конец.

— Отогрелся? — спросил Керкенмайер.

— Спасибо, — и повернувшись к штабс-фельдфебелю, чуть ли не со слезами на глазах от обиды, едва сдерживая справедливое возмущение, я спросил: «Похож я на еврея?»

Керкенмайер вынул изо рта мундштук, вытащил из него недокурную сигарету и протянул мне: «С чего ты это взял?»

— Там наверху, — объяснил я, — обер-ефрейтор сказал, что я говорю по-немецки с еврейским акцентом, что я похож на еврея. Я, господин штабс-фельдфебель, ничего не имею против евреев, это не мое дело, но в роду у меня их нет, по-еврейски я не знаю ни слова (это сущая правда). За что же меня так оскорбляют? Разве мало того, что я пленный?

— Где этот обер-ефрейтор!? — вскипел Керкенмайер. — Как он смеет?!

В это время из дома вышел обер-ефрейтор и козырнул штабс-фельдфебелю.

— Подойдите-ка сюда! — загремел жандарм. — Вы что это себе позволяете?! Вы что думаете, что полевая жандармерия не знает, кого она держит у себя?! Подозрительных мы не держим. Вы что это вздумали оскорблять полевую жандармерию?! Да как вы смеее такое даже говорить проверенному русскому пленному?! Да Алекса тысячу раз проверяли! (Когда???)...

Напрасно обер-ефрейтор попытался открыть рот со словами: «Мне показалось...» — взбешенный Керкенмайер обругал его и велел бежать бегом. Тут я впервые увидел то, что называлось в вермахте «экзерцирен» (обучать строевой службе).

Подобно хлопкам бича дрессировщика следовали отрывистые приказания: «Хинлеген» (Ложись!), «Ауфштейн» (Встать!), «Хинлеген!», «Ауфштейн!», «Ляуфэн!» (Бегом!), «Штильштанд!» (Смирно!), «Ляуфен!», «Хинлеген!»... В течение минут десяти потный, задыхающийся обер-ефрейтор бежал по глубокому снегу. (Жандарм указал, где ему следует «экзерцирен»), валился в снег, вскакивал, полз, снова вскакивал, застывал по команде «смирно!» и вновь бежал, вскакивал, ложился, полз...

Наконец, Керкенмайер, еще раз обругав обер-ефрейтора и предупредив, чтоб он не смел так плохо думать о жандармах, не смел даже пытаться позорить их мундир, отпустил представителя комендатуры Пскова и тот, еле волоча ноги, не в силах побороть одышку, поплелся прочь.

— Собака! — выругался вслед штабс-фельд. — Ему кругом снятся евреи. Их уже давно здесь истребили, а он все ищет.

Как-то на посту стоял Бёре, маленький черненький обер-ефрейтор, отчаянно ненавидевший евреев. Вдруг я издали заметил, что к нему приближается женщина-беженка, явно еврейка, с санками, в которых сидит закутанный маленький ребенок.

— Боже! Неужели сейчас этот гаденыш с ними расправится?!

Женщина сама подошла к жандарму и стала с ним объясняться. Я видел как Бёре с недовольным видом что-то объяснял женщине, жестикулировал и показал ей обходную дорогу, параллельную шоссе. Женщина уехала.

Когда она скрылась, Бёре подозвал меня.

— Знаешь, кто это была?

— Беженка.

— Жидовка!— Бёре фыркал, как пёс, понюхавший кошачью задницу.— Самая настоящая!

— Не может быть! Вовсе не похожа.

— Кто больше знает? Я или ты?.. Я мог ее сдать в комендатуру — таков приказ. Но... не захотел мазаться. Указал обходный путь, может быть, не попадет на глаза нашему второму посту.

Вероятно, беженка «не попала на глаза», иначе бы жандармы проговорились. Но куда она пошла дальше, где могла найти убежище? С ребенком?..

15. КТО ПЕРВЫЙ ПОПАДЕТ В РУССКОГО! РЕЧЬ ФЮРЕРА

В определенной степени жандармы мне доверяли. Нередко поручали отнести без конвоя обед с кухни кому-либо из своих товарищей, расположившихся через улицу, а то отнести грязное белье в стирку какой-нибудь женщине, подрабатывающей на жизнь, так как платили хлебом и другими продуктами. Доверие становилось все заметнее, судя по удлинявшимся маршрутам моих бесконвойных «прогулок», хотя на предложение нацепить повязку «им динст дер дойчен вермахт» (на службе немецкого вермахта) я ответил отказом. Клостермайер поморщился, но штабс-фельдфебели Керкенмайер и Саломо решили, что пленный не обязан носить повязку с изображением немецкого орла и свастики. К сожалению, из-за этого русского нельзя расконвоировать. Но... раз не хочет — его дело. Русский есть русский.

Я понимал, что повязка могла облегчить возможность побега, но носить на рукаве шинели проклятый «хакенкройц» (свастику) я не мог, как не мог сказать «Хайль Гитлер» и прочие выражения из немецкого арсенала. На обычное немецкое при-

ветствие «Хайль!» я постоянно отвечал «гутен таг» или «гутен абенд» (добрый день или добрый вечер). Это заставляло немцев считать меня честным человеком.

Когда я, случалось, один шел по центральному шоссе, никто меня не задерживал, не обращал внимания: пленный не был сенсацией.

Как-то с грузом белья я возвращался по одной из улиц. Вдруг возле чиркнула пуля, грохнул выстрел, за ним — другой. Понимая, что могут стрелять только немцы, я громко выругался на чистейшем «солдатском диалекте». И тотчас услышал: «Химмель, арш унд волькенбрух!» (Буквально: Небо, жопа и разрыв туч). «Ком хэр ланцер!» (Подойди сюда, земляк).

Кричали вблизи (как они меня не подстрелили?!). В шагах сорока от меня стояла кучка подвыпивших солдат.

Я подошел.

— Ты почему так странно одет?

— Потому что я русский.

— Хо! Русскис?! Но ты отлично ругаешься по-нашему. У тебя роскошный выговор. Ты при какой части?

— При полевой жандармерии АОК — 16.

— Вот комедия! — засмеялись немцы. — А мы смотрим — идет русский. Дай-ка проверим, кто лучше стреляет, кто первый в него попадет. Но мы же не думали, что ты так хорошо говоришь по-немецки!

Один из солдат вытащил из кармана бутылку: «Пей!»

Это были санитарные ефрейторы из госпиталя, потому-то они и не попали. Служители гуманизма оказались плохими стрелками, не то что солдаты полевых частей вермахта.

Как-то тетя Мария сообщила, что в конце поселка на дереве эсэсовцы повесили советского шпиона. Они увидели подозрительного человека, вертевшегося возле их полевой кухни; решили, что он хочет бросить в котел отраву и тут же повесили незнакомца.

Он висит во-он там, — указала Мария в отдаленный южный конец поселка, — страшный такой. Язык висит синий. Сам рыжий. Но не наш житель.

— Тетя Мария, а партизаны тут где-нибудь водятся или водились?

Женщина огляделась и зашептала, что сейчас о них не слышно, но в лесах должны быть. Там по селам немцев мало, больше тут, у шоссе, у железной дороги. А там должны быть. Были. «Вот и этот рыжий, видать, из лесу вышел», — заключила она.

Мне не верилось, что так просто мог прийти сюда отравитель. Скорее всего эсэсовцы в силу своей подозрительности вздернули какого-нибудь голодного беженца, искавшего что бы поесть возле их кухни. А может быть?..

Я с тоской вглядывался в черный массив леса, поднимавшийся сразу за поселком. Меня тянуло туда. Там бы я не ждал каждую минуту разоблачения. Там я мог бы довериться товарищам-партизанам. Мы все — дети смерти. Вместе бы стояли за себя, за Родину. А ведь это значит — за себя.

Я был уверен, что дорога из леса к шоссе не может хорошо охраняться. По ней движения нет. Изредка проедут одинокая машина или сани.

Как назло, беженцев, которых жандармы должны были отваживать от главной дороги, не показывалось и спросить было не у кого. С Иваном вступать в разговоры я не хотел. Хорошо отзываясь о нем, жандармы подчеркивали, что «эр ист айн юберлэйфер» (перебежчик), по убеждениям перешедший к ним, потому что его семью раскулачили.

А в ушах все звучало на каждом шагу «Хайль Гитлер» да «Хайль Гитлер». Что ж это за личность, чьим именем даже приветствуют друг друга при встрече? Я попросил Войчека достать мне почитать речь фюрера, произнесенную им недавно в честь нацистского праздника 9 ноября. Войчек принес газету, предупредив, чтоб я никому не показывал, так как мне не позволено читать такое, но прочитав, я пойму все величие фюрера.

Я прочел и поразился. На самые гнусные человеческие инстинкты «бил» этот оратор. Речь явно выполняла задачу полнейшего оглушения и без того задуренных людей. Чувствовалось, что фюрер любит себя, отпускает выражения, рассчитанные на дешевенький обывательский вкус, не падкую до красивых пустых фраз молодежь. Гитлер на каждом шагу подчеркивал, что Бог избрал его своим орудием, Бог доверил ему судьбу народа и он «обещает своему народу, который вручил ему свою судьбу», «что он предвидит», «знает», «утверждает», «ручается» и так далее. Гитлер обещал, что к Новому году «Ленинград падет, как спелое яблоко», что «Ленинград вымрет от голода», что «война вскорости победоносно закончится».

«Кто же виновник войны?» — вопрошал фюрер и отвечал. — «Юдэн унд масонен» (евреи и масоны). Следовали тирады против Рузвельта и американцев, восхваление японцев.

Речь была рассчитана на солдафонов. Она была пространной, но живые и глубокие мысли в ней отсутствовали. Обещания. Ругань. Дешевый пафос. Набор пустых трескучих фраз.

Я вернул газету с явно разочарованным видом: не ожидал, что во главе немецкого народа такой фюрер.

— Главное ты увидел, кто виновник всех бед,— заметил Войчек.— Юдэн унд масонен.

— Я в этом не уверен. Ведь у вас же самих капитализм.

Войчек попытался объяснить, что фюрер борется против капитализма, что фюрер за рабочих, что он вождь национал-социалистической рабочей партии, а не фашистов.

— Боже мой! Кто только не спекулировал названиями и понятиями «рабочих» и «рабочих партий»?!

— Тебе, впрочем, это трудно понять,— заключил Войчек.— Вы, русские, плохо разбираетесь в политике. Я вспомнил известную картину немецкого художника «Ди дорфполитикер» («Деревенские политики») и понимающе улыбнулся.

— Читал речь фюрера?— спросил меня вскоре Райзен.— Только честно.

— Мне сдается, при благоприятном стечении обстоятельств из Гитлера мог бы выйти максимум дивизионный генерал. Ни кругозора, ни ума, ни чего бы то ни было исключительного.

— И такой вершит миллионами жизней,— гадливо сморщился Райзен.— Вот до чего мы дошли. Пустобрех. А народ — стадо.

Необъяснимо, как целый народ мог поддаться явно посредственному самовлюбленному гаеру?!

Жандармы оборудовали себе «притчен» (нары, вроде деревянных кроватей), на них постелили большие мешки, набитые соломой; сколотили столы. Устроились. Вечерами карбидные лампы позволяли им допоздна играть в карты или читать свои журналы со всякими сенсациями или «цванцигпфеннигроманы» (двадцатипфениговые романы), ходкое чтиво. Иван в своем закутке также соорудил себе топчан, достал мешок, набил соломой.

Из меня плотник не получился. Но особых способностей, чтобы на четыре чурбака настелить старую дверь, валявшуюся возле сарая, не требовалось. Мешка для соломы не нашлось. Но хозяйка с чердака кинула мне кучу старого тряпья. Его я постелил и им укрывался. Особенно грело маленькое детское одеяльце — единственный по-настоящему мягкий предмет, напоминавший о других временах...

Ночью, зарывшись в тряпье, я долго согревал его своим дыханием. Каждый ночной выход по нужде, требовавший вызова часового — и так, чтобы никого не разбудить — был неприятностью. Конечно, «согревали» вши, особенно свирепствовавшие по ночам.

Но вот жандармы приказали соседним хозяевам, у которых во дворе была баня, истопить ее. После фельдфебелей всех рангов со своим поваром пошел в баню Иван, чему я обрадовался, так как опасался мыться вместе с ним. Его угрюмый подозрительный взгляд я не раз ловил на себе. Побаивался я и других, хотя вечером в бане мысли при свете плошки. Яркого освещения я по понятным причинам, будучи в раздетом виде, опасался.

Одним словом, когда мойка подходила к концу я вошел в баню с Летцелем. Старый похабник и знаток расовой теории задался благородной целью воспитать меня в нацистском духе, а потому часто вел со мной «разъяснительную работу». Надо отдать унтеру должное: он знал куда лучше меня еврейские обычаи, праздники, обряды. Я обо всем этом, честно говоря, не имел понятия.

В бане царила темнота. Маленькая плошка еле высветляла затуманенное паром помещение. Летцель первый разделся и вошел. Остановился в беспомощности. Без очков он совсем не видел и походил на крота.

Умываясь, он продолжал беседу о еврейском влиянии и еврейских обрядах, в том числе, об обрезании. За сим он попросил меня потереть ему спину, а потом потер спину мне.

Мы уже одевались, когда вскочил возбужденный Войчек. Быстро раздевшись, он вошел в парную, попросил нас подождать. Еще в предбаннике он, ругаясь пожаловался на свои неприятности: подрался с ээсовцами. Одного из них поколотил и теперь ждет расплаты.

Летцель захохал. Я тоже искренно выразил сочувствие.

После бани Войчек дал мне пачку сигарет и вместе с Летцелем довел до чулана, где передал на руки часовому.

На следующее утро Войчека отправили в Чудово: раз не сумел вести себя прилично вдали от начальства, пусть будет поближе к нему.

Вместо Войчека с Летцелем поселился Руди Нойман, вынужденный теперь выслушивать весь репертуар старого унтера.

16. МОЙ СПАСИТЕЛЬ — ОБЕР-ШТУРМБАНФЮРЕР ЭСЭС

Как-то во дворе мы с Иваном пилили дрова. Вдруг присматривавший за нами жандарм возгласил «Ахтунг!» («Внимание!»). Мы замерли, вытянувшись по команде «Смирно».

Небрежно кивнув головами, к нам приблизились два ээсовских офицера. Старший из них — обер-штурмбанфюрер (майор) — спросил у жандарма, не знает ли он в поселке часовщи-

ка: наручные часы у обер-штурмбанфюрера испортились.

Жандарм извинился и предложил важным посетителям взять с собой русского Алекса, хорошо владеющего немецким, чтоб разузнать в поселке о часовщике.

Так я очутился в компании с двумя офицерами эсэс. Это были люди примерно сорока лет. Второй офицер имел на один серебряный кубик в петлице меньше, видимо, капитан, хауптман, что ли. У эсэсовцев были несколько другие воинские звания, но более весомые, чем у других родов войск. Так эсэсовский майор — оберштурмбанфюрер, примерно, соответствовал подполковнику или даже полковнику других родов войск.

Офицеры решили спросить о часовщике у старосты, «бюргер-майстера».

От штатского прохожего мы узнали, где живет староста, и отправились к нему. По пути офицеры спрашивали, приходилось ли мне играть в постановках пьес Шиллера. Я соврал, что в «Заговоре Фиеско в Генуе» (эта драма действительно шла в Ленинграде) играл роль Веррины. К счастью, мои собеседники не настолько знали драму, чтобы поймать меня на слове: Веррина — возрастная крупная роль и ее бы не поручили начинающему актеру (впрочем, допустимо, что «в стране большевиков» могло и такое случиться...). Почему я назвал Веррину — не знаю. Но раз сорвалось с языка, не стал поправлять себя.

Если б не форма самых отъявленных головорезов, включая мертвые головы на пилотках, я бы ничего плохого не сказал о моих спутниках. Они были явно хорошо воспитаны, корректны, а убедившись в беседе, что я владею и французским, помоему сочувственно отнеслись к доле пленного. Они поинтересовались, сколько получал я рублей в месяц, как молодой артист. Я, конечно, хорошенько прибавил зарплату. Но она показалась им мизерной по сравнению с заработками немецких актеров.

На вопрос, играли ли мы «пропагандаштюке» (пропагандистские пьесы), я ответил, что в репертуаре преимущественно были русская и зарубежная классика. Спутники закивали головами, услышав имена Шекспира, Мольера, Гольдони, Гаупмана.

— Да, артисты всегда вне политики, — констатировал оберштурмбанфюрер. — Им все равно, что играть».

Второй офицер согласился.

На каждом шагу встречались эсэсовцы, приветствовавшие офицеров. Только и слышалось: «Хайль!», «Хайль унд зиг». (Да здравствует — и победа!).

Шли мы довольно долго, пока не остановились у домика старосты.

Навстречу нам поднялся высоченный костлявый старик с обветренным лицом, с которого на нас глядел единственный глаз.

Староста предложил нам сесть. Эсэсовцы брезгливо оглядели обую обстановку и остались стоять.

Обер-штурмбанфюрер снял с руки часы и объяснил, зачем пришел, где найти часовщика?

— Переведи им,— обратился ко мне староста.— Не надо было жиды в говне топить.

Я подумал, что ослышался. Но старик повторил и я перевел.

Обер-штурмбанфюрер поинтересовался, что значат эти слова, и староста объяснил.

Когда немцы заняли Тосно, эсэсовцы утопили часовщика-еврея в уборной. Староста неторопливо разъяснил, как беднягу окунали, вытаскивали, снова окунали, пока он окончательно не захлебнулся. Жену его, русскую, не тронули. Дочь расстреляли: очень уж лицом походила на отца.

— Так что,— заключил староста,— часовщика у нас нет, единственный был.

Офицеры переглянулись.

— Нд-а-а,— протянул, поморщившись, обер-штурмбанфюрер,— часовщика бы можно было пока оставить в живых. Перестарались.

Староста, узнав, что я актер, оживился:

— А ты смотрел кино «Дворец и крепость»?

— Конечно,— ответил я,— там же моя сестра Лида, Лидия Клейменова, играла одну из центральных ролей. Вы ее помните? Такая худенькая?

— Я там в эпизоде играл кузнеца,— тряхнул головой староста.

— Запомнились!— соврал я, хотя почти совсем не помнил фильма, а роман Ольги Форш «Одеты камнем» читал.

Все, что я говорил, я тут же переводил.

Офицеры вздыхали по поводу отсутствия часовщика, и мы вышли. Обер-штурмбанфюрер и его спутник угостили меня сигарами, позвали первого встреченного эсэсовца и приказали отвести меня, куда я укажу, к фельдшармам.

Кивнув и улынувшись на прощанье, офицеры направились своей дорогой. Эсэсовец отвел меня к жандармам.

Об этом эпизоде я бы не вспомнил, если бы...

Мои вояжи с бельем, «в стирку» и «в починку», становились обычным делом. Все чаще я ходил без конвоя довольно далеко.

Немцы часто видели меня, я уже примелькался. Если кто и задерживал, без труда удавалось объяснить, что я выполняю поручение — и не останавливали. Немецкий язык являлся волшебной палочкой, защищавшей от лишних неприятностей.

Бомбежки продолжались. В одну из ночей грохот раздался совсем близко. Наш дом так тряхнуло, что зазвенели стекла и засов соскочил с моей двери.

Наш самолет сбросил бомбы на эшелон с боеприпасами. Один за другим стали рваться вагоны со снарядами.

На несколько мгновений окрестности озарялись ослепительным красным светом, вздымался огненный столб. Гремел взрыв и с воем и свистом проносились бесчисленные осколки. Одним из них напавал убило обер-ефрейтора Бёре, стоявшего на часах неподалеку от моего чулана.

Жандармы надели каски и выскочили на улицу. Я вжался в лохмотья своего ложа. Через маленькое окошечко я видел багровые вспышки и огненные столбы. С треском при очередном взрыве вылетело стекло в моем оконце, и в чулан ворвался ледяной воздух.

— Алекс!— закричал Руди Нойман,— ты жив? Выходи.

Я откликнулся и вышел.

— Иди сюда,— поманил Руди,— здесь безопаснее.

Мы стали за домом со стороны шоссе. Клостермайер, Керкенмайер и огромный мотоциклист, унтер-офицер Шлюттер, стояли у забора. Гофман сгорбился под прикрытием ворот. Иван и еще два жандарма несли убитого Бёре к эсэсовскому лазарету. Улица ярко освещалась горящим домом, у которого хлопотали эсэсовцы. Они пытались снегом и водой загасить пожар.

Руди подошел ко мне. Я никак не мог понять, как такой симпатичный, по натуре добрый человек может служить в полиции. Ведь жандармы — это полиция. А для меня, как и для остальных моих сверстников, воспитанных в пионерии и комсомоле, слово «полиция» являлось синонимом всего самого жестокого, реакционного. Нигде в литературе я не встречал доброго слова о полицейских — царских, королевских, отечественных, зарубежных.

Окружавшие меня жандармы при мне не зверствовали и, за исключением уже известных мне фанатиков, вроде Гофмана, Турехта, Рёра, я не представлял их себе в роли палачей. Из их рассказов я знал, что они несли также охрану в лагерях военнопленных, где, как я понял, давали возможность проявить свое скотство полицейским из самих же военнопленных, а сами оставались в стороне и только следили, чтобы пленные не убежали за проволоку. Это были аккуратные немецкие службисты, вер-

ные буквы инструкции. Если жандарму поручалось регулировать уличное движение, он не вмешивался в какую-нибудь драку, не задерживал подозрительного прохожего. Если поручалось охранять дом или склад, службиста не касалось ничто, помимо непосредственной охраны. Инструкция — все. А чем меньше инструкций — тем лучше, спокойнее живется.

Полувзвод Кластермайера благополучно бездельничал, вечерами пьянствовал. Некоторые куда-то уходили с шнапсом и коньяком, и я краем уха слышал, что где-то в Тосно «гибтс люстиге вайбер». («Есть веселые женщины»).

Взрыв поезда с боеприпасами на следующее же утро и во все последующие дни привлек основную массу немцев к железнодорожной части поселка, где срочно ремонтировали станцию, пакгаузы, убрали завалы, что-то строили вновь. Даже эсэсовцев грозный Краузе заставил участвовать в разных работах.

Более половины состава поезда с боеприпасами спасли. Взорвались четыре или шесть вагонов. Остальные под страшным огнем, рискуя жизнью, отцепил и оттащил подальше, подчиняясь приказу коменданта станции, спрятавшегося в бункер, русский машинист, житель Тосно. Комендант станции вскоре получил крест за героизм.

А пока повторяю: после взрыва боеприпасов, кроме жандармов, почти все оккупанты целыми днями трудились на станции.

И тут Руди и Летцель вручили мне небольшой мешок с грязным бельем, поверх которого положили плату за стирку и починку — две буханки хлеба, несколько брикетов пшенной каши, пару пачек маргарина и мармелада — целое богатство. Не знаю, как жандармы «организовывали» себе продукты, но своей кухней они пользовались редко.

Руди объяснил, куда идти. Прачки жили далеко от шоссе, поблизости от дороги, уходившей в лес...

Был короткий зимний день и Руди предложил поторопиться, так как в сумерках мне ходить без охраны нельзя.

Думаю, любому понятно, что как бы я ни улыбался, не смеялся, не шутил, а по натуре я веселый и озорной, но на душе у меня постоянно лежал камень тревоги разоблачения. Оно, рано или поздно, должно было наступить и единственная возможность уйти от него и от постоянного ощущения опасности разоблачения, от вечного напряжения, заключалась в побеге. Мне нужно было прийти к своим, перестать быть выдуманным «Сашкой» с выдуманной биографией, с недавно придуманной себе фамилией «Ксенин» (не слишком типичная — не Иванов, Сидоров, Козлов, Степанов — и в то же время, как мне казалось, русская, благозвучная, красивая, артистическая...) мне не хоте-

лось существовать безымянным пленным, который по мнению фрицев «хорошо живет», «лучше, чем при большевиках», питается отбросами с их стола и, перебиваясь случайными сигаретами.

Не знаю, способен ли человек, не побывавший в моем положении, а таких на всем земном шаре найдутся, уверен, лишь единицы, понять, ощутить тяжесть висевшего днем и ночью над моей головой Дамоклова меча. Но я его чувствовал. Я гнал прочь мысли о том, что сделают со мной, если узнают — кто я. Это было слишком ужасно. Я понимал, что лучшие из немцев, так мирно разговаривавшие со мной, доверявшие мне, в случае разоблачения отвернутся. А такие, как Гофман, Турехт и другие фанатики постараются придумать для меня изощренную казнь. И если б после пыток и издевательств меня просто расстреляли — это было бы благом. В довершение всего я бы сдох безвестным, зарытым в каком-нибудь мусорнике. А перед тем, скорее всего, гнил в петле. Жандармы могли бы для потехи привлечь к издевательствам надо мной эсэсовцев. И все, кого я так долго водил за нос, не простили бы мне своей близорукости и с особенной яростью постарались отомстить за нее. И никто — ни Райзен, ни Руди не посмел бы заикнуться для смягчения участи обреченного на уничтожение.

Убежав в лес, найдя партизан (я полагал это не составит большого труда) я, уже зная повадки врага, мог нанести ему настоящий большой вред и, если бы пришлось вторично отдавать жизнь, она бы уже имела другую цену. И не была безвестной.

Я уже достаточно хорошо знал поселок и быстро шагал со своей ношей к его окраине. Улицы были пустынные. Никто не останавливал. Ближился вечер, окна затемнялись. С бьющимся сердцем я завернул за последний дом поселка и направился к лесу. Ни одного немца не показывалось. Ближе к лесу влево отклонялась тропинка, протоптанная в снегу, видимо, кратчайшее расстояние к крайнему домику. Я пронзительно вглядывался в чащу. Ничего. Ни шороха, ни окрика. На всякий случай, я шел посреди дороги, чтоб не возбудить подозрений. Уверенность — лучшая маскировка. Еще несколько шагов. Справа и слева от меня встали первые деревья...

— Трах! — Выстрел. «Хальт!» — и одновременно с окриком второй предупредительный выстрел. Снег посыпался с веток.

С карабинами наперевес ко мне кинулись два эсэсовца. Значит, здесь они сидели в засаде.

Услышав первый же выстрел, я сразу отругнулся по-немецки, причем, довольно замысловато, чтоб подчеркнуть свободное

владение языком. Эсэсовцы подскочили ко мне — и язык, друг мой, спас меня от немедленной расправы.

На вопрос, куда я направлялся, я ответил, что несу белье в стирку. Почему очутился за крайними домами? Я объяснил, что хотел пройти кратчайшим путем, по тропинке. Заодно я успел сообщить, что я «числюсь при полевой жандармерии АОК зэхцейн (шестнадцатой)». Но даже такое «высокое» упоминание жандармерии не произвело впечатления. Владение немецким лишь усиливало подозрения, что я неспроста сунулся в лес.

Откуда ни возьмись, вынырнули еще два эсэсовца и те, что задержали меня, приказали мне повернуть кругом и повели меня в комендатуру к майору Краузе. Я там никогда не был, но знал, что такое посещение будет последним в моей жизни.

На все доводы, что я при жандармерии, что выполнял поручение, относил белье, что меня все знают, что я уже давно тут ответом была ругань, угрозы и непрерывное подталкивание дулами карабинов в поясницу.

Явиться в таком сопровождении к жандармам, которые стояли на перекрестке, не улыбалось. Но все-таки это было бы еще наиболее сносным выходом. Полагаю, жандармы, узнав, куда я занес их белье, не погладили бы меня по головке. Эсэсовцы обязательно скажут — где меня задержали. Оправдаться будет трудно. Еще вопрос — кто сейчас на посту. Если Гофман, то наиболее легким наказанием станет отправка в общий лагерь. Если на перекрестке Руди и Летцель, я смогу отбрехаться: они мне поверят больше, чем эсэсовцам.

Я настойчиво стал требовать, чтоб меня отвели к перекрестку, где жандармы подтвердят правду моих слов.

Однако, на каждое мое слово конвоиры отвечали тычками в поясницу, руганью и окриками: «Швайген!» (Молчать!).

До перекрестка, перед которым шагов за пятьдесят влево отходила дорога к комендатуре, было уже недалеко, когда я заметил шедшего по противоположной стороне улицы обер-штурмбанфюрера, с которым искал часовщика.

— Герр обер-штурмбанфюрер! — гаркнул я.

— Швайг! — взорвался один из конвоиров, ткнув меня в спину дулом.

— Герр обер-штурмбанфюрер! — вновь позвал я. Мне нечего было терять.

И не успели конвоиры вновь меня ударить, как обер-штурмбанфюрер обернулся, и эсэсовцы с вытянутыми в приветствии руками застыли, как парковые скульптуры.

— Вэр руфт мих? (Кто меня зовет?) — спросил офицер.

— Их! (Я) — воскликнул я.— Битте коммен зи хер, зайн зи зо либенсвюрдих. (Пожалуйста, подойдите сюда, будьте так любезны).

Он подошел: «Вас ист лёс?» (В чем дело?).

Не давая открыть рта застывшим конвоирам, я затараторил насчет белья, поручения и пожаловался, что «эти двое» не дали мне его выполнить, задержали, не верят, толкают, а он, обер-штурмбанфюрер, знает, что я при полковой жандармерии АОК шестнадцатой армии и я прошу его это подтвердить и отпустить меня к «моим жандармам» на посту поблизости. Из-за этих солдат я не выполнил поручение. Одним словом, пусть он им скажет, чтоб они меня отпустили. Он же меня знает.

Все это я выстрелил по-пулеметному.

— Да, я знаю его,— сказал обер-штурмбанфюрер.— Он говорит правду. Отпустите его.

— Абэр, (Но) — открыл рот один из эсэсовцев.

— Я сказал отпустить его,— повысил голос обер-штурмбанфюрер.— Сейчас же («зофорт!»)!

— Яволь! (Так точно) — вытянулись конвоиры. И повернули кругом...

Я поблагодарил моего спасителя. Он кивнул и зашагал дальше.

Идя к перекрестку, я обернулся и встретил взгляд одного из своих мучителей, обернувшегося назад. Если б в его взгляде была пуля — она бы убила меня наповал. Откуда только такая звериная ненависть?!

На посту стоял Руди.

— Где ты так долго пропадал и почему возвращаешься с бельем?

Я объяснил, что не смог выполнить поручение и только благодаря обер-штурмбанфюреру меня отпустили, но уже невдалеке от перекрестка.

— Да, так далеко, конечно, тебе одному ходить нельзя.— Заклучил Руди.— А зря ты не хочешь надеть повязку «Им динст». (На службе)...

— Принципиально не надену.

— Ах ду дихтер Лермонтофф! (Ах ты, поэт Лермонтов!) — потрепал меня по плечу Руди (он от меня узнал, что в одно время с Пушкиным в России творил молодой Лермонтов).— Воцу зо филь романтик! (Для чего так много романтики?)

17. НАШЕЛ С КЕМ СПОРИТЬ... ДИТЯ СМЕРТИ

Хотя известий с фронтов до меня не доходило, но я чувствовал, что вермахту зимой приходится туго. Это подтверждали участвовавшие налеты нашей авиации на станцию, интенсивная канонада со стороны Ивановки, быстрое прибавление крестов на эсэсовском кладбище возле церкви. Оттуда то и дело слышались короткие залпы из карабинов: отдавали воинские почести очередным покойникам.

Верной приметой ухудшения положения вермахта было и то, что жандармы перестали выливать или отдавать нам с Иваном свои супы из кухонного котла и даже... начали есть конину, также пропуская ее через мясорубку, но помимо соли, еще приперчивая.

Тетя Марья, когда я как-то завернул к ним погреться, сказала, что в Ленинграде голод. Я не поверил, как не поверил заявлению фюрера в его ноябрьской речи. Не поверил я и пленному, с которым удалось перекинуться несколькими фразами. Он недавно попал и ждал отправки в Любань, в лагерь.

Красноармеец этот за неделю плена ни разу не брился и выглядел значительно старше меня. Я отдал ему полбрикета пшенной каши, и он с жадностью стал есть. Хлеба не оказалось. Я попросил у стоявшего поблизости Ивана, он только развел руками. Пока я разговаривал с красноармейцем, Иван не проронил ни звука. Вдруг из-за дома выбежал Гофман и набросился на конвоира: почему он позволяет русским общаться. Иван незаметно ретировался, а обер-фельдфебель накинулся на меня. Его возмущало (видимо, он давно подсматривал), что я дал пленному немного еды.

— Тебе слишком хорошо живется у нас,— шипел Гофман,— ты избаловался.

Наконец, конвоир остановил попутную машину и, сидевшие в ней солдаты обещали доставить пленного по назначению. Когда он забрался в кузов я попросил их: «Их битте зи ин гут цу бехандельн, эр ист айн гутер бурше унд дер криг ист шайсе». (Я прошу вас обращаться с ним хорошо, он хороший парень, а война говно). Последнюю фразу немцы повторяли на каждом шагу, и она вызвала у них оживление.

Гофман возмущенно сообщил подошедшему Руди о моем «недостойном поведении».

Руди рассмеялся: «А что ты хочешь от Алекса? Почему он должен плохо относиться к своему товарищу?»

— А вот Иван же знает, что можно, а что нельзя.— Нраву-учительно поднял палец Гофман.

Через день повар не дал мне брикет каши: «У тебя была каша, не надо было ее отдавать».

Я согласился: «Яволь». (Так точно).

Мысли о Ленинграде не оставляли. Неужели фюрер, чтоб ему скорее сдохнуть, говорил правду? Неужели... «вымрет от голода и, как спелое яблоко»,.. упадет к ногам немцев..? Нет!..

Я понимал, что под Москвой гитлеровцев задержали, иначе бы они трубили о своих победах. Известие о нападении японцев на Перл-Харбор и вступлении Соединенных штатов в войну еще более укрепило меня в уверенности, что Германия потерпит поражение. Но... я находился по другую сторону фронта...

Немногим гражданским, вроде тети Марии или женщин, стиравших белье, я тихонько сообщал «по секрету» о переброске сюда войск из Франции: значит, здесь дела «швах» (слабы), об ожидании новых моторизованных подкреплений. Я надеялся, что кто-нибудь да связан с каким-нибудь нашим подпольем и сможет передать «на ту сторону» или партизанам о подходе новых частей, техники, вооружении. Часто находясь на перекрестке и, слыша разговоры немцев, я располагал сведениями, которые могли принести нам пользу. Мне очень хотелось надеяться, что хоть что-то из моей «болтовни» дошло по адресу...

От жандармов я знал, что среди оккупантов процветает воровство. Тащат продукты со складов, зимнее обмундирование. В последнем ощущалась явная нехватка. Рекомендованные против русских морозов соломённые лапти, одевавшиеся поверх сапог, поражали невообразимыми размерами. В этой «обуви» можно было только стоять, подобно чучелу, но не двигаться. Жандармам выдали маленькие наушники, вроде радионаушников, одевавшиеся под пилотки. Такие же «утеплители» появились у эсэсовцев. А офицеры, приезжавшие из глубокого тыла, были в шапках-ушанках, полушубках, в настоящих бурках. Даже эсэсовские солдаты недовольно поглядывали на штабных щеголей.

Примерно через день после известия о вступлении Соединенных штатов в войну жандармы расселись по легковым машинам, в грузовике поместили свои вещи и кухонный скарб. Приказали забраться в кузов Ивану, мне, двум обер-ефрейторам и небольшая колонна двинулась в сторону Любани. Но в ней не задержались, не остановились и в Чудово, а проследовали дальше.

Жутко зябли ноги. Спасибо старикам хозяевам: они дали мне с собой ватное детское одеяльце. Я снял ботинки и завернул ноги в него. Но мороз пробирал насквозь через обмотки и штаны, забираясь под ветхий ватник и шинель.

Остановились на несколько минут в Новгороде. Вылезли. Я смотрел на мертвую снежную даль, на холмы с развалинами построек... церквей. Ни души.

Потоптались на месте. Поехали дальше. Заметил стрелку дорожного указателя: «Шимское». Дорога пошла по замерзшему деревянному настилу, вроде гати. Ехали долго. Стемнело, когда миновали поворот с указателем: «Сольцы».

Еще несколько минут... Машины остановились. Послышались приветствия.

К грузовику подошел Клостермайер. Он еще вчера прибыл сюда с пожилым лейтенантом, командиром взвода Рюманом.

Жандармов развели по домам. Ивану и мне приказали устроиться в кухне одной из изб. Кухня оказалась просторная с огромной русской печкой. Вместе с нами здесь же помещались хозяева. В остальных комнатах располагались жандармы, споря, кому лежать на хозяйских кроватях, кому — на «притче» (нары).

Мы с Иваном занялись пилкой дров.

Дома, где нас разместили, стояли на бугре. На его склоне темнели три наших танка «Т-34», намертво вмерзшие в землю. Когда? Как их подбили? Должно быть, еще осенью. А танкисты? Или и от них, как от тех, что погибли на шоссе в беспомощных броневиках, остались только обугленные фигурки?..

Мимо деловито сновали жандармы, устраиваясь на новых квартирах. Рядом с вялым Рюманом вышагивал, прогуливаясь, жилистый командир роты жандармов Нимайер, изредка вскидывая голову и на ходу отдавая короткие приказания. Во всем облике Нимайера сквозила неумолимость. Рюман производил впечатление традиционного Обломова, рыхлого и... человеческого. Прогуливаясь, Нимайер часто оглядывался, будто проверяя не подслушивает ли их кто.

Я заметил, что не только жандармы, но и другие части одновременно прибыли в Сольцы. К жандармским офицерам подошли пехотные. Пошептались и по распоряжению Нимайера жандармы освободили для других постояльцев соседний дом, а в нашем потеснились. Рюман и Клостермайер устроились в маленькой комнате в мансарде с отдельным ходом с улицы.

День был занят пилкой дров, тасканием воды для мытья жандармов и полов. К вечеру, наконец, все устроились.

В просторной кухне, где я спал с хозяйскими детьми на печке, собралась большая компания. Не обращая внимания на прижавшихся в углу хозяев с детьми, жандармы курили, пили, горланили песни, играли в карты.

Ивана повар устроил в другом доме. Я было собрался за-

лезть на печку, когда Турехт приказал срочно, он забыл сказать раньше, наполнить большие тазы для умывания и поставить внизу у печки, чтобы утром умываться не ледяной водой.

Исполнив приказание, я уже хотел ретироваться, но завязался разговор, который не мог оставить меня равнодушным.

Не стесняясь моим присутствием, Гофман, Турехт, Рёр и еще два жандарма завели речь о русских и русских пленных. Напрасно Руди пытался переменить тему. Подвыпившие жандармы вошли в раж. Особенно разошлись Гофман и Турехт. Их поражала «тупость» русских: они не понимали простейших указаний. Жандармы забывали, что для понимания нужно знать язык.

— Пока русского не толкнешь несколько раз, он не поймет, не сделает, что требуется,—поражался Турехт.

— Раса рабов,—брезгливо констатировал Гофман и, обернувшись ко мне, добавил: «Трудно себе представить, до чего доходят русские пленные?! Когда им кидают падаль, они, как звери, набрасываются на нее, вырывают друг у друга куски конины, заталкивают в рот. Мы (он кивнул на Рёра и Турехта) не раз наблюдали эту картину. Они потеряли человеческий облик. Как их считать людьми? Это свиньи».

Я не выдержал: «Свиньи не те, которые жрут от голода падаль, а те, которые доводят людей до такого состояния».

Турехт разинул рот, будто подавился, и выпучил свои чернильные глаза. Все вскочили с мест, едва не опрокинув стол.

Дрожа от ярости, Рёр бросился ко мне, сжав кулаки.

Он был на голову выше меня и, слегка наклонившись, впился глазами в мои глаза. Руди подскочил к нему и схватил его за руку. Но он отдернул ее. Рядом с Рёром стояли, переглядываясь Гофман, Турехт и еще два гостя-жандарма. Руди пытался успокоить Рёра. Не скрою, этот атлетического сложения ариец был божественно красив.

— Алкс,—выдавил наконец Рёр,—Алкс, если б ты не был беззащитным пленным, я бы тебя сейчас убил... на месте.

— Ид-а, мы, немцы, гуманны,—процедил кто-то из гостей.

— Слишком гуманны,—сухо добавил Гофман.

— Русский обнаглел,—констатировал другой гость,—он во зло использует нашу доброту.

Руди удалось как-то успокоить Рёра и усадить его опять за стол. Гости-жандармы стали прощаться. Гофман незаметно исчез.

Турехт подошел ко мне, покачал головой и промычал что-то о моем «воспитании».

Вошедший унтер-офицер Шлюттер приказал мне следовать за ним. Мы вышли во двор, к другой стороне дома.

— Что ты там наболтал?— тихонько спросил Шлюттер.

— Ничего.

— А-а, у вас, русских, все «нитшево» да «нитшево»,— буркнул унтер.— Как живешь? Нитшево. Что у тебя есть — тоже «нитшево».

За углом лестница вела в мансарду. Мы поднялись. Шлюттер постучал, отворил дверь и пропустил меня вперед.

Рюман и Клостермайер сидели на кроватях без кителей.

Рюман смерил меня усталым взглядом: «Что там у тебя произошло, Алекс?»

Я честно рассказал о происшедшем.

— О тебе уже докладывали,— вздохнул Клостермайер,— ты многое позволяешь своему языку, Алекс. Нельзя так. Ты извинился перед Турехтом и Рёром?

— Нет.

— Это лишнее,— вставил Рюман.— Жаль, конечно, что так случилось,— он вздохнул.— Ладно, Алекс, иди и..,— он поморщился,— подумай... Шлюттер, отведите его».

Во дворе Шлюттер остановился возле часового. Прикурил. Протянул мне сигарету: «Кури... Хорошо, если не доложат... Ты еще слишком молод, Алекс... Идем».

Жандармы уже укладывались спать. Я растянулся на лавке у печки: вдруг стало жарко. Шлюттер присел к столу, стал раскладывать пасьянс. Я уснул.

Ночь всегда, несмотря на бомбежки, была самым спокойным временем моей жизни в плену: день миновал, я остался неразоблаченным, живым. Немцы спят. Ночью новых встреч не бывает. Утро — другое дело. Утро — начало неизвестности нового дня. «Что день грядущий мне готовит?..»

Сольцы были наспигованы немецкими войсками. Со всех сторон доносились выкрики команды. Штатские, как везде, где хозяйничали немцы, ходили робко, согнувшись, старались быть незаметными: кто знает, что вздумается «фрицу» (это прозвище входило в обиход)? Рычали моторы. У колодцев гремели ведра. Выкрики «хайль!» перемешивались с руганью.

— Плохо ты сегодня пилишь,— упрекнул Иван.

Я не ответил, но постарался лучше войти в ритм.

— Жу-у, жу-у,— ровно запела пила.

— Хайль!— возле повара стояли два незнакомых солдата. Один из них, унтер-офицер, кивком головы пригласил жандарма в сторону. У меня что-то защемило внутри. Пила застряла. Иван выругался: «Ты сегодня еще хуже пилишь».

Что-то много он нынче говорит...

Повар приблизился: «Алекс, гей мит». (Алекс, иди с ними). Он наклонился и сам взялся за пилу.

Унтер-офицер сделал нетерпеливый жест рукой: «Ком! (Иди!»).

Оба немца вышли со мной за ворота и показали, чтоб я спустился с пригорка. Они сзади последовали за мной.

Внизу стоял крытый брезентом грузовик.

В отдалении показался Руди. Он поспешно шагал к дому.

Я крикнул: «Руди!». Но он странно глянул в мою сторону, будто с боязнью, и не остановился.

— Лёс! (Давай!) — конвоир указал на грузовик и знаком дал понять, чтоб я залез в кузов.

Второй немец пытался растолкать спавшего в кабине рядом с шофером второго унтера. Затем махнул рукой и подошел к нам. Из его разговора с товарищем я понял, что сидящий в кабине унтер безнадежно пьян и его не добудиться.

Влезли в кузов. Обер-ефрейтор посмотрел на унтера, тот кивнул, обер-ефрейтор стукнул в окошко кабины, и машина запрыгала на ухабах.

Конвоиры недружелюбно поглядывали на меня и молчали.

Мне очень хотелось узнать, куда меня везут и что значил этот внезапный отъезд. Даже взять с собой вещмешок не дали.

Надо было как-то «разговорить» спутников.

Я попытался что-то сказать по-немецки, зная, какое это производит впечатление. Но сидящий напротив сразу одернул: «Швайг маль». (Помолчи).

Такой же неудачей кончилась следующая попытка. Я чувствовал что-то неладное: только эсэсовцы в Тосно, когда вели меня в комендатуру, начисто отрезали любые попытки вступить в беседу. Но эти же — не эсэсовцы.

— Когда я играл в Ленинграде в театре,— быстро начал я, еще не зная, что буду врать дальше. Но они, мои охранники, открыв рты, не прервали,— когда я играл на сцене, мне довелось играть Фердинанда в «Коварство и любовь» Шиллера. Вы, безусловно, знаете эту вещь. Так вот...

Тут унтер-офицер не выдержал: «Ты — артист?»

— Да. А разве вы не знаете?

Разговор завязался! Во время него спутники несколько раз как-то странно переглядывались между собой.

— А ты знаешь наизусть немецкие вещи?

Я прочел балладу «Два брата» Гейне, не называя автора, «Перчатку» Шиллера. Спутники смотрели на меня широко открытыми глазами.

На дороге возникали постоянные пробки, и мы ехали черепашим темпом, поминутно останавливаясь.

— Послушай,— не выдержал во время одной из остановок обер-ефрейтор;— что ты там натворил?

Я за собой не знал ничего такого, что можно было назвать «натворил».

— Война говно,— изрек унтер,— во время войны все, даже артисты, должны держать язык за зубами.— И вдруг: «Проклятые жандармы!»...

Я начинал догадываться... Между тем, машина выехала из города и покатила по шоссе. Унтер-офицер выглянул, отвернув брезент, постучал в кабину и указал выглянувшему водителю на проезжую дорогу, уходящую в лес.

Машина убавила ход и, переваливаясь с боку на бок, выбралась на проселочную дорогу. Отъехав по мелколесью в сторону от шоссе метров двести, грузовик остановился.

Унтер-офицер подошел к водителю. Тот начал тормозить спящего унтера, но мой спутник вдруг махнул рукой: «Не надо. Не тормози. Оставайся тут, чтоб с ним чего не случилось и с машиной. А мы сами». Водитель устало кивнул, смерив меня равнодушным взглядом.

Конвоиры приказали мне выйти из кузова и идти по лесной дороге. За спиной я услышал как они шепотом переговариваются. О чем? Слов я не разобрал.

Немцы догнали меня и пошли рядом по обеим сторонам от меня. Раза два они останавливались, прислушивались, но затем опять шли дальше. По пути никто не попадался.

У небольшой опушки, с которой виднелось шоссе, повернувшись в сторону Шимского, мы остановились. Немцы снова переглянулись.

— Криг ист шайсе,— начал унтер, старший из «команды».

Я молчал. Бсжать бесполезно: лес реденький, да и что я мог сделать? Не убьют, но ранят, безусловно, и тогда добьют. Лучше сразу...

— Все-таки, что ты вчера натворил?— опять спросил унтер.

— Ей-Богу, ничего,— перекрестился я.— Не согласился с одним жандармом, что мы, русские, свиньи.

— И все?

— И все?— пожали плечами конвоиры. Унтер замысловато выругался в адрес жандармов. Подмигнул обер-ефрейтору: «А сами не захотели...»

— На,.. читай,— протянул мне унтер небольшую бумажку с печатью.

«Ден кригсгефангенен руссен Александер веген фаиндпро-

паганда ершиссен ляссен». (Военнопленного русского Александра за враждебную пропаганду расстрелять). Внизу стояла подпись командира роты полевой жандармерии главнокомандования шестнадцатой армии обер-лейтенанта Нимайера.

— Понял?

Я кивнул.

— Тебя сперва приказали повесить, но за тебя вступились и вот... Приказ есть приказ... Что будем делать?..

Так мы стояли втроем, переглядываясь. Почему-то я был спокоен: хорошо, хоть умираю русским. Так и умру по-русски, без скандала...

Конвоиры вновь переглянулись.

— Ты — дитя смерти («Кинд дес тодес»), — заговорил унтер-офицер. — Научись молчать. Понял?

Я вздохнул и улыбнулся. Что мне оставалось?..

— Ладно. Молчи. Пошли, — унтер указал в сторону шоссе. Мы подошли к нему. Оглянулись: нашей машины за поворотом не было видно.

Конвоиры начали «голосовать», пытаясь остановить мчавшиеся в сторону Шимского грузовики. Вскоре один из них остановился. Конвоиры пошептались с водителем. Тот вылез и знаком предложил мне подняться в кузов.

— Понял, — сказал на прощанье унтер. — Молчи.

Внутри сидели два солдата. Унтер и второй конвоир махнули мне рукой, сделав знак того, что нужно помалкивать и грузовик поехал.

Солдаты равнодушно оглядели меня с ног до головы, но, задав несколько вопросов, оживились. Естественно, беседа закрутилась вокруг наболевшей темы — войны и, когда она и чем кончится.

Прошли всего двое суток с тех пор как я ехал по этой же дороге в Сольцы, но сейчас ритм движения по ней стал другим.

18. «СЛЕПОЙ БАРАК». РАССТРЕЛЫ

Мы часто останавливались из-за «пробок». По обочинам валялись, еще дымящиеся машины с покареженными кузовами и оскаленными пастями разбитых радиаторов. Возле них, боязливо поглядывая на небо, хлопотали небольшие группы солдат. Нередко сквозь шум мотора слышалась оголтелая стрельба зениток. Через распахнутый брезент я заметил советский ястребок на бреющем полете, строчивший по машинам. И, чем тревожнее

выглядывали наружу мои спутники, тем теплее становилось у меня на душе. Господи! Хоть бы наши сюда прорвались!

Ехавшие со мной кляли войну, «русские дороги», «партизан», «проклятые морозы». Узнав, что я давно в плену, солдаты не поинтересовались, где я был, а только спросили, почему меня отправляют в лагерь? Я объяснил, сразу поняв, что им сказали мои конвоиры, что часть, где я был при кухне, перебазируется, и потому пленного с собой не берет. Немцы понимающе кивнули: ты знаешь язык, тебе и в лагере будет хорошо. Будешь «дольмечером» (переводчиком). Я покачал головой.

— Не хочешь?

— Не хочу.

— Почему?

— Спокойнее, когда работаешь так.

Ехали долго. Но вот остановились. Немец, сидевший в кабине с водителем, вышел, откинул брезент и сказал: «Тшудово». Затем грузовик свернул с шоссе. Остановились.

— Вылезай!— это относилось ко мне. Из маленькой будки вышел угрюмый солдат: «Что? Еще одного русского привезли?»

— Да он уже давно в плену. Его просили сдать в лагерь. Они перебазируются.

Спутники помахали мне руками и уехали. Я огляделся.

В нескольких шагах от будки за бесчисленными оградами колючей проволоки (в роте Фёрстера из нее был «забор» в один ряд...) стояли бараки. Много. Каждый, уже внутри зоны, опять-таки был огорожен колючей проволокой. Все пространство передо мной, насколько хватал глаз, было разбито на квадраты, очерченные черневшей в унылом свете сумерек колючкой.

Появившийся из будки автоматчик подошел ко мне, лениво похлопал по шинели: гранат нет? Пулемета нет?— и показал в сторону ворот из колючей проволоки: «Гей хин» (Иди туда),— и последовал за мной.

Немец у ворот отворил их. Автоматчик зевнул: заходи — и я очутился уже по другую сторону закрывшихся с морозным потрескиванием широких лагерных ворот.

Внутри ограды стоял пожилой немец с карабином. Он не обратил на меня внимания, так как смотрел в другую сторону. Я тоже повернулся туда.

Здоровый молодой полицей, из пленных, бил пожилого болезненного вида солдата. Стоявший рядом переводчик на отвратительном немецком языке объяснял часовому, что русский отлынивает от работы. Пленный же уверял, что он больной.

Полицейский лихо взмахнул плетью и, в который раз, ударил доходягу.

Не знаю, как это получилось, но с криком: «Свой — своего?! Не смей!» — я подскочил и ударом кулака сбил с ног полицая (отъелся у жандармов...).

Немец сразу же дал предупредительный выстрел в воздух. Тут я повернулся к нему и затараторил, что пленный больной и его бить нельзя.

Услышав родную речь, фриц сразу успокоился. Но на свисток упавшего полицая со всех сторон сбежались полицейские и набросились на меня. Я понял, что сопротивление бесполезно и, сбитый с ног, только прикрывал рукой затылок и лицо. Больше всего досталось моим рукам и ногам. Затем полицай общарил меня. Значительно внимательнее, чем немцы. Вытащили из кармана гимнастерки бумажник. Забрали его и все его содержимое — восемьдесят рублей, с которыми я попал в плен.

Пинками меня погнали, как я понял по окрику, в «слепой барак».

Меня ввели из одного квадратного ограждения в другое. Каждый барак стоял внутри такого квадрата. У входных и выходных проволочных ворот дежурили полицейские. Все «свои», ни одного немца.

Подгоняемый плетью, избитый, глотая струившуюся из носа кровь, я прошел через множество огороженных проволокой карре к воротам, которые, как мне показалось с первого взгляда, выходили в поле.

Это была отдельная, сравнительно большая зона, углом завешанная в поле, за которым чернел лес. Зона находилась на краю лагеря и с трех сторон ее поднимались деревянные вышки с немецкими охранниками. Внутри зоны бараков не было. Только низенькие срубы, выступавшие из снега на полметра, указывали места двух или трех бывших бараков. И внутри этих низеньких загоронок толпилась вокруг тлеющих костров серая масса пленных.

Я подошел к одному. Никто не обратил на меня внимания. Вокруг были безразличные, утомленные, ничего не выражавшие лица. Дико смотрели с них красные, слезящиеся, воспаленные глаза.

Греться возле огня пришлось недолго. Выстрел с вышки оповестил, что нужно немедленно загасить костры или затемнить так, чтобы никакой отблеск огня не был виден.

Пленные стали поспешно затапывать некоторые костры, оттаскивать от них щепки, дощечки, ветки. А вокруг оставленных костров плотной стеной сгрудились дрожавшие от холода люди, заслоняли огонь шинелями, собой, вдыхали дым, кашляли, жались друг к другу: не дай Бог нарушить затемнение. Но как ни

старались отчаявшиеся люди притемнить спасительные маленькие костры, то и дело щелкали выстрелы с вышек. Несколько пуль свистнули у меня над ухом.

У соседнего костра кто-то вскрикнул, упал. На мгновение огонь озарил площадь «слепого барака» (вся эта зона так называлась) и, корчившегося в предсмертных судорогах человека. Но не успели товарищи прикрыть своими фигурами костер, как по ним хлестнула пулеметная очередь.

Вопли огласили «слепой барак». К нам, дрожа, приткнулись несколько доходяг, отбежавших от злополучного костра. Немцы с вышек дико орали, требуя загасить костер: фрицы дико боялись налетов нашей авиации.

Один караульный спустился с вышки, согнал группу пленных от других костров и стали забрасывать первый костер снегом. Наконец, он погас.

Я стоял в числе других, наклонясь над живительным теплом тлевших у ног дровишек. Дым ел глаза. Вполголоса мне объясняли, что здесь каждую ночь творится такое... Штрафная зона... Сосед поинтересовался, за что я сюда попал. Я объяснил, что ударил полицейского.

— Так не оставят,— вздохнул сосед.— Забьют до смерти, если сам не подохнешь.

Говорили, что люди, пробывшие здесь две недели, слепли: дым выдал глаза. Поэтому барак называли «слепым». А самого барака давно нет: на дрова разобрали, как и соседний. Остатки стен занесло снегом. Теперь они даже от ветра не защищают... Раньше тут был огромный свиновозхоз. То, что мы называем бараками — это все свинарники. Теперь в них больше десяти тысяч пленных, если не двадцать.

Несмотря на едкий дым, ухитряемся дремать, опираясь на товарищей, или присаживаясь. Но лечь нельзя, можно только упасть...

Время от времени трескали выстрелы с вышек. Опять кого-нибудь убивали или ранили. Как тщательно мы не старались прикрывать тлевшие у ног головешки, но и по нашей куче два раза выстрелили и, если обошлось без жертв, то лишь по чистой случайности. Иногда караульные стреляли по кучкам пленных от скуки...

Раненые оставались на снегу до утра. До рассвета никто не заходил в зону слепого барака. Зимняя ночь в нем тянулась особенно долго.

Чуть свет у ворот зоны появились повара с ведрами баланды. Все ринулись к воротам.

Полицейские плетками наводили порядок.

Когда выстроилась очередь с котелками, касками, пустыми консервными банками, ржавыми кастрюлями, даже ночными горшками,— всем, что могло служить посудой, началась раздача завтрака.

Подняв пустую консервную банку, видно, оставшуюся после убитого, я тоже стал в очередь; съежился, как все, поднял воротнички, так как опасался быть узанным полицией.

Стоявший на раздаче ткнул мне в руку малюсенький кусочек цвелога хлеба, граммов полтора, а в банку другой тип из лагерной обслуги плюхнул какой-то жижи. Я отошел в сторонку, слил жижу и на дне банки увидел несколько крупинок. Жижа воняла керосином, но большинство жадно пило эту гадость, по ней плавали пятнышки керосина.

Сосед сообщил, что немцы при взятии Чудова захватили наши эшелоны с продовольствием. Их не успели вывезти или сжечь, а только облили бензином и керосином. Теперь фрицы скармливают нам «трофейную крупу»...

— Уж не обливали бы горючим,— пожаловался сосед.

— А ежели б хорошая крупа, нечто б она нам досталась?— встрял другой,— сами б гады сожрали.

Не дав доесть даже это подобие завтрака, полиция стали выгонять нас на работу, подхлестывая плетками.

Опять нас вели через бесчисленные ограждения вокруг свинарников к выходу из лагеря, где уже стояли в ожидании своей рабочей силы конвоиры из разных частей.

Я попал в большую группу человек из тридцати-сорока. Нас погнали к корпусам неподалеку от станции. Здания походили на пакгаузы. Из них пленные выносили огромные мешки, на которых чернел орел со свастикой в когтях, и укладывали на высокие повозки, запряженные огромными бельгийскими лошаадьми. Мешки были с овсом, крупой, мукой.

Все время торопили. Но истощенные, измученные бессонными ночами, мы, надрываясь, еле-еле ухитрялись вчетвером тащить один мешок.

Немцы ругались. Иногда, возмущаясь «медлительностью ленивых русских», хватали палки и колотили кого попало, куда попало. Люди падали, с трудом поднимались и вновь пытались носить непосильную тяжесть.

Вдруг меня окликнули. Немец, с которым как-то, «ан пасан» (мимоходом. фр.), перекинулся несколькими фразами, когда был у жандармов, узнал меня. Он удивился, увидя меня здесь. Я объяснил, что жандармы получили назначение в другое место и меня отправили в лагерь.

Немец подошел к надсмотрщику. Тот подозвал меня. Начал-

ся обычный разговор. Внезапно собеседник заорал на пленных и сделал знак, чтоб я скорей пошел к ним: приближался офицер.

Немцы отрапортовали ему, и он удалился. После того, как он скрылся из вида, конвоиры разрешили нам передохнуть и, пошептавшись, позволили собрать валяющуюся возле пакгауза мороженую картошку. Мы стремительно собрали с полмешка, развели костер, оставили двух товарищей печь добычу, а сами уже в лучшем настроении принялись за работу.

— А с тобой они разговаривают,— шепнул один из штрафников.— Никогда раньше не давали,— и он кивнул на костер, в золе которого пеклась картошка.— Не из евреев ты часом?

Я рассмеялся: «Кабы из них — долго б не разговаривали, нешто не знаешь?..»

Вечером, на обратном пути в лагерь, один из конвоиров пристроился возле меня и стал расспрашивать, как мы жили до войны. Ему казалось, что у нас все были плохо одеты и голодны.

Я объяснил, что так не было. Сейчас в городе людей мало: все разбрелись по деревням, меняют одежду на еду.

У обочины дороги все чаще стали попадаться убитые пленные.

— Что это?— спросил я конвоира.

— Машина.

Я вспомнил как меня сбил грузовик и поверил. Но вскоре я увидел убитого с раздробленным затылком, а неподалеку такого же...

— Найн,— сказал я немцу,— дас ист айн геникшус». (Нет, это выстрел в затылок).

Конвоир, молодой парень, с виноватым видом поднял глаза и вдруг признался: «Я тоже... так делал... Больше не буду... Мы не понимаем... Теперь я понял: люди... Вот ты бы отстал — и я бы тебя тоже мог... Больше не буду... Война — говно...»

Чем ближе к лагерю, тем больше валялось их у обочин, маленьких, скрюченных... А мы шли мимо, мимо, словно не замечая их...

Недалеко от лагеря нас догнала колонна пленных, сопровождаемая... полицейскими. У входа в зону между нашей группой и колонной встали полицаи. Сперва запустили колонну, потом нас.

У ворот «слепого барака» уже стояли раздатчики с вонючей баландой. На ужин хлеба не полагалось. Каждый получал черпак баланды и проходил в зону. Как и утром, я не стал пить жижу, только выбрал несколько крупинок перловки, тоже от-

дававших керосином, и закурил доставшимися мне по дележке печеными картошками. Наступила новая ночь в штрафняке.

Ходившие вместе со мной к пакгаузам, повеселели. Мы устроились в углу «слепого барака», где с двух сторон остатки стенок прикрывали тлеющие головешки костра и ухитрялись по очереди спать. Нам повезло: мы раньше пришли и успели занять место в углу, где не так дуло.

Под утро снова убрали убитых и замерзших ночью. Снова получили керосиновую баланду и нас погнали на работу.

Я заметил, что вчерашние товарищи стараются попасть в одну группу со мной. Но на этот раз нас привели не к пакгаузам, заняли расчисткой дороги от снега.

Товарищи знаками объяснили конвойным, чтоб они через меня передавали свои распоряжения. Поневоле пришлось вступать в разговор с немцами. Но здесь даже мороженой картошкой не разживились. Правда, пару пачек махорки охранники подкинули. Мы ее тут же поделили.

На обратном пути у обочин валялись свежие трупы отставших... Я вспомнил, что в «Войне и мире» Лев Толстой описывал как французы также пристреливали отстающих пленных после ухода из Москвы...

Хотя я всего двое суток провел в штрафном, но уже чувствовал себя прескверно. Давали себя знать голод, бессонные ночи, вечно холодные ноги и руки, проклятый дым, разъедавший глаза.

Утром я пытался помыться снегом, потереть им лицо и ладони. С трудом нашел немного незатоптанного снега. Тряпкой, заменившей носовой платок и полотенце, вытер лицо и руки. Серая тряпка стала черной.

Ночью гудели самолеты. Неподалеку от лагеря тяжело ухали разрывы. Зарево от горевших домов озаряло окрестности, и немцы на вышках не стреляли.

Утром, кроме нескольких замерзших, мертвецов не прибавилось.

Застывшие трупы сложили на дровни у ворот. Рядом выдавали хлеб и баланду.

Я стоял возле саней и, как другие, опирался на них, глотая горячий комочек суповой гущи и глинистый хлеб. А рядом, касаясь нас околоченными, напряженно вытянутыми руками и ногами, лежали бледносиние тощие трупы.

И вдруг, не выводя из зоны, нас всех опять загнали в нее. — Антретен! (Построиться!) — в зону вошел целый взвод вооруженных немцев в касках. Несколько охранников держали на поводках злющих собак. Псы вытягивали оскаленные пасти

к нам. Солдаты с овчарками встали по сторонам нашей выстраивающейся шеренги.

— Лёс! Шнель! Скоррэй!— в зону зашла группа офицеров. С ними — высокий с брезгливым выражением лица полноватый мужчина лет сорока в штатском но, поверх хромовых сапог, в войлочных немецких «юберштифель» (их одевали поверх сапог и двигаться в них было нелегко).

Рядом стоящий шепнул, что это комендант из русских немцев.

Возле него топтался начальник полиции, здоровенный черноусый украинец.

Офицер, видимо, старший, что-то сказал коменданту и тот велел полицейским покинуть зону. Они поспешно ретировались без обычных ухмылок.

Старший офицер снова повернулся к коменданту. Тот отошел к проволочным воротам и приказал всем разойтись по своим местам — и начальнику полиции.

В окошках свинарников — прильнувшие к мутным стеклам лица.

— Тррра-ах!— раскатывается автоматная очередь. Звякают осколки стекла. Воцаряется тишина. Мы стоим, переминаясь с ноги на ногу.

— Штильштанд! (Смирно!),— мы застываем по команде.

Офицер говорит тихо, комендант громко переводит:

«Военнопленные! Вчера в проволоке вокруг вашей зоны обнаружили дыру. А под ней в снегу — следы сапог. Кто-то посмел убежать. Никто из вас не предупредил немецкую охрану о готовящемся побеге. Но кто-нибудь, наверно, знал. По законам военного времени, за побег одного отвечают все его товарищи. Стойте! Не двигайтесь. Есть среди вас — кто знал о побеге? Если такие есть — пусть выйдут три шага вперед. Мы расстреляем их, а остальных не тронем. Я считаю до десяти — если никто не признается, мы будем расстреливать каждого десятого из вас. Поняли? Я считаю... Раз,.. два,.. три,.. девять,.. десять. Все!

Над головами повисла леденящая тишина.

— Никто не вышел,— сказал офицер,— сейчас будет расстрелян каждый десятый из вас.

Тихий ропот, подобный шелесту осенних листьев, прошуршал в нашей шеренге.

--- Штиль! (Тихо!) — по знаку офицера к правому флангу шеренги быстро подошел обер-ефрейтор. Нижнюю часть его лица до самых глаз закрывало черное кашне. Из-под надвинутой на брови пилотки сверлили черные злые глаза. Тыча каж-

дого кулаком в грудь, он считал: «Один, два, три,.. девять, десять!— и за отворот шинели выдергивал десятого.— Цэйн шрит фор! (Десять шагов вперед!).

— Хинлеген! (Ложиться!) — Приказывал шедший за счетчиком ефрейтор и толкал выхваченного из рядов лицом в снег. Против нас с автоматами наперевес стояли немцы.

Вот обер-ефрейтор выдернул еще и еще пленных из нашей шеренги.

Каждый напряженно вслушивался в счет: «Айнс, цвай... драй,.. фир,.. фюнф,.. зибен, ахт, нойн, цэйн!— и снова пленный бухался лицом в снег.

— Айн,.. цвай,.. драй,..— в лицо мне пахнуло запахом спирта. Я оказался третьим. Смерть обминула... И где-то, уже за порогом сознания, напомнила о себе: «Цэйн!» (Десять!).

В конце шеренги оказалось не десять, а семь человек. Офицер вздохнул: десятого нет. Хватит.

На снегу, вероятно, не чувствуя холода, лежали шестнадцать человек.

Офицер приблизился к лежащим и через коменданта объявил: «Последний раз спрашиваю: если кто знал о побеге, пусть выйдет. Мы расстреляем его, а этих, он кивнул на лежащих, помилуем. Есть кто?

— Можно мне!?— вырвался из шеренги надтреснутый голос.

— В чем дело?

— Разрешите, господин офицер, я лягу вместо моего земляка,— попросил пожилой морщинистый пленный с добрым измученным лицом.— Он молодой. А мне... разрешите...

Присутствующие переглянулись. Пленный снял пилотку и поклонился офицеру, просительно приложив руку к груди.

— Что ж,— хмыкнул офицер и повернулся к своей свите,— пожалуй, можно разрешить. Ложись на его место,— заключил он, обращаясь к пожилому.

— Спасибо!

Молоденький встал в строй, обнявшись со своим спасителем.

Офицер скомандовал — несколько немецких солдат, выхватив пистолеты, подскочили к лежащим. Кто-то попытался приподняться, двое вскочили на ноги, пытались броситься на немцев. Но загремевшие выстрелы в две-три секунды положили конец всему...

Считавший нас обер-ефрейтор, на всякий случай, обошел ряд лежащих. Разрядил пистолет в голову одного, видимо, подававшего признаки жизни.

— Пусть это будет для вас уроком,— провозгласил офицер

и, окруженный свитой и солдатами, направился к выходу из зоны.

Теперь в нее вошли начальник полиции и его свора. С убитых приказали снять сапоги, ботинки, шинели.

— Сегодня еще хорошо, — объяснял один полицай, — а в тот раз приказали снять шинели и гимнастерки и в одних рубашках ложиться на снег.

— Так они ж тогда шинелями стали бросать в стрелков, — пояснил другой, — свара началась. А тут — сразу — и порядок».

Нас погнали на работу. Конвоиры уже знали о расстреле и обходились без обычных подтруниваний и окриков.

На этот раз мы разгружали бесчисленные соломенные лапти для часовых, чтоб не замерзали на посту, надевали их поверх сапог.

Разгружали также, явно изъятые у населения или пленных, валенки, зачастую потертые, залатанные, подшитые. Немцы не были готовы к зиме.

Каждый вечер вместо выбывших к нам загоняли новых штрафников. Учета не велось. При возвращении с работы не обращали внимания, если кого не досчитывались. Конвоир просто объяснял: «Отстал»... — И охранник у ворот понимающе кивал головой.

В воротах нас передавали полицаям. Те обыскивали: «Распахни шинель... Оружия нет?.. (Облапывали со всех сторон). Мне ничего не принес?.. Случалось, кто ухитрялся раздобыть пачку сигарет или пакетик «дропса» (леденцы) и давал полицая. Тот сразу пропускал. — Следующий!..» Полицай были ленивыми. Где-то они доставали спирт или денатурат и вечерами горлачили песни. Питались они отдельно... Бланду не ели...

Дня через три снова, под предлогом, что кто-то убежал, расстреливали. Но на этот раз почему-то должны были расстрелять всего пять человек... Обстановка была та же, что и при предыдущем расстреле. Но я был не третьим, а седьмым, так что еще дальше от смерти: расстреливали тридцатого.

Истощение, которому не могли препятствовать отдельные крохи подачек, холод, грязь — вся гнусная обстановка, я сознавал, притупили мои чувства, как и чувства товарищей.

Чтобы не потерять остатки человеческого, я ночами у костра, задыхаясь от дыма, читал окружающим стихи и поэмы Пушкина и Лермонтова, задыхался. Но читал...

Через остальные зоны к штрафной от ворот нас конвоировали полицайи. Однажды, сопровождавший нас, он не злоупотреблял нагайкой, спросил, за что я угодил в штрафной.

Я сказал честно, за что.

— Могли забить до смерти,— покачал головой Александр Васильевич (так звали полицая).— А откуда ты?

— Из Ленинграда.

— Земляк, значит. А где работал?

— В театре. Артист. Ксенин, может, слышали?

— Я не слышал,— сочувственно покачал головой полицай,— а жена моя очень любит театр. Она, наверно, слышала.

— Я играл в театре драмы и комедии на Офицерской.

— Слушай,— сказал Александр Васильевич,— я сейчас вас поведу через ту зону,— он указал глазами,— поведу близко к дверям барака — и ты, когда будем проходить, туда шмыгни. Понял? Только — тихо...

Я кивнул. Когда, пересекая очередную зону, мы оказались возле открытых дверей барака, откуда, как всегда, глазели на штрафников, Александр Васильевич, «прижал» наш фланг к дверям и я быстро юркнул в гущу пленных, толпившихся внутри.

Александр Васильевич кому-то кивнул. Пленные заслонили за мной вход.

— Ликсандра Васильич,— шепнул мне один из потянувших меня в глубину барака,— человек с пониманием: когда один — плеткой не действует. Да и при других — когда ударит, не больно. Жалеет.

Через полчаса Александр Васильевич принес мне котелок пшенной каши. Мы ее тут же разделили.

Пока ели, мой спаситель что-то соображал:

— Ты не офицер, не командир?

— Нет.

— Если тебя твой «крестник» узнает,— тебе как. А офицеров на работу не выводят, разве по доброй воле. Был бы ты младшим лейтенантом — дело в шляпе... Попытаться надо... Я за тобой еще зайду. Он предупредил, чтоб меня спрятали, если появится другой полицай, и вышел.

Вскорости вернулся и дал знак следовать за ним.

19. Я — «ОФИЦЕР». ВСТРЕЧА С «ЗОЩЕНКО»

— Будешь офицером,— шепнул Александр Васильевич. Выглянул, убедился, что полицаев нет, и вывел меня в соседнюю зону. Там стоял такой же свинарник-барак с таким же коридорчиком, разделявшим его на две половины. Александр Васильевич толкнул боковую дверь, и мы очутились в офицерской половине.

Здесь сразу было заметно, что мы находимся в свинарнике:

чуть покатым цементный пол с желобками, разделявшими секции, в которых еще недавно пребывали свиноматки и хряки, теперь лишь кое-где покрывали клочья соломы. А на ней сидели или лежали «офицеры».

Подчиняясь «понятиям чести», немцы не заставляли пленных командиров физически работать, разве что по собственному желанию. Полицаям не разрешалось бить пленных командиров. Но кормили их еще хуже, чем остальных. Офицеров в общем лагере старались не задерживать. Отправляли в Германию, в тыл.

Это мне не улыбалось. Чем дальше в лес, тем больше дров. Там проверки на национальность строже... Пока мне удавалось избежать отправки в Германию в первые дни плена в Любани и в Чудове. Здесь все же на своей земле. Фронт близко: освободят скорее. К своим ближе... Убежать легче. А там?..

В солдатских бараках двойные нары позволяли хоть спать на досках, а не на полу. Здесь было просторнее. Но на все помещение горела всего одна печка. Людей было мало, человек пятнадцать-двадцать, и от этого создавалось впечатление, что здесь не только пусто, но и холодно вдвойне.

Знаков различия ни у кого я не заметил. Все эти люди показались значительно старше меня, и я пристроился неподалеку от входа, так как более теплые места в середине у печки были заняты. Возле меня сидел плотный мужчина лет двадцати пяти. Узнав, что я уже давно в плену, никто мною не интересовался.

У соседа я осторожно стал выпытывать, так как он показался словоохотливее остальных, о зарплате наших командиров. Он, как и я, назвался младшим лейтенантом и через несколько минут я заподозрил, что мы оба одинаковые «командиры», только он не еврей, а остальное — лишь бы не гоняли на работу да не колотили. По-видимому, состав «офицерского барака» сформировался по этому общему принципу. Действительно, пока нас не трогали...

Утром нам издевательски наливали самую жидкую баланду, помахивая плеткой над головой, но не били. Баланда также отдавала керосином и я ее не пил. Проглатывал кусочек хлеба и делал один глоток, оставлявший надолго отвратительный привкус во рту.

После «завтрака» полицай заглянул и крикнул: «Кто из офицеров хочет работать на станции?»

Никто не отозвался, а мне появляться на свет вовсе не хотелось.

Ночью пьяные полицайи прибежали бить офицеров. Прыгали, ругались, махали плетками, ударяли куда попало, кого попало.

Одного бандюгу тут же вытошнило. Наконец, ушли. Говорят, один насмерть отравился денатуратом. Хоть бы тот, которого я «крестил»!..

Из офицерского барака невыгодно ходить в большой колонне, как и из любого. Если требуется много пленных, значит, работа тяжелая, а «подстрелить» ничего не удастся. Когда требуется несколько человек — другое дело. Тогда можно согласиться, не роняя своего офицерского достоинства, напилить или наколоть дров, починить крылечко, помочь печнику подмазать печь. И меньше устанешь и, глядишь, что-нибудь перепадет. На голодном пайке каждая кроха — поддержка.

Вечером удается проскользнуть в общую половину. Там в полной темноте идет бойкий обмен. Меняют кусок жмыха на махорку, сапоги на хлеб, гимнастерку на брюки, мясо на крупу. Все продукты в мизерных дозах, включая прессованное сено. Его тоже можно жевать.

Утром в тамбуре лежат трупы умерших за ночь. Ягодицы у покойников вырезаны. Вечером торговали мясом, выдавали за свинину... Сосед раздобыл замерзшую ворону. Вполне заменила курятину. Спасибо, что угостил. Он парень неплохой. Простой.

Александр Васильевич приглашает: кто пойдет пилить дрова в комендатуре? Это уже пахнет добычей. Мы с соседом соглашаемся.

Комендатура, если это она, помещается в маленьком одноэтажном домике. В нем вряд ли больше трех комнат. Нас человек пять. Одни носят воду, другие пилят и колют дрова. Я пилю.

Из комендатуры несколько раз появляется высокий молодой мужчина в сером в клеточку недорогом костюме спортивного покроя. Курит. Подходит к пленным. Заходит в дом.

Вдруг, выйдя, быстро направляется ко мне. Останавливается рядом с козлами, на которые мы как раз взгромоздили толстое полено, и выпаливает: «Вы — артист Александр Ксенин?»

— Да.

— Саша! Саша, и ты не узнаешь меня? — улыбается он.

Сроду я его не видел. Знаю, что нет такого артиста Александра Ксенина, которого я придумал. Пристально вглядываюсь в его лицо и, будто припоминая, говорю:

— Постойте, постойте, что-то очень, очень знакомое...

— Да я же Валентин Зоценко!

— Валька! — воскликнул я. — Какая встреча!?

— Какая встреча! — забубнил он. — Боже мой, вы — известный артист, и в таком положении!?

— Что делать, Валентин, война.

— Да-а,— он посмотрел вокруг и попросил моего напарника отойти в сторонку.

А я глядел на этого типа просветленным взором, ибо великолепно знал Вальку Зощенко, сына известного писателя, а передо мной был вовсе не он. Валька был ниже меня ростом, а этот — чуть не на голову выше. Валька был темным шатеном, а этот — светлый блондин с белесыми бровями. Валька не выговаривал половину букв русского алфавита, а этот выговаривал все. Короче, передо мной был какой-то подозрительный авантюрист.

— Помнишь, как мы вместе, у нас на Канале Грибоедова, 13 (за номер не ручаюсь), спорили о театре?!

— Как же?!— подпел я.— Разве забудешь?! (Адрес Зощенко он назвал правильно). Я раза два бывал у Валентина. Мельком видел его знаменитого отца, а мать — неоднократно. Валька учился у нас на театроведческом факультете. Учился скверно. Не раз его пытались исключить из института и тогда неизменно в вестибюле появлялась его энергичная мать. Проходила в кабинет директора, Бориса Михайловича Сушкевича, и Валька снова возвращался к занятиям. Если мать вновь появлялась, значит, Валька опять что-нибудь натворил, и надо улаживать инцидент.

И вот передо мной стоял тип, уверявший, что он есть тот самый Валька Зощенко, которого я знал, как облупленного.

— Послушай, только никому,— доверительным тоном журчал он мне.— Меня сюда послали наши. Понятно? Они мне поручили одно дело. Я его выполняю. Немцы мне доверяют. У них я возьму задание. Они меня перебросят в Ленинград, и там я сообщу то, что мне поручили выведать наши. Ловко? Может, чем тебе помочь?

Я делал вид, что еще слабее, чем на самом деле.

— Валька,— сказал я прочувствованно,— ты видишь, в каком я состоянии, еле на ногах стою. Чем ты можешь мне помочь? Вот,— кивнул я на своих товарищей,— все мы тут, голодные и бессильные.

— Слушай,— переходя на ты, зашептал он,— я вернусь в Ленинград, я же тебе объяснил: меня сами немцы туда забросят. Может, передать что от тебя? Скажи — кому, и я передам. Можешь поверить.

— Валя,— сказал я растроганно,— ты же знаешь, что у меня в Ленинграде родных нет.

— Но, может быть, друзьям что передать?— настаивал он.

— Друзья, ты знаешь, сразу же все уехали, одни — на фронт, другие — в тыл.

— Но, чем тебе помочь, что передать? Кому?

— Ты же знаешь, я играл в театре драмы и комедии. Поклонись от меня этому театру (он, кстати, не имел своего стационара, выступал в Доме культуры первой пятилетки).

— Обязательно выполню твою просьбу,— вздохнул горе-Зощенко.— Сейчас!— он метнулся в комендатуру и через минуту вернулся с несколькими миниатюрными бутербродами с маргарином и с двумя или тремя пачками махорки.

— Возьми. Прости, что так скромно. Только никому обо мне,— закончил он.

— Что ты?!— перекрестился я.— Никому.

— Ах ты, шпионская морда,— думал я на обратном пути,— мелко плаваешь.

Добычу мы поделили на всех. Недаром пилили.

— А он тебя сразу узнал,— почтительно заметил мой сосед-офицер.

— Знаешь, я его тоже узнал. Но не уверен, что так точно, как он меня.

— А он, как выходил в первый раз,— вставил другой из нашей «офицерской команды»,— так выпрашивал, кто мы, да откуда, нет ли его земляков из Ленинграда. Так я ему назвал тебя, как знал, кто ты.

Внезапно из низко нависавших густых облаков вынырнули три брюхатых краснозвездных бомбардировщика. Пронеслись над дорогой, и прежде чем немцы очухались от неожиданности, грохнули взрывы. Бомбардировщики скрылись в облаках. Со всех сторон началась беспорядочная пальба. Конвоиры остановились. Один остался с нами, другой побежал к пылающим колючням.

— Шестьдесят лошадей как не бывало,— сообщил он через две минуты.— Кониной будем обеспечены. Жаль, там еще с десятка наших погибло.

— А нельзя ли нам немного конины?— поинтересовался один из «офицеров», немного понимавший по-немецки.

Я ожидал, что конвоир раскричится: он понял вопрос без перевода, но тот лишь развел руками: «Советы ведут большое наступление, и конина еще будет».

Мы вернулись в барак приободренные. Конечно, наши самолеты выглядели не так щеголевато, как проклятые штукасы, но эти милые тихходные пузотеи дали хорошо прикурить фрицам.

По утрам у барakov кладут умерших за ночь. Через зону от нас лазарет. Возле него на дровнях куча трупов. Из снега выглядывают ампутированные ноги, руки, окровавленные бинты. В сутки в лагере умирает тридцать—сорок пленных. А

сколько их еще пристреливают на обратном пути с работы?!. Учета нет. Поступивших в лагерь, как и меня, не записывают. Но каждое утро проверка: считают... Выстраивают вдоль барачков. В офицерской половине считают, не выгоняя из помещения.

К уборным, они в каждой зоне, подойти трудно: вокруг — покатый каток из желтого льда, замерзшей мочи. Полицай забавляются, подталкивают и подгоняют нерасторопных, и когда те скользят и падают, бьют нагайками и смеются. Каждый выход по нужде ночью — пытка. Полицай дежурят у дверей. Садисты.

Чтобы лишний раз не сталкиваться с полицией иные приспособляются мочиться, лежа, у желобков по ним, как у законных хозяев свинарника, моча стекает в общий желоб и застывает желтым льдом возле дверей.

У железной бочки-печки теснимся по очереди. Снимаем рубахи и гимнастерки и почти суем их в огонь. Резко трещат, лопаясь от жары, вши. Спина мерзнет. У печки долго не задержишься: сзади другие стоят в очереди.

Хотя свежих пленных не встречается, но здесь узнаю, что под Тихвином гитлеровцы бросили всю тяжелую артиллерию и едва избежали окружения, а под Ростовом на Дону тоже потерпели фиаско. От Москвы их также погнало... Господи, хоть бы! Даруй нашим победу!..

Дух у завоевателей уже не летний. Одни из-за этого хуже свирепствуют, другие, явно перестраховываются и лучше относятся к пленным. Заметно, что вера в победу у Фрицев поколеблена.

Со стороны Волхова доносится непрерывный рокот канонады. Говорят, у нас появились какие-то особые секретные установки, то ли «Маруси», то ли «Катюши», а еще какой-то таинственный «Ванюша». Тот будто целыми ящиками со взрывчаткой стреляет. Но с небольшого расстояния, метров восемьсот-девятьсот. Но уж как даст, так даст...

20. АССЕНИЗАТОР И ИСТОПНИК. БЕСЕДЫ В СОРТИРЕ

Каждую ночь гудят наши самолеты, лают зенитки, ухают бомбы. По утрам, под надзором взбешенных фрицев пленные вытаскивают из-под обгорелых развалин трупы немцев. При этом надсмотрщики за малейшую оплошность калечат и убивают пленных: мстят за своих «камраден» (товарищей).

Александр Васильевич заходит к «офицерам»:

— Кто пойдет на работу в немецкий лазарет?— и кивает мне,— иди.

Долго думать не приходится. Я и еще двое выходим. Возле барака еще несколько. Всего человек десять. Рядом — сгорбленный, отнюдь не военного вида унтер с медицинской эмблемой на петлицах — змейкой.

Из того, что он бормочет, мы догадываемся, что должны будем пилить дрова, носить воду, и уже не в лагере, а там, в лазарете, будем «бай-бай, шляфен» (спать).

У выхода из лагеря к нам присоединяются еще два санитарных ефрейтора, и мы топаем через город. Он еще пустынее, чем осенью. Вокруг обугленные остовы домишек. Торчат закопченные кирпичные трубы. Гражданских не видно. Вдалеке слышим странный рокот. «Шталиноргель». (Сталинский орган),— кивает унтер.

— «Катюша»,— шепотом сообщает рядом идущий.

Переходим железнодорожную насыпь. Справа и слева валяются обгорелые остовы вагонов, паровозы, платформы, цистерны. От пакгаузов, возле которых мы работали неделю назад, не осталось следа. Не зря ночами трудились наши летчики.

Останавливаемся перед длинными двухэтажными домами с большими окнами. Поблизости группа солдат стреляет в воздух. Раз, другой, третий. Рядом свежевырытая могила. Ее засыпают немцы. Вокруг белые березовые кресты. На них каски. На крестах под знаком свастики имена и воинские звания похороненных. Под большим крестом — «оберст-лейтенант» (подполковник). На ограде перед первыми могилами вроде лозунга: «Фюр фюрер унд фатерлянд гефаллен» (Пали за фюрера и отчизну). Почему это люди должны гибнуть за такого человека?..

Во дворе к нам выходит еще один санитарный унтер. Оглядывает, морщится. Спрашивает моего соседа из «офицерского барака»— кто он по профессии. Тот, черт бы его побрал, сразу обращается ко мне: «Переведи». Отпираться глупо. Перевожу: он пекарь. Унтер смеется: у них своих пекарей достаточно. Спрашивает меня, кто я и откуда знаю язык.

Услышав, что я «шаушпилер» (артист), унтер тяжело вздохнул и в раздумьи чешет голову под пилоткой, повторяя «шаушпилер, шаушпилер»... Смотрит на мои ноги в ботинках и обмотках, на тощий треугольник лица под пилоткой. Обращается к унтеру, который нас привел: «Мне нужны пильщики дров, а не артисты. Почему ты там не поинтересовался?»

Второй унтер пожимает плечами: «Пилить умеет, каждый русский».

— Но артисту,.. надо бы найти работу не на морозе. А где?..

Вдруг его осеняет: «Будешь внутри в лазарете,— он указывает на выступающее крыло здания.— Там «латрине» (уборная). Будешь ее убирать. Вот Володимир тебе объяснит».

Последние слова он обращает к худошавому жилистому пленному лет тридцати пяти.

«Володимир» подходит ко мне и ведет в здание. Вероятно, оно было школой. Идем по длинному коридору первого этажа. Справа от входа комната, бывший класс, заваленная всякой рухлядью — рваными матрацами, обрывками одеял, мешками. Тут же немного дров и куча соломы.

— Наша спальня,— объясняет Володя. Мы знакомимся.

Володя Харитонов — шофер из Ленинграда. Попал в плен у Тихвина. Здесь Володя вроде бригадира. Это он попросил, чтоб прибавили пленных, а то, даже фрицы поняли, что тем десяти-двенадцати, что здесь, не под силу столько работы. Теперь нас человек двадцать.

Володя ведет меня по коридору в другую сторону. Слева от входа дверь. Открывает ее — и мы оказываемся в коридорчике, вроде предбанника. Из него две двери. Между ними печка.

— Будешь ее топить,— он показывает через открытые проемы дверей две комнаты. В каждой по три дыры... В коридоре лопата. Володя берет ее и объясняет как «под корень» сразу срубить «елку» смерзшегося говна в глубине дыры: не дай Бог достанет до немецкой жопы!.. Понял?

Унтер всех пересчитал. Заходим в комнату. Дают баланду, куда более густую, чем в лагере. Отходы с лазаретной кухни.

Один из первых, кого вижу,— Гончаренко!— Тот, что Фёрстеру подавал заявление о своей преданности Гитлеру...

Он настроен дружелюбно. Открывает улыбающийся беззубый рот: узнает меня. Подходит. Чувствую: в нем нет враждебности.

— Узнал меня?— спрашивает.

— А как же! Ты там перед всем строем в любви объяснялся...

— Забудь,— грустно говорит он.— Лукавый попутал. Жрать-то охота. Да ну их... Сволочи были, сволочи есть. За людей нас не считают.

И еще один человек бросается мне в глаза. С мороза, отряхивая снег, входит... еврей, самый настоящий. Не надо быть знатоком расовых примет, чтобы узнать его. Ему не меньше сорока. Крупные черты смуглого лица. Большой нос с горбинкой, густые черные брови, вьющиеся черные волосы и борода, пронизанные прядями седины. Он весел. Бодрится. Говорит с сильным акцентом. С унтером объясняется на жаргоне, дополняя

его отдельными немецкими словами. Он из западной Украины или Литвы. Володя и все товарищи относятся к нему хорошо с явным сочувствием: понимают безнадежность его положения. Я не хочу ему открываться: кто его знает? «Засыпят» его — и он «за компанию» меня продаст. Кому можно доверять в такой ситуации? Я крепкожимаю его большую руку, более рабочую, чем моя.

— А ты откуда?— спрашивает он.

Я объясняю, что родом из Челябинска, отец сибиряк, мать с Кубани, казачка.

Абрам понимающе наклоняет большую голову: «Потому ты такой чернявый. Я подумал, не грузин ли».

— Нет, у нас на Кубани, все такие.

Он согласно кивает.

Санитарный ефрейтор заглядывает в комнату и пальцем манит меня. Он объясняет, что помимо уборки туалета, я должен ночью топить все печи в коридоре. Палаты обогреваются из коридора. В нем не меньше пятидесяти печей. Возле каждой лежат приготовленные дрова. Не дай Бог, какая печка погаснет.

У окна в конце коридора часовой.

Я приступаю к обязанностям истопника. Едва успеваю подложить дрова в одном конце коридора, как надо бежать в другой. Из дверей то и дело выглядывают ругающиеся немцы и требуют лучше топить, подкладывать больше дров: им холодно.

Объясняю, что больше дров не помещается в печке.

Не обращая внимания на мой немецкий, ругаются, сами пытаются подкладывать, загоняют занозы, обжигаются, сорят.

Наконец, после полуночи раненые успокаиваются.

Я захожу в уборную присесть на пару минут, отдохнуть. Там перед печкой стоит узенькая высокая скамейка. Вхожу — и вижу носилки с мертвецом. Отодвигаю носилки. Присаживаюсь и сразу засыпаю, сидя.

Дремал я минут пять, вряд ли больше. Разбудил меня толчок, от которого я очнулся на полу. Передо мной стоял разъяренный фельдфебель с перевязанной рукой. Он отчаянно ругался: у них в палате печь — еле теплая.

Бегу в коридор. Да, поленья уже догорают. (Так быстро!..) Подбрасываю новые. Обхожу все печи. Опять еле успеваю подкладывать дрова.

Возвращаюсь на минуту в свой «предбанник». Там уже еще одни носилки с трупом. Зашедший по нужде раненый поясняет:

— Утром вынесут. Сейчас холодно.

Завязывается беседа. Мы курим. У него что-то вроде дизен-

терии. Понос. Настроение отнюдь не боевое. Содрогаясь, он вспоминает фронт; уверяет, что у русских авиации больше, чем у вермахта.

— Мы никогда не ожидали, что у России столько солдат, такие резервы,— бормочет он и вдруг проговаривается.— Мы должны будем снять блокаду. Чудово мы не удержим — и все. Дурацкая война.

Я не прерываю его. Он переходил границу совсем в другом настроении. Но уже осенью почувствовал, что тут они крепко застряли. Под Тихвином он едва избежал плена.

Заодно он спрашивает: почему Красная Армия расстреливает пленных?

Такой вопрос я слышу от них не впервые и не впервые отвечаю. Но сперва я делаю «гроссе ауген» (большие глаза).

Я не совсем понимаю его... Я боюсь и не имею права отвечать... Он требует, чтоб я сказал правду. Тогда я спрашиваю, в свою очередь, верит ли он в это? Какой смысл в этом?

Он читал своими глазами о зверствах «красных», об этом знают все немцы.

Пусть он меня простит: я видел у нас пленных немцев. Живых. Их кормили лучше, чем нас, солдат, и никто их пальцем не трогал. Их угощали папиросами, а мы тянули махорку. Им обед несли с комсоставской кухни... Зачем их убивать? Какой смысл?

Он смотрит недоверчиво. Я прошу его не рассказывать о том, что я сказал. Но он же сам вызвал меня на откровенность...

Заходит по нужде другой раненый или больной. Теперь уже двое поджидают, когда я подброшу поленья во все печи и вернусь в этот тамбур.

Отодвигаем носилки с трупами. Первый собеседник указывает на мертвеца: «эсэсман» (эсэсовец): вон какой рослый.

Лицо эсэсовца прикрыто платком. Из-под него свешиваются желтые волосы. Утром я без сил валюсь в нашем «классе» на кучу тряпья и моментально смыкаю глаза. Но уже через несколько минут тормошат:

— Лёс! Шнель! Бистра, бистра!— незнакомые немцы расталкивают и выталкивают меня во двор. Там стоит нагруженная досками машина.

— Скоррэй! Шнель! Абляден (разгружать)!

Легкое подобие рукавиц, которые успел вчера мне сунуть Володя Харитонов, осталось в классе. Я прошу, чтоб мне позволили сбегать за ними. Напрасно.

— Скоррэй! Шнель!

Мороз не меньше тридцати. Я хватаюсь за промерзшие дос-

ки. Они обжигают пальцы. Минута, другая. Пальцы белые. Я показываю их конвоиру и, выругавшись по-немецки, чтоб не пристрелили на месте, пытаюсь растереть руки снегом. Но не успеваю оттереть: немец накидывается, толкает карабином:

«Лёс! Шнель!»...

Мокрыми руками еще хуже. То и дело пытаюсь схватить снег, растереть пальцы, вытереть об штаны. Несколько минут разгрузки показались вечностью. Разгрузили. Щеки у товарищей тоже подморозило. Растираем. Бросаемся погреться в класс. Ведь выгнали, не дав надеть шинели.

И тут все мои пальцы схватывает дикая, жгущая боль.

Володя приносит снег. Трут. Трут товарищи. Пальцы уже не слушаются. Трут. Трут. Появляется наш санитарсунтер. Выходит. Приносит какую-то мазь. Мажу. Кажется, чуточку легче. Кончики пальцев потом чернеют.

Так и не удается поспать днем. Чуть прикорнешь,— уже зовут: то надо где-то дров подбросить, то в уборной нужно срочно подрубить «ёлку», которая едва не достала до какой-то офицерской задницы.

Мне нравится Володя. Работящий, сноровистый. Он всегда оказывается там, где трудно. Помогает Абраму, мне, каждому, кто послабее или без навыка. Санитарный унтер тоже симпатизирует Володе. «Айн флинкер бурше»,— говорит он (Расторопный парень). Но в глазах Володи постоянная грустинка. Как-то вечером после того, как я по его просьбе прочитал несколько стихотворений Некрасова, Володя совсем затуманился. У него двое маленьких детей в Ленинграде и горячо любимая жена. В Ленинграде голод. Он точно знает это (я не верил). Вся Володина веселость — напускная. «Эх! будет случай!..»— и я понял, что все мысли Володи там, где люди, которых он любит больше своей жизни.

21. В ОЖИДАНИИ СВОИХ... АБРАМ И «СОЮЗНИКИ»

В уборной удивляло обилие используемой посетителями бумаги из дореволюционных журналов и альманахов. Во втором здании госпиталя раньше находилась библиотека. По множеству страниц, вырванных из «Современника» и «Отечественных записок», я догадался, что они, вероятно, из библиотеки великого поэта Н. А. Некрасова. Он в семидесятых годах прошлого века жил где-то здесь в Чудовской Луке. Теперь листы книг и журналов, которых, возможно, касались руки Некрасова, шли на подтирку.

Поздними вечерами в тамбуре уборной собирались выздо-

равливающие. Их притягивала возможность поболтать с «интересным русским». Темы в основном касались исхода войны. Не отвечая прямо, я подводил — и довольно ловко — к тому, что собеседники, сопоставляя шансы союзников, сами приходили к выводу, что рано или поздно Германия проиграет... Раненые были настроены пессимистично и считали, что вот-вот придется снять осаду с Ленинграда, так как Чудово — «ключ к нему» надо будет — и очень скоро отдать.

Сердце наполнилось надеждой. Я боялся верить в близость чуда: неужели через два-три дня наши возьмут Чудово и кончится моя эпопея!? Насколько я мог понять болтавших в уборной немцев, Чудово было чуть ли не в окружении!..

Раненых прибывало все больше. Не раз пытались использовать пленных при их разгрузке. Как-то под злобное шипение санитарного фельдфебеля я с товарищем несли на второй этаж очень тяжелого офицера. Мне досталось нести носилки со стороны головы. Лежащий злобно, закатив глаза, посмотрел снизу вверх на меня и выругался по адресу «русских свиней». Мы с трудом донесли этого борова. Фельдфебель, сопровождавший его, дал мне затем сильно по шее за то, что не умею бережно носить «высокое начальство». Той же ночью оно уже лежало на носилках в тамбуре моей уборной.

Доносились отчетливо даже отдельные винтовочные выстрелы. Я различал дробь нашей «дегтяревки». Во дворе госпиталя иногда разрывались снаряды и посвистывали пули. Где-то, совсем рядом, были наши. Во двор спешно въезжали машины, повозки; грузили раненых. Начиналась эвакуация Чудово! Немцы больше не могли его удерживать.

Новый год начинался... Среди раненых ползли панические слухи об окружении. Повторяли названия «Любань», «Померань»... К ним прорвались советские части. А раз Любань заняли, значит, Чудово отрезано! Ура!

Мы жили ожиданием. Никто, даже Гончаренко, не боялся своих. Пусть трибунал (что мы о нем знали?!), но там, у своих, мы не сдохнем безвестными. Да и те, что там, поймут все. Они же знают, как нас окружали летом и осенью сорок первого. Говорят, даже сам Сталин сказал, что тех, кто попал в плен в сорок первом, судить нельзя. Они не виноваты. О наивная и мудрая народная справедливость!

Немцы торопили нас, все время оглядываясь; будто у них за спиной уже стояли наши автоматчики.

Грузовик ехал недолго. В километрах десяти от лазарета он остановился у придорожного щитка с надписью «Коломовка».

Нас выгрузили и сразу же приказали пилить дрова. Поло-

вина пленных под усиленной охраной отправилась в лес, заготавливать их. Оставшиеся стали пилить и колотить то, что валялось возле одноэтажных барачков, куда теперь перебрался лазарет.

Меня с еще одним пленным под конвоем послали к проруби за водой. На некованные сани поставили огромную бочку, дали пару ведер — и «лѐс! Пошолы!»...

Речка была довольно далеко. Дороги к ней не проложили. Подгоняемые окриками и бранью, проваливаясь в снег вместе с санями, мы пытались нащупать старый санный путь.

Мороз лютовал. Набрал из проруби воды, двинулся обратно. Половину расплескали. Чуть подтащили бочку к крыльцу, как ее сразу же опорожнили санитары и нас снова погнали к реке. Мокрые от пота, покрытые ледяной коркой, выбиваясь из сил, подталкиваемые прикладами, мы «курсировали» между прорубью и лазаретом. Лишь поздно ночью прекратилась эта каторга. Нас загнали в сарай. Там вокруг железной бочки от бензина, приспособленной под печку, уже грелись наши товарищи.

Сквозь бесчисленные щели со всех сторон дуло. Сарай был дощатый, пол — замерзшая земля.

Все сгрудилось у печки, поочередно уступая друг другу место у открытого отверстия «топки», к которому подносили гимнастерки и рубашки, «выжаривая» вшей. Когда выходили по нужде, жадно вслушивались в стрельбу со стороны Чудово. Оттуда по дороге продолжалась эвакуация. К утру все смолкло. Неужели наши уже заняли?!

Из разговоров немцев я знал, что Чудово решили сдать. Удержать его не могли. Оставили только заслоны, чтобы сдерживать наши наступающие войска, пока не завершат эвакуацию. Лазарет тоже хотели эвакуировать подальше, но... некуда...

За лесом, за северной частью железнодорожного полотна, по которому уже не шли поезда, различались звуки залпов «Катюши». Но со стороны Чудово вдруг все смолкло. Непонятная тишина длилась дня два. Затем по шоссе потянулись к Чудово колонны свежих войск, а в небе появились пикировщики. Возле Чудово вновь загромыхало, но уже удаляясь в другую сторону...

Санитарный унтер объяснил: немцы уже решили оставить Чудово. Но вдруг русские на окраине города остановили наступление. Немцы сперва боялись поверить в такое чудо: русские не пытались больше продвинуться. Остановились, даже кое-где сами стали отходить, там, где особенно глубоко вклинились в немецкое расположение. Гитлеровцы воспользовались

передышкой, быстро подтянули резервы и больше Чудово не отдадут. Фюрер приказал удержать его любой ценой.

Но когда темнело, сигнальные ракеты вспыхивали со всех сторон: все-таки, мне казалось, что немцы окружены.

Меня закрепили за бочкой. Силы таяли. Кормили куда хуже, чем в Чудово. Здесь мы жили отдельно от лазарета и никаких добавлений к баланде и жалкому кусочку хлеба не имели. А работали еще больше. Охранники, сопровождавшие нас к реке и ночные часовые у сарая заметно свирепели, будто по нашей вине они мерзли на ветру. Хотели бы погреться — впряглись бы в сани или наловчились колотить дрова.

Иногда конвоиры цедили сквозь зубы: «Если б не штабс-арцт («штабс-врач») да не майор, то поубивали б вас всех!..» Я не помнил штабс-врача, их было несколько, а майор удивил меня своим сугубо штатским видом. Военная форма, включая фуражку и шинель, висела на нем, как на вешалке, словно с чужого плеча. Он был зубным врачом. А по уставу зубной должен быть в чине майора, потому что ему приходится командовать и генералу и прочим высоким чинам открывать рот и показывать зубы.

Раза два Володе Харитонову удавалось заменять меня у бочки и я овладевал искусством быстрой колки дров.

Как-то во второй половине дня меня поставили к пильщикам. К нам подошел незнакомый ефрейтор. Ему требовался пленный для погрузки заготовленных в лесу дров.

Дежурил злющий унтер, постоянно придиравшийся к Абраму. Того спасало от расправы лишь какое-то негласное указание штабс-врача, не желавшего, чтобы при лазарете производилась расправа. Унтер, однако, всегда старался направить Абрама на самую тяжелую работу, понукал, ругал, но трогать не трогал, только грозил. Абрам все переносил молча, а вечером не без юмора характеризовал умственные способности своего преследователя.

Я слышал, как подошедший ефрейтор рассказывал нашему унтеру, что получил известие о гибели своего брата на русском фронте. Унтер сочувственно тряс головой, жал ему руку, а потом окинул нас взглядом, выбирая кого бы послать в лес и решительно указал на Абрама: «Возьми его. Это юдэ (еврей). Если он у тебя в лесу попытается бежать или что-нибудь замыслит,.. ты заметишь, в общем, сам понимаешь, что с ним надо делать. Никто с тебя не спросит. Ясно?— Если только этот юдэ посмеет... Видишь, какая у него морда?! Сразу его — на месте,.. без предупреждения. Одним будет меньше. Хайль!»

Пришедший козырнул, щелкнул каблуками: «Яволь!» (Так точно) и резко кинул Абраму: «Марш!»...

Мы с Абрамом переглянулись. Он все понял и покорно пошел к незнакомцу. Тот подвел еврея к стоявшим неподалеку запряженным саням и вскоре они скрылись из вида.

Я тихонько передал услышанное Володе и товарищам. Все жалели Абрама и понимали, что его песенка спета. Так долго в плену еще не держался ни один еврей. Я толком не знал, был ли он военнопленным или штатским, одним из тех, кого немцы все равно содержали под конвоем. Я не спрашивал Абрама о его семье, боясь тронуть самую больную струну: ведь в западных областях Украины и Белоруссии, в Прибалтике давно расстреляли и женщин, и детей евреев. Иногда я осторожно спрашивал Абрама, не думает ли он как-то бежать, ведь он обречен, рано или поздно, с ним расправятся. Но Абрам горько усмехался: куда бежать?.. А вдруг обойдется?.. Я пожимал плечами, хотя у самого были такие же сомнения и надежды... Пока, тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!— ни у кого не рождалось подозрений о моем происхождении. Все видели Абрама и никому не было дела до меня. Одного еврея на госпиталь хватало...

Стемнело. Мы вернулись в сарай. Все разговоры вертелись вокруг Абрама. Но чем мы могли ему помочь? Скрыть свое происхождение он не мог: слишком типичны лицо, речь, даже манеры. Щемяще жаль было Абрама.

Внезапно дверь распахнулась и часовые втокнули в сарай несколько человек в потрепанных немецких шинелях, в ботинках и обмотках. Часовой крикнул, что «гости» будут ночевать с нами. Пришельцы сразу потянулись к огню, вытащили сигареты и стали угощать нас, тараторя на каком-то явно славянском языке. Они оказались сербами или чехами, насильно мобилизованными оккупантами в обоз. Они уже месяца два зябли в России. Они получали немецкое «ферпфлегунг» (довольствие, паек), но в общем, их кормили и одевали хуже, чем немцев.

Между нами сразу установились дружеские отношения. Это были простые крестьяне или рабочие. Гитлеровцы оскорбляли их в глаза, открыто презирали. Вот и сейчас: не пустили погреться в дома, а посадили вместе с пленными в холодный сарай под охрану.

Наши гости платили оккупантам такой же ненавистью. Рассказывая о своих мытарствах и издевательствах «господ», пришедшие клялись при первом удобном случае отомстить им. С нами обозники были откровенными и тут же поделились кое-чем из продуктов, табаком и сигаретами,— всем, чем могли.

За дверями сарая сменялись часовые, а мы, стараясь получ-

ше понять друг друга, объяснялись с товарищами по несчастью.

Было уже за полночь, когда снова дверь отворилась и вошел... Абрам. Все бросились к нему; посыпались вопросы. Абрам, не спеша, отряхнул снег с шинели, потопал замерзшими ногами, подсел к печке, достал полную пачку сигарет: курите — и начал рассказывать.

Когда он с конвоиром пришел в лес, немец объяснил ему, что вовсе не намерен его убивать, что он не такой дурак, как злой унтер. Да, брата у него убили на фронте. Но, что поделаешь, война. Ни он, ни брат его, ни русский, ни Абрам не хотели воевать. А убивать он никого не намерен. На обратном пути он ухитрился у своей кухни накормить Абрама, доставил его сюда и на прощанье дал пару пачек сигарет и пакетик леденцов, которыми Абрам тут же угостил нас.

Утром немцы с руганью разбудили и выгнали из сарая «союзников», наших гостей, а потом погнали нас, кого пилить, колоть, а меня — опять возить воду.

22. ЛАГЕРЬ. КОМЕНДАНТ. КОЛЯ-МОРЯК. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФЮРЕРА

Как-то у проруби мы встретили двух статных пленных, сразу видно, из кадровых частей. Работали они на кухне автоколонны, стоявшей рядом с лазаретом. Алексей и Георгий, так звали ребят, попали в плен на Ханко. Оба были шоферами. Если б на этих рослых блондинов надеть эсэсовские мундиры, никто б не подумал, что они не арийцы.

Они не голодали. Их конвоир не кричал на них, а когда наш сопровождающий запротестовал, видя, что ребята завязали разговор с нами, успокоил его.

Мы уговорились встретиться завтра. Каждый день теперь Алексей и Георгий приносили нам немного поесть и покурить. Их сразу после Ханко пристроили к этой кухне, и они только понаслышке знали о том, что творится в лагерях военнопленных. Но, хотя им жилось неплохо, они мечтали вернуться в Красную Армию, пусть не шоферами, пусть в пехоту, но к своим.

Днем, когда кругом шныряли немцы, за Георгием и Алексеем не очень следили, больше оберегали от немцев, чтоб те не задержали пленных. Но на ночь их тоже запирали под замок.

Судя по ракетам, немцы были или в кольце или полуокружены. Когда Абрам был в лесу, он не заметил там постов,

разве, что с краю. Пролегавшая через чащу санная дорога была расчищена только до вырубки, километра на полтора-два не больше. Если пойти в том направлении к югу, можно, минуя отдельные засады, по глубокому снегу выйти к своим. Главное суметь подальше оторваться за одну ночь. От лазарета до леса шагов четыреста... Выходя по нужде, можно избавиться от часовых...

«Я знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть»... Лермонтовский «Мцыри»... Читаю вполголоса. И оттого, что вынужден приглушать рвущиеся из души слова, они становятся особенно насыщенными. Меня будто бьет озноб — и окружающие — все — замирают. Могучая страна Поэзия, сколько раз ты спасала и меня, и моих слушателей! Сколько раз мы, бесправные, униженные ничтожества, чувствовали, как музыка стиха заглушала наши боли, приподнимала нас над грязным земляным полом, заставляла ощутить в себе забытые желания и понятия.

Володя рассуждает: нельзя бежать в никуда, лишь бы бежать. Да, никто не хочет ни подыхать с голоду, ни быть расстрелянным. Того, кто останется, не помилуют. Но надо еще выждать. Нередко немцы берут пленных на заготовку дров. Надо выведать — есть ли дальше в лесу засады. Не может быть, чтоб только у кромки леса. Ракеты в том направлении обозначают, что там стоят немецкие части. Там ближе к передовой и чем дальше в лес, тем больше шансов напороться на фрицев. Вся надежда на наших: если прорвутся, начнется паника, тогда можно будет действовать напервяка.

Канонада то приближается, накатывается, то отдалется. Дни тянутся, голодные и холодные. На утренней поверке, когда мы выстраиваемся перед сараем, унтер приказывает выйти из строя несколькими, наиболее ослабевшим, в том числе, мне. Проклятая бочка с дурацкими санями сделала свое дело.

Нас набирается человек восемь. Унтер подзывает конвойных. Нас отводят к грузовику. Мы залезаем в кузов.

Едем к Чудову. Понятно: ослабли. Кому нужны? Назад, в лагерь. При воспоминании о нем на душе становится отвратно. Вылезаем у маленького домика охраны. Жандармский фельдфебель с бляхой на груди, длинный, похожий на вытянутый вопросительный знак, шмыгая нависающим над верхней губой сопливым носом, пересчитывает:

— Ахт! (Восемь?)

— Яволь!

— Рингсум! (Кругом!)

Жандарм рукой машет вправо. Мы видим перед собой ла-

герь. Но он какой-то другой. Тот был огромным. А в этом — полтора барака... Зона довольно бльшая, но не разбита на квадраты проволочными заборами. В глубине зоны виднеются еще два, стоящих друг против друга полуразрушенных барака и еще вдалеке, у края зоны дымит маленькое зданье кухни. Значит, весь лагерь состоит из одного длинного барака.

Заходим. Справа от тамбура вся половина пустая. Но видно: здесь кто-то был, на нарах валяется несколько грязных вещмешков. Очевидно, жильцы на работе. Пока можно отдохнуть. Ложусь на нары. Съеживаюсь, чтоб согреться. Товарищи тоже влезают на нары.

В дверях появляется немец. Подзывает трех наших и уходит с ними. Через несколько минут немец возвращается с Гончаренко.

— Сацко,— говорит тот,— идем, а то мы с ним объясниться не можем. (Черт бы побрал остолопа! Работал я себе, как все, так нет — надо обязательно выболтать немцу, что знаю язык.)

И перевести-то требовалось чепуху: как лучше склотить козлы для пилки дров (будто сами не могли объясниться? Просто — хотели попросить курева). Зло берет. Но перевел. А раз перевел, значит, опять вопросы: кто, откуда? А один из товарищей уже насобачился и ляпает: «Артист! Алекс — артист!»

В общем, покурить всем понемногу досталось и повару из пленных, которому принесли дров, немец тоже указал, чтоб в обед добавил.

К вечеру с работы пригнали остальных пленных, всего человек сорок-пятьдесят, не считая такого же количества, если не больше, во второй половине барака, лазаретной.

Обед — он же ужин — состоял из баланды, жидкой, но без керосина.

Большой лагерь, когда собирались сдавать Чудово, сразу перед Новым годом или сразу после него, срочно эвакуировали; бараки почти все сожгли. От большого лагеря осталось только то, что мы увидели. Теперь это лагерь какой-то дивизии.

— Антретен! (Построиться!) — в дверях стояли три жандарма и рядом с ними наш советский старший лейтенант с тремя кубиками в петлицах, небольшого роста, подтянутый, с небольшими умными и внимательными глазами на округлом лице. Он довольно бойко говорил по-немецки.

Все, кроме больных и раненых, выстроились перед бараком.

Напротив нас стояла большая группа вооруженных немцев. Среди них — одинокая фигурка пленного.

— Сейчас расстрелять будут,— шепнул стоявший рядом со мной. — Так у них завсегда.

Действительно. От немцев отделяется офицер. Кивком головы он подзывает солдата, который выталкивает перед собой приведенного пленного. Другой офицер с узенькими погончиками, с сильным акцентом, видимо, из Прибалтики, переводит слова офицера.

— Этот русский пытался бежать из лагеря в Любани. Но его задержали. Сейчас по приговору военно-полевого суда его расстреляют. Пусть это послужит для вас примером.

Вероятно, пленный ни перед каким судом не был и не подозревал о столь скором решении его участи. На мгновение он замер, потом глянул по сторонам и бросился к ногам офицера с воплем: «Не убивайте!.. У меня дети,.. маленькие,.. Семья!..»

Солдаты оттащили его. Офицер опять что-то сказал и переводчик крикнул плачущему бедняге: «Господин офицер разрешает вам сказать пленным здесь, что ты хочешь. Говори скорей».

Приговоренный пришел в себя и громко спросил: «Братцы, тут есть кто-нибудь из Малой Вишеры?»

Шеренга пленных молчала. Офицер снова что-то сказал и переводчик объявил: «Не бойтесь. Ответьте».

Один из шеренги выступил вперед: «Я оттудова».

— Передай,— плачущим голосом произнес осужденный и назвал свою фамилию,— передай, как я умер».

— Передам,— пообещал земляк.

Тут мы заметили, что к осужденному сзади подходит немец с закутанным шарфом лицом, как тот — при расстреле в слепом бараче, держа карабин наперевес.

Офицер махнул платком как раз в тот момент, когда осужденный хотел повернуться.

Треснул выстрел. Жалобно взвизгнула пуля. Вскрик повис в воздухе. Пленный, скорчившись, упал.

Убитого приказали раздеть и отнести на кладбище. Напротив входных ворот лагеря возле двух полуразрушенных барачков были еще одни «выходные» ворота. Сразу за ними начиналось кладбище. Чьи-то честные руки с разрешения оккупантов поставили там над одной из братских могил огромный деревянный шестипалый крест с надписью: «Русские солдаты. 1941 год».

Подавленные, мы вернулись в барак. Тут только я заметил, что наша часть помещения упирается в дощатую перегородку. За ней слышались голоса. В щели между досками сочился слабый свет. Там жили комендант лагеря, повара, обслуга.

Я забрался на верхние нары и только закрыл глаза, как почувствовал, что меня дергают за ногу. Я выругался и приподнялся.

Внизу стоял повар.

— Ты Александр?

— Я.

— Тебя комендант спрашивает, Александр Иванович.

Знакомство с комендантом, производившим с первого же взгляда впечатление человека пронзительного, не радовало.

Следом за поваром через дверь в перегородке я прошел в помещение для obsługi. В нем тоже были нары, но за ними — отгорожены две кабины, как купе в вагоне. В одном у столбика сидели старший лейтенант, повар, какой-то волосатый пленный в больших очках и совсем мальчик лет шестнадцати не больше в нашей матросской форме. Маленькая плошка едва озаряла лица.

Я поздоровался и Александр Иванович предложил мне сесть. Я занял место рядом с морячком. Тот, не скрывая любопытства, разглядывал меня. Это был обаятельнейший паренек с немногомзорными еще детскими глазами, порывистый, беспокойный. Несмотря на небольшой рост и худобу, в нем ощущалась сила. Говорил он быстро и при этом вертел головой, обращая то к одному, то к другому собеседнику. Звали юношу Колей.

Александр Иванович стал меня расспрашивать, когда и где я попал в плен и кто по профессии (ему уже донесли, что я артист и владею немецким).

— Вот никогда не ожидал, — улыбнулся во весь рот Николай, — что буду сидеть рядом с настоящим артистом.

Все засмеялись и разговор принял непринужденный характер.

Александр Иванович Конаш производил впечатление интеллигентного человека. Ему было тридцать три года. Инженер по специальности; перед войной, по его словам, его арестовали по политической статье. С тридцать седьмого года, осужденный на пять лет, он находился в лагерях НКВД. Когда началась война, его, как и многих командиров запаса, освободили и отправили на фронт. Здесь он командовал ротой, был ранен (он прихрамывал), потерял сознание и очнулся уже в плену. Николай тоже взяли в плен раненым. Захватили их в январе, уже после эвакуации большого лагеря. Тот, в котором мы находимся, принадлежит одной дивизии, это прифронтовой лагерь. В нем долго не задерживаются. Наберется человек полтора-двадцать — и этап в тыл. Раненые лежат подолгу. Врача нет. Один санитар, да и тот похож на самозванца, никакого отношения к медицине не имеет. Но перевязки делает. Когда есть бинты.

По прихоти жандармского штабс-фельдфебеля Кольца, за-

правляющего всем в лагере, Александра Ивановича назначили комендантом и приказали носить знаки различия (звездочку с пилотки у него, как у всех пленных, забрали).

Пленный в очках иногда прикладывал с болезненным видом руку к щеке: у него болел зуб. Он повязал голову коричневым кашне с кисточками на концах, которые я принял за косматые волосы. Очкарик назвался Дмитрием и произнес фамилию, кончавшуюся на «ский». Он охал и морщился. О себе он сказал, что долгое время жил в Соединенных штатах, там родился, поэтому так плохо говорит по-русски. В СССР он приехал с родителями несколько лет тому назад. По-моему он был таким же «американцем», как я. Но говорил он без характерного еврейского акцента. В плену он работал по своей гражданской специальности — поваром у какого-то хауптмана. Его и Колю каждый день водили на кухню к этому хауптману. Коля чистил картошку, таскал воду, а Дмитрий готовил «ресторанные обеды». Кое-что с этой кухни они приносили в лагерь, но «ресторанным» это питание не пахло...

Дмитрий был одних лет с Коляшем.

Александр Иванович дал знак, и повар пододвинул мне котелок с супом. Я его тут же съел.

— А хлеба нет, не взыщи, — развел руками комендант.

Повар Василий, украинец лет двадцати восьми, фактически не принимал участия в беседе. И если остальные оставляли впечатление образованных людей, а Коля — любознательного ученика, то повар — являлся воплощением дремучего безразличия. Он откровенно скучал, поневоле слушая окружающих.

Разговор то и дело возвращался к черному расстрелу. Николай откровенно высказывал свою ненависть к гитлеровцам. Его товарищей, как я понял, расстреляли. Немцы не брали в плен матросов. А раненого мальчишку пожалели. Кажется, за него перед казнью попросили его товарищи. Моряки сражались до последнего патрона. Немцы называли матросов «черной смертью». Коля клялся, что при первом удобном случае отомстит за товарищей. Напрасно Александр Иванович и я призывали его к осторожности. Глаза паренька горели ненавистью. Это был очаровательный волчонок.

Видно, Александру Ивановичу я понравился. Он сказал, что утром попросит Кольца не отправлять меня на работу, а занять в зоне. Обратного меня проводил Коля.

На утренней поверке комендант подошел к толстому штабсфельдфебелю и стал ему что-то говорить, указывая на меня. Толстяк утвердительно закивал головой и приказал мне отойти в сторону.

На завтрак давали сто пятьдесят-двести граммов хлеба, как когда, и баланду. На хлеб — это был дневной паек — раздатчик клал маленький кусочек, граммов пять-десять, повидла, которое немцы называли «мармеладом».

После развода Кольца, которому, что следовало, уже сообщил Александр Иванович, передал меня в его распоряжение. Тот послал меня на кухню пилить дрова, но через полчаса позвал: пришел немецкий врач и с ним вместе надо сделать обход раненых в лазарете.

Даже мне, привычному к зловонию, воздух в лазарете показался нестерпимым.

У входа нас встретил санитар, заведовавший этим «госпиталем». Кольц поморщился, а ассистент-артит (врач) спросил: нельзя ли проветрить?.. Оказалось, что можно. Но Василий Николаевич (санитар) еще не успел...

Врач в беседе со мной удивился, что я сносно знаком с историей медицины, обрадовался, когда я назвал ему имена Вирхова, Колле, Хетча, слышанные мной еще в детстве, а также Вассермана, Клейна...

Увы, при обходе врач мало чем мог помочь раненым, из-за отсутствия медикаментов и перевязочных материалов. Однако он пообещал, что «из уважения ко мне», постарается что-нибудь «организи́рен» (достать). Забегая вперед, скажу, что он свое слово сдержал.

В лазарете от общего помещения, где лежали раненые, перегородкой отделялись перевязочная и рядом с ней комната Василия Николаевича и второго санитар-дневального.

Раненые неделями лежали без смены повязок, завшивленные, грязные. Но даже подобия дезкамеры для прожарки белья и верхней одежды в лагере не было. Одна половина домика, в котором уютилась кухня, называлась баней. Но ее пропускная способность была ничтожной и там не было ни лавок для тазов, ни раздевалки, а шаек — всего три-четыре.

Раненые лежали на голых нарах. От общего помещения лазаретное отличалось отсутствием верхних нар.

Врач, обходя раненых, посетовал, что Советский Союз не примкнул к международному соглашению о пленных, повздычал о жестокостях войны, спросил мое мнение об уничтожении евреев, на что я ответил, что отнимать жизнь у целого народа, к которому когда-то принадлежал Иисус Христос, — большой грех.

В это время Кольца рядом не было, и доктор согласился. «Вы увидите, — заметил он, — за это еще придется поплатиться». Он обещал навеститься через день, принести немного лекарств

и перевязочных материалов. Уходя, он дал Кольцу самую лестную характеристику своего спутника, о чем жандарм не замедлил мне сообщить сразу после ухода врача.

Вместе с санитарями и легкоранеными я занялся уборкой лазарета, принес воды и убедился, что Василий Николаевич совсем не заботился о своих подопечных. Видя мое сочувствие, раненые тихонько пожаловались, что по два-три дня не умываются, потому что санитары ленятся принести воды, что перед раздачей завтрака и обеда Василий Николаевич и его помощник заносят бачок с баландой в свою комнату, выжупают себе всю гущу, а раненым дают «нагольную воду». Даже от нищих хлебных паек санитары ухитряются урывать себе.

Следующим же утром сразу после развода я попросил разрешения помочь при раздаче завтрака в лазарете и, к удивлению повара, не занес, как раньше, ведра с баландой и фанеру, заменявшую огромный поднос, с маленькими пайками хлеба в перевязочную, а тут же при всех поставил в помещении, где лежали раненые. Назойливо напоминая санитару и его помощнику, чтоб хорошенько помешивали, а иногда возвращая котелки для более равномерного заполнения гущей, я смог хоть чуточку улучшить положение несчастных. То же самое повторилось в обед и на следующий день. А когда раздача велась без меня, при ней присутствовал Александр Иванович.

Я видел, какой злостью загорались глаза старшего санитаря и его помощника. Но их, ненасытных, и без того на кухне подкармливали, так как они успели, обворовывая раненых и мертвых, задобрить кухонную прислугу и унтер-оффцера Гуека. Это был отвратительный тип, жестокий и жадный. Только подчиненность Кольцу, Никишу и унтер-офицеру Шталю до поры сдерживала негодяя. Он не гнушался, принимая в лагерь свежих пленных, обыскивать их, чтобы забирать советские деньги, часы, не говоря о драгоценностях, вроде обручальных колец. Черный, с плотно сжатыми тонкими губами, Гук с первого взгляда производил отталкивающее впечатление: Бог шельму метит...

Были и другие ефрейторы и солдаты, постоянно придиравшиеся к пленным, искавших повод толкнуть беззащитных, ударить прикладом, обругать, унижить. Среди таких мелких гадов больше всех отличался один жандармский обер-ефрейтор, отчаянный патриот райха и поклонник фюрера. Когда он дежурил в зоне, повсюду разносилась его ругань, крики о «низшей расе», «скотах», «людоедах», «свинособаках»...

Но где-то все-таки есть Бог. Забегая вперед, вспоминаю.

Из лазарета нас привезли в этот лагерь в конце февраля —

начале марта. Было еще очень холодно. В апреле же начало крепко подтаивать.

В шагах двадцати от барака, напротив его среднего входа, зимой стояла, покрытая со всех сторон желтым льдом, уборная. Подойти к ней даже днем было весьма затруднительно. Ночью, естественно, до нее добирались только при крайней нужде, предпочитая, что надо, делать поближе к бараку.

Когда стало припекать солнце, Кольц приказал снести уборную и выкопать новую с другой стороны барака. На месте старой осталась огромная квадратная яма метра четыре шириной, заполненная зловонной жижей.

В торжественный день — двадцатого апреля — день рождения фюрера — жандармы напились с утра. Кольц и Никш, пересчитывая пленных, которых после недавнего этапа оставалось вместе с ранеными около ста человек, без конца ошибались; в конце концов махнули рукой и ушли к себе.

Через зону к входным воротам прошагал часовой, стоявший со стороны кладбища. На смену ему от входа в лагерь с красными от ярости глазами, держа карабин наперевес, шел, выкрикивая «хайль Гитлер!», крепко выпивший обер-ефрейтор.

Взгляд его дико шарил по сторонам. Он выискивал жертву. Почти поравнявшись с бараком, он заметил пленного, взмахнул карабином и устремился на беднягу. Тот увернулся от удара и юркнул в барак, а обер-ефрейтор, успевший гаркнуть в который раз «хайль Гитлер!», в этот момент очутился возле ямы с нечистотами, поскользнулся и бухнулся в нее. Правда, карабин он не выпустил. Оружие осталось на краю ямы. Но сам патрют погрузился по шею в невообразимую дрянь.

Напрасно он пытался выбраться. Руки соскальзывали с ледяных краев. Фриц заорал.

Сперва выглянул наш брат, пленные, и, стоя в почтительном отдалении, стали рассуждать, захлебнется или не захлебнется, выберется или утонет в говне?

Зрелище было на редкость впечатляющее, особенно для нас, хорошо знакомых с характером этого мелкого гада. А он вращал глазами, ругался, плевался, плакал, хмыкал, стонал и вопил; безуспешно пытался выкарабкаться и, снова и снова, плюхался в говно.

Трудно сказать, сколько времени так продолжалось. Крики «утопающего» становились слабее. На помощь никто не шел: соратники праздновали.

Появился унтер-офицер Шталь. Это был крепко скроенный краснощекий жизнерадостный крестьянин. В его глазах всегда бегали веселые озорные искорки. Как и толстяк Кольц, Шталь

не пытался издеваться над пленными. Он говорил: «Динст ист Динст» (Служба есть служба), а всякое остальное ей не предписано. При виде своего подчиненного Шталь выпучил глаза, схватился за бока и несколько минут хохотал. Потом унтер-офицер оглянулся, подошел к пленным и приказал вытащить обер-ефрейтора. Но мы не могли. Я объяснил, что подойти к обледенелой яме практически невозможно. Демонстрируя эту невозможность, мы приближались к яме и стремительно скользили прочь в своих ботинках.

Тогда Шталь придумал: «Алекс!— приказал он мне,— сходи в тот сарай к обозникам, скажи, что я тебя послал и попроси у них веревку».

— Яволь!— ответил я и отправился исполнять приказание.

В одном из полуразрушенных барачков, наскоро починив одну его половину, недавно поселились обозники. Видимо, им некуда было деваться, и они получили разрешение, выставляя своих часовых, жить внутри лагеря военнопленных. Каждый день, почистив сбрую и подбелив толстые веревки, шли они за зону, где пристроили их лошадей. Этих обозников мы всегда видели в серых рабочих спецовках, всегда занятых. Они на нас не обращали внимания.

— Хальт! Во гейст ду хин? (Стой! Куда идешь?) — остановил меня у входа в полубарак часовой.

— Меня послал господин унтер-офицер Шталь, чтобы я попросил у вас веревку, чтобы вытащить упавшего в говно пьяного обер-ефрейтора полевой жандармерии.

— Что-о?!— выпучил глаза часовой.— А ну-ка зайди и повтори моим «камраден» (товарищам) свое поручение.

Я вошел внутрь. Как и везде, немцы здесь устроились похозяйски. Они сидели на аккуратных нарах вокруг самодельного стола. Одни чинили упряжь, другие штопали или зашивали свою одежду, а двое играли в шахматы.

Я повторил приказание Штала.

— Да какое имеет он право нами командовать, жандарм вонючий,— возмутился, не стесняясь моим присутствием, один из шахматистов.— Мы не из его части и ему не подчинены. И с какой стати мы будем пачкать свои красивые веревки («унзере шёнен зайле») в говне, чтобы вытаскивать жандарма?! Пусть ищут в другом месте.

— Что ты так смотришь?— повернулся он ко мне, заметив, что я уставился на шахматную доску.

— Здесь мат в три хода,— сказал я.

— Ты играешь в шахматы! Впрочем, все русские хорошо играют — «альюкин», «боголюбоф»...

— Да, чемпионы мира и Германии — оба русские.

— А как тут мат в три хода?

Я показал.

Вероятно, спрашивавший меня, был здесь старшим. Так как он сидел за столом без кителя, я не мог определить его звание.

— Давай! — предложил он. — Сыграем одну.

К счастью, он думал недолго, иначе бы меня раньше хватились. Минуты через четыре он проиграл.

— Нд-а-а, ты крепок, — подтвердил он. И как обычно, кто я по профессии и так далее, и скоро ли, честно говоря, кончится эта бойня? Он и его товарищи явно не отличались ура-патриотизмом.

— В этом году не кончится, — спокойно ответил я.

— Почему? Мы же так далеко зашли!

— Именно поэтому она так скоро не кончится.

— Ты что себе позволяешь? — разинул он рот.

— Вы сами предложили мне ответить по-честному.

Вытянув сомкнутые губы, он вздохнул и огляделся:

— Ду бист абер вицих... (Ты, однако, остроумен...), — процедил он.

— Алекс! — раздалось у входа. Кричал Шталь.

Я вышел и сообщил о неудаче своей дипломатической миссии.

Когда Шталь вошел, все встали, но также ответили ему отказом. Шталь выругался, но согласился, что марать зазря веревки из-за солдата чужой части обозники не обязаны.

— А вытаскивать надо. Смех смехом. Но если он утонет, нагорит всем, — резюмировал Шталь. — Надо принести доски!

Двое пленных пошли к лежавшим у забора загаженным доскам от разломанной уборной. Взяли две подлиннее, отнесли к яме, протянули утопающему, и он выбрался...

— Поднявшись из говна, этот остолоп у края ямы еще попытался приложить руку к пилотке, отдавая честь унтеру: дисциплина и субординация!..

Шталь брезгливо отмахнулся: «Убирайтесь вон! Скажите, чтоб вам прислали замену».

23. ОПЯТЬ О ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОМ ГОДЕ. КОЛЮ УВОДЯТ

Обер-ефрейтор несколько дней не показывался, а когда появился, не только немцы, но и мы, при виде его, морщили носы.

Обозники оказались хорошими ребятами. Не раз после того они угощали меня сигаретами, а подчас и хлебом, когда я ухит-

рвался вырваться к ним и нет-нет да обыграть их добродушного чемпиона — унтера в шахматы.

Вечерами меня просили «почитать что-нибудь», и я читал. Читал и «Полтаву», и «Царя Никиту», и «Боярина Оршу», и «Петергофский госпиталь»... Вокруг собирались пленные. Както фельдфебель Никиш застал вокруг меня большую группу ребят. Поинтересовался: «Вас ист лёс?» (В чем дело?) — приказал разойтись и спросил, что я читал? Я ответил: «Стихи Пушкина». Объяснил, что для нас Пушкин такой же, как для них Шиллер и Гёте. Последние имена жандарм слышал. Но заметил: «Можно читать со своего места на верхних нарах, а остальные пусть лежат и слушают».

Особенно любил, когда я читал, Коля. Его привлекала музыка стиха и неожиданная меткость четких мыслей, облеченных в такую волнующе прекрасную форму.

Александр Иванович нехотя вспомнил о своем пребывании в заключении в советских лагерях, о блатных, о ворах, бандитах, наводивших страх на «политических».

Мне не верилось, что у нас такое могло твориться. Но спорить с комендантом не решился. Только подумал, что врет... По-моему, другие слушатели подумали то же самое. Я знал, что у нас арестовывали направо и налево, что за неосторожное слово можно жестоко поплатиться. Но верилось, что есть справедливость: ведь выпустили ни в чем неповинных дядю Бориса и профессора Нецадименко и отца Злоцкого выпустили. Значит, беспокоятся, чтобы советского человека напрасно не губить. Если бы Сталин знал о всех несправедливостях, туго пришлось бы «перегибщикам». Вот ведь перестреляли сколько гепоушников и энкаведистов после «эпидемии золотухи», когда они реквизировали и прикарманивали изъятое у людей золото. И после исчезновения Ежова расстреляли многих, кто при нем свирепствовал. Конечно, мертвых не вернуть. Якира, Тухачевского, Гамарника, Корка, Уборевича...

Шпиономанией я страдал в меньшей степени, чем многие мои сверстники и здесь, в плену, постепенно понял, что наше окружение и поведение в нем командного состава — не предательство, не измена, а обычное наше головотяпство, трусость и глупость, эгоизм старших командиров, заботящихся о своей шкуре и, ей-ей, боящихся Сталина куда больше, чем Гитлера.

Нередко в разговорах с немцами звучали имена этих «вождей». Солдаты и унтер-офицеры поражали своей наивностью. Ленин для большинства оставался фигурой неприкосновенной. Сталина ругали. Считали, что Молотов — друг Германии. Хвалили Ворошилова: он уже хотел сдать Ленинград, чтоб скорее

заклучить мир, вот Сталин помешал. Они не понимали, что столкнулись не просто Сталин и Гитлер, а два разных строя, две противоположные системы, непримиримые взгляды на всю историю, на все человечество.

Хотя «Москва 37-го года» Лиона Фейхтвангера меня поразила тем, что автор верил в виновность «троцкистов», «бухаринцев» и им подобных, я не думал, что писателя «покупили», о чем намекали иные интеллигентные люди. Но.., что не случается в мире?..

Как-то Конаш рассказал детективную историю о том, как Гиммлер по заданию Гитлера, чтобы обезглавить Красную Армию, состряпал со своими помощниками «военный заговор», «случайно» дал возможность «материалам заговора» попасть в руки Бенешу, президенту Чехословакии, бывшей с нами в союзе до ее оккупации Германией. Бенеш передал «материалы» в Москву союзникам, а Сталин, благо ему вечно мерещилась измена, пошел крушить направо и налево и уничтожил цвет Красной Армии. Не верилось. А ведь могло быть...

Конаш попал в плен в январе и знал об основных неудачах вермахта в зимнюю кампанию. Александр Иванович не сомневался, что гитлеровцы потерпят поражение. Немцам он, понятно, об этом не говорил, но Коле, Дмитрию, мне — всегда. Но на будущее он смотрел пессимистично.

— После победы, — считал Конаш, — прижмут еще больше. А нам, побывавшим в плену, ждать нечего. Даже, если после проверки, если еще пройдешь ее, ты останешься клейменным на всю жизнь. Никаких прав не жди. При первом удобном случае тебя посадят, даже после войны. А во время войны — наш удел — штрафная рота, а то и расстрел.

На мои возражения, что мы же не по своей воле попали в плен, он только махал рукой: «Плохо ты знаешь наше НКВД. Ни одному твоему слову не поверят».

Я возмущался — как это так? — но старший лейтенант только смеялся над моей наивностью: он лучше знал жизнь и советский режим.

Александр Иванович подрабатывал, рисуя немцев с фото. Кольц приносил ему фото свое или своих близких; Конаш аккуратно карандашом разбивал снимок на маленькие квадратики, потом «увеличивал», перерисовывая. Так он выполнял заказы многих немцев из охраны и они приносили ему хлеб, сигареты, маргарин, смалец. Он не курил и добрую часть «гонораров» отдавал нам.

Небольшой, аккуратный, подтянутый, умеющий, когда надо, промолчать, он вызывал невольное уважение.

Примерно через неделю после моего прибытия в лагерь стали поступать пленные, которые раньше работали при кухнях, или, как мы, в лазарете. Генерал приказал всех сдать в лагерь. Большинство командиров выполнило приказ, хотя не сразу.

Тем не менее, однажды в зону привели Володю Харитонова, Абрама и остальных пленных из лазарета. Вместе побыли всего двое суток: в сформированном этапе ушел Абрам, хотя я ему не советовал забираться глубже в тыл. Но он только скривился «Авось и там не пропаду...» Не знаю, что с ним стало потом. Харитонов послушал меня и, когда отсчитывали на этап, незаметно перешел на другой фланг.

Привезли в лагерь и Алексея с Георгием. Жандармы сразу обратили на них внимание и, хотя отобрали на вахте часы, не предложили Александру Ивановичу оставить в обслуге в качестве полицейских (до того их в этом лагере не было). Оба не мечтали о такой карьере, но быстро научились махать плетками, не трогая пленных, что вызывало недовольство Никиша и Гуека, поражавшихся «мягкотелости» таких бравых молодцов.

Как-то пленные пожаловались Александру Ивановичу: они поймали вора. Он украл хлебную пайку у товарища. Подозревали, что и раньше, бывали случаи, он обворовывал других.

Поймали с поличным — отпираться было бесполезно.

— Ну, что ж, — решил Конаш, — завтра будешь без пайки, отдашь пострадавшему и получишь перед строем двадцать пять горячих по заднице.

Я возмутился: бить?! Телесное наказание?! Оно у нас давно отменено.

Но Александр Иванович приказал мне замолчать.

— Шталь не разрешит, — убеждал я. — Зачем эта крайность?

— А я у Шталя спрашивать не буду, — возразил Конаш. — Спрошу у Кольца.

К моему удивлению добродушный штабс-фельдфебель, услышав решение коменданта, обрадовался, похлопал его по плечу, повторяя: «Рихтих! (Правильно). Иммер дропа!» (Всегда лупи).

Утром перед строем полицейские поставили скамейку. Но бить отказались: еще не вошли в роль. Тогда Конаш сам взял плетку и начал стегать лежавшего на скамейке вора. После седьмого или восьмого удара он обделался и экзекуция прекратилась. На меня она произвела противное впечатление. Но больше кражи не повторялись.

Состав пленных менялся. Иногда эвакуировали раненых, которые здесь не имели квалифицированной медицинской помощи, хотя немецкий врач, приходя в лазарет, нередко сам де-

лал перевязки, вытаскивал осколки... Но он мог посещать наших раненых далеко не каждый день и не на долго.

Каждую ночь у выхода из лазарета лежали один, два, три трупа. Никто не обращал на них внимания. Мы все огрубели. И все же рассказы о наших потерях оставляли гнетущее впечатление бессильного возмущения.

Я думал, что только мы под Лугой не умели воевать, что только наше командование было плохим. Увы, зимнее наступление стоило Красной Армии огромнейших потерь, львиная доля которых объяснялась тупостью и неопытностью командиров, «сверху донизу и снизу доверху...»

Немцы поражались, что наших поднимали на «ура!» за четыреста и более метров до немецких укреплений. Это приводило к тому, что атаки захлебывались, а в ничейном пространстве, не добежав половины пути до врага, оставались сотни убитых и раненых. Как и летом сорок первого, зимой гнали в атаки, не обеспечив своевременную поддержку артиллерийским огнем, не разведав расположения противника. Зимой перед боем давали спирт, обычно двойные порции, что спасало от обморожения, но мешало ориентации и вызывало лишние потери. Цифры потерь, называемых и немцами и пленными, поражали. Я понимал, что это правда, что мы по-прежнему воюем не умением, а числом...

Иногда удавалось читать наши листовки. В одной сообщалось о поражении немцев под Москвой. «Командовали... генералы Жуков и Конев...» Так мы узнали новые имена. Александру Ивановичу они были знакомы. Особенно высоко он ставил Жукова и генерала Рокоссовского, якобы долгое время находившегося в лагерях НКВД.

В другой листовке мы вычитали о протесте Молотова, в связи с зверским обращением немцев с военнопленными. Может быть, благодаря этой ноте немцы здесь не позволяли ни себе, ни полицейским того, что было в Чудовском большом лагере в декабре? Но, скорее всего, «приступ гуманизма» объяснялся тем, что дела гитлеровцев шли не блестяще. Все чаще фрицы выражали тоску по «хаймат» (родине), не вспоминая про «блицкриг».

Перебежчиков в лагере сторонились. Немцы сами презирали их, но следовали предписанию, чем-то выделять из остальной массы. Позднее, уже в Гатчине, я заметил стремление гитлеровцев любой ценой вызвать раздор среди многонациональной массы наших пленных. Способы достижения этого поражали анекдотичностью. Так украинцам стали в Гатчине выдавать по одной сигарете в день, белорусам — по две (или наоборот), татарам — по две и еще кому-то — по одной или две. Только нам,

русским, ничего не полагалось, кроме жалкого основного пайка, принимавшего различные размеры в зависимости от того, сколько дивизия могла выделить на содержание находившихся у нее пленных.

В нашем пересыльном лагере различий для разных национальностей не могли делать и не делали. Перебежчикам приказали, однако, давать утром и вечером лишний черпак баланды. Перебежчики выстраивались в отдельную очередь под откровенно издевательские замечания обслуги, товарищей да и отдельных немцев, и повара выполняли приказ, наливая лишний черпак самой жидкой баланды. Перебежчики пытались протестовать, но их заглушали голоса остальных доходяг.

Как-то во время ужина я зашел на кухню, услышав там крики. Кухонный рабочий бил плеткой лежащего на скамье пленного. Я вырвал у него нагайку: «Как тебе не стыдно?!»

Тут из глубины кухни выступил, незамеченный мной, фельдфебель Никиш: «Ты какое право имеешь отменять приказ немецкого фельдфебеля?! Ты — что? Хочешь получить остаток по своей спине?!»

— Лежавший на скамейке молодой парень тихо скулил. Он попытался незаметно стать второй раз в очередь за баландой. Но раздатчик его заметил и указал Никишу. Тот сразу распорядился «всыпать двадцать пять». Полицейских рядом не оказалось и Никиш вручил свою плетку кухонному рабочему.

— Хочешь получить остаток по своей спине?! — повторил Никиш.

— Не хочу, но... воля ваша, господин фельдфебель.

— Ложись!

Я задрал гимнастерку и лег на живот, положив голову на скрепленные руки и прикусил зубами тыльную сторону ладони.

Последовали удары. Я молчал. Мне кажется, рабочий бил меня слабее, чем моего предшественника: человека, знающего чужой язык, опасались... Никиш приговаривал: «Нох! Нох!» (Еще, еще!) Но после пяти ударов сказал: «Генуг» (Хватит). Я поднялся.

Никиш смотрел на меня, прищурясь: «Ты слишком много себе позволяешь, Алекс. Мне кажется, ты настроен враждебно...»

Помолчав, он добавил: «Зо айне толле руссише интеллигенц» (Такая сумасшедшая русская интеллигенция)...

Евреев в лагере не встречалось. Их убивали как только брали в плен. Однажды всех нас днем загнали в барак. Снаружи раздавалась немецкая ругань, звуки ударов, крик и отчаянная русская ругань.

Мы прильнули к узким окошкам свинарника. Мимо него несколько немцев тащили окровавленную массу в обрывках комсоставской одежды. Человек этот истекал кровью и кричал: «Гады! Все равно, проиграете войну! Будут еще вас душить, как клопов! Гады! Сволочи! Бляди! Все равно сдохнете!» Некоторые слова он выкрикивал по-немецки и по выговору я догадался, что это еврей. Вскоре со стороны кладбища донеслись короткие выстрелы и вошедший в барак Кольц вызвал несколько человек закопать убитого комиссара.

В апреле лагерь стал наполняться быстрее. Немцы говорили, что они окружили прорвавшуюся зимой через Волхов большую группировку русских, целую армию, и теперь уничтожают ее по частям. Русские отчаянно сопротивляются, но у них не хватает снарядов и продовольствия. Они отрезаны от аэродромов и обречены. К сожалению, это была правда. Вторая ударная армия героически сопротивлялась несколько месяцев, воюя в страшных условиях. Голод и болезни косили ее ряды не меньше, чем враг. Неподготовленные контратаки стоили огромных жертв. Весенние оттепели окончательно погубили жалкие проселочные дороги в тылах глубоко прорвавшей в болотистые леса армии. Небольшие села и деревушки, занятые ею в этом бедном крае, сами вымирали от голода, еще осенью делясь последним с выходившими из окружений бойцами. Теперь у крестьян не было ничего.

Иногда обессиленных, спавших бойцов немецкие разведчики захватывали прямо в землянках. Так попали в плен рослые сибиряки: уснули, а проснулись под дулами автоматов. Двое сибиряков, фамилию одного помню — Истомина — стали работать при кухне.

Как-то Коля вернулся в зону мрачный и молчаливый. Дмитрий объяснил, что парнишка нагрубил Никишу. Мы все убеждали юношу быть сдержаннее: жандармам ничего не докажешь, только обозлишь. Лучше свою злость и энергию приберечь на более подходящее время. Но Николай пылал ненавистью. Кольц смотрел на это как на мальчишество, Шталь покачивал головой. Но Никиш и Гук ненавидели маленького моряка.

Вечером они пришли за Колей. Приказали собраться с вещами. Мы обнялись на прощанье и его увели. Куда?..

Утром я спросил Штала. Он буркнул, что подвернулась попутная машина и паренька, «дер зих цу филь эрляубт» (который слишком много себе позволяет) увезли «инс андере лягер» (в другой лагерь), где ему будет не так хорошо, как здесь...

То же ответил на следующий день Кольц, когда у него заинтересовался Александр Иванович. Правду ли сказали жан-

дармы? Сомневаюсь. Коля был общим любимцем и, возможно, его отвезли в другой лагерь, чтобы расстрелять перед незнакомыми пленными, либо расстреляли где-нибудь за зоной... А может быть, все-таки отправили в тыл?.. Хотелось верить в последнее. Но... не верилось.

С пленными, попадавшими в лагерь с фронта, к нам иногда доходили номера «Правды». В одном из них на первой полосе я прочитал о том, что наши войска, завершив окружение, по частям добивают остатки немецкой шестнадцатой армии... Увы, в то время, когда «Правда» торжественно сообщала об этом, шестнадцатая немецкая армия добивала по частям нашу окруженную вторую ударную армию... На войне каждая сторона старалась перелгать другую. Кажется, нашим это удалось...

24. ПАСХА. ОТЕЦ АЛЕКСАНДР

В одной из газет помещалось сообщение о православном патриархе, о сборе средств верующими на защиту отечества, о богослужениях и молитвах о даровании победы.

Я с детства был неверующим и скептически отнесся к этим сообщениям: как тревога — так до Бога. Я понимал, что и церковь призвана стать подспорьем в жестокой борьбе. А сколько храмов разрушили наши в тридцатых годах!? Сколько благородных священников было расстреляно?!

Гитлеровцы открыли православные церкви и раструбили об этом на весь мир.

Я помнил друзей своего деда, благородных русских священников. Но воспринимал их просто как порядочнейших людей, добрых, стремившихся использовать веру как средство нравственного воспитания.

Как-то, когда мне удалось выклянчить у немецкого врача довольно много перевязочных материалов, кто-то из раненых во время обхода в лазарете вспомнил, что близится пасха, и хотелось отметить ее. Я перевел слова раненого врачу и, стоявшему рядом Кольцу. Последний заинтересовался: разве не все русские безбожники? Я его разуверил, благо сам делал вид, что не отрицаю Бога, хотя крепко путаю понятие Бога с Судьбой.

Еще один пожилой пленный присоединился к просьбе первого, попросил пригласить в лагерь священника.

Кольц закивал головой. Затея показалась ему отнюдь не бессмысленной.

Большинство пленных — молодые люди — не только не ве-

рили в Бога, во всяком случае, перед войной, но не знали ни одной молитвы и даже не умели креститься.

На следующее утро Кольц, придя с двумя конвоирами, приказал мне отправиться с ними в церковь (они знают, где она) и попросить священника посетить раненых и вообще пленных в день пасхи.

Мы шли долго, постоянно уступая дорогу машинам. Пройдя мимо разрушенных зданий, бывших домов и домиков, мы подошли на окраине к маленькому подобию церквушки. Возле нее теснилась кучка пожилых женщин.

При виде меня, они заохали, потянулись ко мне; некоторые всплакнули. Сердце мое сжалось. Вот они — матери, днем и ночью оплакивающие своих сыновей, не знающие — живы ли те, или давно лежат, непогребенные в лесах, безвестные пленные в ямах-могилах, а может быть, бегущие где-то по команде навстречу своей смерти. Это они, русские женщины-страдалицы, осенью делились с нами, окруженцами, последними продуктами.

Сколько тоски, нежности и сочувствия читалось в их худых изможденных лицах, и еще читался в глазах — страх, тревога неизвестности каждого последующего часа и дня.

Я вошел в церквушку, сняв пилотку, и перекрестился.

Ко мне подошел маленький старичок с длинными серебряными волосами вокруг румяного ясноглазого лица.

Отец Александр с первого взгляда располагал к себе. Доброта, неподдельная и безграничная, светилась во всем его облике. Ему было восемьдесят четыре года. Он многое перенес, но сознание своей необходимости для утешения страдающих, для внушения им бодрости через веру в конечное торжество справедливости и добра, поддерживало его собственные силы.

Я передал ему просьбу пленных и старик сразу согласился. Только попросил подвезти его в лагерь и оттуда, так как ноги у него уже «отказывают»...

Конвоиры, когда я им перевел, согласно закивали головами.

Когда я передал раненым, что их желание будет исполнено, к моему удивлению, некоторые очень взволновались: они не умели креститься... Что ж, я показал, объяснил эту нехитрую манипуляцию, и раненым и здоровым...

В день пасхи отец Александр приехал в дровнях с дьячком в лагерь. Обязанности дьячка выполнял один из пожилых прихожан.

Службу служил священник в лазарете. Мы вслушивались в непривычные для нас выражения «Богородица-дева, радуйся», «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ...» Затем началось целование креста. Я стоял поблизости от отца

Александра и одному из первых он дал мне поцеловать крест. На меня, убежденного нехристя, тогда эта процедура не произвела впечатления. Но сам отец Александр запомнился. Ни одного слова не сказал он о даровании победы «супостату». В его речах сквозило доброе и упрямое убеждение, что страдания кончатся, восторжествует любовь.

Раздав принесенные с собой просфоры (нас в то время в лагере было немного — всего человек сто пятьдесят вместе с ранеными) и, дав отведать «Крови Христовой» — одну бутылочку красного вина разбавили на ведро, а одна просфора пришлась примерно на шесть человек, отец Александр присел отдохнуть. В беседе он заявил, что он — «страшный грешник», ибо больше всех писателей почитает Льва Николаевича Толстого. Священник сказал, что по ту сторону фронта сын его занимает большую должность, чуть ли не прокурор; что приходилось самому отцу Александру перед войной худо, но он, все равно, верит, что с помощью Божией «правое дело победит».

Мы все тепло простились с трогательным стариком.

Нет, не напрасно он к нам приехал: в наше жестокое бытие он принес смягчающее душу утешение, ответ своей доброты.

25. ПЛЕННЫЕ ЛЕТЧИКИ И КОМДИВЫ. «МИЛЫЙ» ИНТЕНДАНТ

Нам повезло: немцам-фронтовикам доставили вагон кровяной колбасы в жестяных банках. Все банки почему-то вздулись и немецкие врачи опасались, что консервы испорчены и ими можно отравиться. Поэтому их решили скормить пленным. Вероятно, привоз был рассчитан на снабжение крупного подразделения.

Кровяная колбаса пошла в баланду и недели полторы-две она была неузнаваемой и многим помогла встать на ноги. Никто, к вящей досаде и удивлению жандармов, не отравился. Они решили, что у русских «луженые желудки». Действительно, что только нам не приходилось есть в плену, чего нормальный желудок никогда бы не перенес! Только диву даешься.

Консервами воспользовались и повара. Вечером, когда все спали, Васька тихонько подсел к печке, озираясь, вытащил из-за пазухи пачки советских кредиток и стал их пересчитывать. Я не спал и видел, как горели жадностью глаза его, а руки трепетно ощупывали бумажки. Мне стало противно, я соскочил с нар, обозвал его «жидом» и бросил пачку кредиток в огонь. Он было кинулся на меня, но тут проснулись Алексей и Георгий.

Убирая чердак, среди всякого брошенного тряпья я нашел... мою книгу — «Лирика» Пушкина. Она прошла со мной фронт, окружение, плен. Была в кармане шинели, когда в Сольцах жандармы отправили меня на расстрел. Книжку забрали при обыске полицаи, прежде чем загнать в «слепой барак».

Александр Иванович смеялся, когда я ему, не упоминая об обстоятельствах утери книги, сообщил о ее находке. Он не был сентиментальным. А для меня Пушкин был библией.

* * *

Офицеров в лагерь не приводили. Их содержали отдельно или сразу отправляли в тыл. Раз принесли на носилках раненого молодого летчика, лейтенанта или младшего лейтенанта, лет двадцати. Поместили его по приказу сопровождавшего немца-зондерфюрера отдельно, в перевязочной. Летчик был без сознания. Когда он пришел в себя, мы стали за ним ухаживать. В то время в лагерь бросили убитую немецкую лошадь и летчика стали подкармливать бульоном с кониной.

Я упросил легкораненых, ухаживавших за ним, ни за что не говорить ему, что он ест конину. Он был очень требователен к пище. Может быть, этой ложью удалось спасти ему жизнь. Он рассказывал как у нас питаются летчики, получают шоколад и другие продукты, о которых мы уже забыли, и заметил, что никогда не стал бы есть конины. Мы переглянулись. «Секрет» выздоровления мы открыли парню значительно позже, когда его жизни уже не грозила опасность.

Когда летчик пришел в сознание, к нему явился зондерфюрер: выгнал всех из перевязочной и долго допрашивал. Он пытался, где расположен его аэродром.

Через два дня зондерфюрер снова пришел. На этот раз из перевязочной на весь лазарет разносилась ругань: летчик обманул гитлеровца, назвал ему место, где нашего аэродрома в помине не было, а туда фашисты на радостях отрядили целую эскадрилью бомбардировщиков.

После выздоровления летчика отправили в тыл. Парень попрощался, шепнул мне, что все равно убежит и, прихрамывая, вышел из барака.

Другой наш летчик попал в плен в еще более тяжелом состоянии. Это был майор тридцати восьми лет, командир эскадрильи. Его принесли на шинели, всего окровавленного. Во главе эскадрильи истребителей он вел бой. Его машина загорелась, он выпрыгнул на парашюте и, спускаясь, раненный, отстрели-

вался от немцев, которые с земли стреляли по нему из автоматов.

Первые перевязки ему делал немецкий врач. Видимо, майору придавали особое значение. Поселили его отдельно, оборудовав рядом с купе коменданта отсек. Никого туда не впускали; приставили к дверям полицая и запретили всякое общение с пленным.

Но Георгий и Алексей пропускали меня к нему. С ложки я кормил большого беспомощного человека. Рот у него был разорван и приходилось очень нежно, чтоб не задеть, подносить ложку с бульоном (опять же конским).

Когда майора захватили в плен, у него отобрали орден Ленина, все знаки различия, сняли унты, разорванный пулями комбинезон.

Едва майор начал приходить в себя, к нему тотчас явился зондерфюрер и, несмотря на тяжелое состояние раненого, на нем живого места не было, пытался в течение часа, если не двух, что-то выпытывать. Майор наотрез отказался давать какие-либо показания, говорил зондерфюреру, что немцы все равно проиграют войну и требовал, чтоб его расстреляли.

Зондерфюрер выходил, взбешенный, ругался, снова заходил в отсек, грозил, срывая повязки с ран майора и опять удалялся ни с чем, коротко бросив приказ: вызвать санитаров.

Зондерфюрер запретил кормить пленного, и я давал еду, пока Георгий и Алексей следили, чтоб никто из немцев не появлялся. И все же зондерфюрер как-то застал меня у майора и только на мое счастье невынесенная банка с мочой спасла меня от расправы: я объяснил, что пришел за ней. Зондерфюрер накричал на меня, но оснований для более серьезных подозрений у него не возникло.

Майор медленно возвращался к жизни. Бульон из конины (раненый не подозревал, что это она) и мелко-мелко нарезанное мясо, чтоб его как-то можно было разжевать, воскрешали человека.

Больше всего майора волновала судьба его девочки и жены. Он боялся, что за то, что попал в плен, их будут преследовать. Когда заходили немцы, он просил их расстрелять его. Жандармы усмехались: если надо будет, успеем.

Его принесли в марте раздетым, потому что с него, как со всех пленных летчиков, снимали унты, а с пехотинцев — валенки, так что они нередко шли по снегу в лагерь босиком.

Чуть майор пришел в себя, хотя без посторонней помощи не мог еще подниматься с нар, его отправили с первым же этапом. Приказали положить на носилки и, единственное, что я успел

сделать для этого мужественного человека — это вынести ему кусок шерстяного одеяла, прихваченного из лазарета, и укутать ему ноги. Он мне улыбнулся — и больше мы не виделись.

Когда немцам удалось ликвидировать наш прорыв возле Любани, в лагерь опять стали поступать свежие пленные и однажды ночью привели и оставили до утра двух полковников, командиров дивизий. Это были мужественные суровые офицеры, опытные и знающие. Всю ночь они просидели с Александром Ивановичем. Оба были истощены, но бодры, о своей судьбе не выражали оптимистических догадок, но были уверены, что немцы войну проиграли. Каких бы они еще успехов не добивались, их песенка спета.

Прорыв этих двух дивизий не был во время поддержан нашими основными силами, что сыграло роль в том, что немцы удержали Чудово. Дивизии оказались «в мешке» — и сразу начались обычные беды — нехватка боеприпасов, продуктов, транспортных средств... Бились отчаянно. С автоматами дрались у штаба и комдивы и все штабные. Большинство их полегло. Должно быть, немцы получили приказ захватить командиров живыми. Дорого обошлось выполнение приказа, но... обессиленных недоеданием, оставшихся без патронов комдивов взяли в плен.

Полковники рассказали, насколько позволяло время, о разгроме фашистов под Гжатском, Юхновом, в Крыму. Комдивы полагали, что там наше наступление было лучше продумано и войска снабжались лучше...

— Конечно, — сетовали оба, — лучшие кадровые части остались в окружениях, полегли или попали в плен во время панических месяцев сорок первого года. Сейчас полно «старичков», а с ними воевать хуже: «старички» дрожат за свою жизнь. Их поднять в атаку — нужны Ахиллеса.

— Ползешь по передовой, — признавался узколицый комдив, — сам объясняешь как нужно стрелять. А солдаты — уткнувшись носом в снег, в бруствер, и — не глядя... Какое там целиться? Жмут на спусковой крючок... Что проку от такой стрельбы? Куда он бьет? Спроси — не скажет. А чтоб поднять в атаку, бегаешь, грозишь, лупишь рукояткой нагана по каскам, бьешь лежащих кулаком по шее...

— Да-а, случалось такое, — хмуро подтвердил второй комдив.

Ругая bestолковость высшего командования, проклятое российское «авось», вопиющие безобразия нашей военной организации, из-за чего боевые командиры оказываются беспомощны-

ми и попадают в плен, полковники считали, что поражение Германии наступит еще в сорок втором — сорок третьем году.

Утром их этапировали в тыл.

Как-то в лагере появился его начальник — хауптман Мюллер — в сопровождении Кольца. Мюллер двигался медленно, ежеминутно останавливался, чтоб отдышаться. Это был человек дряхлый лет пятидесяти «с хвостиком». Седой, с длинным горбатым носом, с дряблым отечным лицом он производил впечатление тяжело больного. По-моему, как большинство томившихся от безделья офицеров, он злоупотреблял алкоголем.

Как раз в это время я с дневальным таскал дрова. Кольц остановил меня, приказал опустить на снег охапку и подойти.

Мюллер бесцветными усталыми глазками смерил меня, но при словах Кольца: «Айн шаушпилер» (Артист) — оживился, закивал тяжелой головой, потом покачал ею, вытянул сомкнутые губы и поднял их к носу:

— Шаушпилер... Айн зэнгер? (Певец?).

— Найн, айн драматишер. (Нет, драматический), — ответил я.

— Кайн музикер? (Не музыкант?).

— Найн (Нет).

— Шаде (Жаль), — вздохнул Мюллер и направился дальше.

Кольц повел начальника в лазарет. Но Мюллер, едва ступив на порог, скривился: «Найн, найн, найн». (Нет, нет, нет). Хир ист шреклик. Зо айн гештанк! (Здесь ужасно, такая вонь!), — и он поспешил выйти наружу, где чуть не носом к носу столкнулся с длинным пожилым майором, вошедшим в лагерь в сопровождении двух лейтенантов. Вероятно, это был какой-то начальник Мюллера, потому что последний оробел, постарался вытянуться в струнку и приложил дрожащую руку к козырьку.

Вошедший неприязненно оглядел Мюллера и стал его распекаль, не обращая внимания на присутствие немцев и пленных.

Как я понял, Мюллеру «нагорело» за плохую охрану. Майор кивал на жидкое проволочное ограждение в один ряд, на покосившиеся вышки с автоматчиками, досталось хауптману и за его «невоенный», затрапезный вид.

Мюллер попытался заикнуться в свое оправдание, но майор на него прикрикнул и добавил нечто вовсе оскорбительное по поводу мюллеровского «юдэнназе» (еврейского носа). Мюллер открыл рот, покачнулся, и если бы Кольц не поддержал его, хауптман бы упал.

Майор почувствовал, что хватил через край, посмотрел направо, налево и ушел со своей свитой, с Мюллером и Кольцем.

В тот же день за пленными для кухни зашел очень симпа-

тичный обер-лейтенант с бородкой а ля Наполеон III. По-моему, он был интендантом. Унтер Шталь представил меня ему. Тот «мечтал» познакомиться с образованным русским. Интендант только-только приехал из Франции. Мы перекинулись несколькими фразами по-французски. Он пришел в восторг, угостил сигаретами меня и стоявших вокруг пленных, которых взял с собой.

Вечером они вернулись, очень довольные.

Через несколько дней я увидел его снова, такого же любезного, охающего о жестокостях войны. Он показался мне немного возбужденным. Приведя с конвоиром пленных, он почему-то не уходил, повторяя, что скоро сюда придут его товарищи офицеры.

Когда в зоне собрались все пленные, нам приказали построиться.

Из ворот появилась большая группа немцев, среди них майор, недавно распекавший Мюллера, еще два-три офицера, к которым тут же примкнул симпатичный интендант. В ворота вошли конвоиры, сопровождавшие парня в штатской одежде.

— Ахтунг! (Внимание!) — возгласил зондерфюрер-переводчик.

Майор вынул из кармана маленькую бумажку, вроде той, на которой когда-то был отпечатан приказ о моем расстреле, и передал зондерфюреру. Тот объявил, что приведенный в лагерь русский задержан в городе без документов, а потому «веген партизаненфердахт» (из-за подозрения в принадлежности к партизанам) «вирд гляйх эршоссен» (будет сейчас расстрелян).

Парень очень спокойно, видимо, он понимал по-немецки, стал что-то объяснять майору и зондерфюреру. Но майор отрицательно покачал головой. Парень пожал плечами — поразило меня, что так спокойно — и спросил, где ему стать.

Майор указал. Парень стал и попросил, — мы услышали, — нельзя ли расстреливать в лицо. Майор нервно замахал руками: нельзя.

Парень снова пожал плечами и тут сзади к нему приблизился незаметно вышедший из кучки солдат, с замотанной шарфом нижней частью лица. Грохнул выстрел и, уходя, майор через плечо велел убраться и закопать убитого.

После ухода майора со свитой интендант приблизился ко мне и Александру Ивановичу:

— Боже! Как это ужасно?! Как ужасно! Ведь я этого русского знал.

Мы онемели...

— Он жил рядом с нашей кухней и работал грузчиком на складе.

— Но почему вы не сказали об этом майору?— поразился я.— Ведь несчастного расстреляли, потому что у него не оказалось документов, а он же у вас работал!

— Я как-то не подумал об этом,— виновато улыбнулся интендант.— Но... я ни разу не видел как расстреливают. Во Франции я не видел... Мне очень хотелось посмотреть...— и сделав набожную физиономию, этот тип с невинными глазами добавил: «Ах, это ужасно, это ужасно...»

Может быть, по выражению наших лиц он догадался об овладевшем нами омерзении и поспешно зашагал прочь повторяя: «Это ужасно, ужасно...»

Кольц привел в зону обер-ефрейтора, художника из райха, рисовавшего для газет и журналов. Тому хотелось нарисовать русского. В качестве типичного жандарм указал на меня. Художник обрадовался, но я запротестовал и предложил в качестве «более колоритной фигуры» какого-то нацмена — это же интереснее!— черного, смуглого, не умевшего «плакать по-русски». Художник дня два его рисовал и угощал куревом.

Больше всего я боялся зондерфюреров. Они, хоть подчас с грехом пополам, но говорили по-русски. Значит, могли беседовать с пленными, интересоваться всеми, кто мог им показаться подозрительными... Я видел, что зондерфюреры всегда переводили при расстрелах и связывал в мыслях их всех с немецкой разведкой, гестаповцами, хотя последних в прифронтовой полосе наверняка не держали. Пленные часто сами вступали в беседу с каким-нибудь зондерфюрером, обычно задавая глупые вопросы: когда кончится война, когда их распустят по домам, а то — когда немцы возьмут Москву и скоро ли будет «Шталина капут»?..

Зондерфюрер в переводе — «особый руководитель», «особист», что ли?.. Как тут не опасаться?..

Естественно, совестливые пленные не искали возможности перекинуться пустыми фразами с человеком в нестандартной вражеской форме, калякающим по-русски. Как правило, у него сигареты было не выклянчить. Я держался в стороне от подозрительных полуштатских офицеров. Если случалось с кем-то из них говорить, я всегда говорил по-русски, чтобы не ошарашить своим знанием немецкого и поражать идеальным московским произношением, как и подобало артисту.

Пленных, искавших общения с зондерфюрерами, я опасался: черт знает, что у них на уме? Ляпнет кто, что вот де Александр похож на еврея (может прийти такое в голову? Запросто)

и вздумают проверить — и все. Крышка. Да еще какая?! Разве немцы простят себе, что давали водить за нос?

За два или два с половиной месяца в лагере я видел зондерфюреров считанные разы и почти не разговаривал с ними. Но я помнил: они допрашивали пленных летчиков и переводили при расстрелах.

Однажды, в конце зимы, Кольц пришел с зондерфюрером и сказал, что Мюллер приказал мне поехать с ним, куда он укажет. Возможно, я изменился в лице, спросив: брать ли с собой вещи (сколько их у меня было?..).

Кольц покачал головой: «Найн». (Нет).

В сопровождении жандарма и зондерфюрера, молодого человека с нежным молочного цвета лицом, судя по выговору, прибалтийского немца, я вышел за ворота. Возле них стояла маленькая легковая машина. За рулем и сзади сидели вооруженные солдаты. Зондерфюрер сел рядом с шофером и вежливо пригласил меня занять место сзади. Я сел, ломая голову, что это значит? То, что они не знают, кто я, было ясно: иначе бы так не обращались. Но... везти на какую-нибудь проверку могут... А там?.. Что «там»?..

Машина подъехала к шоссе, и я заметил впереди у поворота небольшой автобус, похожий на карету скорой помощи. Из него вылез водитель. Зондерфюрер показал ему рукой: направо.

Автобус тронулся, за ним наша машина.

Проехали мимо чудовских лагуч, мимо двух-трех свежестроенных домиков, видимо, офицерских или штабных, и медленно, так как дорога была разъезжена и обледенела, выехали за развалины города.

«Куда меня тащат? Не узнали ли жандармы АОК-16, что меня не расстреляли и теперь хотят убедиться — тот ли я «кухеналекс» («кухонный Александр»), который им надерзил? И надо исправить «ошибку»... А может, кто из пленных болтнул лишнее — и меня везут к врачу на освидетельствование? Возможно, кто-то донес о моих «неосторожных» разговорах с немцами в лазаретной уборной — и не только в ней? А то и?..

Зондерфюрер сидел впереди и спрашивать его было вообще неудобно... Солдаты рядом молчали.

26. ТРЕТИЙ ГОФМАН! СМЕРТЬ — В ГЛАЗА. Я ДОКАЗЫВАЮ, ЧТО Я — НЕ Я...

Справа и слева темнел лес, занесенный снегом. Промелькнули следы пожарища придорожной деревушки.

Зондерфюрер повернулся: «Здесь уже совсем близко фронт»,— и в его глазах появились робость и тревога.

Я насторожился: «Вот никак не ожидал».

Зондерфюрер удивленно поднял светлые брови:

— Как? Вам не сказали?

— Нет.

— Вот там впереди,— он повернул голову вперед,— «пропагандаваген» (машина пропаганды). Вы артист, и я хотел вам предложить прочитать по громкоговорителю обращение к вашим землякам, чтобы они не допускали лишнего кровопролития и переходили на немецкую сторону».

— Но, простите, я русский пленный солдат. Я не давал согласия на такое. Я не перебежчик. У меня два брата на фронте.

Вот им вы, может быть, спасете жизнь, когда они убегут к нам.

— Я не имею права этого делать. Вы — культурный благородный человек, поставьте себя на мое место. Я не могу.

— Так это же не против Родины,— пытался убеждать меня растерянный зондерфюрер. Его насильно улыбающееся лицо имело жалкое выражение.

— Я актер театра. Никогда не читал ничего по громкоговорителю. Не умею и не смогу. Поймите. Вы же интеллигентный человек.

— Понимаю,— отвечал «на приветливы лисицины слова» со вздохом польщенный собеседник.— Но давайте попробуем.

— Одно дело — играть роль, другое — агитировать. Я не был большевистским агитатором, можете поверить, и не буду заниматься этим в плену.

— Погодите, может быть, вас удастся убедить,— с той же жалкой улыбкой промолвил зондерфюрер, когда машины свернули с шоссе вправо на ухабистую лесную колею.

Нас остановили автоматчики. Зондерфюрер сказал им что-то. Они пропустили нас. Мы проехали еще немного. Первая машина скрылась за поворотом. Наша свернула чуть в сторону. Зондерфюрер выглянул, спросил у встречного немца дорогу. Тот махнул рукой вглубь леса.

У поворота стоял указатель: «Айнхайт Гофман». («Подразделение Гофмана»). Мною овладело тяжелое предчувствие.

— Сейчас я вас представлю командиру части,— сказал вылезая зондерфюрер.— Пожалуйста.. подождите...

Положительно, этот почти юноша был мягкотелым. Ни разу не выругался, не повысил голоса. По-моему, он сам опасался своих собратьев.

Возле меня остался мой вооруженный сосед. Шофер вылез, протянул мне сигарету. Я не отказывался. Так как в пути мы с зондерфюрером говорили исключительно по-русски, со мной не пытались завязать беседу.

Вернулся зондерфюрер. Шепотом, словно боясь потревожить окружающую тишину, он предложил пройти к большому «бункеру» (дзоту).

Тут я заметил между деревьями в разных местах землянки. Лес содрогнулся. Откуда-то справа из-за деревьев грохнула батарея. Раз за разом вдалеке прогремели отдаленные разрывы. А затем поблизости с оглушительным треском повалились деревья, и этот треск потонул в громе разрывов наших снарядов.

Сердце мое забилося учащенно: «Господи!— взмолился я,— не дай мне стать предателем! Спаси меня. Укрепи мою душу».

Из землянки вылез хауптман. Подошел ко мне. Конвоир почтительно отступил в сторонку. Офицер вежливо поздоровался и сказал, что зондерфюрер ему сообщил, что я — артист и говорю по-немецки. Я подтвердил.

Это был образованный человек. Он поинтересовался, читал ли я Достоевского, Льва Толстого, Тургенева. Я охотно отвечал; коснулся драматургии Гауптмана, Ибсена, Ведекинда.

Подошел еще один офицер и тоже вступил в беседу.

— А вы знаете, зачем вас сюда привезли?— спросил вдруг первый.

— По дороге зондерфюрер мне сказал. Но я ему ответил, что читать не буду.

— Вы честный русский человек. Я вас понимаю,— посочувствовал офицер.— Я вас очень понимаю. Но...

Тут я прибегнул к обычному приему: «Вы же благородные люди. Вы сами перестанете меня уважать, если я соглашусь. Скажите, пожалуйста, зондерфюреру: пусть отвезет меня обратно в лагерь».

Упоминание о благородстве, чести, культуре, гуманности, понимании и тому подобных достойных вещах, как правило, не пропадали бесследно. По выражению лиц собеседников я понял, что они сочувствуют «интеллигентному русскому». Во всяком случае, они пытались меня успокоить.

Тут из землянки поднялся еще один офицер и присоединился к нам. Товарищи сказали ему несколько лестных слов в мой адрес с сочувственным эпитетом «айн ноблер руссе» (благородный русский).

Выглянувший из землянки зондерфюрер пригласил офицеров зайти. Когда они спустились, он сделал мне знак последовать за ними.

Пригнувшись, чтоб не стукнуться о бревно — притолоку двери — я спустился на несколько ступеней вниз. Передо мной открылась вторая дверь, а первую затворил за мной часовой.

В землянке, довольно просторной, у стен стояли нары с матрацами, покрытые шерстяными одеялами. Посредине стоял стол, неизвестно у какой хозяйки реквизированный с кухни. На столе горела ярко карбидная лампа. Прямо напротив меня у стола сидел, видимо, главный офицер, рядом с ним те, с которыми я уже познакомился.

Главный поднял голову. Посмотрел на меня. Прищурился.

Передо мной был хауптман Гофман, тот, которому я перед тем как попасть в рабочую роту Фёрстера (а может быть он меня туда направил?) признался, что у меня мать еврейка, а отец немец...

«Везло» же мне на Гофманов! В первых классах школы, по пятый включительно, я «воевал» с евреем Яшкой Гофманом. Мы люто ненавидели друг друга. В первых классах он был сильнее и часто «козаковал». Драки кончились только в пятом классе, когда я его одолел. Но неприязнь осталась до самых старших классов. У полевых жандармов, я был уверен, оберфельдфебель Гофман подвел меня под петлю, донес о моем споре с Рёром. И вот передо мной был еще один Гофман.

Он долго всматривался в меня, покусывая губы. Потом картинно вскинул руки вверх и воскликнул: «О Гот, о Гот! Юдэ ист бай унс пропагандаминистр говорден!» (О Боже, о Боже! Жид стал у нас министром пропаганды!).

Никто ничего не понял. Я стоял с безразличным лицом: я его узнал раньше, чем он меня. Зондерфюрер, стоявший рядом со мной, растерялся.

— Ну да,— продолжал Гофман,— ты, по-моему, меня должен знать. А?! Узнаешь?!

— Обождите,— по-русски обратился я к зондерфюреру,— мне что-то не совсем ясно, что ему надо?

— Я сам не понимаю,— пролепетал бледный зондерфюрер.

— Да что вы притворяетесь,— повысил голос Гофман,— ну вот сейчас вы меня узнаете.— И он надел очки, в которых я его видел при первой встрече. Но узнавать свою смерть в очках или без них мне, все равно, не хотелось.

— Ты тогда мне говорил, что у тебя отец или мать еврей. Не помнишь?

— Что он говорит?— опять спросил я зондерфюрера.

Офицеры переглядывались, смотрели то на меня, то на Гофмана.

Я знал, что у меня отросли усы, волосы, что эти полгода

безусловно должны были изменить мое лицо, мою манеру держаться: я уже не был растерянным юношей первых дней плена. Постоянное ощущение опасности научило меня выдержке. Кроме того, хауптман явно что-то подзабыл: я ему тогда сказал, что у меня отец — немец, а мать еврейка. А тут он отца вспоминал как еврея.

— Как же ты меня не узнаешь?— продолжал Гофман.— Ты когда попал в плен?

— В ноябре.

— А не в октябре?

— В октябре я еще не был пленным.

— Где ты попал?

— Подо Мгой,— назвал я место, в котором не был.

— А где был в плену?

— В Тосно и теперь в Чудово.

— Не может быть?!— поразился Гофман.— Не то. Неправда.

Весь разговор я вел по-русски и зондерфюрер переводил. Это давало мне время, пусть малое, на обдумывание ответов.

— Да нет!— вспыхнул Гофман.— У тебя мать или отец евреи. Мать, по-моему... Ты все врешь!

Я попросил зондерфюрера перевести. Растерянный, он забормотал: «Он говорит, что у вас мать жидовка».

— Да что вы ему переводите,— продолжал Гофман.— Он говорит по-немецки не хуже вас, а заодно и по-французски.

Когда мне зондерфюрер перевел, что моя мать «жидовка», и я, стало быть, «жид», я сверкнул глазами, стремительно распахнул шинель и с дикой руганью (русской!) рванул ремень на брюках, словно собираясь их спустить:

«Да я ему в рот засуну, чтоб он, гад, меня не обзывал. Мать его... Пусть выкусит, блядюга.., меня проверят!»

Офицеры поняли мой жест и, когда я только коснулся верхней пуговицы брюк, хором закричали: «Найн, найн, найн!» (Нет, нет, нет!) — и выставили вперед, останавливая, ладони, как бы защищаясь.

— Да нет же,— уже тише заговорил Гофман,— уверяю вас, я не мог ошибиться. Снимите пилотку,— приказал он мне.

Уверенным жестом я снял.

— Ну, посмотрите же, он похож на еврея.

Но тут офицеры, как один, запротестовали: «Нет!».

— Хорошо. Я докажу,— заявил Гофман и кликнул вестового.— Сбегай во взвод Фёрстера, позови кого-нибудь из солдат или унтер-офицеров.— И добавил, оборачиваясь к своим товарищам: «Там его всякая собака знает».

Меня вывели из землянки. Возле меня поставили часовых.

Бледный зондерфюрер: еще бы — привезти на передовую еврея! — Пытался меня успокоить, так как я ругался на чисто русском матерном диалекте, всячески обзывая хауптмана.

Появился офицер, который беседовал со мной о Достоевском. Подошел. Сочувственно вздохнул, сказал, что верит мне.

Пользуясь создавшейся ситуацией, хотя и в виду смерти, я категорически заявил зондерфюреру, что ничего читать не буду ни по каким микрофонам. Пусть этому Гофману «жид читает».

Зондерфюрер тяжело вздохнул и начал расспрашивать, — нет ли поблизости пленного, который бы мог выступить у микрофона. Сам он не хотел, хотя я тут же уверил его, что он говорит по-русски без акцента (это была наглая ложь).

Немцы привели с кухни пленного перебежчика, мужиковатого крупного парня. Говорил он с сильным украинским акцентом. Зондерфюрер отвел его в сторону, дал ему бумажку, видимо, с текстом выступления. Перебежчик прочел и закивал головой: согласен!

Я решил твердо отрицать все, что будет касаться моего происхождения, даже если разденут, что маловероятно, потому что в землянке, рванув ремень, я «дал сто вперед» такому подозрению. Но даже если меня узнает солдат из роты Фёрстера, а не узнать меня не могут: взвод охранял «рабочую роту», все равно не признаюсь, что я еврей. Я понимал, что в случае упорного запирательства меня не будут пытать, не станут издеваться, а просто расстреляют.

Но вот прибежал вестовой и быстро спустился в землянку. Из нее вышел Гофман в сопровождении офицеров.

Он приблизился ко мне и зловеще процедил: «Без меня — ни слова. Отвечать только на мои вопросы. Только тогда, когда я буду спрашивать».

Зондерфюрер все перевел. Как хорошо, что с офицерами я говорил осторожно, вполсилы, «подыскивая» немецкие слова. Теперь это позволяло сеять хоть немного сомнения в душе Гофмана и тянуть время, пользуясь переводчиком.

Между деревьями показался унтер-офицер. Быстро подошел. Отрапортовал: «По вашему приказанию прибыл», — назвал фамилию.

— Отвечайте только на мои вопросы, — предупредил его Гофман.

Мы стояли друг против друга, унтер-офицер из взвода Фёрстера и я. Мы смотрели друг на друга, и я не мог припомнить: случалось ли мне когда видеть это открытое честное лицо дисциплинированного служаки.

— Посмотрите внимательно на этого пленного,— обратился Гофман к унтер-офицеру.— Вы его знаете?

— Нет.

— Вы его никогда не видели?

— Нет, никогда,— открыто глядя мне в лицо, ответил пришедший.

— Точно — никогда?

— Точно.

— Можете вы поклясться в этом?

— Унтер-офицер поднял руку со сложенными как-то пальцами.

— Так,— хмыкнул Гофман,— теперь помолчите.— И обратился ко мне:

— Вы (он уже обратился на «вы») не знаете этого немецкого унтер-офицера? (Определенно Гофман был когда-нибудь учителем, так скрупулезно он пытался вдолбить, чтоб его понимали).

— Нет,— внимательно посмотрев на стоящего напротив, покачал головой я.

— Вы его никогда не видели?

— Никогда.

— Можете вы поклясться в этом?

Я перекрестился.

— Вы можете идти,— ничего не объясняя унтер-офицеру, отпустил его Гофман. Тот клацнул каблуками и зашагал прочь.

— Абэр фердамт эйнлих! (Однако чертовски похож!) — исподлобья глянув на меня, буркнул Гофман. Затем пожал плечами.— А, может быть, и ошибся. Но похожи... Сколько вам лет?

Я прибавил себе еще три года.

— Ммм,— промычал упрямец.— Ммм, тот был немного моложе, кажется,— и махнул рукой.— А! Война говно. Чуть не расстрелял вас,— и удалился.

Зондерфюрер был очень доволен, что я оказался не евреем. Выразил мне сочувствие, заявил, что понимает, что мне не до пропаганды, что мое желание сбылось.

— Бог правду видит.

Он только головой закивал и, оставив меня в обществе автоматчика, и офицера-литератора, ушел с перебежчиком в глубь леса. Вскоре оттуда донеслись звуки блантеровской «Катюши», а потом силового голоса, что-то хрипевшего по громкоговорителю. Затем послышалась мелодия Дунаевского.

Офицер, стоявший рядом со мной, усмехнулся: «Старается... А на хауптмана не сердитесь. Он просто вспыльчивый».

Через несколько минут вернулись зондерфюрер и перебежчик.

— Ну, как?— спросил немец.

— Очень сочно,— кивнул я.— Я бы так не смог. Увесисто говорит.

— Да, не по-интеллигентски,— согласился зондерфюрер, и я с удовольствием поддакнул.

На обратном пути зондерфюрер спросил: надо ли ему говорить об инциденте?

Я пожал плечами: его дело. Меня достаточно знают. Проверяли. Но больше на меня не рассчитывайте.— И я выругался крепко, по-русски, заметив, что мой спутник съеживается всякий раз, когда я матюгаюсь.

— Слава Богу, что так обошлось,— заключил он.— А ведь поблизости стояли войска эсэс. Если б к ним поехали... Впрочем, они в плен не берут: допросят наскоро и расстреливают всех — и русских и нерусских.

Мы простились у входа в лагерь и больше не встречались.

Я догадывался, почему остался в живых: унтер-офицер, на которого наткнулся вестовой Гофмана, не мог меня знать: он был, наверное, из свежего пополнения. Повезло!

— Куда тебя возили?— спросил Александр Иванович.

— На фронт, хотели, чтоб я читал там какое-то обращение.

— И ты стал читать?

— К счастью, нет: у них оказалась испорченной аппаратура. Я даже не знал, куда меня везут и просил больше не пытаться: пленный — и все. Попали там под обстрел...

Конаш после слова «обстрел» «понял» мое настроение...

Примерно через неделю Мюллер с Кольцем зашли в лазаретное отделение со мной. Вдруг Мюллер спросил: «А как там этот из «пропагандаваген», он ездил с Александром или нет? Вышло что-нибудь из этого?»

— Так точно, ездил,— ответил Кольц. Но ничего не вышло.

— Почему?

— Там один хауптман оказался «шлехт геляунт» (в плохом настроении) и ему показалось, что «Александр ист юдэнэйнлих» (Александр похож на еврея).

Мюллер посмотрел на меня: «Квач, гар ниht эйнлих». (Чушь, совсем не похож). Может быть, при этом Мюллер вспомнил как майор придрался к его «юдэнназе»? (еврейскому носу)?..

Раненым прибывало все больше. На мои просьбы увеличить отпуск лекарств и бинтов немец-врач обещал помочь и привел... штабс-врача:

— Дас ист дер гебилдете руссе дер зайне лянцер зо вакер

фертайдигт (это образованный русский, который так храбро защищает своих земляков).

Штабс-врач засмеялся, немного поболтал со мной — и отпуск медикаментов и бинтов увеличился.

27. ВЕСНА. МОГИЛЫ-«БАССЕЙНЫ». МОЛОДОЙ ПАЛАЧ

Ночами наши «У-2» не давали немцам спать. Зенитная артиллерия была бессильной. «Удочки» в темноте бесшумно подкрадывались и, как салазки со снежной горы, соскальзывали из-под низких туч и сбрасывали свой груз.

Немцы с тоской вспоминали своих «нахтйегер» (ночных истребителей), защищающих «небо райха» и летчиков Удета, Мельдерса, потом Марсея и Графа, сбивших по сто с лишним самолетов, получавших от фюрера «стартфербот» (запрет вылета) и обязательно на сто каком-то самолете погибавших. Мне плохо верилось в эти цифры. Я был из поколения недоверчивых...

Снег вокруг зоны быстро таял. Земля на открытом, поросшем низким чахлам кустарником пространстве между колючей проволокой и лесом, обнажалась. Если раньше за зоной у выхода на кладбище каждый шаг оставлял отпечаток в снегу, то теперь снега почти не было...

Ночью, особенно во время полетов наших бомбардировщиков, иногда строчивших из пулеметов по лагерным вышкам, выйти за зону не представляло труда. Конечно, за один побег, в случае его обнаружения, немцы могли расстрелять, как в декабре, каждого десятого, причем, никто не избежал бы «удовольствия» стоять в строю, из которого будут выхватывать обреченных — ни Александр Иванович, ни повара, ни полицаи, ни фельдшер, ни я.

По утрам Кольц или другой дежурный жандарм обходили лагерь и пересчитывали «количество голов». Математика была нехитрая: число пленных колебалось от ста до трехсот, включая раненых. После этапов людей было совсем мало — в основном обслуга.

Как-то Георгий или Алексей, они сперва пересчитывали всех, чтобы к приходу дежурного жандарма доложить, что в лагере столько-то людей в обслуге, здоровых, больных, тихонько сообщал мне, что, видимо, человека два сбежали. По-моему, кто-то из «бдительных» пленных «стукнул» об этом.

Зная немецкие нравы, я объяснил, что докладывать об

этом,— значит, подставлять под пулю и свой лоб. Но как скрыть?

Хотя на фельдшера положиться было трудно, тем не менее, посоветовавшись с Александром Ивановичем, мы решили поговорить с нашим «коновалом», как его называли раненые. Ему растолковали, чем грозит исчезновение пленных и, когда явился дежурный унтер-офицер, счет сошелся: в лазарете, в углу, где лежали самые тяжелобольные, мы сделали две «куклы» из поленьев, сапог, ушанок, накрытых шинелями. Во время посещения лазарета, когда унтер направлялся к углу, я «помог» ему посчитать, чтоб он «без надобности» туда не приближался.

Но постоянно такой «номер» проходить не мог. Поэтому трупы умерших ночью стали выносить в коридор между общим и лазаретным отделением барака и держать там по двое суток. Так как дежурные сменялись, то всегда удавалось объяснить, что лежащие в коридоре трупы — «новые» и счет сходился. Так, по самым скромным подсчетам, удалось скрыть от немцев по крайней мере десять побегов.

Весна принесла немало «сюрпризов». Возле лазаретной половины, выполнявшей свою роль и в большом лагере, из таявшего снега показались ампутированные руки, ноги, даже несколько трупов. Очевидно, из-за морозов санитары не относили их подальше, а швыряли в сугробы у входа или чуть в сторонке, у стенки барака.

Вся обслуга занялась очисткой территории. Мы соорудили носилки и таскали ампутированные конечности и трупы на кладбище. Могилы начинались в двух-трех шагах от ворот. Зимой умерших чуть прикрывали снегом. В могилу размером четыре квадратных метра и глубиной три или четыре метра сбрасывали трупы. Кто-либо спускался, укладывал их рядом. Затем сверху присыпали немного землей и клали других мертвецов. Так они лежали в несколько слоев.

Когда солнце пригрело, могилы наполнились водой. Трупы всплыли и в разных позах, кто на боку, кто на спине, кто на животе, некоторые с открытыми глазами, чуть колеблясь, когда дул ветер, плавали в этом «бассейне».

С большим трудом забросали землей старые могилы. Насыпали холмики. Вырыли новую братскую могилу, но она сразу заполнилась водой. Вырыли еще одну. Обе стали быстро заполняться...

Как-то после этапа всех нас, человек шестьдесят, выстроили у кладбищенских ворот, у самой проволоки, в нескольких шагах от открытой могилы, в которой плавали трупы.

Приказали расступиться и под конвоем подвели к могиле

парня в гражданской одежде. Зондерфюрер перевел приговор: «По подозрению в принадлежности к партизанам».

Парень — не старше девятнадцати-двадцати лет — очень спокойно возразил, что он не партизан и ни в чем не повинен.

Жандармы развели руками: «Бэфейль ист бэфейль». (Приказ есть приказ). Видя его хладнокровие, к нему относились с уважением. Ему приказали снять сапоги и фуфайку. Он снял и аккуратно сложил на земле; стал лицом к жандармам. Ему сказали, что надо стать спиной, и он повернулся лицом к могиле, где у самых его ног плавали трупы.

Он стоял спокойно, в то время как сзади, дрожа всем телом, приближался к нему бледный молодой солдат с карабином, буквально плясавшим в его руках.

Осужденный вдруг начал поворачивать голову. Солдат опустил карабин. Кто-то из немцев выругался и прикрикнул на солдата, а смертнику приказал не оборачиваться.

Солдат раза два еще никак не мог поднять карабин и умоляюще смотрел на своих командиров, что-то тихо шепча, вероятно, просил заменить его: он не может. Но на него вновь прикрикнули, пригрозили. Он сделал шаг-другой к жертве. Осужденный снова, томясь ожиданием, начал поворачивать голову. Грянул выстрел. Парень упал на бок у края могилы. Голова его, повернутая к нам, оказалась на куче глины. Все лицо было разорвано на несколько кусков, они, окровавленные, шевелились.

Офицер крикнул на солдата. Тот подошел к жертве и в упор выстрелил в затылок. Тело перестало подергиваться.

Кольц похлопал по плечу трясущегося новичка и подбодрил: «Для первого раза хорошо».

Труп опустили в «бассейн» и стали забрасывать землей.

Только что человек стоял перед нами, молодой, сильный. Только что мы все слышали его голос.

Кто-то из могильщиков взял сапоги, кто-то бушлат. Зондерфюрер и жандармы прошагали через зону, подбадривая еле передвигавшего ноги молодого палача.

Наконец эвакуировали раненых в Гатчину. В лазарете осталось только несколько самых тяжелых. Вместе с ранеными эвакуировали санинструктора Василия Николаевича, благо вместо него появился другой, военфельдшер. Стройный татарин, подтянутый, с жестким смуглым лицом, был неплохим специалистом, но держал себя надменно, оскорблял раненых.

Александр Иванович сперва немного приструнил его. Но чувствовалось, что медик презирает своих товарищей по несча-

стью. Высокомерие так и выпирало из него. Но при немецком враче он становился воплощением внимания и почтения.

— Вот и с нашими людьми был бы ты помягче,— заметил я ему.

— Они вам что-нибудь хорошее сделали?

— Разве это обязательно? Некоторые из них нам в отцы годятся.

Он рассмеялся: «Что вы меня учите? Хватит. Учили нас ваши комиссары».

— Они такие «мои», как «ваши»,— сменил я тон.— Поняли? Может быть, больше ваши, чем мои. Я был рядовым, а вы офицером, военфельдшером. Вы к ним ближе. Да, да, намного ближе, понимаете?.. Может быть, вы сами там комиссарили.— Теперь я «жал» на него. Внутри у меня жгло, я еле сдерживался. Он переменял тон: «Ладно, попробую помягче».

Он понял, что у меня тоже «есть зубы».

Он недавно попал в плен, а уже обзавелся часами, отобрал или выманил или выменял у кого-то из раненых. Щеголял в новой гимнастерке, всегда имел сигареты.

Источник его благополучия открылся, когда я увидел его, разговаривающим с унтер-офицером Гуеком. Военфельдшер совал ему деньги. Он приобрел себе могучего покровителя.

В зоне работал молодой симпатичный пленный, немного знавший немецкий. Фамилия его запомнилась: Дубровский. Нередко он работал и за зоной, откуда всегда возвращался с добычей. Как-то он сказал, что раньше Гитлер торопил немцев наступать на окруженных. Немецкий полковник Шадиз, ставший недавно генерал-майором, утверждал, что еще рано. Командование требовало. Шадиз сам пошел на передовую или в атаку и погиб. После того немцы решили повременить с наступлением и с воздуха нанести сокрушительный удар по нашим окруженным войскам.

В небе появились пикировщики. Они скрывались за лесом, и издали доносились глухие разрывы.

«Махт ир Гитлерс банде тот, хат ир фриден гляих унд брот». (Убейте банду Гитлера и вы сразу получите мир и хлеб). Такую листовку я увидел буквально у своих ног, когда выходил пилить дрова за вахту. Это была прекрасно сделанная фотооткрытка. В череп Гитлера, в его разинутую пасть, бесконечным потоком вливались обреченные на смерть немецкие войска, а сбоку стоял, недавно отстраненный от командования сухопутными войсками фельдмаршал Браухич и говорил: «С этим авантюристом я не хочу иметь ничего общего». («Мит дизем абентюрисер виль их нихте цу тун хабен»).

С глупым видом я показал листовку немецкому солдату: «Вас ист дас?»

Он странно глянул на меня и спрятал листовку в карман.

28. МРАЧНЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

Однажды Кольц привел в лагерь рослого младшего лейтенанта с маленьким лбом над расширявшимся книзу лицом с крупными «топорными» чертами. Кольц представил радостно, с гордостью: «Айн юберлейфер». (Перебежчик).

Младшему лейтенанту разрешили носить его кубик в петлице.

Об интеллекте новичка говорить не стоило: он гордился, что перебежал к гитлеровцам и выдал им свой взвод, так что враги беспрепятственно прокрались в наше расположение и захватили в плен, не ожидавших предательства людей.

— Вот будет вам помощник,— указал Кольц Конашу, акцентируя «сознательность» перебежчика.

Александр Иванович в восторг не пришел и руки младшему лейтенанту не подал. Но указал ему место в отсеке вместе с кухонной обслугой, полицияями и другими, работавшими в зоне.

Дня два-три новичок околачивался в зоне, держался поближе к кухне. Его подчиненные, преданные им, ненавидели его и ближайшим же этапом по его просьбе их отправили в Гатчину, в центральный пересыльный лагерь.

* * *

Из окружения прибывали все новые пленные, уже не по одному, а группами. Обозников жандармы выселили из их полу-барака и в нем разместили больных и раненых пленных. Кое-как починили крышу над остатками соседнего барака. Из полу-сгнивших досок «возвели» стены, слегка спасавшие от ветра, и заселили.

Раз в неделю одну половину кухни превращали в баню. Пока в лагере было мало пленных, с грехом пополам удавалось помыться. В последнюю очередь мылась обслуга. Я мылся обычно в компании с Дмитрием, благо он, сняв очки, почти ничего не видел, или с кем-нибудь, кто по своей простоте не казался мне опасным. Александр Иванович мылся с полицияями. К последним все чаще придирались Никиш и Гуек, требовали, чтоб они «даром не носили нагайки». Гуек пытался их вызвать на жестокость, высмеивая Георгия и Алексея, как белоручек и

грозил, что, если они будут продолжать «гуманничать», их отправят этапом, а там, открыл «секрет» Гук, с русскими обходится так, что этот лагерь покажется им раем.

* * *

Вошедший в зону пожилой зондерфюрер на плохом, но понятном русском языке спросил, как ему повидать коменданта и уединился с ним в купе.

У зондерфюрера на петлицах были неизвестные мне знаки различия и я забеспокоился.

Беседа у коменданта продолжалась долго. Затем Конаш вышел и позвал полицейских. Те по одному заходили в купе.

— В полицию агитирует,— пояснил Конаш,— сулит золотые горы.

— Вы согласились?

— Нет. Погоди — он и тебя вызовет.

— Вышли Георгий и Алексей. Зашел Васька-повар.

Затем зондерфюрер пригласил меня и попытался заговорить со мной по-немецки. Я «забывал» слова и переходил на русский. После обычных вопросов пришедший спросил, как я отнесусь к его предложению поступить в полицию?

Я улыбнулся и ответил, что такое предложение меня ошарашивает: как это я, актер, превращусь в полицейского?.. Должно быть, мой вид при этом выражал такое искреннее недоумение, что зондерфюрер недовольно скривился, и пробормотал что-то вроде: «Пожалуй из интеллигента на этом попроще ничего не выйдет», — и отпустил меня.

С зондерфюрером сразу же ушли Васька-повар и еще кто-то из obsługi. Уходя, зондерфюрер предложил Георгию, Алексею и Конашу «подумать», хотя они отказались.

Через день в зону заявился Васька в штатском, в кожаной куртке, с сигаретами, широко улыбающийся. А тут как раз Никиш и Гук распекали Алексея за «мягкотелость».

На другой день зондерфюрер явился за Алексеем и Георгием и опять предложил Конашу «подумать».

Всю ночь Александр Иванович не спал. Утром подошел ко мне и сказал: «Я решил согласиться».

— Но вы же сами говорите, что они проиграют? Вы же поступаете против своих убеждений.

— Ты еще молод, Саша,— ответил Конаш,— мне далось решение труднее, чем ты полагаешь. У меня там (он кивнул в сторону фронта) семья, жена и дочь. Но, поверь, что увидеть их

у меня нет шансов ни при каких обстоятельствах. Учти — у нас пленных нет, есть только изменники.

— Но я же не перебежчик и не служу у них. Если перевожу, то этим только облегчаю положение товарищей, иначе за непонимание им бы доставалось еще больше. Кто скажет, что я кого-то обворовал или обидел?

— А зондерфюрер прав: ты — глупый недобитый интеллигентик. Ты хорошо читаешь, у тебя феноменальная память. Ты что всего Пушкинна и Лермонтова наизусть знаешь?

— Почти.

— Вот видишь, — и такой наивный. Уверю — чуть наши придут, они посадят или перестреляют всех, кто чуть меньше голодал в этом лагере. И тебя...

Я покачал головой. Про себя я был уверен, что наши поймут, что я, еврей, не мог симпатизировать оккупантам. Мне в случае их победы вообще оставалось бы только самому лезть в петлю.

— Моя карьера кончена, — продолжал Конаш. — Уверен, что и ты не увидишь больше сцены. (Я не согласился: без нее у меня нет жизни). Может быть, сцену ты увидишь там, где побывал я, за проволокой. Поверь, в тех лагерях не слаще, чем здесь, а то и обиднее. Тут я хотя бы знаю, почему сижу за проволокой. А там?.. Эх, Сашка, Сашка! Ты еще желторотый, хотя и артист. Если придут наши, — я никогда не увижу мою семью. Если ее не эвакуировали, может быть, отыщу. (Он был из Белоруссии). «Тебе, Сашка, проще: у тебя нет семьи, ты не понимаешь, что значит поставить крест на.. — он помолчал. — Кому там будет интересно знать, что попал в плен раненый. «Командант» — и точка». Тут у меня есть шанс отступить с немцами и скрыться за границей. Я инженер-строитель. Знаю и английский... В общем, пан или пропал, не улыбайся так. Хотел бы я посмотреть — как тебя наши встретят. Я тебя не агитирую. Сам с тяжелым сердцем соглашаюсь. — Он был образованным человеком и заключил: «Алея якта». («Жребий брошен»).

Вечером Александра Ивановича вызвали и больше мы не встречались. Но неужели он говорил правду? Неужели наши так глупы, что вместо того, чтобы посылать на фронт убежавших из плена, будут их угонять в Сибирь, на север, мучить, сажать в тюрьмы, лагеря? Чушь! Перебежчиков, конечно, посадят. Александра Ивановича, пожалуй, за то, что был вроде команданта, могут посадить. Но меня?.. Это будет смешно.

Дмитрий тоже никуда не ушел. Зондерфюрер лишь взглянул

на его согнутую фигуру и сильнющие очки (каким чудом он сумел их сохранить?!), сразу замотал головой: не нужен.

Комендантом был назначен младший лейтенант — перебежчик.

29. ТИФ

Больных становилось все больше. Редкая мойка в бане никому не могла помочь: насекомые жили в нестиранном белье, в волосах, в тряпье, служившем постелями. Все чаще военфельдшер ставил диагноз «сыпной тиф» и немецкий врач, еще незнакомый с этой страшной болезнью, только повторял: «Флекфибер».

Голова разламывалась. Вероятно, простудился. Весна. Когда заглянул Никиш, я попросил дать мне отлежаться в бараке до полудня. Никиш согласился: лежи. Но появившийся немецкий врач хотел, чтоб я переводил при его обходе лазарета.

После обхода я попросил смерить температуру. Врач посчитал пульс и заметил, что у меня грипп. Военфельдшер, стоявший рядом, усмехнулся: «Тиф».

— Флекфибер! — покачал головой врач. — Найн.

— Увидите, — с каким-то злорадством кинул военфельдшер.

На другой день врач снова пришел. Я лежал на нарах в жару. Военфельдшер попросил меня расстегнуть ворот гимнастерки и показал на еле заметные пятнышки, одно, два, три... Это был тиф.

Подняться без посторонней помощи я уже не мог. Военфельдшер доложил врачу, что за ночь от сыпняка скончались пять человек. Начиналась эпидемия.

Вызвали санитаря, и он меня отвел в тифозный барак, в тот сарай, где размещались недавно обозники. Когда мы с санитаром медленно направлялись туда, я заметил, что в зону пригнали новую партию пленных. Они заполнили уже и полуразрушенный сарай с дощатыми стенками. Возле него лежали трупы, скончавшихся за ночь в лазарете. У входа в сыпнотифозный барак тоже лежали трупы.

Санитар выбрал мне местечко на нижних нарах недалеко от корыта, в которое мочились. За дощатой перегородкой, в другой половине помещения, лежали умирающие. По каким признакам определяли, кто будет жить, кто умрет, оставалось загадкой. Сюда не наведывались ни военфельдшер, ни немецкий врач. Единственным медикаментом являлся... термометр.

Жар охватывал трещавшую голову, смыкал веки, сдавливал

грудь. С каждой минутой становилось хуже. Санитар принес пайку, но я отдал ему. Даже хлеба не хотелось.

Рядом кого-то отодвинули от меня. Я услышал хрипенье и обрывки слов. Бредили. Бредили со всех сторон. Вдруг из-за перегородки я услышал знакомый голос.

— Володя! Харитонов! (То-то я его в последние дни не видел).

— Сашка, ты,— тяжело выдохнул он почти над ухом.

— Я.

— Помираю,— захрипел он.— Сил больше нет. Какую...

Я попытался его успокоить. Но он занекал, застонал и замолчал.

Меня окутывал красный туман. Весь воздух становился раскаленным, непрозрачным. В этом окружающем красном иногда двигались черные тени, как на картинке сталевары у печей. Вот рядом оказался санитар. Я попросился к корыту. Он поддерживал меня, когда я, прикрывая «по-интеллигентски» член (не от интеллигентности это было...) справлял малую нужду. И так всякий раз.

К вечеру я понял, что буду бредить. Сознание мутилось. В голове царил сумбур. Какие-то льдины лезли на костры, все пылало багровым пламенем. Я понимал, что в бреде могу проговориться. Со мной было рваное красноармейское полотенце. В разных обстоятельствах оно заменяло мне кашне, повязку для ушибленной руки, а то становилось узелком для «трофейных» картошин или турнепса.

На ночь я попросил санитаря потуже подвязать мне щеку: зубы разболелись — и начал наизусть читать монолог Барона из «Скупого рыцаря»; потом забормотал «Моцарт и Сальери», «Полтаву», «Демона», «Горе от ума»,— стихи, прозу — все, что помнил. Текст я знал всегда твердо и не мог в него вставлять лишних слов. Он тек механически, безошибочно, не оставляя места «чужим» словам. Никто не заходил сюда. Два или три раза санитар мерил температуру. Она поднялась у меня выше сорока. Володя из-за стенки не откликнулся; оттуда слышался только стон. Стон и бред. Хрипенье и оханье.

Сколько времени это продолжалось? Не знаю. Каждое утро с нар снимали несколько трупов. Я попросил санитаря узнать про Володю.

Вскоре санитар вернулся:

— Вчерась вынесли.

— Не может быть...

Санитар развел руками. Относился он к больным хорошо, так как мы не ели хлеб и он, мало того, что сам поправлялся,

выменивал хлеб на курево и даже приобрел часы. Он рассказывал, что прибывают все новые партии пленных, что уже нет места в бараках, люди ночуют на улице.

— Уже тысячи три набирается,— извещал он.

— Откуда? Было триста.

— Было!.. Пока вы тут, сколько пригнали?!.

Мн. вспомнился пленный капитан, начальник какого-то особого ордена. Кряжистый, с тяжелым взглядом. Он был вроде прокурора, что ли. Один из пленных донес на него Кольцу. Но последний ответил, что в каждой войске должны находиться люди, поддерживающие дисциплину.

— Пусть даже расстреливает,— заключил Кольц,— такова его служба. Он не комиссар и не еврей».

Несколько дней этот капитан находился у нас. На работу его не выводили и в зоне ничего делать не заставляли. Как-то он подошел ко мне: «Откуда ты?»

— Из Челябинска.

— Челдон, значит. (Я догадался, что так зовут местных жителей). Кивнул.

— А не с юга ты часом, с Кавказа или Украины?— хитро подмигнул он.— На челдона не похож, а на южного человека смахиваешь.

Мне показалось, что он меня видит насквозь. Говорить с ним я остерегался.

— Мать у меня с Кубани, казачка,— пояснил я и под каким-то предлогом удалился.

Те дни, что он находился в зоне, я избегал его. А вот теперь, в бреду, в забытьи мне вспоминался его тяжелый взгляд и в ушах звучала затаенная насмешка: мол, все понимаю, но до поры молчу... До поры...

Ртуть поднялась к сорока одному и восьми. Утром я лежал пластом: тридцать пять и шесть или тридцать пять и восемь.

Перед глазами все плыло, пылало и колыхалось. Слабость, невозможность и нежелание пошевелить хотя бы пальцем владела мной. Ни есть, ни пить, ни шевелиться не было ни сил, ни потребности. Через перегородку или на тех же нарах я слышал клекот, но не орлиный, а бульканье или клокотанье в горле умирающего. Уши заложило. При малейшем поводе старая контузия давала себя знать. Я был доской на досках, мягкой доской. Словно издалека до меня доносились обрывки фраз, переговоры санитаря с раздатчиком, приносившими баланду и хлеб.

— Может, откусите, Александра,— протянул санитар мне хлеб. (Санитар упорно называл меня на «вы» и «Александра»).

— Нет,.. спасибо. Ешьте сами на здоровье,— и устал даже от произнесения этих слов. И закрыл глаза.

Ночью я спал без полотенца, спасавшего от «зубной боли», и, как всегда, видел во сне Ленинград, Моховую, подруг и товарищей. Все было хорошо. Царил тихий мир. На набережной Фонтанки толпились девушки. По реке плыли легкие узкие лодки моего детства. А на другом берегу... на Владимирской горке, стоял Владимир святой с крестом и смотрел на реку.

Почему Владимир здесь? В Ленинграде? Он же в Киеве. И Владимирская горка там, и эти легкие лодочки из Киева. Почему они плывут по Фонтанке? Никто не отвечал. Только смеялись, исчезая, девушки, и журчала вода. И вдруг я стал различать звуки и слова.

— Захватили их всех вместе,— говорил санитар из другой половины.— Обмороженные... Ноги... Без чувств,.. Отправили... Тоже без памяти... Обе ноги... Черт знает,.. Штаб, видать...

Я расслышал еще несколько отдельных, ничего не значащих фраз и снова впал в забытие.

Наутро я уже откусил кусочек хлеба и похлебал немного баланды.

И снова сквозь забытие доходили до меня вести о «ликвидации окруженной второй ударной армии», о нашем очередном поражении и правду этих известий подтверждали тысячи истощенных, обмороженных, раненых, больных, вливавшихся непрерывно в лагерь.

Санитар шепотом рассказывал, что «по всей зоне места нет», лежат — где придется, спят, сидя, прислонясь к стенкам барачков.

Санитар из соседней половины навещался к нашему. Они закуривали и вполголоса калякали. Снова до меня долетали обрывки фраз: «бьют»,.. сам такой же,.. здоровые,.. (ругательства)... с обмороженными ногами,.. ее зовут Валя...»

— Валя!?!.. Кого зовут Валеи?— очнулся я.

— Ды это мы так,.. промеж себя... Тут одна в плен попала,.. ну, походная жена одного,.. санинструктор,.. фельдшер.

— Сколько ей лет? Откуда она?

— Молодая, красивая. Лет девятнадцать. Двадцати нет. Без сознания взяли. Ноги обморожены. Худющая.

— Где она?

— В том бараке. Будто комендант ей свою кабину уступил, али ему приказали,.. сам бы не додумался. Очень уж он,.. тово... Александр Иваныч тот рукам воли не давал, а этот, как полицай, с плеткой и лупит, и обзывает по-всякому, уж вы, Александра, простите, вам не личило, вы и не ругались. Алек-

сандр Иваныч тоже... Да и другие при ём иначе себя вели. А теперь — сами увидите.

— А где Дмитрий?

— Их и еще двух взяли к своей кухне комендант Мюллер.

— А Кольц, штабс-фельдфебель?

— Толстый-то? Он и тот, веселый (Шталь), оба тифом заразились. В ихнем госпитале. Там, говорят, полно их, немцев. Мрут, как мухи. Почище наших. Он, тиф, сытых любит, толстых. У их завсегда сердце послабее. А наш брат жилистый, ко всему привычный...

— Но и у нас мрут во всю.

— А как же! Вот только нашего татарина (военфельдшера) никакая хворь не берет.

— А эта Валя, откуда она?

— Не знаю. По виду — образованная. Лицо хорошее. Но слабая совсем. Ее поддерживали как погулять,дохнуть воздухом выводили. Очень слабая.

— Я хочу ее видеть.

— Да что вы, Александра!? Вам нельзя двигаться, а вы — ходить!.. Сами не пойдете, а я вас не поташу. Лежите.

Неужели это она? Валя? До самого несостоявшегося моего расстрела в Сольцах в вещмешке лежали засохшие, ставшие трухой цветы, с которыми, свежими, она прорвалась сквозь ограждение к Витебскому вокзалу, откуда отправляли наш эшелон. Во сне я видел ее, ночуя в окопах, при выходе из окружения, в плену и просыпался, счастливый тем, что успел перед смертью посмотреть на нее.

— Валя...— шептали мои губы под бомбежками и обстрелами. Я знал, что это имя произнесу перед расстрелом или повешением.

— А фамилию не помните?

— Нет. Да лежите вы, успокойтесь. Ишь, к ночи разволновались.

30. «Я ХОЧУ ЕЕ ВИДЕТЬ...» «ХРИСТОС». ИСПЫТАНИЕ ПАМЯТИ

Я хочу ее видеть,— с этими словами я проснулся на следующее утро.

— Прошу,— обратился я к санитару,— сделаешь тут свои дела, пожалуйста, отведи меня, чтоб повидать ее. Может, эта Валя меня на фронт провожала?..

— Раз провожала или знакомая какая, надо, конечно. Толь-

ко из нашего сарая выходить гулять не положено. Увидят — заругают. Там же полицаи.

— За меня ругать не станут. Я ж их знаю.

— Да тут все новые. Вы думаете: неделю тут лежите? Уже третья пошла. Дням счет потерян. Все переменялось. Обождите.

— Нет. Я должен ее видеть. Помогите мне одеться.

Если б я ее не увидел, то проклял бы себя. Я не хотел, чтоб это была она, чтоб она оказалась здесь, в плену, в этой грязной дыре. Не хотел, чтоб вокруг нее крутились с похабными мордами полицаи и фрицы, чтоб хоть кто-то прикасался к ней, ошупывал ее глазами... Мог ли я облегчить ее участь? Думаю, от здешних полицаев и коменданта, пусть ценою своей жизни, но уберег: все они, невежды, боялись человека, владеющего немецким языком. Пусть бы потом ночью придушили... Но неужели это Валя?..

Нужно сделать так, чтоб она сразу не узнала меня, а то вскрикнет «Рафа!» — и смертный приговор готов. Но не повидать нельзя. Подходя,.. сделаю гримасу,.. У меня усы... Сразу может не признать. Только мне первому надо сделать знак, чтоб молчала, в таком роде.

— Помогите, друг.

Прошибал холодный пот и я опускался бессильно на нары. Голова кружилась. Но на уговоры повременить я отвечал отказом: а вдруг ее отправят?

Наконец, опираясь на обнявшего меня санитаря, я вышел из этой подыхаловки. В лицо ударило солнце. Оно заливало лагерь и в его лучах грелись у стен барачков, на земле, в канавах раненые, больные с палками, с жалкими подобиями костылей.

В одной из канав примостился «Иисус Христос», бедняга, попавший в плен сумасшедшим. Он, бывало, не ел, залезал в канаву — это было его любимое место — и часами сидел в ней, уставив ясные страдальческие глаза в небо. Если в канаве была вода, он все равно забирался в нее и убедить его вылезть никто, кроме меня, не мог.

Я подходил к нему, брал за руку и спрашивал: «Кто ты?»

Он отвечал: «Иисус Христос».

— Что ты здесь делаешь?

— Думаю о людях. Мешать мне нельзя.

— Я — Бог-отец, приказываю тебе, — торжественно говорил я, хотя был значительно моложе его. — Встань, сын мой, сейчас же вылезь из этой лужи, пойдешь в барак и обсушишься у печки.

Он поднимал на меня большие скорбные глаза, вроде как у Тициана на картине «Динарий кесаря», тихо поднимался и шел в барак.

Почему-то мне он был очень симпатичен; я думал о нем как о хорошем добром человеке, простом и доверчивом. Уверен, что таким он и был. Когда я замечал, что над ним подшучивали или пытались в чем-то обидеть, я за него вступался. Постепенно все привыкли к его странностям — и немцы, и наши. На работу его не гоняли. Целыми днями он оставался в зоне, все время задумчивый, изредка обводя грустным взглядом окружающих.

Теперь он сидел, опустив босые ноги в сухую канаву, и грел голую спину на солнышке. В зубах его была травинка, которую он жевал.

Когда мы проходили мимо, он встрепенулся на мгновение, оживился, глянул на меня. Но затем опять погрузился в свои думы. Вероятно, он сошел с ума от каких-нибудь ужасов фронтовой жизни, от бомбежек, обстрелов, от вида убитых, изуродованных товарищей. В нашем взводе так сошел с ума Костя Гаврилов, надежда Зоновского курса, высокий, плечистый, с изумительной красотой и силой голосом. Все ему предсказывали блестящее будущее. Он тоже пошел добровольцем. На Витебский вокзал вместе с Валею прорвалась его молодая жена, она училась вместе с Валею на актерском у Макарьева, Ирочка Бирман, племянница знаменитой актрисы. Ира только что вышла из роддома и принесла мужу, Косте, его первенца. А Костя, такой могучий, не выдержал. Конечно, то, что досталось нам, врагу не пожелаешь... Или... только врагу... Безнаказанно на наши головы со всех высот и со всех видов самолетов «трусили» все, что только могло взрываться. А нам... запрещали стрелять по самолетам, «чтобы не выдавать свое расположение»... А наши окопы и блиндажи находились на виду, в открытом поле, перед деревней.

«Христос» по-видимому не узнал меня, и мы проковыляли дальше. Полицай, в котором я узнал одного из прежних кухонных рабочих, увидел нас и козырнул мне. Одет он был, по тем понятиям, щеголевато: широченные новые галифе, комсоставская гимнастерка, сапоги (а я-то топал в ботинках. Спасибо, что санитар намотал обмотки); на руке сверкали часы, предмет роскоши в плену.

В руке у него была нагайка, на шее висел свисток, — нечто новое в нашем лагере, хотя свистели полицай и тогда, когда в декабре сбегались лупить меня перед слепым баракком.

Полицай помахал нагайкой, свистнул и побежал по своим делам. С другого конца зоны донесся ответный свисток.

Мы подошли к баракку, где было купе коменданта. Зашли. Возле купе на нарах лежали вещмешки лагерной obsługi.

Я попросил санитаря подождать меня и с бьющимся сердцем, придерживаясь за верхние нары, подошел к купе и прислушался. Внутри — ни звука. Я тихонько постучал: «Можно?».

— Войдите.

Будто от яркого света, я прикрыл глаза ладонью, чтоб Валя сразу не вскрикнула, не назвала меня моим настоящим именем. В купе была только нижняя нара, аккуратно застеленная старым немецким одеялом. У маленького окошечка на столике, не больше вагонного, стоял обломок зеркала: женщина — есть женщина. Под зеркалом лежал уголком чистый белый платок, скатерка.

Она поднялась мне навстречу, стройная, очень худая блондинка с бледным красивым лицом, на котором уже успели отпечататься невзгоды в преждевременных складочках-морщинках у уголков губ и глаз. Лицо было доброе, ясное и волевое.

Это была не моя Валя.

Мы поздоровались. Она сказала, что слышала обо мне. Предложила сесть и я опустил на нару. Пока никто не мешал, я предупредил ее о ее окружении. Она сразу поняла, как я отношусь к коменданту-перебежчику и полициям.

— А они вас побаиваются,— заметила она.

— Что я могу сделать для вас?— спросил я.— Все-таки, знание языка дает мне многие преимущества. Мне кажется, что ко мне неплохо относятся в меру своих понятий, Кольц и Шталь.

— Они оба при смерти в лазарете. Здесь хозяйничает Гук. Он со мной вежлив. Но глаза у него..,— она скривилась.— Полиция делятся с ним, отбирая, что поценнее у пленных. Он им за это приносит шнапс.

— Может быть, как-то поговорить с хауптманом Мюллером. Он старик и, в силу возраста, может быть справедливее к вам, чтоб как-то убрать вас из этого окружения, от этих, простите, самцов.

Она посмотрела на меня понимающе и грустно:

— Ничего вы сделать не сможете,— она повернулась к двери и продолжила тихо,— вас не сегодня — завтра отправят, всех раненых, сыпнотифозных — в Гатчину. Вот там, прошу, если удастся, повидайте,— она назвала фамилии и имена — двух полковников. Они попали в плен тяжелоранеными. У (она назвала фамилию) обе ноги оторваны. Так вот, передайте им, что я жива, что вы меня видели, а второму (она опять назвала фамилию) скажите, что я его всегда, всегда,— тут она сжала кулачки,— всегда люблю и помню... Пусть он не волнуется обо мне.

— Разыщу и передам, если отправят.

— Вас здесь не оставят.

Она уже могла ходить, но медленно, осторожно. Ампутации удалось избежать.

— За меня,.. когда уносили.. без ног,.. он попросил немца,.. врача.

В дверь стукнули и вошел комендант. Сзади выглядывала физиономия встреченного полицая. Увидя меня, перебежчик сделал радостно-удивленную рожу, поздоровался, присел на нары.

Обращаясь к Вале, он сделал совсем сахарную мину: «Сейчас вам принесут обед. Я распорядился, чтоб вам готовили отдельно»,— и повернулся ко мне.— Валя еще очень слаба, пойдете».

Мы простились. Поджидавший у выхода санитар взял меня под руку и торопливо, близилось время раздачи баланды, повел в тифозный барак.

Без сил я повалился на нары и весь день ничего не мог есть. Одолевала слабость.

— Вот видите, не надо было подниматься. Я ж говорил,— укорял санитар, улетаая утром мою пайку.

Но к полудню я почувствовал себя лучше. Оглядывая помещение, я заметил, что на нарах много места.

Санитар поймал мой взгляд и показал в направлении кладбища: «Они там заняли места».

Вбежал полицай и заорал, чтоб скорее всех больных выводили во двор, «к отправке».

Полицай стал поторапливать и даже несильно хлестнул санитаря, хотя последний годился ублюдку в отцы.

Весь двор усеяли больные и раненые. Возле них выстраивали здоровых. Бегали полицай. Гуек и еще два или три пленных переводчика, среди них Дубровский, передавали распоряжения унтера. Иногда он сам покрикивал на ломаном русском языке и матерно ругался.

В отдалении, явно боясь контактов с больными, стоял Мюллер и немцы отгоняли тех, кто пытался к нему приблизиться.

Поддерживая друг друга, мы вышли из ворот. Нас затолкали в грязные грузовики и через несколько минут уже погружали на станции в теплушки.

31. ЭТАП. ГАТЧИНА. ВРАЧИ. ШАХМАТЫ

Поезд тронулся. В приоткрытые двери мы видели медленно проплывавшие мимо развалины станций. Померания. Любань.

В Тосно поезд остановился. Из вагонов выкинули несколько скончавшихся за эти полтора-два часа пути. От подошедшего близко к дверям железнодорожника я узнал, что тетя Мария с детьми жива-здорова, а машиниста, который спас добрую половину немецкого поезда с боеприпасами, расстреляли.

За Тосно шелкнуло несколько выстрелов: кто-то на ходу спрыгнул с поезда и убежал. Прошел слух, что двое или трое сумели уйти невредимыми.

В глазах мелькали мотыльки, серые хлопья. Мы тихо переговаривались. В нашем эшелоне везли — отдельно — также пленных офицеров. Но сколько? Никто не знал. Везли еще, говорили, несколько раненых пленных евреев.

Уже по времени наступал поздний вечер, когда 16 мая нас привезли в Гатчину.

Эшелон встречала многочисленная охрана. Солдаты по команде подбежали к теплушкам и начали нас торопить. В хвосте эшелона треснуло несколько выстрелов. Среди встречавших мелькали мундиры эсэсовцев. Уже в лазарете мне сказали, что они встретили с собаками раненых евреев и, натравливая на них псов, погнали куда-то в сторону, наверное, на расстрел.

В числе самых слабых и меня на грузовике отвезли в лазарет военнопленных.

Я не знаю Гатчины, но у меня создалось впечатление, что он находился где-то в центре. По пути я увидел обелиск со свастикой наверху.

— Не рано ли они ставят себе памятники? — подумал я.

Боялся ли я по пути в лазарет? Трудно вспомнить. По-видимому, слабость, утомление переездом настолько притупили чувства, что даже смертельная опасность не могла их разбудить.

В лазарет военнопленных привезли тех, кто еще не мог ходить. Пересчитали и впустили за ворота.

Возможно, здесь раньше была небольшая усадьба вокруг особняка. Слева от входа в длинном одноэтажном строении складского типа размещалась кухня с подсобными помещениями. Справа стоял высокий одноэтажный каменный дом с большими окнами. На них чернели решетки. С другой стороны дома зеленел двор, весь усеянный могилами пленных, умерших в лазарете. Из него по нужде надо было идти через это кладбище: на противоположной стороне его темнели сортиры. Дворик был в длину шагов шестьдесят. Посреди него высился русский крест над могилами. Справа, также окнами во двор на возвышении желтел небольшой аккуратный домик врачей и медицинского персонала.

Вся территория этого медицинского учреждения отделялась от остального мира колючей проволокой. В высоких комнатах по одну сторону коридора до потолков высились ничем не покрытые нары. На них лежали больные.

С другой стороны коридора разместились маленькие комнатки окнами во двор-кладбище. Там находились процедурная, еще два-три кабинетика и комната главного врача.

Лечение здесь почти не отличалось от чудовского, но уже проходило под надзором военнопленных врачей, хороших специалистов, внимательных, образованных, но ограниченных в возможностях из-за отсутствия лекарств, достаточного количества шприцев, игл, бикс. Врачи своими силами соорудили автоклав для стерилизации перевязочных материалов. Все это я узнал, конечно, позднее.

А пока я лежал. В помещение зашли врачи — мужчины и женщины. Одна из них явно еврейка. Высокая с характерными чертами лица, черноволосая, с большими темными глазами. Лет ей было не больше двадцати пяти. Она спокойно обходила больных, спрашивала о самочувствии, щупала пульс и тут же докладывала нашему главному врачу, военному лет тридцати пяти. Кажется, его называли Георгий Михайлович.

Рядом с ним ходил другой врач, грузин или армянин, тоже очень симпатичный, но моложе Георгия Михайловича лет на пять. Вторая женщина-врач, высокая стройная блондинка, записывала указания или назначения. Среди нас находились и раненые, нуждавшиеся в смене повязок.

Дня через четыре я начал подниматься. Сперва выходил в коридор, где иногда удавалось подстрелить окурок у проходившего санитаря из выздоравливающих, потом — во двор. Там я садился на ступени крыльца, отдыхал, затем направлялся мимо могил в уборную. В нескольких шагах от дорожки, по ту сторону проволоки стояли молодые ребята, эсэсовцы из эстонцев. При виде наших пленных врачей, они подтягивались и отдавали им честь.

Здесь встретились мне знакомые по Чудову, исполнявшие обязанности санитаров, дневальных, прачек. Они-то меня и угощали куревом. При выздоровлении начинал пробуждаться волчий аппетит. Но кормили впроголодь.

Здесь уже соблюдались кое-какие инструкции: по утрам перебежчикам выдавали на хлеб по кусочку мармелада или маргарина, а то и смальца и одну-две сигареты.

«Стрелять» у них не хотелось. Обходивший палаты врач предложил мне назваться перебежчиком, чтобы тоже получать дополнительное питание. Но я решительно отказался.

Выздоровливающих переводили неподалеку от лазарета в так называемые «красные казармы», в большой пересыльный лагерь номер пять («дулаг фюнф»). В нем по слухам кормили еще хуже и свирепствовали полицаи.

Как только я начал выползать в коридор, сразу поинтересовался пленными командирами, о которых говорила Валя. Тяжело раненые, они лежали в отдельной палате. Вход в нее охраняли полицаи. Никого к командирам не впускали. У врача я поинтересовался их состоянием. Георгий Михайлович внимательно посмотрел на меня и, наклонившись, тихонько заметил: «О них спрашивать запрещено. Нельзя. К ним даже мы входим только при немецком враче. Один из раненых доживает последние дни. Гангрена». Больше я спросить не мог: приближался немецкий санитарный штабс-фельдфебель.

Ежедневно появлялся шеф — немецкий штабс-врач. Он недавно занял этот пост. Его предшественник, штабс-врач Лаунс, умер от сыпняка. Новый штабс-врач избегал касаться нар, пленных, только следил за своими русскими коллегами.

Каким-то внутренним чутьем мы угадывали, что наши врачи ненавидят оккупантов. Я видел, как держатся с немецким штабс-врачом Георгий Михайлович и Платон (или Аполлон), его помощник: ни тени подобострастия; с достоинством.

Как-то, когда я сидел на крылечке, мимо меня проходил Аполлон с шахматной доской.

— Вы играете в шахматы? — спросил я.

— Да, немного. Георгий Михайлович играет лучше.

Я школьником занимался в шахматной школе у Богатырчука и Константинопольского в Киеве и играл в силу первого-второго разряда. Я предложил врачу сыграть, и он пригласил меня в кабинет почти напротив палаты, где я лежал.

Справиться с противником примерно третьего разряда для меня не составило труда. Аполлон почувствовал разницу в игре. Поражение его не обидело.

Он позвал Георгия Михайловича, который тут же проиграл мне три или четыре партии подряд.

Мы разговорились. По тому, как жадно врачи ловили каждое доброе слово о наших зимних успехах, как больно переживали трагедию второй ударной армии, я понял, что медики только и живут надеждой на нашу победу.

Нас мучил вопрос: когда откроют союзники второй фронт? Когда немцы покатаются прочь?

Оба врача сносно объяснялись по-немецки, а знание латыни избавляло их от необходимости пользоваться услугами переводчика при консилиумах совместно с немецким врачом. Последний

вечерами, я видел, с футляром под мышкой заходил в домик, где жили врачи и оттуда потом лились звуки скрипки: играли немец и Георгий Михайлович. И все-таки дружбы у них не было. Внимательно выслушивали наши медики своего шефа, но в их отношениях сквозила холодноватая отчужденность.

Как-то с разрешения Георгия Михайловича я сидел в его кабинете, рассматривая наш медицинский журнал, отыскивая для себя в нем статьи по вопросам микробиологии: мне было приятно вычитывать в них ссылки на моего старика, упоминание его фамилии и трудов. Жив ли он? Ему уже шестьдесят девятый год. Более полутора лет его держали под следствием. Выпустили в августе тридцать девятого. Летом сорокового я приехал на каникулы из Ленинграда в Киев. Дядя Борис ссутулился, жаловался на сердце.

Неужели эти гады захватили и его? Неужели ему на спину прицепили желтую шестиугольную звезду?

Чуть ли не первое, что бросилось в глаза в Гатчине,— это плакаты с надписью «Ваш враг — юдэ» на заборе, утыканном колючей проволокой, возле лазарета.

Вероятно, ненависть объединяет больше, чем любовь. Гитлер всколыхнул дремавшие в народе предрассудки средневековья. Они живучи. Дядя Борис, свидетель еще дореволюционных погромов, говаривал мне: «Рафа, еще будет такой еврейский погром, какого никогда не было». Дядя считал, что «евреи после семнадцатого года слишком «полезли в правительство». Действительно, сколько евреев служили в чека, ГПУ, НКВД, сколько секретарей райкомов и обкомов до тридцать седьмого года были евреями?! Безусловно, среди них много талантливых, умных, честных, принципиальных, но... евреев был один процент населения, до присоединения западных областей и Прибалтики. Не лучше ли было проявлять свои способности в науке, искусстве, ремесле? Сколько среди евреев замечательных артистов, ученых, мастеров! Дяде, скромному, припугнутому воспоминаниями о погромах, не хотелось их повторения. Он был прав, говоря, что старые инстинкты лишь придремали и, горе, если их разбудят.

Народ жил тяжело, и ему нужно было сорвать злость на ком-то. Сталин указывал на «врагов народа»: они во всем виноваты. И народ кричал: «Расстрелять их! Уничтожить!» И уничтожали, и придумывали новых врагов для оправдания своих страхов и промахов. А сколько людей пострадало во время различных «акций», сколько нэпманов умерло в нищете, в ссылках, в тюрьмах?! За что?! Среди нэпманов было много евреев. Даже слово «нэпман» казалось мне еврейским: «нэпман», «Кац-

ман», «Шварцман»... Но... родители Броневого, Брахман, Поляка, Македона работали в ГПУ... Их расстреляли в тридцать восьмом или тридцать девятом. Но их жертвы остались где-то... Они будут мстить не детям, так землякам своих гонителей. Только Надсон мог наивно надеяться:

«Мир устанет от мук, захлебнется в крови,
Утомится безумной борьбой
И поднимет к любви, к беззаветной любви
Очи, полные скорбной мольбой».

32. «ЕВРЕЙСКИЕ ПРИМЕТЫ». УМИРАЮЩИЕ ГЕНЕРАЛЫ

Вошел немец штабс-врач. Я встал по стойке «смирно». Он кивнул: «Вольно». Спросил, где Георгий. Я ответил, что он скоро придет.

Врач сел. Я не знал — уходить или оставаться. Но он первый начал разговор. После обычных вопросов, бросив две-три фразы на плохом французском, он начал вздыхать о жестокостях войны в России. Отчаянное сопротивление русских он объяснял тем, что их заставляют драться до последнего комиссары и политруки, евреи.

Он спросил, знал ли я таких комиссаров?

Я сказал, что наш политрук в роте не был евреем и батальонный и полковой комиссар тоже не были.

— Но это были, должно быть, отвратительные люди!?

— Можно говорить честно?

— Натюрлих. (Конечно).

— Политрук нашей роты не пользовался уважением, был трусом. Но старший политрук другой роты, в которой мне довелось участвовать в бою, а также комиссар батальона были интеллигентными и смелыми. Возможно, они являлись исключением. Комиссар полка, по-моему, был сволочью.

— Еврей?

— Нет.

— А вы не политрук?

— Я слишком молод для этого,— засмеялся я.

Лицо его посуровело: «Вы производите впечатление честного человека. Как по-вашему, Сталин скоро капитулирует?»

— Сталин? Никогда.

— Вы полагаете, что война скоро не кончится?

— Увы, господин штабс-врач, «пар малёр» (к несчастью, франц.), полагаю, она затянется.

— Вы об этом говорите со своими товарищами?

— Что вы, господин штабс-врач?! Зачем это?! Вы меня вызвали на откровенность и, видя в вас интеллигентного искреннего человека, желавшего знать мое честное мнение, я сказал, то, что вы слышали.

— Не надо, нельзя об этом говорить со своими товарищами! — резюмировал он. — Кстати, как вы относитесь к евреям?

— С еврейским вопросом как-то не сталкивался.

— Ну да, вас это не касалось, — задумчиво произнес он. — Я о евреях плохого мнения. Вы видели здесь врача-еврейку?

— Нет.

— Таковую черную?

— Я сразу решил, что она армянка или грузинка.

— Не кажется ли вам, что она еврейка?

— Но господин штабс-врач, это же очень легко установить!

— Как?

— У них, я слышал, там... внизу... насечки,.. как-то поперек, что ли...

Он поморщился: «Это все еврейская пропаганда. У женщин никаких «насечек» нет, у мужчин — другое дело.

— Да, у тех есть.

— До чего вы наивны?! — всплеснул врач руками. — У мужчин евреи делают ритуальную операцию и по ней мы всегда безошибочно отличаем евреев. А у женщин определить национальность так просто нельзя...

— А группа крови? — с важным видом сказал я, сын бактериолога, уверенно зная, что говорю чушь.

В этот момент вошел Георгий Михайлович. Я попросил разрешения удалиться и вернулся в палату.

Воздух наполнен частичками сажи, пепелинками, серыми мотыльками. Трудно, склоняясь даже над шахматной доской, сосредоточиваться. Аполлон говорит, что у меня была «головная форма» сыпняка. Волосы лезут. Вместе с вшами выбрасываю пряди волос.

Возле двери палаты, где лежат генерал-майор и полковник (так о них шепотом говорят пленные) дежурит полицай. Он видел, что я вчера разговаривал с штабс-врачом, что со мной уважают наши врачи. Полицай просит у меня закурить. У меня есть сигарета: Аполлон угостил. Он не курит.

Я рад поделиться: пожалуйста! — сигарету делим пополам. Спички у него есть.

Я хватаюсь за стенку: кружится голова.

— Послушай, — говорит полицай, — посиди тут минуту вместо меня. Живот схватило, а напарника нет. Я сейчас, — и он убегает.

Я тихонько захожу в палату. На козлах с одной и с другой стороны на деревянных щитах, покрытых соломенными матрацами, лежат накрытые одеялами раненые.

С одной стороны на меня смотрит, повернув голову, крупный человек с лицом землистого цвета, с большими умными глазами. С соседнего топчана доносится только хрип.

Смотрящий на меня молчит.

— Извините, пожалуйста,— говорю я,— Валя (я называю фамилию),— и он сразу оживляется: «Что с ней?»

— Валя жива,— говорю я,— она в Чудово еще, вероятно. Ноги у нее отошли. Может ходить. Она просила передать вам свои лучшие пожелания, самые добрые, самые сердечные, просила передать, что всегда помнит, всегда будет достойна вас, и любить.

— Вы сами ее видели?

— Видел и говорил с ней. Меня несколько дней назад привезли сюда.

— Спасибо,— говорит он. Мне будет легче. Вы правду сказали?

— Клянусь! Я не врун.

— Он уже совсем,— кивает раненый на товарища.— Не знаю, сколько я еще промучаюсь. Спасибо. Заходите.

Дверь распахивается и полицай с испуганным лицом знаками приказывает мне немедленно выйти.

Я наклоняю голову, прощаясь, и быстро выхожу. Полицай взбешен, но орать остерегается: «Ты чего туда поперся?»

— Воды просили.

— Ну и что? Да ты знаешь, что за это?! Никто не имеет права туда, кроме врачей, ну и нас, ежели воды подать. С ими разговаривать запрещено. Уходи».

Через час за мной заходит полицай и ведет к санитарному штабс-фельдфебелю. Тот расположился в комнатке возле кухни. Проходя мимо котла, жадно втягиваю в себя воздух: хоть духом бы немного подпитаться.

Штабс-фельдфебель — огромный детина, напоминающий борца-тяжеловеса. Лицо у него неглупое.

— Мне доложили, что ты без разрешения зашел к генералу. Ты знаешь, что это запрещено?

— Простите, господин штабс-фельдфебель, но я услышал за дверью стон и просьбу подать воды. Вы, как благородный человек, уверен, на моем месте поступили бы так же.

— А где был полицейский?

— Он на мгновение отлучился, по-моему, по нужде. Его тоже можно понять.

— А ты превосходно болтаешь по-немецки. Не еврейского происхождения?

— Бог миловал,— смеюсь я.

— Где был в плену?

— При полевой жандармерии АОК шестнадцатой армии, потом снова в лагере. Слова о полевой жандармерии отводят всякие подозрения о происхождении.

Он интересуется, почему после жандармерии я опять очутился в лагере. Я объясняю, что жандармерия передислоцировалась. Кроме того, я также работал в немецком лазарете.

«Анкета» безукоризненная. Ни о каком еврействе речи быть не может. Штабс-фельд добреет, и мы начинаем беседу о мирных днях, о театре.

Штабс-фельд недавно прибыл из Польши. Спрашивает, слышал ли я о восстании в Варшаве? Я не слышал.

— Там восстало гетто, — говорит он. — Еврейское гетто. Они дрались отчаянно. Женщины. Дети. Все... Пришлось бомбить штукасами. В огне и крови восстание подавили войска эсэс. В плен не брали. Да евреи и не сдавались: знали, что их ждет. Пока у них были патроны или палки в руках, — дрались. Все утопили в крови. Эсэс никого не щадили, ни стариков, ни младенцев. Это было ужасно — «айн блутбад» («кровавая купальня» букв.). Меня вызвали туда. Там много наших было убито и ранено. Раненых особенно много... Евреев там, очевидно, содержали около миллиона. И все, кто мог двигаться, они же голодали, все дрались.

Догадываюсь, что в нем борются чувства. Где-то в душе он не разделяет жестокости подавления. Его восхищает мужество восставших. И в то же время он — воин враждебной стороны — и видит свой долг, возможно, в необходимости подавления восстания, разве что не таким жестоким образом. А может быть он сочувствует? В нем угадывается доброта. «Опасны худые люди...» Гофманы все были худые, кроме хауптмана. Тот был средней упитанности.

Штабс-фельд вздыхает. Предупреждает, чтоб я не нарушал покой тяжело раненных «генералов» (немцам приятно «повысить в чине» своих пленных), выводит меня в кухню и приказывает повару налить мне супу. Повар черпает со дна и тут же из котелка повара я жадно ем горячий густой перловый суп.

Повар пленный. Крупный, как обычно повара, с полными сильными руками. На руках нет часов (значит, не вор). Лицо широкое, добродушное.

— Где попал?

— На Лужском. Выходили из окружения. Под Любанью. Недалеко.

— Я раньше, — вздыхает повар, — под Таллином.

Штабс-фельд делает знак другому повару. Тот кивает и выносит мне пачку махорки. Ну как не сказать «спасибо».

Возвращаюсь. Товарищи рады: вся палата может покурить. По очереди, помогая друг другу, выходим, садимся на ступеньках и курим настоящую махорку. Крепкая. Мы слабые. Головы кружатся. Смотрим друг на друга мутными глазами. Все плывет перед ними в мотыльках, пепле, в махорочном дыму.

— С тобой, Сашка, не пропадешь, — хлопает меня по плечу одноэтапник. — И где ты так по-ихнему наловчился?

— В школе, в институте, да тут уже, почитай, полгода с лишком.

В разговор встречаются остальные. Вспоминают родные деревни, ругают колхозы. Считают, Ленин их не планировал. Сталина ругают. Кабы не он, говорят, войны б не было, а была бы, так немца так далеко не пустили: знали, что защищают свою землю, а не колхозную.

Видимо, штабс-фельдфебеля я понравился. На следующий день после обеда он послал за мной рабочего кухни. Когда я пришел, штабс-фельд приказал налить мне баланды погуще, а потом спросил: почему я так плохо одет? Я объяснил, что все на мне поизносилось.

— Ты владеешь языком, — пожал плечами он, — а не можешь раздобыть приличное обмундирование...

Он повел меня к небольшому сараю, где хранились обмундирование и обувь умерших. А так как здесь поумирали сотни, сарай был доверху забит с одной стороны кирзовыми сапогами и ботинками, с другой — аккуратно сложенными на полках гимнастерками, брюками, нательными рубашками.

Штабс-фельд приказал мне подобрать себе все, что требуется. В первую очередь, я обзавелся сапогами. Мои ботинки и задубели и просили «каши». Затем я выбрал брюки и гимнастерку. Штабс-фельд дал мне также пару запасного белья. В палату я вернулся франтом. Товарищи решили, что меня назначили переводчиком, и мне стоило большого труда разубедить их.

— А почему ты не хочешь? — удивлялись они, — тебя уважают.

— Нет. Не хочу. Так, если надо, переведу, чтоб зря человека не ругали, не били. Но быть переводчиком в лагере... увольте.

Полиции заметили, что штабс-фельд благоволил ко мне и, когда, получив от него маленький пакетик «дропс» (леденцов),

я отнес его умирающему генералу, не донесли. Решили: с разрешения.

33. В «КРАСНЫХ КАЗАРМАХ». НАЗНАЧЕНИЕ. МЕНЯ УКРАЛИ

Поступило распоряжение эвакуировать из госпиталя всех, за исключением совсем не транспортабельных, а выздоравливающих перевести в красные казармы. Там держали тысячи пленных и, конечно, жизнь их была несладкой. Лагерь большой. Одних полицейских несколько десятков.

— Зимой там был ужас,— заметил Аполлон,— может быть, сейчас получше: немцы последнее время стали мягче; то ли распоряжения другие, то ли помогли ноты советского правительства?.. Часть выздоравливающих,— продолжал врач,— сразу погружат в вагоны для отправки в Германию. Вы не хотите?

— Аполлон Михайлович,— взмолился я,— лучше я умру здесь. Не надо мне никакой райской жизни в Германии.

— Ладно. Попробую поговорить с штабс-врачом. Если не удастся оставить... Вы какое-нибудь ремесло знаете?

— Нет.

— Санитаров и почти всю службу отправляют. В общем, когда начнут выгонять на этап, зайдите сюда и тут переждите. Я не закрою на ключ. Разговор происходил в комнате врачей.

Вскоре, услышав выкрики немецкой команды и топот ног по коридору, я выскользнул из палаты, прошмыгнул среди беспорядочной толпы собиравшихся на этап, юркнул в кабинет врачей и затаился сбоку от двери так, что если б ее открыли, то загородили меня и увидели перед собой пустую комнату.

Очевидно, около часа пришлось мне просидеть на табуретке за дверью. Потом зашел Аполлон и сказал, что этап отправлен. В лазарете оставили только врачей, двух-трех санитаров, кухонную службу и несколько тяжело больных, в том числе, умирающих генералов. Из полицейских оставили одного, возле них; двух остальных перевели в красные казармы.

Вошедший в кабинет санитарный унтер страшно обрадовался, увидя меня.

— А мы думали тебя отправили. Штабс-фельд ругался. А тут еще из «дулага» (пересыльного лагеря, красные казармы) звонили. Я — за тобой,— кивнул он мне,— требуют в «дулаг» (и он назвал какую-то фамилию).

— Он же еще еле ходит,— вступился Аполлон.

— Приказ есть приказ,— вздохнул унтер.— Пойдем медленно. Но доставить надо. Альзо! (Итак).

Мы вышли из лазарета. Был конец мая. Вокруг зеленели деревья. Унтер вел меня по мостовой. Я впереди, он в трех шагах сзади.

Навстречу попадались больше военные. Штатских — единицы. За домами пытели паровозы. Светило солнце. В глазах прыгали мотыльки, пух одуванчиков...

Шли недолго. Остановились перед массивным каменным зданием. У входа стояли часовые. Нас впустили в широкий коридор с высоким потолком. Здесь унтер приказал подождать, пока он доложит и постучал в первую дверь слева. Через несколько секунд он появился и жестом указал мне: входи.

У стен довольно просторной комнаты стояли два-три табурета, кресло, а напротив входа — стол, за которым спиной к окну сидел пожилой зондерфюрер с усталым бледным лицом.

— Садитесь,— пригласил он.

Я опустился на табурет у стены, чуть прислонясь к ней спиной, потому что почувствовал легкое головокружение.

Зондерфюрер внимательно смотрел на меня несколько секунд, потом начал задавать вопросы: откуда я, кто по специальности (будто он не знал?!), сколько мне лет, где воевал, где попал в плен, когда и где был в плену. Слушая ответы, он иногда их записывал карандашом. Потом поинтересовался, где я учил язык и заговорил по-немецки.

По-русски он говорил отлично с легоньким акцентом, какой бывает у образованных немцев, живущих в России. Я не замедлил поразиться его «великолепному русскому языку», что ему заметно польстило: еще бы, такое признание из уст артиста!

По-немецки заговорили о литературе. Я иногда «забывал» слова. Он с улыбкой поправлял. Вдруг дверь распахнулась. Зондерфюрер вскочил, вытянув руку по-эсэсовски с возгласом «хайль!»

Вошел плотный в темных очках (суший Гиммлер) офицер в черном эсэсовском мундире с четырьмя серебряными кубиками на петлице (у эсэсовцев эти различия были только с одной стороны воротника). Офицер кивнул зондерфюреру: продолжайте. Опустился в кресло напротив меня. Он туго «вошел» в кресло. Заложил ногу на ногу. Безукоризненно начищенные сапоги его сверкали черным блеском, как лакированные мерседесы.

Зондерфюрер доложил, что сидящий здесь русский прилично владеет немецким и вполне может быть «дольмечером» (переводчиком).

Эсэсовец в свою очередь поинтересовался, откуда я, и, услышав, что уже более полугодом в плену, довольно закивал головой.

Видимо, эсэсовца мои ответы удовлетворили. Он еще стал спрашивать о семье, верю ли я в Бога. Спросил, где я жил в Челябинске? Я отвечал, что считаю, что Бог есть (на кого мне еще оставалось надеяться?), назвал свой выдуманный адрес в Челябинске (Валин адрес) и даже «объяснил» как туда пройти от вокзала по улице Ленина (в каждом городе есть такая). Тут и зондерфюрер, и офицер закивали, удовлетворенные моим описанием Челябинска, в котором я сроду не был. Эсэсовец даже осведомился о моем здоровье.

По предложению зондерфюрера я говорил на немецком. При этом, конечно, «забывал» слова и вопросительно вскидывал глаза на зондерфюрера. Тот подсказывал, я благодарил и через фразу опять «терял» слово и опять зондерфюрер, довольный, что он так необходим, так владеет языком, вновь «помогал» мне. Я почувствовал, что понравился эсэсовцу. Он предложил мне подождать в вестибюле.

Я вышел, а через минуту вышел и он, указав мне, чтоб я вновь зашел.

— Вы понравились шефу,— сказал зондерфюрер.— Вы будете у нас переводчиком в «дулаге фюнф» (пересыльном лагере номер пять).

— Простите, господин зондерфюрер, я еще очень слаб,.. я после сыпного тифа в очень тяжелой форме. Я не могу.

— Вы будете переводчиком. Вас здесь подкормят. Вы быстро станете на ноги и будете совершенно здоровы.

— Я не могу. У меня нет сил. Кроме того, штабс-врач хотел меня оставить при лазарете.

— Штабс-врач вам это сам говорил?

— Санитарный штабс-фельдфебель говорил.

— Ну, штабс-фельдфебель это мелкая птица.

— Но он же говорил, наверно, со слов штабс-врача.

— Штабс-врач сам бы сказал. Но это неважно. Вы сейчас подождите немного. Придет ассистенц-артцт (ассистенц-врач), осмотрит вас и будете главным переводчиком у нас.

— Меня осматривали в лазарете.

— Это особый осмотр. Понимаете ли, мы ввели его с некоторых пор, чтобы определять, еврей или не еврей. Так что можете ничего не опасаться. Одна минута, еще меньше. Вещи с вами?

— В лазарете. Я же сказал, что меня там хотели оставить.

— Потом возьмете или сопровождающий вас унтер-офицер их принесет. Выйдите, посидите, подождите. Сейчас придет ассистенц-врач. Мы понимаете ли, ввели этот обязательный для

всех осмотр после очень неприятного случая. Вы слышали про переводчика Юрия?

— Нет, не слышал (на самом деле я слышал).

— Так вот, был у нас переводчик Юрий. Такой бравый, знаете ли, уверенный. С товарищами общался грубо (о вас я слышал хорошие отзывы, на вас ваши товарищи не обижались). Да, так вот этот Юрий оказался... евреем!

— Нну!— поразился я.— Жидом!? И вы не смогли определить это раньше?!

— Никто не думал. Он вовсе не походил на еврея.

— Но это же так просто проверить?

— Как?

— Предложите сказать «На горе Арарат растет красный виноград» или «Умри под барабан». Ни один еврей этих фраз правильно не произнесет.

— Аа-а!— сорвался на немецкий зондерфюрер.— «Хат аух» «Арарат» унд «виноград» «гешпрохэн» (и «Арарат» и «виноград» выговаривал). Так что вы пока подождите там,— он указал на коридор.— И будете у нас.

Я вышел в вестибюль и присел на скамейку.

Слух, неизвестно откуда взявшись, летит стремительно: чуть я сел, ко мне подошли две милостивые молодые женщины, пленные сандружинницы. Здесь они были медсестрами. А следом за ними потянулись полицейские, включая начальника лагерной полиции. Слух о прибытии нового переводчика, да еще главного, распространился среди obsługi с быстротой молнии.

Я сидел и мучительно думал, что мне делать перед ассистенц-врачом, как объяснять ему, что говорить; я сидел, улыбаясь, сыпал шутками, анекдотами, эпиграммами, находил общих знакомых по Ленинграду. Здесь были девушки из Пушкино, они знали доктора Серебрякова, отца моего однокурсника; знали Виктора Галагаева из Лигово, моего однокурсника и однопольчанина. Вокруг царило оживление, а внутри меня — смятение.

Вышел зондерфюрер. Спросил не явился ли еще ассистенц-врач. Узнав, что не приходил, зондерфюрер направился вглубь по коридору и долго не возвращался.

Кружок возле меня то редел, то снова становился плотнее. Осторожно перекидываясь словами с девушками, я поял, как болеют они за Красную Армию, как желают погибели гитлеровцам. Мужчины вели себя сдержанно. Полицей интересовались, когда я «приступлю к своим обязанностям». Я отвечал, что не хочу у них быть, что меня хотят оставить в лазарете военно-

пленных, там мои товарищи-врачи, там я уже привык, всех знаю...

— Ничего, у нас вам будет не хуже, даже лучше,— лезли ко мне с панибратством полицаи.

Не знаю, сколько времени я так просидел. Полагаю, не меньше двух часов.

Наконец, снова появился зондерфюрер.

— Ваши вещи здесь?

— Нет, я же сказал, что они в лазарете.

— Куда девался санитарный унтер-офицер, не пойму?

Зондерфюрер снова удалился. Ударили в рельс. Полицаи и санитарки ушли, сказав, что скоро вернутся.

Появился унтер-офицер и спросил как мои дела.

Я ответил, что никак. Ничего не пойму. Чувствую себя плохо. Устал.

Расстроенный зондерфюрер выглянул из своего кабинета: «Ассистенц-врач вызван на срочные операции: прибыл эшелон раненых из-под Ленинграда. Сегодня врач занят. Вещей у вас много?»

— Порядочно. Там, в лазарете.

— Почему ж вы их не взяли?

— Мне никто не сказал и меня там...

— Знаю.— Перебил зондерфюрер,— придется вас туда сейчас отвести. А завтра утром, часов в семь, вас приведут. Ассистенц-врач тогда будет — и останетесь здесь. А сейчас отведите его, господин унтер-офицер.

Милый Ленинград! Ты спасал мне жизнь! Оставалось жить еще одну короткую ночь. Утром меня приведут в красные казармы — и на что надеяться? Конечно, ассистенц-артцт может оказаться порядочным человеком, не нацистом. Но такого вряд ли станут приглашать для определения тех, кто подлежит истреблению. А скольких он уже помог отправить к праотцам?.. Что делать?.. Что делать? За кого себя выдавать? За армянина, грузина, татарина?.. Но ни на одном из языков этих народов я не говорю. И почему я раньше не сказал, что я татарин, грузин, армянин?.. Ясно — кто я... Сказать, что в целях медицинской профилактики мне в детстве сделали обрезание как королю Людовику XVI?.. Но врач, наверное, не профан, раз ему поручено?.. Может быть, упросить штабс-врача оставить меня при лазарете? Поговорить с Аполлоном, с Георгием Михайловичем... А что они?.. Да и штабс-врач еще как на это посмотрит?.. Да и где он?.. Когда с ним говорить? Как?.. Сейчас он в лазарет не придет: всех вывезли. К умирающим не заглянет. Разве что играть на скрипке отправится к Георгию Михайловичу... Бежать?..

Но это смешно: трех шагов не пробегу — свалюсь. Сил ни на грош. В глазах пепел и мотыльки...

С такими думами, изредка перебрасываясь словами с унтером, я припелся к воротам лазарета. Унтер козырнул: до завтра! — и я шагнул в зону.

Чуть я вошел, ко мне навстречу устремился высокий румяный зондерфюрер с удивительно глупыми голубыми глазами. Почему-то он мне напомнил сказочного розового поросенка на задних ногах. Почему?..

— Вы Александр?

— Так точно.

— Вы говорите по-немецки?

— Да, немного владею языком.

— Я из «Викадо». Вы знаете, что такое «Викадо»?

— Понятия не имею.

— Как?! Вы не знаете — что такое «Викадо»? — всплеснул он ручками.

— В первый раз слышу.

— У вас отличное произношение. «Викадо» дас хайст Виртшафтскомандо» («Викадо» — это значит Хозяйственная команда). Штатсгютер, совхозен, — пояснил он, колькохозен, млеко, девочки, яйка...

— К чему вы все это рассказываете?

— Так вот нам нужен «дольмечер» в штатсгут (государственное имение — совхоз). Я здесь вас уже три часа жду. Случайно от штабс-врача услышал про вас, — и он затараторил так, что я вынужден был попросить его замедлить темп.

— Мы хотим взять вас в совхоз, к себе. Там вас подкормят, — объяснял он. — Неужели вам будет там так, как за проволокой? Вы поправитесь. Вы очень худой и бледный. Там свежий воздух. Хорошо?

— Только, если вы меня хотите взять к себе, нужно поторопиться: меня завтра утром хотят взять в «дулаг пять» и назначить там переводчиком.

— Когда вы завтра должны быть там?

— В шесть утра.

— «Ум эксе» (в шесть?! «Ум фире верден вир хир зайн!» (В четыре мы будем здесь!) Ум фире! (В четыре). Альзо! (Итак!)).

Он пожал мне руку и убежал.

Я пошел в корпус. Дежурный, сидевший у дверей умирающих, позволил мне на минуту зайти проститься с генералом.

Была белая ночь. Усталый, я вернулся в пустую палату. На нижних нарах лежало несколько не вынесенных трупов. Ото-

двинув двух покойников от окна, я лег на нары. Гадалось ли, что так спокойно смогу отодвигать трупы и спать рядом с ними?.. И уснул.

В несусветную рань меня растормошил санитар: «За тобой приехали».

У ворот стоял роскошный открытый автомобиль. В нем сидел мой знакомый зондерфюрер из «Викадо» и еще двое с такими же узенькими погонями.

Зондерфюрер приветствовал меня как старого знакомого, указал мне место рядом с собой и машина тронулась.

Через несколько минут она остановилась у какого-то дома. Сидевший возле шофера вышел, исчез в дверях.

Я сидел со спокойным лицом, но внутри у меня подрагивало. А если они везут меня на осмотр, не к ассистенц-врачу, так к другому?.. Такие опасения возникали у меня при всякой остановке.

Но выехали за город. Часовые кивнули: проезжайте — и машина помчалась сперва по шоссе, потом по проселочным дорогам. Иногда нас останавливали патрули, но сразу же пропускали дальше. Мелькали деревни. Вот переехали железнодорожное полотно. «Войковицы», — прочел я на указателе.

Проехали еще несколько километров и остановились у одинокого двухэтажного деревянного дома на окраине какого-то населенного пункта напротив поросшего лесом холма.

Из-за дома вышел длинный невзрачный лейтенант неопределенного возраста в очках, в грязном полотняном кителе, разорванном на спине.

Он недоверчиво оглядел меня, повернулся к дому, крикнул и вместе с приехавшими направился по дороге вверх.

Рядом со мной вырос как из-под земли нескладный длиннорукий ефрейтор, прогундосил, чтоб я никуда не уходил, а сам повернулся ко мне боком и начал мочиться, не обращая внимания на проходившую от него в трех шагах женщину.

Эта черта «культуртрегеров» (носителей культуры) меня поражала. Они не стеснялись при женщинах справлять свои естественные надобности, выпускать газы, нецензурно ругаться. Усвоив из русского языка в первую очередь матерщину и невообразимую похабель, они часто смаковали их при женщинах и девушках.

Из-за дома появились еще солдаты, все в холщовых рабочих кителях, порядком измызганных. Один побежал куда-то с ведром, другой понес конскую сбрую.

Часть II. ВОХОНОВО

34. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. ХОРСТ ФОН БЛЯЙХЕРТ

Машина, на которой меня привезли, заехала за дом. Оттуда показался молодой человек в штатском, аккуратно одетый, чистенький; подошел ко мне, протянул руку: «Слава Богу, уезжаю. Ты вместо меня».

Назвался он Юрием. Жил в Гатчине. Здесь работал около месяца и постоянно просился в город. Я поинтересовался, как его кормили? Он усмехнулся: «Меня неважно, а тебя — будут еще хуже».

— Хуже, чем в лагере, навряд ли, — буркнул я. — Как этот лейтенант?

— Увидишь, — усмехнулся Юрий. — Девчонки здесь хорошие. Но ничего не успел...

Тут прошла мимо одна, действительно симпатичная девушка, и Юрий перекинулся с ней несколькими словами, сказал, что уезжает и указал на меня: «Вот будет у вас переводчик».

Девушка скорчила милую гримасу, небрежно скользнула взглядом по мне. Одетый в штатское Юрий, конечно, выглядел куда привлекательнее, как денди по сравнению со мной. В этой «глуши», по его словам, он томился. Но теперь его берут переводчиком в управление «Викадо» или в комендатуру. Это не то, что здесь, в маленьком полуразрушенном совхозе...

Меня больше всего интересовала еда. Известно, какой волчий аппетит после сыпного тифа. У Юрия тут ничего не было, а ужинать он собирался в Гатчине.

Показались офицеры. Сели вместе с Юрием в машину. Они явно были давно знакомы. Лейтенант в очках козырнул им вслед и повернулся ко мне: «Альзо» (Итак).

«Альзо» было его любимым словом, это я сразу заметил и про себя дал ему первое прозвище — «Альзо».

— Итак, вы разговариваете по-немецки?

— По-французски и по-английски тоже, — ответил я, предупреждая иногда возникавшие вопросы о происхождении...

Оглядывая меня с ног до головы, он явно не пришел в восторг ни от моего вида, ни от перспективы общения с такой доходягой. Потому он был предельно лаконичен:

«Сегодня у нас уже обед кончился. Ужин выдается для солдат сухим пайком. Для вас паек не получен. На днях съезжу в Гатчину, выпишу для вас паек военнопленного. Пока будете получать суп на нашей кухне. Немецкому солдату положено

три четверти литра в котелок. Вам — в два раза меньше, триста семьдесят пять граммов. Но не будем мелочными, я прикажу, чтоб вам, если будут остатки, наливали пол-литра.

Я понял, что у этого господина зимой снега не выпросишь, и решил не унижаться.

Был тихий ясный день, воскресенье первого июня.

— Альзо,— лейтенант посмотрел на меня холодными выпуклыми глазами через свои сильные очки, опять поморщился и велел длиннорукому ефрейтору показать мне, где я буду спать.

Ефрейтор козырнул и, быстро двигая кривыми ногами, зашагал за дом. Там он указал мне слева от входа маленький чулан с зарешеченным окном.

— Это твоя будка,— указал он.— На ночь будешь под замком. Сейчас его приладят.

Очевидно, лейтенант уже распорядился: на полу лежали молоток и гвозди. А через минуту вошедший столяр молча принялся за дело. Еще минута — и замок висел.

— Если ночью захочешь выйти по нужде,— наставлял ефрейтор,— постучишь в окно: поблизости всегда часовой. Он тебя выпустит и опять закроет. Я приставлен к тебе. Если попробуешь бежать — сразу «бах-бах».— Он похлопал по кобуре пистолета и оскалил зубы.

В чулане стояла сколоченная из неструганных досок «притче», подобие койки. Ефрейтор повел меня к конюшне. Там я набрал соломы, напихал в большой дырявый мешок, брошенный мне немцем-конюхом,— и матрац был готов. Покрыл я его прихваченным из лазарета одеялом.

Затем длиннорукий повел меня к сарайчику напротив окна моего чулана; вытащил таз и кувшин: для умывания.

Таз и кувшин я отнес в чулан и поставил на кирпичи, которые остались от развалившейся печурки.

У окна стоял маленький самодельный стол на крестовине, возле него — табурет. После лагеря эта одиночная камера показалась мне райским уголком. Я подмел пол, вышел на крыльцо, присел на ступеньке.

Я не знал — где нахожусь, ближе к фронту или дальше от него? Не имел понятия о совхозах, переименованных в «Государственные имения» («Штатсгютер»), ни о людях, которые здесь живут и работают, ни вообще о сельском труде. Где-то в душе жило облегчение: избежал гибели в «дулаге». Но надолго ли? Зная, как тщательно у нас проверяли любого человека, я полагал, что и немцы также должны проверять каждого пленного и, если этого до сих пор не делали, то лишь потому,

что я находился фактически в прифронтовой полосе, где не действовали ни «Викадо», ни гестапо. Я понимал, что «чем дальше в лес, тем больше дров», — чем глубже в тыл, тем чаще придется сталкиваться с уже пустившей корни немецкой сортировочной машиной: там будут и гестапо и всякие проверки, осмотры...

Перед моим окном уходило к горизонту огромное поле. С другой стороны дома зеленел лес. Что за лес? Далеко ли он простирается? Есть ли где поблизости партизаны? Спрашивать об этом было глупо и не у кого. Судя по спокойной деловитости хлопотавших немцев, ходивших в сторону леса без оружия, я сделал вывод, что тут для них опасности нет... Только для меня... Но пытаться бежать бесполезно: я едва ковылял за длинноруким, с трудом дотащил, отдыхая, до чулана полкувшина воды из колодца возле конюшни.

После лагеря здесь поражали тишина и, словно замедленное течение времени и жизни.

За углом раздался кашель, и оттуда выглянул маленький старичок в очках с седеющей бородкой клинышком. Оправа закреплялась веревочкой. Старичок достал из кармана кисет, свернул цыгарку и подсел ко мне.

— Новый переводчик?

— Да.

— Из пленных, сразу видно, — и он предложил мне свернуть цыгарку. Я не отказался.

— Зовут-то как?

— Александр.

— Худой, — покачал головой старичок. — Чего такой?

— Тифом болел.

Старик вздохнул и сочувственно закивал: «А в плену давно ли?»

— Восьмой месяц.

— Давно-о, — протянул, затягиваясь, старик. — Да ты что?! — И он поддержал меня, а то бы я упал. То ли самосад был крепок, то ли усталость и слабость взяли свое, но в глазах потемнело, в ушах зашумело и я бессильно привалился к косяку двери.

Старик похал и спросил: «А кормят-то как?»

— Тут еще никак, а там — сами понимаете.

— Эх, и у нас ничего нет, — пожаловался он. — Прошлой осенью все свои окруженцы шли: как не покормить? Потом зиму всю беженцы стояли. Голодные все. С детьми. Как не поделиться? По весне их вакуировали глубже. А сейчас у самих ничего, разве капуста одна.

— Капуста — тоже еда.

— Ну да, квашеная. Я — те, коли хошь, принесу завтра котелок. А уж хлеба... — и он развел руками.

Мы познакомились. Звали его, как он отрекомендовался, «дядей Федей», а фамилия — Ипатов. Ему было пятьдесят шесть лет. Раньше он работал в совхозе огородником, овощеводом. Деревня, при которой был совхоз, называлась Вохоново и находилась в километрах двадцати от Гатчины.

— А там, — глазами показал Ипатов в даль прямо перед нами простирающегося поля, — там Питер...

С тех пор мои глаза постоянно смотрели в том направлении.

Появившийся лейтенант заметил, что мне не полагается разговаривать с гражданскими, только переводить; обратил на это внимание ефрейтора и велел дяде Феде и мне следовать за ним. Ефрейтор поплелся сзади.

Лейтенант, переваливаясь с ноги на ногу (у него была какая-то странная походка) быстро зашагал мимо конюшни и поднялся на возвышение, где рядом с силосной башней валялись парниковые рамы без стекол, а рядом темнели, погруженные в грунт бревна.

— Вы, я слышал, — обратился он к Ипатову, — являетесь и садовником, и стекольщиком, и печником, мне Юрий говорил. Так вот нужно здесь, — он указал на косогор, на котором виднелись остатки парников, — опять устроить парники. Завтра же с девочками начнете приводить их в порядок. С утра.

Я все перевел и дядя Федя закивал головой: понял.

Лейтенант посмотрел вокруг: что бы еще приказать? Но вспомнил, что сегодня воскресенье и отпустил Федю.

Я тоже вертел головой по сторонам. Перед нами зеленела небольшая полянка, за ней — желтели кирпичом развалины. Слева от нас, окруженный огородом, прижался к дороге маленький домик. Справа виднелся небольшой заросший пруд, а дальше чудесная аллея толщенных красавцев дубов. Они обрамляли полянку с трех сторон и смотрелись в пруд.

* * *

— Н-да-а, — думал я, — оказавшись запертым в своей конуре, — «млеко», «девочки»... Тут не до того... У лейтенанта «Альзо» хоть с голоду сдыхай. Скупящий — сразу видно.

Часа в четыре утра меня поднял длиннорукий; сказал, что покажет, где получать обед. Пока лейтенант разрешил дать мне утром кофе.

Кофе я никогда не любил, питанием его не считал и с дет-

ства знал, что немцы пьют его без сахара. Но в надежде «подцепить» что-нибудь у повара, взяв котелок, я отправился за ефрейтором.

Кухня располагалась недалеко в одноэтажном длинном доме барачного типа на другой стороне дороги.

Первая встретила меня, когда я поднялся на крыльцо, высокая худощавая женщина лет пятидесяти, темноволосая, с грустными беспокойными глазами, впрочем, у всех женщин на оккупированной территории в глазах читалось беспокойство: никто не ручался за завтрашний день. И здесь ночью гудели в сером небе бомбардировщики и доносились глухие взрывы.

— До чего же худой, солдатик! — всплеснула руками женщина. — Пленный?

Я кивнул.

— Откудова?

— Из Гатчины. Там сыпным тифом болел.

Тут из двери выглянула другая женщина, молодая, с правильными чертами лица, с темными блестящими глазами и черными волосами. Я сразу догадался, что это дочь пожилой. За спиной дочери показался немец в сером рабочем кителе: повар. Он задал мне пару вопросов и предупредил:

— Хлеба нет. Для тебя не получен. В обед придешь — налью супа. Давай котелок.

Я решил не отказываться от «кафе». Донес его до своего чулана и, оглядевшись, чтоб не видели, вылил на мусорную кучу, оставив на дне чуточку гущи «на зуб».

Повар объяснил, что эта кухня временная, пока не отремонтируют другую. А здесь он готовит на плите «тети Маши» и «Нади» (Нади). Заодно он сообщил, что был летчиком, но почему оказался в обозниках умолчал.

Дом, где поместили меня, служил казармой. На втором этаже две комнаты занимал лейтенант; рядом, в большом соседнем «зале», спали солдаты. Внизу когда-то помещалась пекарня. Но печь разломали (от нее отделялся мой чулан ветхой дощатой перегородкой); чулан выходил в коридор и рядом были складские помещения. Теперь в них лежали огромные мешки с овсом для лошадей. На мешках чернели орлы со свастикой в когтях.

Немцы еще только устраивались на жительство. Наверху сколачивали деревянные нары, что-то прилаживали. Ефрейтор пожаловался, что они уже две недели здесь, а только в субботу им привезли дефицитные гвозди и инструменты, у крестьян было не допроситься: «Нитшево, нитшево», — передразнил он рус-

ских, — «нитшево не понимаю». Я догадался, что этим его познания в языке исчерпаны.

Пожевав кофейную гущу, голодный по-прежнему, я стоял с другой стороны дома у дороги. Напротив, на склоне холма, сидела кучка крестьян. Среди них — дядя Федя, еще двое мужчин, молодой и пожилой, несколько женщин и девочек-подростков.

Дядя Федя поздоровался со мной как со старым знакомым и представил собравшимся: «Александр, из Гатчины, из лагеря».

Женщины вздохнули: «Сразу видно».

Вышел лейтенант и приказал дяде Феде с тремя девочками идти приводить в порядок парники.

К лейтенанту подошла бледная женщина с грудным ребенком на руках. Ноги у нее отекли, и она их с трудом передвигала. Она назвалась эстонкой Якобсон. Ее обещали отправить к родным в Эстонию. Здесь она не сможет прокормить ни себя, ни ребенка. Она просила поскорее ее отправить.

Лейтенант надул щеки, провел пальцем по краешкам губ и пообещал, что в ближайшие дни постарается решить этот вопрос.

— Но мне есть нечего, — умоляла со слезами на глазах женщина. — Сколько еще ждать? Хоть поесть что-нибудь дайте.

— Вы же не работаете, — поморщился лейтенант.

Переводя эти жестокие слова, я сам просительно посмотрел на офицера. Он недовольным жестом поправил очки: «Ладно, скажу повару, чтоб выделил что-нибудь вам, если останется. Из остатков. При первом удобном случае помогу отправить вас в Эстонию к родным. Вы — не работник и мне здесь не нужны. Альзо... (Итак), — это у него означало и начало, и конец разговора.

Пожилой мужчина, эстонец плотник Юнтер, получил задание вместе с немецкими солдатами сколачивать нары. Молодой мужчина — Алексей Ручкин, из беженцев, тоже получил задание по плотницкой части. Женщины, среди них тетя Маша и Надя, отправились чистить коровник, большой каменный, стоявший перпендикулярно к конюшне.

Утренний развод на этом закончился, и лейтенант уже повернулся, приказав мне следовать за ним, когда по дороге сверху быстро съехала на велосипеде девушка лет шестнадцати с милостивым молочного цвета лицом, светловолосая, в голубой футболке.

Она соскочила с велосипеда возле лейтенанта и попыталась

на невероятном «школьном» немецком заговорить с ним. Он кивнул на меня.

— Говорите, пожалуйста, я все переведу,— сказал я и в ответ на вопросительный взгляд лейтенанта перевел сказанное.

Тоня Дорофеева, так звали девушку, ехала в Гатчину. Она просила лейтенанта похлопотать, чтобы ее отца выпустили из тюрьмы.

Я все точно перевел, не совсем понимая, в чем дело.

Тоня пояснила: неделю тому назад за отказ от работы ее отца, тракториста Павла Николаевича, по приказу лейтенанта полиция арестовала и увезла в Гатчину. (Так вот, оказывается, каков этот господин!..)

— Но он же плохо себя чувствовал,— просила девушка.

— Ваш отец отказался работать для немецкого вермахта.— Пояснил лейтенант.— Безнаказанным это оставаться не может. Что я могу сделать теперь?

— Он действительно был болен. Он не нарочно,— упрашивала девушка.— Что же нам делать? Как быть? Мама в положении, брат маленький. Живем мы в чужом доме, наш сгорел, когда тут проходил фронт. Отец у нас — вся надежда,— и она смотрела печальными голубыми глазами на немца.— Я знаю от вас зависит все. Вы, если захотите, все можете.

Я переводил в точности выражения Тони и еще подчеркнул, «если захотите, все можете». Последнее — признание его могущества — явно польстило немцу. Он крикнул и почесал лысину над лбом.

Девушка продолжала убеждать выпустить ее отца, поясняя, что он честный работник, хороший специалист, но здоровье у него неважное, он не молод, недоедание и заботы заставили его отказаться. Но он вовсе не враг немцев.

— Нн-аа,— протянул лейтенант.— Недоедание!? Если б он работал, я бы приказал ему выдать хлеба и еще что-нибудь. Он просто не хотел для нас работать.

Тоня стала возражать. Я, как мог, старался придать побольше убедительности ее доводам. Наконец, «герр» (господин) смягчился и пообещал завтра заехать в Гатчину и попытаться, если это возможно, вызволить ее отца.

— Если вы там будете, если вам позволят с ним увидеться, можете сказать, что я попробую ему помочь,— заключил он.

Тоня поблагодарила и покатила в Гатчину, а лейтенант отправился со мной к парникам.

Голова кружилась, ватные непослушные ноги нетвердо ступали, пытаюсь поспеть за недовольным офицером, то и дело оборачивавшимся и торопившим меня.

Дядя Федя, раскуривая самосад, указывал девочкам, это были его дочери и их подруга Мария Манинен, как разрыхлять землю. Они успели уже аккуратно сложить в одно место рамы, разбросанные вокруг силосной башни.

Лейтенант поинтересовался рассадой, и тут мне пришлось переводить многое такое, чего я раньше не знал. Ведь само название «рассада», разные другие садоводческие и огороднические термины в моем словаре отсутствовали. Совместными усилиями — и спасибо моей памяти — эти наименования и понятия быстро обогащали мой словарный запас. С помощью Фе-ди Ипатова и лейтенанта Хорста фон Бляйхерта я начал приобщаться к сельскому хозяйству.

В обед я проглотил пол-литра жидкого супа. Но вскоре затем дядя Федя незаметно передал мне полкотелка кислой капусты.

35. ПАВЕЛ ДОРОФЕЕВ И ДРУГИЕ

Еще один день. Сколько их будет? Утром и вечером смотрю на фотокарточки. Валя. Покойные мать и отец, дядя Борис. Валя русская, а остальные не похожи на евреев. На свое студенческое фото смотрю и вздыхаю: совсем другой стал. Зеркала нет, но я это чувствую.

События всегда легче восстанавливаются в памяти, чем чувства и мысли. Как бы ни были сильны ощущения, они при воспоминании, хотя будоражат кровь, нервы, но точно такими, как когда-то, быть не могут. И все же беспокойство за Валю, за родных и близких не покидало меня. Мне повезло, что я не стал свидетелем ужасов, которые творили нацисты. Да, я видел расстрелы, избияния, самого били, холодал, голодал, болел, ощущал на себе презрение к порабощенному народу, высокомерие завоевателей. Но того, о чем они сами рассказывали, я не видел. Рассказы жандармов и санитарного штабс-фельдфебеля в Гатчине рисовали страшную картину истребления евреев. Я знал, что рано или поздно докопаются до моего происхождения.

И все же жизнерадостность молодой природы брала свое: искренними были мой смех, и мои улыбки, и мое озорство.

Людям, не прошедшим фронта и моей «школы», этого не понять. Никогда.

Неуверенность в завтрашнем дне породжала... «широту натуры». Откуда я мог знать, находясь в штатсгуте, что творится в Гатчине? Может быть, там какая-нибудь немецкая разведка проверила правильность моих показаний зондерфюреру в «ду-

лаге пять» и обнаружила, что никакого артиста Ксенина в Ленинградском театре драмы и комедии сроду не было... Или вдруг наткнулся кто-либо из гатчинских или здешних немцев на страшного хауптмана Гофмана или местная жандармерия случайно узнала, что я давно должен быть расстрелян по приказу начальника жандармерии АОК-16?.. А то вдруг решили провести медосмотр... и конец. Вдруг кто-то из населения заподозрил: чернявый, кудрявый,.. по-немецки говорит. Не еврей ли? А донести могут запросто. Лишь бы подозрение родилось. Я перевожу то, что человеку приятно, и он ко мне относится так, будто я ему это приятное делаю, а не немец, исполнивший его просьбу. Перевожу отказ — и человек начинает дуться уже на меня, словно это я ему отказал. А уж если немец ругает?.. Правда, тут я нашел способ оставаться и честным и чистым. Я говорил ругаемому: «унтер-офицер (фельдфебель, ефрейтор) обзывает тебя «свиньей», «лодырем» и он отказывает в твоей просьбе. Все же дулись на меня, поругивали в лицо, а иные и за глаза. Опасность доноса Дамокловым мечом висела над моей головой. А ведь могут донести за одно, а раскопать другое... Эти опасения заставляли меня часто прятать свое самолюбие и проявлять терпение, подчас безответно выносить незаслуженные оскорбления в таких ситуациях, в которых до плена я бы «рубил с плеча».

* * *

Немецких солдат в штатсгуте сперва было человек десять. В деревне Вохоново их, наверное, было много. Но из других соединений.

Через день после разговора с Тоней лейтенант сел на старый французский трофейный велосипед и укатил в Гатчину. Пока он отсутствовал тетя Маша Михайлова, когда я получал обеденную порцию супа, предложила мне снять гимнастерку и постирать белье.

— Постираю вместе с немецким,— сказала она.— А то вшей у тебя, небось, еще больше, чем у них. А мне стирать все одно: они дают мыло и платят, кто хлебом, кто чем. А вон и банька.— Она указала на двор, где курилась едким дымком открытая дверь парной,— ступай, пока никого нет.

Я последовал ее совету и поспешно вымылся. Едва одевшись, я увидел возле бани длиннорукого.

— Ты куда исчезаешь? Если убежишь, вместо тебя расстреляют несколько заложников. У нас так.

Вечером приехал фон Бляйхерт. Быстро обошел двор. Сразу

заметил, что за время его отсутствия нигде ничего не сделано и приказал солдатам и мне до темноты подметать и чистить двор.

На утреннем разводе я увидел высокого костлявого мужчину лет сорока, лысого, с несколько вытянутым книзу крупным бледным лицом, на котором блестели очень светлые глаза.

Он подошел ко мне и поздоровался. Я заметил, что он сильно заикается.

— Павел Дорофеев, — отрекомендовался он. — Из Гатчины вот отпустили. Тракторист.

Это был отец Тони. Я с любопытством смотрел на него. Весь уклад жизни перед войной, все виденное, читанное убеждало, что доверять людям нельзя. Разве мог я в институте даже хорошим знакомым сказать, что мне не нравится лицо Сталина, что мне жаль Якира, Тухачевского, что я не верю в виновность прочих «врагов народа»? Впрочем, Вале я говорил: у нее арестовали и осудили отца, как и у другой моей хорошей подруги, Гали Савельеввой. С той тоже можно было быть откровенным. И все. Все побаивались друг друга и не ручались за себя... Фильмы, лекции, книги о вероломстве врагов научили не только меня говорить не то, что думаешь, а то, что безопасно. По фильмам, книгам, брошюрам я знал, что враги, выпуская кого-либо из тюрьмы, обязательно его завербовывают, делают провокатором. Павла Дорофеева по ходатайству лейтенанта выпустили. Нет ли здесь какого подвоха?.. На вид он очень прост, этот гигант Павел, лицо доброе, на святого похож. Только еще нимба над лысиной не хватает. А какой этот тракторист на самом деле?..

Фон Бляйхерт, увидев Павла, изобразил на лице нечто вроде улыбки, даже с оттенком благожелательности; поджал тонкие губы и, подойдя к трактористу, выразил надежду, что тот будет работать добросовестно. При этом за стеклами очков глаза немца блестели холодно и колюче.

Павел ответил, что ждет распоряжений. Тогда лейтенант приказал осмотреть и привести в порядок оба трактора ХТЗ, стоявшие возле конюшни. Павел направился к ним.

Через полчаса он подошел к лейтенанту с какими-то деталями и объяснил, что нужно их заменить, а где взять замену он не знает.

Лейтенант поморщился. Так как требуемых запасных частей в совхозе не нашлось, лейтенант нацарапал записку на листке из блокнота, вручил Павлу: «Если попробуют задержать — покажите».

Печати на записке не было: достаточно, что написана по-немецки.

— Поезжайте в Николаевку, — приказал лейтенант. — Там есть МТС, там подберете детали.

После обеда приехал начальник «Викадо», толстый интендант Ширмер, с привезшим меня зондерфюрером и представил лейтенанту крепкого парня лет двадцати пяти в поношенном штатском костюме явно с чужого плеча.

«Фон» подозрительно посмотрел на новичка и приказал ему идти к Павлу. В штатсгуте появился еще один тракторист Степан Струков. С Дорофеевым он сразу нашел общий язык, и они полезли под трактор.

Степан был танкистом. То ли его танк подбили, то ли произошло что-то другое, но Струков, вырываясь из окружения, ухитрился избежать плена и оказался на свободе в качестве штатского, беженца. Вообще-то его история показалась мне похожей на дезертирскую... Но... с шестого июня он начал работать в штатсгуте.

«Фон» сказал, что после работы Струков может идти в деревню искать себе жилье. Паек и заработную плату он будет получать в штатсгуте, когда все наладится. Пока ему будут выдавать на кухне такую же порцию супа как немцам, а хлеб — как гражданским.

В штатсгуте устраивались на работу беженцы, которым неоткуда было взять продукты, крестьяне, прошедшие голодную зиму и старавшиеся как-то дотянуть до урожая, и бывшие рабочие совхоза. Последних было несколько человек — тетьа Маша Михайлова, Соня Драченко, Юнтер, вскоре уехавшая Якобсон, да еще эксцентричная худющая, но очень сильная женщина непонятного возраста, крикливая, но не злая Лиза Михайлова по прозвищу «дурочка». Она охотно выполняла любую работу и даже, громко ругая фрицев, вдохновенно таскала семидесятипятикилограммовые мешки с овсом, к чему ее никто не принуждал.

Деревня Вохоново лежала на поляне, окруженная с двух сторон лесом, с южной стороны парком, а на восток уходило поле, опять-таки упиравшееся в лес. Деревенька была маленькая, сорок шесть двориков. Слева, если смотреть с пригорка, светилась возле колодца большая лужа, называвшаяся прудом.

На пригорке, откуда начиналась земля штатсгута, слева от двухэтажного дома, который ремонтировали немцы, чтобы разместить в нем канцелярию, кухню и жилище лейтенанта, стоял бревенчатый сарай, явно складское помещение. Наискосок от него, через дорогу, на пригорке в одинокой избенке жили Ли-

за-дурочка со своей старшей сестрой, молчаливой Евдокней. В свое время они не вступили в колхоз. Мужей их угнали, куда Макар телят не гонял. С тех пор, поговаривали, Лиза стала «немного тронутой».

Прямо напротив избы Михайловых на краю парка, возле самой дороги, пестрела свежими цветами аккуратная могила с крестом, огороженная низеньким заборчиком. На кресте зеленел большой веночек. Ухоженная могила советского офицера, капитана или лейтенанта, последнего защитника деревни осенью сорок первого года была для жителей священной. Идя на работу, все проходили мимо могилы. Ухаживала за ней Лиза. Деревенские девушки постоянно следили, чтоб на холмике лежали свежие цветы. Несколько могил немецких солдат, не доезжая штатсгута, белели березовыми крестами, но цветов к ним никто не приносил.

Рассказывали, что похороненный капитан со своим ординарцем вдвоем, а затем капитан один прикрывали отход наших войск; перебежали с места на место с пулеметом и немцам пришлось «гоняться» за ними, применив артиллерию. Сперва погиб ординарец, потом его командир.

Поблизости на бугре в вырытой траншее стояла наша разбитая трехдюймовка. А внизу, в первом же деревенском огороде, отделенная оградкой с четырех сторон, лежала большая неразорвавшаяся авиабомба.

Вся деревня имела форму квадрата, в двух местах перерезанного линиями улиц, переходивших далее в дороги на деревни Большое Одрово — на востоке — и Березнево, на севере. Над деревней на пригорке высился двухэтажный дом бывшего магазина. В нем и решил «Фон» устроить свою канцелярию и резиденцию.

36. ПОДКРЕПЛЕНИЕ. МОСКВИН. ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Одиннадцатого июня с утра двор штатсгута огласился выкриками возчиков, топотом тяжелых лошадей, скрипом огромных колес высоких телег. Прибыло человек двадцать немецких солдат с двумя унтер-офицерами. Главный из них, толстяк с мясистым свисающим носом на коричневом угреватом лице, унтер-офицер Мартин, бойко отрапортовал лейтенанту о прибытии в его распоряжение.

Затем толстяк обошел с «фоном» двор, парк, осмотрел коношню и пустой коровник, оба двухэтажных дома штатсгута

и потом подошел ко мне, демонстративно, «как равному», протянул руку, похлопал по плечу, сказал, что лейтенант уже рассказал ему обо мне.

Несмотря на проявление благожелательности, толстяк мне показался подозрительным: я почувствовал, что за показной простотой и маской добродушия скрывается коварная душа.

Второй унтер-офицер, Адольф Райнер, худенький, небольшого роста, не расставался со стеклом, которым изредка похлопывал по начищенным сапогам на кривых ногах, тоже не вызывал доверия. Райнер немного знал русский, то и дело вставляя в речь чешские слова. Словарный запас у него ограничивался чисто потребительскими именами существительными — названиями продуктов, вещей домашнего обихода или, связанных с лошадьми, и, конечно, всякой похабщиной. Райнер ходил быстро, не в пример важно медлительному Альфреду Мартину и, хотя также напускал на себя важный вид, но производил впечатление озорного мальчишки, отнюдь не доброго, лет уже двадцати восьми.

В первом этаже здания бывшего магазина, пока ремонтировали второй этаж, для фон Бляйхерта, разместили кухню, канцелярию и, за перегородкой — жилое помещение. В нем поселился повар Георг Ланге, смуглый невысокий крепыш с умными черными, как у вещего вороны, блестящими глазами, саксонец. С ним поселился канцелярский унтер-офицер Эггерт, сухарь лет сорока, в очках, с партайабцайхен, отъявленный нацист, способный читать длиннейшие лекции о методах распознавания евреев и необходимости истребления «проклятой расы». Третьим жителем первого этажа стал судетский немец Антон Хингар, небольшого роста полный ефрейтор с лицом, напоминавшим бравого солдата Швейка на известных иллюстрациях к книге Гашека. Хингар немножко говорил по-русски.

Прибывшее пополнение заняло также весь первый и второй этаж дома внизу, во дворе совхоза, где был и мой чулан. Унтер-офицеры поселились пока в проходной комнате рядом с лейтенантом. Часть склада освободили под дополнительное помещение для солдат.

Квартира тети Маши избавилась от немецкой кухни. Ланге принял «оборудование» — несколько черпаков, кастрюль и тазов — от бывшего повара, отправлявшегося на фронт (болтали, что он не поладил с «Альзо»).

В конюшне теперь стояло не меньше пятидесяти лошадей, толстых, гривастых. Когда они резво бежали с пастбища, земля дрожала под ударами их огромных копыт, и я мог себе представить атаку тяжелой кавалерии во времена сражений под

Полтавой или Бородином: если от пятидесяти так дрожит земля, то как она должна дрожать от топота нескольких тысяч мчащихся коней?!...

Кох (повар) Ланге угостил меня сигаретами, но супа налил по-прежнему, пол-литра. «Больше пока нельзя, — пояснил он. — Со временем видно будет».

Ранее, шестого июня, после пятидневной голодовки еще бывший повар выдал мне полученный в Гатчине паек для военнопленного. Паек выдавался на неделю и состоял из буханки немецкого хлеба (одна тысяча двести граммов) кусочка маргарина, кусочка мармелада общим весом граммов двести. Повар объяснил, что положенную крупу, он, понятно, кидает в общий котел: не готовить же отдельно для одного пленного, тем более, что и мне такая комбинация выгоднее. Я, конечно, согласился.

Первый раз я получил две буханки хлеба, за прошлую и на будущую неделю. Обе были черствые, покрытые легким налетом плесени. Но это был хлеб! — самый дорогой и дефицитный продукт. Когда я нес его от кухни (в пределах двора штатсгута мне разрешили двигаться без охраны), я поймал жадные взгляды двух ребятишек лет тринадцати-четырнадцати и кивнул им: подходите. Они проводили меня к моему чулану. Днем его не запирали. Мы вошли, и я угостил их хлебом. После нашей совместной трапезы у меня осталась одна буханка. Но это не беспокоило: чем меньше оставишь на завтра, тем лучше. Кто знает, доживешь ли до следующего дня?..

Один из ребят, Виктор, оказался сыном Павла Дорофеева, другого звали Сергеем Константиновым. Оба спрашивали о Красной Армии, а так как дети отражают взгляды родителей, я понял, что их отцы и матери болеют за все успехи и неудачи нашей армии, считают пребывание здесь гитлеровцев временным и их поражение неизбежным.

Длиннорукий выгнал нас всех во двор.

* * *

Фон Бляйхерт немного вытягивал шею, поднимал голову и перед тем как сказать неизменное «альзо» облизывал кончиком языка верхнюю губу. Он не ходил, а перекатывался: с пятки на носок, с пятки на носок, носками внутрь. Очки блестяли. Он их часто поправлял. Высокий лоб сразу же переходил в лысину. Ему было тридцать три года, но все солдаты называли его, как у них принято, «дер альте» (старик). Так называли они своих командиров.

С детства я обожал передразнивание. Не скопировать фон

Бляйхерта или унтеров я не мог. Вскоре мой сопровождающий «длиннорукий», прозванный «орангутантом», унтеры, «Альзо» попали в мой «альбом».

Война и оккупация прервали учебу деревенских детей. Не успели стать учителями Тоня, Надя Павлова (дочь тети Маши), Надя Миронова. Оставили школу Витюшка Дорофеев, Сережа и их сверстники. Школа находилась в трех километрах. Четырехклассная. В Малом Ондрове.

Узнав, что я артист, подростки и девушки проявили ко мне повышенный интерес, просили «прочитать» или «спеть». Читал я и пел прилично. Репертуар имел порядочный. Этим в августе тридцать девятого я поразил знаменитого Ивана Михайловича Москвина, благословившего меня на сценический путь.

Леонидов в ГИТИСе и Зубов в Малом театре, выслушав в моем исполнении монологи Барона («Скупой рыцарь»), Чацкого, Фердинанда, Отелло, сразу поняли, что экзаменуется не ученик, а «премьер»: в Гитис и Щепкинское училище меня не приняли. Огорченный, но ни за что нежелавший расстаться с давно выбранной профессией я тяжело переживал свое поражение. И тут вспомнил рассказ одного постулавшего, как он в Киеве приехал в гостиницу «Континенталь» к Москвину во время гастролей МХАТа и маститый артист прослушал его.

— А почему бы и мне так не попробовать? Что Он скажет?

Узнать адрес Москвина не стоило труда. Он жил в большом новом доме по улице Немировича-Данченко.

Узнав, что он в театре, я стал прогуливаться перед домом. Гулял я часа два. Но вот сверху, со стороны улицы Горького начал спускаться Он, знакомый по спектаклям, по фильмам и портретам.

Когда Москвин приблизился к своему подъезду, я подбежал к нему и, хотя был уверен, выпалил:

— Вы — Иван Михайлович Москвин?!

Он глянул на меня чуть поверх очков и от моего «пылкого» вопроса несколько опешил:

— Да, я.

Сами сложились руки молитвенно на груди:

— Прошу вас,.. очень прошу... прослушайте меня, я... хочу работать в театре,.. я сделал выбор... Очень прошу...

Он смотрел на меня задумчиво; опустил голову, потом поднял: «Сегодня в пять часов вечера позвоните мне. Запишите номер телефона», — и вошел в подъезд.

И весь вечер в большой пустой репетиционной комнате его квартиры я ему читал наизусть, разыгрывал за нескольких действующих лиц сцены из спектаклей, в которых участвовал в

школе и на клубной сцене. И Он читал мне, перед этим сказав: «Вот как надо читать». Он читал монолог Чацкого, Скупого, басни. Сидя в кресле, он чуть заметным движением головы, взглядом, паузой дополнял мысль, которую так четко доносила его речь. Я понимал, что он не Чацкий, но Чацкий должен именно так нести мысль, так относиться к окружающим, так скрывать свою обиду и... издеваться.

Видимо, Москвина удивило, что я уже тогда так много знал наизусть. Может быть, он обратил внимание на мое исполнение диалогов за обоих персонажей... Помолчав, он посоветовал:

— Вам надо поступать в ГИТИС, я могу о вас сказать Леонидову.

— Я у него уже провалился. Не хочу.

— А в Малом театре?

— У Зубова я тоже провалился.

— Нет Леониду Мироновичу (Леонидову) я могу о вас сказать. Там же вас так не изучали...

— Нет, Иван Михайлович, большое спасибо. Мне достаточно, что вы не признали меня безнадежным. В Москве в этом году больше никто не набирает... Мне предлагали на отделение оперетты. Но о ней я не мечтаю.

— А не попытать ли вам счастье в Ленинграде? Там сейчас открыт Театральный институт, реорганизован из училища. Кстати, вы давно носите этот костюм?

— Впервые надел вчера.

— Вы к нему еще не привыкли.

Не менее трех часов я провел у Москвина. Затем стал добывать билет в Ленинград.

Я сменил весь, приготовленный для экзаменов репертуар; надел привычный обношенный костюм и в Ленинграде был принят Борисом Андреевичем Бабочкиным, бессмертным Чапаевым, во вспомогательный состав Большого драматического театра. Но Бабочкину я не сказал, что в дополнительном наборе юношей буду на другой день пытаться счастье и в Театральном институте на Моховой. А когда меня приняли на актерский факультет, я сказал Борису Андреевичу, что не смогу участвовать во вспомогательном составе. Он выругался: я прошел в Большом солидный конкурс, но согласился, что в институте лучше получить образование.

Лучшие годы моей жизни — актерский факультет. Это — больше, чем исполнение мечты, это путь к ней. И все, с ним связанное, перерезала война. Я не подлежал мобилизации, записался добровольцем. Иначе я поступить не мог и не желал,

хотя не предвидел, как и мои товарищи, какие беды, несуразиды, испытания обрушатся на наши головы.

Но на фронте и в плену во мне жило нечто большее, чем моя жизнь,— ее сердцевина — преданность искусству. Актер-фанатик не мог существовать без него. Голодный, я читал и напевал. И слушали меня товарищи по несчастью и немцы, любившие русские песни, и редко кто прерывал.

Силосная башня находилась в центре хоздвора возле коровника. В башне почему-то настлали пол на уровне земли. Заглянув в башню и попробовав голос, я обнаружил потрясающую акустику и не мог не запеть. Во время обеденного перерыва со мной в башню зашли Витюшка и Сережа, и я им спел несколько песен и даже арий из опер. Признание было полное. А слушавший снаружи Павел, большой любитель искусства, сразу констатировал: «Артист! Настоящий артист!— и тут же добавил,— вот гады проклятые, такого че-человввека в плену держат. Да я бы...»

Анекдоты, многие из которых связаны с евреями, я рассказывать опасался, потому что как-то в безобидном анекдоте про «Рабиновича», получившего пощечину, я, изображая лицо «героя», вызвал гомерический хохот и возглас: «Ну, молодец! Здорово! Вот это артист! Еврея-то как показал — настоящий еврей!»...

Этот комплимент заставил меня поубавить прыти. Я понимал, что лучше самих евреев, даже если они, как я, ни слова не знают на своем языке, никто антисемитских анекдотов не рассказывает. Я предпочел рассказывать анекдоты побезобиднее или вовсе не рассказывать. Хватало остального репертуара.

37. СОБАКА — ВРАГ И... СПАСИТЕЛЬ

— Завтра,— сказал Мартин,— я приведу замечательную овчарку. Надо, чтоб в хозяйстве была овчарка. Я уже договорился со «старым» (лейтенантом). Мне обещали ее мои товарищи из эсэс. Она у них на службе. Конвоирует. Отличилась на фронте, нюхом узнает евреев. Одним словом, ценная!»

По привычке унтер говорил важно, обращая внимание на эффект, производимый его речами.

Я почтительно выслушал, а про себя подумал: этого не хватало. Появится пес. Начнет всех облаивать. Заодно гавкнет, глупый, на меня, а дурак... заподозрит...

К обеду следующего дня Мартин вернулся из Гатчины с серой поджарой немецкой овчаркой, мордой похожей на жан-

дармского оберфельдфебеля Гофмана, — вытянутой вперед, нацеленной на добычу.

Собака безупречно и стремительно выполняла немецкие приказы. Она легко перемахивала через высоченные борта повозок, приносила и уносила все, что ей приказывал Мартин. Иногда он шутливо прикасался к кому-либо из стоявших рядом — и пес тут же набрасывался на жертву. Только молниеносно произнесенное унтером «хальт!» заставляло это чудовище замирать, оскалив зубы.

Пес «в шутку» успел уже потрепать Степана Струкова, порвал рукав Алексею Ручкину. Девчонки боялись показаться во дворе: Мартин демонстрировал свою власть и способности своего зверя. В это время я старался держаться по — возможности дальше от унтера, чтобы не вступать в конфликт с его четверногим «камрадом» (товарищем).

...В рельс ударили: обед! Немцы моментально бросили работу и штатские тоже последовали их примеру.

Мартин привязал пса к ручке дверей сарая напротив окна моего чулана и велел доставить из деревни хорошую собачью будку, он уже такую приметил. В деревне собак не осталось, кроме старостинной дворняги. Но возле каждого дома стояли будки, напоминая о своих погибших хозяевах: немцы везде, придя, истребили собак.

Пока Струков и Ручкин отправились за указанной унтер-офицером будкой, он приказал мне: «Алекс, возьмите в конюшне пустое «мармеладенаймер» (ведро из-под мармелада. Его привозили в восьми или десятилитровых жестяных ведрах для солдатских пайков). Алекс, когда солдаты пообедают, пойдите на кухню к повару Ланге и скажите, что я распорядился остатки выложить в ведро для собаки, и дадите их ей».

— Яволь, герр унтер-офицер!

Без труда найдя ведро, я его тщательнейшим образом вымыл. Потом пошел к кухне и стал ждать. Когда все немцы со своими котелками ушли, я подал ведро Ланге. Он наложил в него остатки из бака, самую гущу, картофель с мясом; залил остатками соуса и набросал в это месиво куски плесневелого хлеба, корки, засохшую булку.

Я с безразличным видом, глотая слюну, взирал на это невиданное богатство. Ведро наполнилось почти до краев.

От кухни я пошел не по дороге, а кратчайшим путем, по тропинке через парк. Отойдя от кухни шагов пятьдесят, я оглянулся: с кем бы поделиться? Все равно, одному не осилить, — и увидел Степана Струкова, а за ним — Витюшку. Махнув рукой, дал знак, чтоб они не откликались, и поманил их к себе.

У Степана ложка была всегда с собой, как у меня, за голенищем.

Тут же за кустом, присев на корточки, мы за несколько минут умяли две трети ведра. Затем я подошел к пруду, подлил воды и направился к псу.

Будка уже стояла поблизости, но собака еще была привязана к дверной ручке сарая. Перед ней стояла жестяная миска.

Подойти к свирепому псу я не решился. При виде меня, он молча, стал рваться на привязи.

Я приблизился и плеснул в миску еду. Пес оскалился.

Я отошел, чтоб не нервировать животное. Не уверен, что эсэсовцы досыта кормили собаку. Она, косясь на меня, чуть поколебавшись, с жадностью проглотила содержимое небольшой миски.

«Нет,— сказал я про себя,— ты будешь не один раз меня благодарить»,— и опять немного плеснул в миску.

Так, наплеваяк раз десять псу еды, я приучил его к мысли, что являюсь его кормильцем. Выплеснув, наконец, все содержимое, я вернулся в свой чулан, вздохнув, что ничего себе не оставил: после длительного голода не сразу наешься.

Так в течение нескольких дней я кормил пса, себя и своих друзей, а то и еще кого-нибудь из ребятишек. И все были довольны, в том числе, пес. Я же почувствовал себя тверже на ногах и уже не задыхался, следуя за быстрым фон Бляйхертом или за его унтерами. Фон Бляйхерта я прозвал «Ванькой-черепом», «очкатым альзо», «альзо», «бароном». Все прозвища за ним закрепились. Последнее напоминало о существовании пресловутого барона Врангеля из знакомой тогда каждому сатиры Демьяна Бедного, и вызывало неприязнь у наших людей. Но, когда лейтенанта кто-либо из местных называл «бароном», он не обижался: что для одних ругательство, для других — почет.

Как-то во дворе Мартин опять вздумал поиграть с овчаркой. Спустил ее с цепи и натравливал на рабочих, смеясь над их испугом, когда послушный команде злой пес, бросаясь к ним и, уже изготываясь к прыжку, замирал, скаля белые клыки.

Внезапно, когда я приблизился к унтеру, он схватил меня за гимнастерку и крикнул: «Фас!» (Хватай!). Собака моментально впилилась зубами в руку унтер-офицера.

— Блэдер хунд! (Сумасшедший пес!),— остолбенев от неожиданности, завопил Мартин: собака не дала в обиду своего кормильца. После этого случая унтер заметно охладил к эсэсовской овчарке и даже перестал ее натравливать на людей. Нас же, Степана и мальчишек, овчаркино питание крепко поддер-

живало еще несколько недель, пока Мартин не отвез собаку к ее прежним хозяевам.

«Фон» задумал полностью перестроить и обустроить штатсгут. Надо отдать справедливость, он мыслил по-хозяйски. Во дворе достраивалась сгоревшая осенью кузница. Под одной крышей с нею, через каменную стену, должен был открыться сливной пункт — «молькерай» — (молочная), куда должны были сдавать свой натуральный налог молоком и яйцами крестьяне из Вохоново и окрестных деревень. Пока налог был невелик — двести с лишним литров молока в год. Но со временем предполагалось налог повысить. Немцы с обидой говорили, что у них в Германии крестьяне вообще обязаны сдавать и сдают все молоко до последнего литра, а получают только обрат (пахту), отсепарированное молоко — и то в определенной норме, что положено в пайке.

Из Германии ожидалось прибытие коров остфризской породы, племенного быка, жеребца, тонкорунных овец, свиней, а также сельскохозяйственных машин, в том числе, тракторов, сеялок, молотилок, многолемешных плугов и других. Уже в день приезда Мартина с пополнением в штатсгуте отгрузили картофель для посадки и различные семена. Первые годы штатсгут, его посевная площадь доходила до тысячи гектаров, должен был снабжать овощами штаб и офицерскую столовую своей, двести двадцать третьей дивизии, а молочными продуктами, кроме того, лазарет на станции Елизаветино. В ближайšie же годы штатсгут должен был значительно расширить свои возможности. Поэтому из райха ожидали племенной скот и свиней.

Для осуществления программы фон Бляйхерта, агронома по образованию («Доктор Хорст фон Бляйхерт», — значилось в его визитной карточке), помимо немецких солдат, крестьянствовавших в штатсгуте, здесь должны были работать жители Вохоново и окрестных деревень. За свой труд им полагались деньги и паек, в который входили хлеб, немного муки, крупы, маргарина, мармелада, еще некоторых продуктов, — все в весьма скромных количествах. Заработная плата — в советских рублях — была тоже невелика. Рабочие подразделялись на категории: специалисты, грузчики получали больше, женщины — меньше, дети — их тоже привлекал к работе «барон» — еще меньше.

Когда началась постройка под одной крышей с кузницей «молькерай» (молочной) с глубоким погребом, выложенным цементом, в штатсгут прибыли еще два немца, рыжий унтер-офицер Эрнст Виттерн, с веснушчатым узким лицом и очень серьезным выражением глаз под белобрысыми бровями, и солдатик маленького роста, обер-ефрейтор Карл Ценниг. Первый

значился сыроваром и его «фон» назначил заведующим «молочной фермой». Второго поселили наверху в канцелярии. Ценниг приехал на мотоцикле и стал исполнять обязанности вестового.

Вскоре как-то сам «барон» прибыл из Гатчины «на поводке»: на тресе, прицепленном к попутному грузовику, ехала малосенькая малолитражка, «штрассенфлю» («уличная блоха»). Ее «Викадо» пожертвовало «Фону». В дороге малютка испортилась и сразу поступила в ведение Ценнига для ремонта. А лейтенант взял себе мотоцикл и стал на нем объезжать штатсгут.

38. ПЛЕНЕНИЕ ГЕНЕРАЛА ВЛАСОВА. СТАРОСТА И ПОЛИЦАЙ

Так получилось само собой, что «орангутант», кстати, ухитрявшийся подворовывать даже из моего нищего пайка, перестал быть моим «телохранителем», так как возле меня охраны не требовалось: я должен был постоянно находиться «под рукой» у «барона» или Мартина, ставшего своеобразным управляющим при «бароне».

Вечерами я поднимался на второй этаж в комнату солдат. Там горели карбидные лампы и можно было почитать немецкие газеты и иллюстрированные журналы. Газеты я проглядывал небрежно, поддерживая мнение об «аполитичности» артистов.

Но в девять часов я возвращался в чулан и меня закрывали. Дисциплина.

Примитивно-отвратной казалась мне и я, раз глянув, больше не брал в руки газету эсэсовцев северного фронта «Черный корпус». Вылетели из головы названия других газет. Но помню, с каким торжеством в середине июля показал мне один из немцев солдатскую газету с фотоснимком и спросил: «Читать умеешь? Читай».

Фронтовой корреспондент сообщал о взятии в плен командующего второй ударной армией Волховского фронта, заместителя командующего фронтом, генерал-лейтенанта Власова.

Когда немцам удалось, раздробив на части, окруженную вторую армию, начать их последовательное уничтожение, от кого-то из пленных или штатских они узнали, что и командующий не выбрался из «котла». Стали его искать. К тому времени сопротивление уже было сломлено. Истощенные, оставшиеся без боеприпасов солдаты не могли сопротивляться. Немцы приводили данные (полагаю, преувеличенные) о взятии в плен

ста тысяч советских солдат и офицеров. Вообще забыв скрупулезность Рабле и Свифта, гитлеровцы любили оперировать круглыми цифрами. Гражданские тихонько передавали, что один любитель, пользуясь немецкими сводками, подсчитал, что у русских еще осенью сорок первого не могли оставаться ни один солдат, ни один самолет, ни одна машина, ни одно оружие... Будто бы «математика», перепроверявшего немецкую пропаганду, повесили, но... Факт оставался: вторая ударная армия, так долго героически сражавшаяся в окружении, перестала существовать.

В поисках командарма немцы колесили по остаткам деревень в тылах бывшей армии, расспрашивали жителей и пленных. Сперва пошли слухи, что командарм убит. Но затем, то ли нашли его шофера, то ли убитым оказался шофер, но поиски привели в одну деревню, где кто-то из жителей указал избу, в которой якобы прятался русский офицер.

Немцы ворвались в избу. Перепуганные хозяева от страха онемели, боялись слово вымолвить и один из них показал пальцем на пол. Там была дверь в подполье или погреб. Откинув крышку, приставив к люку автоматы, немцы приказали скрывавшемуся там выйти. И тогда оттуда раздался голос, вымолвивший на плохом немецком: «Нихт шиссен. Их генераль Власов». (Не стрелять. Я генерал Власов). Щелкнул фотоаппарат. В газете были снимки, на первом — выходящий с поднятыми руками генерал, на другом, подписанном «Победитель и побежденный», командующий немецкой северной армейской группой генерал Линдеман допрашивает Власова.

Больно стало от увиденного и прочитанного. Еще одно поражение, на севере. На юге немцы захватили Крым. После героической обороны пал Севастополь. Вновь занят Ростов и гитлеровцы ворвались в ворота Кавказа. В немецких журналах я видел снимки: немцы принимают хлеб-соль от старейшин станиц, кишлаков, лакомятся кавказскими фруктами.

— Вот увидишь, — многозначительно произнес солдат, показавший газету, — к осени Ленинград падет. Наш фюрер его так не оставит.

Я молчал. Говорить не хотелось. Немец надулся: «Думаешь, к осени война не кончится?»

Настала моя очередь «отдулиться»: «Неужели ты полагаешь, что Россия это только Ленинград и Москва? Посмотри на карту: вы десятой части России не заняли».

Но на душе у меня было прескверно.

Деревню свою вохоновцы считали исторической. Болтали, что после первой ночи с Зубовым, удовлетворенная любовни-

ком Екатерина Великая, отписала ему деревню, а он, то ли продал, то ли проиграл ее в карты фон Платтену, видать, из остзейских баронов, а тот, тоже проиграл или продал помещику Платонову, некогда за храбрость пожалованному каким-то царем золотым оружием, с которым его похоронили в фамильном склепе в Вохоново. Во время гражданской войны склеп раскопали, но оружия не нашли. Вдова Платонова умерла в те же годы. Возможно, старуха умерла не своей смертью. Всякое тогда случалось. Бандитов и воров хватало. А еще ходила легенда, что Платонов, когда заполучил это имение, привез с собой откуда-то из Приуралья первых русских своих крепостных Дорофеевых, Ипатовых, Мироновых, Чукановых, Константиновых. Сперва привез четыре семьи, потом — еще.

История Вохонова показалась фон Бляйхерту забавной. Дворянин, имевший в Германии малюсенькое поместье, он о таких просторах мог только мечтать. Поговаривали, что отец Хорста, генерал еще вильгельмовской армии, находился в оппозиции к нацистам и после прихода Гитлера к власти удалился от дел, что плохо отразилось на карьере фон Бляйхерта. На фронте, командуя батареей, он якобы ухитрился обстрелять своих и потому его направили на работу по специальности: агроном — отправляясь в штатсгут, командуй сельским хозяйством. Так ли было? Не знаю. Расспрашивать его никогда не пытался. Знал — бесполезно.

К моему удивлению, но не огорчению, он довольствовался скухими сведениями из моих уст о моей биографии. А без меня он знал, что я пленный — и это было основное, что определяло мое положение и его отношение ко мне. Однако он ни разу ко мне не обращался на «ты», как и к своим солдатам. Ходил в залатанном кителе, но дистанцию между собой и подчиненными соблюдал порядочную и не пытался ее сократить.

* * *

Через несколько дней после прибытия я увидел ладно скроенного широкоплечего мужичка, белобрысого и румяного. Он уверенно прошагал через парк, приблизился к «барону» и, пристально глянув, кивнул в знак приветствия мне.

— «Штарост», — пояснил лейтенант. (Староста).

Василий Миронов был председателем колхоза. Когда пришли немцы, односельчане выбрали его старостой. Ему было тридцать пять лет. Он производил впечатление крепкого хозяйственного руководителя из наших довоенных фильмов. Эдакий «передовой товарищ». Любопытством его господь Бог не оби-

дел. Он-то стал допытываться, откуда я, кто мои родители, где воевал, где учился?..

Поток его вопросов прервал «барон», спросив, что ему нужно. Дело было какое-то пустяковое и я догадался, что главной причиной визита являлось желание увидеть «нового переводчика».

Не скажу, чтоб староста мне понравился. В нем за видимостью широты натуры пряталось нечто эгоистичное, глаза смотрели недобро, испытующе. И все это прикрывалось показной «простецкой» манерой обращения, панибратством, непонятно на чем основанном.

Он пожал мне руку так, что аж кости хрустнули.

Визит старосты обеспокоил меня: черт его знает, что у него в мыслях? Больно любопытен. Поедет в Гатчину, в комендатуру, там начнет высказываться, выспрашивать. С ним надо держать ухо востро.

И еще одно «местное начальство» нагрянуло следом: издавка, сняв шапку, приблизился к фон Бляйхерту голубоглазый мужчина тоже лет тридцати пяти с матовым цветом лица, на котором пылали ярко-красные губы. Во всей его манере сквозило что-то заискивающее. Он поклонился лейтенанту и даже мне и спросил, не будет ли каких новых распоряжений и как он должен доложить своему начальству, которое он обязан поставить в известность, о прибытии в совхоз нового переводчика?..

Тут «барон» вышел из себя и заорал на мужчину, это был единственный вохоновский полицейский, коренной житель, сын раскулаченного, вернувшийся из ссылки Валентин Панфилов.

— Что вам «докладывать»?— рассвирепел лейтенант.— Я — здесь хозяин и никто из полицейских мне не указчик. Делайте свое дело, следите за порядком там, где вам положено, а в дела штатсгута не суйтесь! Пленного отрядили в мое распоряжение и нечего о нем докладывать и пытаться ввести его в свое подчинение. Я за него отвечаю и он отвечает передо мной. Занимайтесь своими делами и не суйте нос, куда не следует.

Панфилов стал извиняться, оробел, попятился, тем более, что тираду «барона» я перевел в том тоне, в каком она производилась, не смягчая выражений и категоричности.

Кланяясь, полицай ушел и надел кепку на лысину только на почтительном расстоянии.

Я тогда решил, что заискивающая манера и робость полицая вызваны его привычкой угождать, подчиняться оккупантам и не подумал о том, что пришлось пережить, перенести Панфилову до войны...

Стоит ли повторять, что каждый такой визит становился для меня испытанием, вселял опасения и тревоги. Когда староста или Панфилов уезжали в Гатчину, где находились комендатура, полицейское управление, гестапо, я никогда не мог ругаться за то, что обратно они не вернутся с жандармами или гестаповцами, уполномоченными забрать меня для проверки в застенок... Старосты и полиция я особенно опасался. Они не подчинялись лейтенанту, не относились к штатсгуту.

Соня Драченко, женщина лет тридцати восьми с усталым, еще красивым лицом, жила под одной крышей с тетей Машей и Надей. Вместе с тетей Машей Соня работала в совхозе телятницей. Вскоре после прихода гитлеровцев в Вохоново Сониного мужа или сожителя арестовали. Соня подозревала, что по доносу старосты, указавшего, что муж Сони коммунист. Его повесили в Николаевке. У Сони осталась дочь повешенного, четырнадцатилетняя Феня. Понятно, с какой ненавистью они смотрели на старосту. Соня при первом же знакомстве рассказывала мне о Миронове.

Фон Бляйхерт приказал старосте поставлять в штатсгут рабочую силу — беженцев, у которых нет своего хозяйства, крестьян, у которых большие семьи, включая подростков. Работа найдется для всех.

Когда на следующее утро на разводе людей почти не прибавилось, лейтенант приказал Мартину срочно вызвать старосту и наорал на него, требуя еще людей. Через день число присланных увеличилось вдвое или втрое. Но «барон» оставался недоволен. Планы у него были большие и с их осуществлением он не хотел медлить. Прибытие Мартина позволило фон Бляйхерту усилить нажим на старосту для привлечения новых рабочих. Теперь на Миронова орал Мартин, а если это не помогало, — «нажимал» лейтенант. Появление промежуточной инстанции создавало большее впечатление власти.

* * *

Вся оккупированная территория находилась в распоряжении комендатур. В глубоком тылу они, как правило, были постоянные со своими определенными штатами, маленькими гарнизонами, полицейскими отрядами.

Другое дело — в Гатчинском районе, где большинство населенных пунктов находились в десяти-двадцати, тридцати километрах от передовой линии фронта и были напичканы непрерывно сменявшими друг друга войсковыми соединениями. От них образовывались местные комендатуры. Сегодня приходила

В деревню какая-то часть, расселялась в домах крестьян и начальник этой части называл себя ортскомендантом, чинил суд, расправу, устанавливал свои законы. Через день в эту же деревню входила на постой другая часть и новый командир или его помощник становился «калифом на час» со всеми вытекающими отсюда правами. Иногда такие коменданты были в более высоких чинах, чем районные коменданты. Общим для фронтовых, прифронтовых и тыловых комендатур было то, что местные жители всецело зависели от прихотей и человеческих качеств комендантов. Гатчинская комендатура, имевшая вокруг себя определенные штаты, в основном влияла на жизнь самого города Гатчины, а в районе проводила только общие распоряжения, фактически не влияя на неуправляемые местные комендатуры. Можно представить, в каком состоянии неуверенности жили колхозники и беженцы?! Каждый немец, даже простой солдат, был для них начальником. Являясь на постой, военные выселяли хозяев в самые плохие комнаты и даже если не безобразничали, то достаточно представить себе крестьянский домик из двух или четырех комнат, в котором две или три занимают непрошенные гости, человек десять или двенадцать, а то и больше, а в проходной комнатке или на кухне ютится вся семья хозяев. Иногда деревни, случалось, оставались на день-другой без постояльцев, но это не меняло общей картины.

В Гатчинском районе, где проживало много эстонцев и финнов, оккупанты старались их выделить из остального, русского населения.

Вохоново было окружено финскими и эстонскими деревнями и в нем самом примерно четверть населения составляли смешанные семьи, а то и финские и эстонские. Гатчинская комендатура энергично защищала интересы эстонцев и финнов. Немцы здесь держались иначе, чем в русских глубинках.

...На северо-востоке и востоке каждый вечер погромыхивало, иногда розовело зарево далеких пожаров. Советские самолеты летали над деревней. Невдалеке от нее и над нею случались воздушные бои. Едва темнело, разноцветными гирляндами тянулись к небу трассирующие пули и снаряды из Гатчины, Войскович, Елизаветино, железнодорожных станций, постоянных объектов авиации. По небу шарили лучи прожекторов, а иногда и над Вохоновым повисали в воздухе огромные панцикли осветительных ракет на парашютах, озаряя окрестности зловещим мертвенно-зеленоватым светом. Иногда, спасаясь от преследования истребителей, и фашистские и советские бомбардировщики сбрасывали груз на полях недалеко от деревни и, крикнув глухо, вздрагивали деревянные избы и шена слетала

с крыш от воздушного вихря, а грохот будил всю округу.

Во всех населенных пунктах все окна затемнялись и, если ночные патрули замечали едва пробивающийся из-за черных штор и ставень лучик света, тарабанили в окна и двери, ругались, врывались в дома, устраивали скандалы, благо везде находились на постое их товарищи. Но прежде всего влетало хозяевам. Конечно, от этих окриков и угроз откупиться было нетрудно. Порой, чуть патрульный открывал пасть для окрика, а расторопная старушка-хозяйка уже улыбалась ему и, понимая кивая, несла крикуну пару яиц — и он успокаивался. Как и везде, горькое, грозное и смешное, жалкое ютились рядом...

Население Вохонова жило в той же обстановке неуверенности, что и вся оккупированная территория. Даже злейшие враги Советской власти, надеявшиеся, что гитлеровцы принесут им какие-то блага, если не понимали, то чувствовали, что немцы здесь временно. Сами оккупанты, крича о своих победах и своем могуществе, пусть подсознательно, но ощущали зыбкость своего положения на земле России. Были исключения? Вероятно. Но редкие. Те, что открывали в Гатчине ресторан или магазин, все равно, старались содрать побольше сегодня, не ручаясь за завтра...

Но немцы, даже устраиваясь на сутки, делали это так основательно, словно собирались провести здесь месяц. Эта немецкая основательность иных обманывала. Кроме того, в памяти свежо было триумфальное шествие вермахта в начале войны. Буквально на глазах жителей горели в небе наши фанерные самолеты под огнем вражеских зениток и «мессершмиттов». Наши подбитые танки с лета сорок первого валялись у обочин дорог, высились в полях, напоминая о беспощадности вражеского оружия.

В километрах шести от Вохоново, возле деревни Моччино, перед лесом, на опушке, высились три советских танка, подбитых в августе или сентябре сорок первого. Немецкая фронтовая кинохроника снимала эти танки несколько раз и несколько раз по ним, давно «мертвым», стреляли подвозившиеся туда противотанковые орудия, запечатлевая на пленке «боевые эпизоды» тысяча девятьсот сорок первого, сорок второго, сорок третьего годов, чтобы бюргеры райха всегда ощущали силу своего вермахта, становились живыми свидетелями его успехов. Между прочим, маленькое немецкое кладбище, на котором покоились солдаты и офицеры, погибшие при атаке этих танков, ни одна хроника не снимала. А там белело свыше шестидесяти березовых крестов с надетыми на них касками...

Березовые кресты «украшали» весь путь следования германской армии. А сколько наших безымянных братских могил оставалось на месте боев, лагерей военнопленных, сколько неубранных трупов валялось в лесах и болотах?! Когда весенние лучи стали отогревать леса вокруг Чудово, трупный запах отравлял воздух в городе и вокруг него.

Трупный запах из ближнего леса еще летом сорок второго доносился до Моччино, Тойворово и других деревень. Осенью сорок первого возле них сражались плохо вооруженные ополченцы второй Кировской дивизии Ленинграда. Не все они имели винтовки, но в атаки и контратаки поднимали всех...

Жителям немцы запрещали ходить в лес. Трупы собирали в полях, на кромке леса, на опушках. Снимали сапоги, гимнастерки, брюки, шинели. В каждой крестьянской семье мужчины носили что-нибудь из красноармейского обмундирования. Когда же немцы приказали сдать его, сдали немногие, остальные перешивали военную форму на гражданский лад. Одеваться надо было, а приобрести что-либо — где?.. Магазинов нет.

39. ДВЕ ВОЙНЫ, «РЕДИСОЧНАЯ» И ШАХМАТНАЯ

В штатсгуте появилась первая редиска. Лейтенант с дядей Федей и его дочерьми подошел к парникам и грядкам и сам указывал, какие рвать на пробу. Выглядело это так: «барон» смотрел на грядку и говорил: «Диз» (эту). Я переводил: «Эту». Дядя Федя, указывая дочке Лене, повторял: «Енту». Дсвочка наклонялась и вырывала указанную редиску. Так повторялось возле каждой следующей.

Никто, кроме лейтенанта, не смел вырвать редиску. Когда ее стало больше, он собрал килограмма три и повез в штаб дивизии, чтобы показать первые плоды своей деятельности на благо райха. Вернулся он в хорошем настроении: угодил.

Вскоре после появления первой редиски в Вохонове и прилегающем лесу расположился пехотный полк. В лесу недалеко от дороги солдаты вырыли землянки, а в деревне все дома заняли офицеры с деньщиками, поварами и шоферами. Скопление войск было настолько густым, что брала досада на нашу разведку: неужели не знают, не видят? Ведь любая бомба, упавшая она возле нашей и других деревень — и живую силу, и технику уничтожит. Но самолеты не появлялись: на других фронтах немцы брали реванш за зиму сорок первого.

Командир полка, как некоторые немецкие офицеры и генералы, старался походить на «старого Фрица» (прозвище короля

Фридриха Великого), то-есть, производить впечатление своей экстраординарностью, а то и эксцентричностью. Этаким петушком в сопровождении фон Бляйхерта и кучки своих офицеров, подвыпивших, как и их командир, он приблизился ко мне, выпятил нижнюю губу, вскинул голову, он был значительно ниже меня, — несколько мгновений созерцал мою физиономию (вдруг, думаю, скажет, что «юдээнэйных» — на еврея похож), потом подмигнул, хмыкнул и, обращаясь к спутникам, изрек: «Парблэ» (Черт возьми, франц.): «Айн типишер руссе» (Типичный русский). При этих словах у меня гора свалилась с плеч: вряд ли кто осмелится оспаривать суждения наблюдательного подполковника?!. Затем последовала пара вопросов, ответы на которые были давно заучены.

Благосклонно кивнув на прощанье, «оберст» (для краткости буду называть его так, хотя «оберст» — значит, полковник) направился дальше осматривать штатсгут.

Фон Бляйхерт весьма почтительно держал себя в присутствии командира полка, тем более, что с последним были еще майор и два-три офицера чином выше лейтенанта, но я заметил недовольство во взгляде «Альзо».

Вечером «оберст» пригласил его к себе играть в карты. Через день он прислал своего адъютанта к «барону» с просьбой выделить к его столу немного редиски. «Фон» вызвал дядю Федю и меня и показал, какую рвать, выбрав далеко не лучшую. Но, к сожалению, она тоже понравилась подполковнику.

Лейтенант тяжело вздыхал, но... не желал портить отношения с «высоким гостем».

Столяр Эрих Баум, обер-ефрейтор, вырезал из дерева шахматы и обыгрывал всех солдат. Я предложил ему сыграть. Он высокомерно усмехнулся; снизошел — и стремительно проиграл три партии подряд. Подошедший Виттерн также проиграл, после чего глубокомысленно заметил: «Все русские хорошо играют в шахматы».

Я подчеркнул, что даже чемпион Германии — русский эмигрант Боголюбов, удравший из Советского Союза после победы на Московском международном турнире 1925 года... А уж об Алексине говорить не приходилось: чемпион мира.

Когда я благополучно матовал унтер-офицера Виттерна, подошел фон Бляйхерт. Постоял минуту, почесал возле уха и со своей неизменной улыбочкой заметил, что «пленному не положено даже сидеть на одной скамейке с немцем (мы сидели на лавочке возле конюшни). «Нно, — резюмировал «Фон», — Александр играет действительно хорошо».

— Я могу не сидеть, господин лейтенант, сказал я, подняв-

шись при приближении фон Бляйхерта, я буду стоять. Простите, я бы с удовольствием сыграл с вами.

— Нна,— пока не будем. Пожалуй, я тоже не очень хорошо играю. ...Он не хотел ронять своего достоинства и так и ни разу не сыграл со мной.

На следующий день или чуть позднее, он приказал мне следовать за ним, и мы спустились с пригорка в деревню, где ему что-то надо было спросить у старосты.

Подполковник жил напротив дома Василия Миронова, у Пренера, довольно мрачного типа, имевшего родичей и в Гатчине и в Ленинградской прокуратуре... Дом Пренера был добротный и неудивительно, что «оберст» остановился в нем.

Несмотря на то, что «Фон» попытался быстренько проскочить мимо, его заметили из открытых дверей и шумно пригласили зайти. Он приказал мне следовать за ним и остаться у крыльца.

Дверь была открыта. За столом «оберст» играл в шахматы с каким-то хауптманом. Вокруг доски слышался хохот, иногда офицеры наливали маленькие «наперстки» (так мы называли их рюмочки) коньяка, чокались и снова возвращались к игре.

Я стоял у дверей напротив часового и поджидал своего шефа. Внезапно изнутри донесся новый взрыв веселья и я услышал голос «оберста»: «Давайте его сюда!» Затем вышел офицер и дал знак, чтоб я зашел.

— Лейтенант утверждает, что ты хорошо играешь в шахматы, как вообще русские,— начал речь подполковник.— Я бы хотел с тобой сразиться. Только как?.. Это была бы игра — кто выиграет?! Плохо, что за одним столом нам сидеть не положено... Надо принести еще одну доску!

— Где ее искать?— спросил кто-то.

— Если господин оберст-лейтенант ничего не имеет против,— предложил я,— я могу сыграть и без доски, а ля вёгль (вслепую. Франц.); только с условием, чтобы не меняли ходов, не разбирали варианты, не меняли расположение фигур на доске во время игры.

— Хо! Он еще ставит условия?! Айн фрехер бурше (дерзкий парень).

Но «оберст» ухватился за мысль: «Гут! Оставайся на крыльце, тебе будут сообщать мои ходы, а ты будешь говорить свои. За одним столом мы не будем, а сыграть, сыграем!— и он рассмеялся.

В свое время будущий гроссмейстер Дусик Бронштейн, проходя в Киевский дворец пионеров, почтительно спрашивал: «А кто тут Рафа Клейн?» (я не думал, что через два года он бу-

дет участвовать в первенстве Украины, а я ни разу не «дотягивал» даже до полуфинала киевского первенства). В институте я был в первой тройке игроков примерно равной силы, первоэриадников.

Увы, «оберст» взял себе белых, что ставило меня в еще более невыгодное положение. Но я решил держаться, предельно сосредоточиться.

— Вир грайфен ан! (Мы нападаем!) — возгласил «оберст» и двинул пешку е-2 на е-4.— Руссланд геген унс (Россия против нас).

Я избрав Сицилианскую защиту, и вскоре в стане противников (а «оберста» консультировал весь его штаб) началось замешательство. Несмотря на поставленное условие, они двигали фигуры, разбирая варианты, потом забывали, где какая стояла — и мне стоило громадного напряжения каждый раз перед своим ходом восстанавливать положение на доске.

Постепенно возгласы «оберста»: «Дойчланд геген Руссланд» (Германия против России), «Вир геген Шталин» (Мы против Сталина), — прекратились. Надо отдать должное противнику, он продолжал играть в совершенно безнадежном положении и успокоился только, получив мат. Перед заключительным ходом я не выдержал: «Руссланд цит унд гевинт» (Россия делает ход и выигрывает). После чего объявил мат.

Шутки кончились. «Оберст» и его офицеры заорали, что «дер руссе ист цу фрех» (русский слишком нахален). Кто-то предложил меня просто пристрелить. Другой поддержал предложение. Я стоял под немигающим взглядом часового, который, по-моему, проникся ко мне уважением. Тут выскочил фон Бляйхерт и приказал мне быстро следовать за ним. Мне показалось, что он остался доволен исходом поединка.

Когда на следующий день «оберст» прислал адъютанта с предложением, чтобы «барон» отпустил меня играть снова вслепую, я отказался под предлогом того, что это требует слишком большого напряжения и у меня болит голова. «Барон» поддержал эту версию, считая, что достаточно унижить «оберста» один раз.

Через день подполковник заявился в штатсгут и уже без всякой злобы кинул мне: «Хорошо играешь. Опасный противник». На что мне осталось только ответить: «Яволь!» (Так точно).

Между тем, «оберст» каждый день вымогал у «барона» пучок редиски и «Альзо» давал, всячески ругая «шакала».

Как-то подполковник прислал адъютанта с поручением дать ему «не жалкий пучок редиски», а побольше, так как у него

будут гости, и он намерен их хорошо угостить. Заодно он приглашает и лейтенанта.

Это было уже слишком! Мой шеф не выдержал и просил передать подполковнику, что не относится к его полку и даже к его дивизии, что если из любезности иногда угощал редиской, то лишь в силу желания поддерживать добрососедские отношения. Но кормить «айне фремде айнхайт» (чужое подразделение) он не обязан и больше не будет.

Это стало объявлением войны.

Офицеры полка, встретив солдат штатсгута, останавливали их, придирались к «унмилитэришес аусзэен» («невоенный вид»), требовали по десять раз проходить, равняясь на начальство, и отдавая честь. Как-то бедняга Карлуша Ценниг попался на глаза одному из «оберстовых» офицеров и тот заставил, спешившего по срочному делу связного, раз тридцать, если не больше, проходить парадным шагом и отдавать честь, как положено... Карлуша, я это наблюдал со двора, каждый раз, снова и снова, проходя с рукой у пилотки, выглядел все более обиженным. Руку он действительно подносил к голове криво, из-за перелома руки в детстве.

Солдаты «оберста» ежедневно проводили учения. Иногда они забегали на засеянные поля штатсгута, топтали посевы, ради забавы стреляли так, что пули свистели над головами работавших в поле девушек и женщин. «Барон», чтобы не отдавать лишней раз честь, не покидал свою комнату, все передоверив Мартину, который нет-нет да и отсылал тайком пучок-другой редиски «врагам». К нему они не придирались.

* * *

Ночью меня встряхнуло так, что я вместе с досками своего ложа «отъехал» от стены. Затем грянули один за другим еще несколько взрывов. Все задрожало, заходило ходуном. Посыпались стекла с верхнего этажа.

Я подумал, что это воздушный налет и рядом с домом упали бомбы. Но странно, что их свиста и шума моторов не слышалось.

Раздался топот ног по лестнице. Я попробовал дверь. Она была заперта снаружи. Оставалось ждать. Возле окна возбужденно переговаривались немцы. Затем послышался голос «Альзо». Он приказал всем вернуться в комнаты и лечь спать. А где-то со стороны дороги доносились... пение...

Все выяснилось утром. «Оберст» и его офицеры напились и решили «попугать» «тыловых крыс» во главе с лейтенантом;

взяли несколько противотанковых гранат и бросили их под окнами его комнаты, находившейся на втором этаже. Затем с песнями и смехом вся кампания вернулась в деревню.

Ни свет ни заря затрещал мотоцикл: «барон» сам поехал в штаб и вернулся лишь через сутки.

Видимо, почувствовав, что «пахнет жареным», «оберст» заходил во двор и спрашивал лейтенанта. Но тот не появился.

Прошло еще дня два и мимо нас проехали три открытых машины. В первой сидели два генерала. Кортёж проследовал в деревню, к дому, где остановился бравый «оберст». Через час он и несколько наиболее близких ему офицеров выехали на фронт, чтобы там «проявить свой боевой дух», а на их место генералы привезли с собой майора и еще двух-трех офицеров, настроенных более миролюбиво, не требовавших от фон Бляйхерта редиски, не приглашавших его на карты, не придиравшихся к солдатам штатсгута. «Редисочная война» закончилась победой «барона». После отъезда генералов, «оберста» и Ко, он опять стал появляться как ни в чем не бывало.

Вскоре с приличным урожаем редиски и салата он отправился в штаб своей дивизии.

В штатсгут стали прибывать новые сельскохозяйственные машины. Павел и Степан поехали в Николасвку и вернулись на огромном немецком тракторе, снабженном всякими приводами, приспособлениями и прочими техническими удобствами. Его подключили к установленным в хоздворе станкам для нарезки кровельной щепы и прессовки семя.

На другой день после отъезда буйного оберст-лейтенанта фон Бляйхерт перебрался в двухэтажный дом на пригорке и поселился на втором этаже над канцелярией и кухней.

40. Д-Р ГЕББЕЛЬС, ПОРНОГРАФИЯ И НАЦИСТ ВИТЕРН

На лицах солдат, проходивших через деревню, золотился южный загар. После падения Севастополя с юга перебрасывали войска. На рукавах кителей золотилась карта Крыма — «Кримшильд» (Крымский щит). Немцы носили также другие памятные нашивки — «Холм шильд», у горнострелковых частей, мы их почему-то считали австрийцами, «Нарвикшильд», у десантников — «Критшильд».

Хотя к сводкам гитлеровцев я относился скептически, но, когда провалилась робкая десантная операция англичан — неудачная высадка в Дьеппе — стало ясно, что Германия еще

сильна, а союзники не сумели добиться решающего перевеса для нанесения сокрушительного удара райху.

Вокруг Гатчины накапливалось все больше войск. Солдаты уверяли, что с Ленинградом «будет покончено»: фюрер обещал. Приободрившись после зимних страхов, наивные немцы уверяли, что к Новому году война закончится. Некоторые со мной даже поспорили.

...Павел подозвал меня к трактору, под которым лежал Степан, и предложил «заглянуть в мотор»... Ничего не понимая, я полез под махину и Павел сунул мне нашу листовку: «Читай». В листовке сообщалось о наступлении наших войск под Харьковом и содержались призывы к населению оккупированной территории.

— Ничего,— бормотал Павел,— я этому проклятому «Альзо» ввек не прощу — как меня били в полиции. Заживет на спине, в сердце — никогда. Будет, Саша, и на нашей улице праздник.

Я в этом не сомневался — «на нашей будет», а на моей?..

— Ты, Сашок, хоть немцам говоришь, что они все равно проиграют?— спрашивал Павел.

— А ты как думаешь?

— Думаю: говоришь.

Увы, вскоре я узнал о неудаче нашего наступления под Харьковом, но... Павлу не сказал: зачем огорчать?..

По распоряжению «барона» Мартин начал усиленно привлекать окрестных жителей на работу в штатсгута.

Немцы, заняв область, расформировали колхозы. Жители, где смогли, разобрали коров, лошадей, инвентарь. Теперь, получив земельные участки, они старались их обработать. Отказывая себе, своим семьям в самом насущном, люди сберегли мизерные, но такие нужные запасы семян и картофеля. Теперь каждая семья держалась за свой надел и не жалела сил для обработки полей и огородов.

«Барон» требовал, чтобы жители Вохонова работали в штатсгуге: «Они же за это получают паек и деньги»,— возмущался он, когда крестьяне просили отпустить их поработать на своих земельных участках.

Приходилось приводить тысячу доводов, чтобы убедить «барона» отпустить кого-либо с работы.

Объезжая верхом поля (недавно генерал презентовал лейтенанту две чистокровных лошади), фон Бляйхерт заметил, что у крестьян «слишком много земли»; вызвал Миронова и объявил, что «отрежет» для штатсгуга от вохоновского поля еще

несколько гектаров, чтобы «выровнять» земли штатсгута до проселочной дороги на Малое Одрово.

Староста запротестовал, стал горячиться. Но «барон» прикрикнул на него и пригрозил, что заставит работать в штатсгуге его жену, детей и его самого, если не согласится.

Староста поехал в Гатчину жаловаться. Но за спиной лейтенанта стояла всемогущая «Викадо» и через несколько дней Мионов получил письменное предписание уступить «спорную» землю штатсгугу.

Мне нравилось в Василии, что он смело пререкается со всемогущим «бароном». Но самому мне при этом приходилось трудно: переводя взаимную перебранку, я вызывал недовольство обоих. Каждый считал, что его доводы убедительнее. Иногда, зная вспыльчивость «Альзо», когда староста в сердцах употреблял слишком «крепкие выражения», я, переводя, смягчал их, чтобы не давать повода лейтенанту применять к Василию более крутые меры, чем простой окрик...

Вохоново находилась в километрах семи-девяти от ближайших станций железной дороги, Елизаветино и Войсковиц. Партизан поблизости не было. В сорок первом, когда пришли немцы, появились в Волосовском районе, там леса погуще, в километрах тридцати пяти-сорока отсюда, а потом о них больше не слыхали. В эстонских и финских деревнях они не имели поддержки.

— Вот южнее, к Пскову, — вздыхал Павел, — там должны быть. А здесь — где? Леса маленькие, деревни близко друг к другу и в каждой полно немцев. Да и население...

Фронт стоял за Ропшей, за Красным Селом, а на северо-восток от Вохонова где-то за деревней Жабино, к Ораниенбауму... Немцы занимали стабильную, глубокоэшелонированную оборону. Передовая, ее доты, целые участки представляли собой сплошную оборонительную линию, одетую в бетон. Откуда-то с высот и из Гатчины из железнодорожных орудий обстреливали Ленинград.

Иногда и наши дальнобойные обстреливали Гатчину. Как-то несколько снарядов разорвалось в районе рынка. Были жертвы. Но, все равно, в воскресные дни из разных концов района крестьяне съезжались на базар. Все являлось проблемой — сахар, соль, иголки, нитки, любые продукты, обувь, белье, свечи...

«Барон» вызвал старост окрестных деревень и вместе с Мартином дал разнарядку: поставить столько-то человек. В основном в штатсгуге работали женщины и девушки; направляли также подростков, не столь нужных в своем домашнем хозяйстве. В штатсгуге находилось занятие для всех.

На полях по приказу «Альзо» взорвали лежавшие веками валуны. Мелкие камни и щебень собрали в кучи, чтоб не мешали тракторам и другим сельскохозяйственным машинам. Восстановив кузницу и «молькерай», «барон» через Гатчину добился того, что из всех окружающих деревень молоко стали свозить к нему. Здесь молоко сепарировали, делали масло, творог, сливки. Виттерн, руководивший молочной, начал изготавливать пармезанский сыр. Это было долгое дело и по-моему оно не совсем получилось: лишь несколько двухсотграммовых кубиков после долгой возни легли на полки для отправки в штаб.

В самом штатсгуте от прибывших остфризских коров все молоко тоже сдавалось на «молькерай». В коровнике заправляли тетя Маша Михайлова и Соня Драченко, доярки и телятницы. Для «гостей» из райха возводился огромный свинарник.

Привезенные племенной бык, жеребец и местный козел тоже не бездельничали. Когда крестьянин приводил корову к быку, штатсгут взимал плату — полтора десятка яиц и пятьдесят рублей. Кроме того, в штатсгуте собралось уже с полсотни кур. Их «барон» выменял на овес, картофель и пшелицу, которые отпустил крестьянам на семена. Ежедневно немецкий солдат выискивал яйца, приносил унтер-офицеру Мартину, а тот вручал «барону». Естественно, что унтер при этом не забывал себя... Таскали яйца и другие солдаты. Все они недолюбливали лейтенанта за скупость и скрупулезную дотошность, но признавали, что другие офицеры еще больше «берут себе», а этот хоть в общий котел добавляет то картошки, то еще что-нибудь, то масла, а главное, что здесь не фронт.

Все солдаты были из крестьян и занимались своим делом.

Молодой крепыш Эрвин Франк, ефрейтор примерно моего возраста, лет двадцати-двадцати двух отличался веселым незлобивым нравом. Он понимал, что на войне никто не застрахован от плена, что люди становятся солдатами не по своей воле, а потому что где-то «хоэ херрен» («высокие господа») натравливают народы друг на друга из-за нефти, железа и денег... Франк скептически относился и к Гитлеру и к Сталину. У него над топчаном висело множество вырезок из иллюстрированных журналов с изображениями соблазнительных женщин, едва прикрывавших самые милые части тела прозрачными трусиками и бюстгалтерами. Между этими веселыми девицами и портретами киноактрис, в том числе Сарры Леандр, Марики Рёк и Ольги Чеховой, темнело черно-белое фото: «Доктор Геббельс мит зайнер тохтер» (Доктор Геббельс со своей

дочерью), что не мешало Эрвину называть министра пропаганды «великим обманщиком».

На снимке Геббельс сидел, а рядом с ним стояла девочка в белом платице и, высунув длинный язык, также сидела огромная черная собака.

Однажды Эрвин в обеденный перерыв зашел в мой чулан. В руках он держал кипу журнальных листов.

— Алекс,— печально сказал он,— возьми, укрась свою кокуру. Тут такие красивые девушки.

— С чего это?— удивился я.

Оказывается, лейтенант обходил солдатские комнаты и увидел над ложем Франка его «коллекцию».

— Вас ист дас фюр айн пуфф? (Это что за бордель?) — возмутился лейтенант и приказал дать Эрвину два наряда вне очереди, а всю «картинную галерею» немедленно убрать.

Эрвину было жаль расставаться с «произведениями искусства», и он вздумал предложить их мне. Я отказался: мне тяжело было смотреть на одетых женщин, а тут...

Тогда Эрвин предложил мне фото Геббельса, которое снял заодно с прочими вырезками. Я сперва отмахнулся. Но вдруг согласился. Взял только этот снимок. Остальные Эрвин унес и сжег.

Я вырезал доктора Геббельса, оставив на снимке девочку и черного пса и подпись внизу: «Доктор Геббельс со своей дочерью». Взятými у Франка кнопками я приколол снимок к стенке.

Весь день в мой чулан тянулись немцы, не исключая Виттерна. На следующее утро после развода лейтенант неожиданно предложил: «Пойдемте в вашу каморку, Алекс, я хочу посмотреть, что там у вас делается...»

Войдя, он сразу против двери увидел на стенке фото и захохотал. Потом сощурил глаза за стеклами очков: «Вы что это себе позволяете?»

Я сделал предельно наивные глаза и удивился: что случилось?

— Не разыгрывайте из себя дурачка!

Я хранил удивленную мину.

«Барон» указал на фото: «Лезен зи дох!» (Читайте же!).

Я ткнулся носом в фото (тоже вдруг стал близоруким) и прочитал: «А-а...»

— Объясните!..

— Господин лейтенант, вы знаете, я очень люблю собак, и они меня тоже. Меня не интересовал мужчина, а девочка симпатичная, но, главное, пес. Какой пес!..

— Вы не в театре,— прошипел «Альзо»,— немедленно снимите!

— Яволь, господин лейтенант.— Я снял фото и разорвал, успев буркнуть с сожалением: «Красивый пес...»

Виттерн хотя носил «партайабцайхен», но донести не мог. В своей «молькерай» он работал вместе с русскими и финскими девушками. Они крутили сепаратор, а когда уставали, он обычно сменял их. Им, а также тете Маше и Соне он иногда, оглянувшись — не видят ли?— совал небольшие пакетики масла. Райперу и Мартину, с которыми теперь он жил в одном помещении, он тоже носил. Себе и коху — тоже. Без этого было нельзя... И мне он не-нет да совал бутерброд или сигарету, а творогом, забегая в молочную, я при нем нередко набивал рот — и выскакивал. Виттерн недолюбливал «барона», считал его высокомерным и глупым.

Когда я с простецким видом поведал Виттерну о посещении «барона», он выругался: «Не думай, что среди наших солдат нет доносчиков. Будь аккуратней в разговорах. Мне ужё жаловались, что ты «разводишь пропаганду». Я, конечно, высмеял этого дурака. Но ты себе заметь... Ты русский, имеешь свои мнения от вашей пропаганды. Но не все же это понимают. Думают: «Раз выражается не так, как мы привыкли, значит, «пропагандист». Подлец тот, кто доложил: мало ему, что ты пленный»,— и он опять выругался.

* * *

— Алекс, ты веришь в коммунизм?— спрашивает Виттерн.— Как ты себе его представляешь?

— Думаю, это всеобщая справедливость, всеобщее равенство. В общем, такое, чтоб всем было хорошо и у всех все было.

— Люди не ангелы,— возражает Эрнст, не заметив, что я ушел от прямого ответа.— У нас тоже пытались насадить эту религию. Но, если подумать здраво, коммунизм — это бред. Люди не были и не будут одинаковыми. Одни способнее, другие глупые. Один прилежен, другой ленив. У одного одни потребности, у другого другие. Соедини все это! Молчишь? То-то же. Лет двенадцать тому назад я прислушивался к коммунистическим ораторам. Я ведь из Гамбурга. Хорошо говорил Тедди Тельман. Слышал про него?

— Конечно.

— Отличный оратор. За таким могли пойти и шли многие. Безработица убивала. Нищета. Несправедливость. Сколько тогда людей кончили жизнь самоубийством: безысходность. С на-

деждой смотрели на восток, на Россию. В Ленина верили. Но после него Сталин показал, что такое коммунизм.

— У нас коммунизма не было. Строили социализм.

— И у нас социализм, только — национал-социализм. Мы никому не дури́м мозги, что хотим устроить на земле рай для всех. Адольф строит рай для немцев.

— А другие народы? Разве они не дали миру великих людей, ученых, писателей, художников?

— Конечно. Мы уважаем англичан, хотя они наши враги. Но у них тоже не пахнет коммунизмом. А живут они хорошо.

— Но фашизм...

— Фашизм у итальянцев, у Муссолини, а у нас национал-социализм. Не путай, Алекс.

— По-моему, это одно и то же.

— Ты политически неграмотен. Впрочем, от артистов и не требуется политика: не все ли равно перед кем играть? Но для простых людей политика — великая вещь. Скажи, Алекс, за что ты сражался на фронте?

— За Родину, за свободу моей Родины, России.

— Чепуха: ты защищал евреев и сталинских сторонников.

— Эрнст, мы находимся в неравных условиях: ты можешь мне говорить, что тебе угодно, а мне даже не безопасно возражать.

— Возражай.

— Кто начал войну?

— Если б мы не напали, то Сталин со своими ордами раздавил нас, когда бы мы попытались высадиться в Англии. Россия ударила бы нам в спину, и ваши танки проутюжили бы всю Германию. Ты знаешь, как опасался фюрер, когда началось генеральное наступление на Францию? У нас для прикрытия восточной границы оставалось каких-нибудь две дивизии. Советы могли смять нас.

— Вот ты сам себе ответил: кто начал войну. Советы, зная, что у вас граница незащищена, все-таки не напали, когда Германия сражалась на западе. А вы тайком накопили войска и ударили вдруг, внезапно, без объявления войны. Если б не неожиданность, ты знаешь, Эрнст, ваши армии не стояли б тут, под Ленинградом.

— А Красная Армия взяла бы Берлин и ты, Алекс, стал его комендантом.

— Эрнст, меня никакие комендантства никогда не прельщали. Моя мечта в прошлом и настоящем одна — играть на сцене.

— Но ты смотри: фюрер пришел к власти и дал всем работу, начали строить жилье, квартиры, каждой немецкой семье

дана возможность разбогатеть, приобрести за сходную цену хороший автомобиль «Фольксваген». Какие у нас дороги! Они построены при фюрере по его чертежам.

— Эрнст, не думаешь ли ты, что все это строительство, благодаря которому Германия покончила с безработицей и вышла из кризиса, преследовало военные цели, чтоб скорее перебрасывать войска от одних границ к другим, обеспечить предельную мобильность вермахту? Фюрера поддерживал народ, потому что фюрер обещал людям мир и благоденствие. Но цена этому тогда прямо не называлась.

— Неправда, Алекс, фюрер говорил о реванше. Версаль ограбил Германию, поставил ее на колени.

— И единственная страна, которая понимала это, была наша. Она призвала к миру без аннексий и контрибуций, заключила с Германией мир и при Ленине и после его смерти до самого прихода к власти вашего национал-социализма поддерживала хорошие отношения с вами, потому что никогда не хотела войны. Ты говоришь о народном благоденствии и справедливости. Но должны ли эти прекрасные вещи обмениваться на жизни миллионов молодых людей, военных и невоенных, на жизни детей и женщин? Прости, я не верю, что немецкая мать, чей сын здесь лежит под березовым крестом, будет благословлять фюрера.

— О, Алекс, ты говоришь, как комиссар.

— Я рассуждаю как гуманист. Пойми меня правильно. Я воевал на фронте, стрелял в ваших солдат и офицеров. Я был хорошим пулеметчиком. Стрелял и, наверное, убивал, ранил, калечил. Но, если б я не стрелял, стреляли бы в меня, беззащитного. Я стрелял в незнакомых людей, и они стреляли в незнакомого. Каждый думал, что он будет и должен жить. А судьба распорядилась иначе. В тебя, Эрнст, я не могу уже стрелять: я вижу в тебе человека. Не думаю, что и ты будешь стрелять в меня. Будешь стрелять?

— Но... приказ есть приказ.

— Значит, тебе прикажут расстрелять меня и ты расстреляешь?

— Ну чего я буду в тебя стрелять, ты же не жид?

— А разве жид не хочет жить? Со мной в школе и в институте учились евреи, были они и на фронте. Люди как люди. Не все же из них Ротшильды, классовые враги.

— Бароны Ротшильды не евреи.

— Чушь. Самые настоящие.

— Они давно крестились и фюрер их не считает евреями.

— Значит, богатый еврей — не еврей, а бедняка нужно убивать.

— Я не убивал их. Я не оправдываю тех, кто убивает беззащитных людей, детей и женщин.

— Прости, Эрнст, но если нам с тобой повезло, что мы не родились евреями, это не значит, что их можно уничтожать.

— Маркс еврей.

— Христос тоже еврей.

— Не совсем.

— Маркс тоже «не совсем»: его отец крестился, а сам Маркс женился на Женни фон Вестфален.

— Маркс взбаламутил весь мир.

— А не думаешь ли ты, что не будь Маркса, взбаламутил бы кто-нибудь другой? Рабочие жили плохо, их угнетали, обижали, всякое творили. Маркс вступился за рабочих.

— Гитлер! Вот кто вступился за рабочих. Он дал посильную работу, жилища, заработок. У нас каждый рабочий может дать своим детям образование.

— У нас тоже. Крестьянские девушки, на которых вы смотрите свысока, и при которых Мартин и Райнер мочатся и громко портят воздух, имеют образование. Надя Миронова, дочь горбуна дяди Кости, Надя Павлова, дочь тети Маши, Тоня Дорфеева — все будущие учительницы. Им не хватило год-два, чтобы закончить образование. Началась война. Если б не война — и моя судьба сложилась бы совсем иначе: я уже получил хорошую роль в фильме. Но его съемки не начали: война.

— Алекс, после войны, если останемся в живых, мы обязательно увидимся. Ты приедешь ко мне в Гамбург, а я к тебе в Петербург. После войны фюрер обещал мир на тысячу лет.

— После войны такого мира не будет и быть не может. Пока есть капитализм — войны неизбежны.

— Фюрер покончит с капитализмом.

— А кто поможет фюреру прийти к власти, если не капиталисты?

— Рабочие. Они его поддерживали, и он делает все для них.

— Даже посылает их на фронт в то время как Крупп, Тиссен, и другие богачи сидят в тылу.

— Ты думаешь, в тылу намного лучше, чем на фронте?

— Тем, кого я назвал, лучше. Уверен.

— Ты не знаешь, как фюрер переживает за каждого солдата, за каждого немца.

— Понимаю. У нас по-русски корень слова «переживать» такой же как «жить». Но это не одно и то же. Не будем спорить, Эрнст. Не ты, не твоя страна, не твой народ, а те, кому

народ ваш доверил свою судьбу, начали эту войну, не смогли без нее обойтись — и вот теперь миллионы прекрасных людей, немцев и русских, умирают. И все думают, что знают — за что, и никто не хочет умирать, каждый надеется, что останется живым. И все же никуда не уйти от того, что мы вынуждены воевать: каждый русский так или иначе понимает, что он защищает Родину. Поверь, в этой войне понятие коммунизма для нас, в том числе для меня, нечто весьма далекое. Когда наши предки дрались против татар, шведов и французов они тоже умирали за Родину. Как это дико, что человечество не может обойтись без войны! Глупо! Глупо все! Глупо решать идеологические разногласия войной. Это как в детстве: ругнутся пацаны, раз, другой, а доказать чего-то не могут — и кулаки в ход.

— Алекс, ты ничего не понимаешь в политике.

— Я и не хочу быть политиком. Я презираю политиков: они готовят войны, натравливают народы друг на друга. Скажешь, я неправ?

— Алекс, молчи об этом. За такое тебя могут расстрелять. Это же пропаганда. Хорошо, что мы одни.

— Это — правда. Я всегда уважал и любил немцев. Меня увлекала и увлекают немецкая литература, театр. Я обожаю Гёте, Шиллера, Гауптмана, Хайне (Гейне), который у вас запрещен, потому что оказался евреем. А его «Лорелею» поют все. Ты ее тоже знаешь.

— Это народная песня.

— Нет, она стала народной. Ее написал Генрих Гейне.

— Черт возьми, я этого не знал. Но будь осторожен, Алекс.

— Я же уверен, что говорю с порядочным человеком. С Мартином или Райнером я не стану так разговаривать. Да и о чем с ними говорить? Прости, они тоже немцы. Но с тобой, ругаясь, мы находим общий язык, потому что можем верить друг другу. А они... Черт с этим национал-социализмом и коммунизмом. Скорее бы кончилась война, и люди стали жить по-человечески. Кстати, на фронте, идя в атаку, мы кричали «за Родину!», а не «за коммунизм!».

— А как ты смотришь на ваших партизан?

— Как ты — на Хоффера и Шилия. (Немецких патриотов.)

— Ты опасный человек, Алекс.

— Самый миролюбивый. Дай лучше закурить.

Уходя в армию, нацисты не считались партийными, свои членские билеты сдавали; партячеек, как у нас, у них в частях не было. Но если кто имел партайабцайхен, то носил — и все знали, что это нацист со стажем. Эрнст тоже носил значок.



Когда наступало воскресенье — и на работу не вызывали, деревенские девушки, одетые не хуже ленинградских, выходили на улицы, распевая песни из советских кинофильмов. Нарядные недотроги гордо дефилировали мимо немцев: близок локоть да не укусишь. Фрицы только покрывали.

После наступления темноты жизнь замирала. Только патрули обходили деревню.

41. ЧИСТОТА КРОВИ. «ЗОЛОТОЙ ПЕС» ПУНДИ

«Барон» реализовывал свои планы. Он тешил себя мечтой, что фюрер достойно наградит всех участников после войны и ему, который так успешно хозяйничает, передаст во владение земли совхоза Вохоново.

Немцы, почти все они были из крестьян, когда пахали или боронили, не раз, я видел, наклонялись и жадными умелыми руками брали землю, разминали и тяжело вздыхали. «Хеттен вир зо айне эрдэ» (Если б мы имели такую землю!), — повторяли Тигель, Радс и другие. Если скудная, по нашим понятиям, почва Ленинградской области производила такое впечатление, то можно представить, как немцы мяли в руках землю Украины или черноземья!..

«Барону», видимо, удалось убедить в перспективности штатсгута не только свое дивизионное начальство и «Викадо». Бороны, многолемешные плуги, сеялки, веялки, механические косилки, сеноуборочные машины, механические грабли теснились под новыми навесами штатсгута.

В штатсгут приехали два немецких фельдшера и брали кровь из мочки уха у немцев, а также девушек и женщин, работавших на молочной ферме и скотном дворе. Канцелярский унтер Эггерт, знаток расовой теории, предложил взять кровь и у меня, так как заметил, что я вертелся возле тех мест, где мог рассчитывать на добавление к своему нищему пайку.

— Этот анализ, — пояснил Эггерт, — заодно показывает чистоту происхождения.

Он, конечно, шутил, но я с радостью подхватил это выражение и раззвонил о нем, благо, сын бактериолога, прекрасно знал, что пока еще никакими анализами крови из уха или из брюха нельзя определить еврейское или нееврейское происхождение. Но, так как у наших людей раньше никогда не брали кровь из мочки уха, то они поверили, что так оккупанты «вы-

являют жидов» и то, что у меня анализ оказался вполне благополучным еще раз доказывало, что я не еврей. Чем меньше подозрений, тем лучше. Даже на старосту исход исследования моей крови произвел впечатление. А то он нет-нет да косился, спрашивал, вызывая на откровенность: «А у тебя, Ликсандра, часом, никого в роду из этих... евреев... не было?.. Признайся...»

На подобное я презрительно усмехался: «Тебя проверяли?»

— А как же?!

— И меня — и выкусили... Ни хера ты, Василий, в этом деле не пендришь.

Анализы у всех оказались хорошие. Группу крови у всех определили и у меня она, не помню какая, но была не менее арийской, чем у Гитлера или Гиммлера.

Когда в штатсгут доставили большое стадо тонкорунных овец, «Альзо» приказал позвать старосту и спросил, где можно в окрестностях найти овчарку, способную стеречь овец.

Василий поохал по поводу уничтожения всех собак осенью сорок первого и пообещал узнать. Испросил разрешения поехать по деревням и через неделю попросил аудиенцию и сообщил, что в деревне Низковицы, в семи километрах от штатсгута, у старика пастуха есть чудо-пес, способный стеречь и овец, и коров.

Вместе с Мартином, взяв меня в качестве кучера и переводчика (я с детства отлично правил лошадыми), фон Бляйхерт поехал в Низковицы. Они находились за Большим Ондровым, из которого в штатсгут сдавали молоко и, откуда приходили на работу девушки.

Дорога повернула к открытому пастбищу, и мы увидели довольно большое стадо коров. Вокруг него мелькал черный клубок, иногда с лаем пригонявший к стаду отбившуюся корову.

Старичок пастух сидел на пне, попыхивая самокруткой.

Мы приблизились и «барон» объяснил цель прибытия.

Старик захохал: «Пунди я не отдам, что вы?!»

Пес, словно чуя, что речь о нем, подбежал виляя хвостом, и уставился чернющими глазами на нас.

Лейтенант особенно умилило, что собака его не облаяла и по предложению пастуха даже подала офицеру лапу.

Мне велели постараться убедить пастуха продать Пунди.

Я стал агитировать, предлагая заодно «заломить» такую цену, чтоб или отвязались или, действительно, ничего не пожалели. В конце-концов за Пунди, которого старик обязался сам привести в штатсгут, пообещали заплатить («барон» понимал, что насильно брать собаку у хозяина бесполезно) столько, сколько по тем временам и ценам могла стоить перспективная

телка — два мешка овса, мешок картофеля, бутылка коньяка и сто рублей.

В ближайшее воскресенье пса привязали уже возле той будки, которую недавно занимал его немецкий предшественник. Однако, несмотря на наказ пастуха «слушаться новых господ», Пунди не проявлял в штатсгуте своих способностей. Это был милый ласковый пес, ни на кого не лаявший, кроме коров, которых здесь не должен был охранять. Ко всему еще случилось так, что через недели две после «расконвоирования» Пунди исчез. «Барону» было очень жаль затраченных на покупку собаки средств, а потому он объявил крупную награду — две бутылки шнапса и пятьдесят или даже сто рублей тому, кто доставит беглеца.

Я понимал, как и староста, что Пунди убежал к старому хозяину. Когда же прошло еще с неделю после объявления (пастух тоже клялся, что не видел Пунди) и награда была удвоена, пастух торжественно привел «чудо-собаку» в штатсгут.

Лейтенант поморщился и выдал старику «за честность» только две бутылки шнапса. Но и это было неплохо.

«Альзо» решил прикрепить Пунди к немцам, пасшим овец, высокому костистому саксонцу Тигелю и низенькому Радсу, родом из Тюрингии или Швабии. Набожный Радс был неграмотным, из-за чего с ним происходили смешные недоразумения, вплоть до приводов в другие комендатуры, и товарищи нередко над ним посмеивались.

«Барон» принял парадоксальное решение:

— Когда у вас, Александр, нет дел, когда вы мне или унтер-офицеру Мартину не нужны, берите велосипед и поезжайте в поле к пастухам. Конвой вам здесь не нужен: вы на виду (пастушеский домик стоял среди поля примерно в километре от конюшни и великолепно было видно, что делается вокруг него). Итак, Александр, поедете к Тигелю и Радсу и там обучайте Пунди словам немецкой команды. А то он не понимает.

— Яволь, герр лейтенант!

С наслаждением прокрутив педалями до пастухов (на велосипеде любил ездить), я приветствовал обоих «отшельников». Они меня угощали куревом и чем-то, приготовленным из овечьего молока, чего не давали попробовать «барону», а потом мы дружно смеялись над фон Бляйхертом с его «аристократическим» отношением к своим же людям: вместо того, чтобы приказать мне обучить словам русской команды пастухов-немцев, он, не веря в их способности, предпочитает заставлять меня учить словам немецкой команды собаку. Все же я попробовал

быть песьим репетитором, но животное только ласкалось ко мне, как и к пастухам, искренно полюбившим незлобивого пса, но понимать что-либо на каком-либо языке отказывавшемся. В конце концов на Пунди махнули рукой. Но он остался при пастухах. «Альзо» смотрел на него с неприязнью, вздыхая о дорогой цене, заплаченной за собаку. Думаю, только это спасало Пунди от смерти. «Барон» не раз поглядывал на его пышную черную шерсть и пастухи, и я опасались как бы когда-нибудь страстный, но неудачливый охотник Хорст фон Бляйхерт не подстрелил собаку и не надумал отправить ее пышную шкурку на воротник своей фрау.

42. ГДЕ ВЫ, СОЮЗНИКИ!!

Немцы прорвались к Сталинграду. Что ж это получается? Чуть захотят — и все преодолевают? Что начнут — доводят до конца... А там, на востоке, японцы дали один-два выстрела — и неприступная крепость Сингапур со всем гарнизоном капитулировала. В Африке тоже творится что-то непонятное.

В тоннаж потопленных судов я не верю: проверь, попробуй!.. В войну все врут — и наши, и немцы. Врали в первую мировую и вообще в каждую. Разве о войне 1812 года всю правду уже сказали? Нет. Лев Толстой пишет одно, Авенариус другое, немцы — третье, французы — четвертое. Где она, эта правда? Да и я — всегда ли правдив, даже наедине с собой?.. Неужели и во мне готова оборваться вера в нашу победу, в поражение Германии? Нет!!! Нельзя с их политикой править миром! Но... организация и порядок у них в армии куда солиднее, чем у нас. У них офицер похож на офицера. Редко встретишь мальчишку или пьяного болвана. Есть, конечно, но меньше, чем у нас. Дисциплина у них среди солдат не стадная, как у нас. Любой унтер у них по военным знаниям стоит нашего лейтенанта. Конечно, не каждого. У нас тоже были отличные офицеры, не говоря о солдатах. Но эта чертова аккуратность, обязательность, точность в крови; это «айн ман-айн ворт» (человек — слово)!.. А у нас? Сколько раз было: «Огоньком поддержим!». «Ступайте смело — там никого»... А «огоньком» не поддержат или опоздают так, что по своим лупят... А там, где доложат, что «никого нет», давным-давно фрицы. Разведка не дошла и донесла чепуху. Дико!.. У нас, в самой «народной армии», солдаты получают один паек, а офицеры — другой, человеческий. А у немцев паек для офицера и солдата одинаковый. Другое дело, что офицер всегда может «вытянуть» со склада, а то и из котла —

что получше. Но в принципе, больше справедливости. В зарплате разница тоже огромная. У них солдат получает приличные деньги, а у нас столько, что на махорку еле-еле достанет, если пайковой не удовлетворишься. О прочем говорить больно. Умеют они получать в пайке и коньяк, и шнапс, и вино, и всякую вкусную всячину, и не напиваться!.. Редко-редко кто так наглотается, что заметно. А если бы у нас так?.. Вот у них ефрейтор, например, получил на неделю или даже на две недели пару бутылок коньяку, еще спиртного, сладкого. И все это он распределяет. Не сразу в глотку. Мне чужда такая расчетливость. Я не понимаю, как можно, одалживая сигарету, записывать в блокнот, что я должен ее кому-то или, что мне кто-то должен... сигарету. Мы с такими мелочами никогда не считаемся: дать так дать, не дать — так не дать. Но, чтобы среди товарищей была такая «бухгалтерия»?.. Нет.

Вот они получают свои пайки и ставят их, не пряча. Никто не ворует. А у нас в казарме?.. Другое воспитание, другие понятия. Всею этому надо отдать справедливость.

Здесь они не бесчинствуют. Чувствую, такие, как Мартин, были бы рады. Его сдерживает страх перед фон Бляйхертом. Тот ни с кем не позволяет даже тени панибратства. Скуп, дьявол. Когда он поблизости, повар дает мне точно пол-литра супа. А после сыпняка не насытишься. Павел или дядя Федя и рады бы поддержать, да сами полуголодные и семьи у них. Даже паек, который дают им в штатсгуте — до урожая — поддержка.

Паек рабочим выдает обер-ефрейтор Антон Хингар. Он из судетских немцев; пытается болтать по-русски. Гитлера ненавидит. Мартина тоже. Но почитителен. По мирной специальности Хингар бухгалтер. Вот ему «барон» и поручил ведать выдачей пайков. Самый большой получают трактористы, плотники, кузнецы, столяры. Меньше всех получают работающие «партизаны» (так называют мальчишек и девчонок лет двенадцати-четырнадцати). Им положено всего лишь около двухсот граммов хлеба на день и чуточку сладкого и жирного. Хингар ухитряется детям и женщинам, когда «Альзо» не видит, хоть немного добавлять. Часто ему удается выклянчить на складах заплесневелые буханки хлеба, позеленевшие пакетики маргарина, слипшиеся конфеты. Так бы их выкинули, а он привезет и, глядишь, добавит то одному, то другому сверх пайка. А наши люди умеют из любого продукта извлечь пользу.

Антон вспоминает, что до прихода гитлеровцев в Чехии жилось лучше. С Антоном дружит Карлуша Ценниг. Он напоми-

нает мне одного из добрых семи гномов из сказки про Белоснежку.

Когда придут из Германии новые большие сепараторы, налог увеличат до четырехсот (триста девяноста) литров с коровы. Услышав об этом, я «по секрету» передаю дяде Феде, а он — дальше. Пусть не думают, что «гости» всегда будут такими нетребовательными.

Староста Василий и Павел в довольно хороших отношениях, пьют вместе. Оказывается, сестра Павла Лиза — жена Василия. Но последний, все знают, таскается с высокой полнотелой Шурой, чей муж на фронте.

Мне все же повезло: Вохоново — единственная русская деревня среди окружающих чухонских. Там живут богаче, чище, аккуратнее, расчетливее. Немцы к чухонцам относятся лучше. «Барон» пригляделся к русским и стал относиться ко всем одинаково. Даже к русским чуть лучше: имеют меньше прав, меньше жалуются в комендатуры, меньше претензий.

Василий привез из Гатчины плакаты «Вот ваш враг». Нарисован еврей, выглядывающий из разорванной шестиконечной звезды. Василий прицепил плакат к стенке дома, где жили солдаты, напротив которого проходил ежедневный развод на работу.

Василий торжественно развернул плакат перед моим носом (неужели подозревает?).

Я равнодушно окинул взглядом произведение графики — и успокоился: «типичный юдэ» был настолько далек от меня и вообще от типично еврейского, что невольно подумалось: не добрая ли душа малевала это лицо, чтобы потруднее было докопаться до скрывающихся сынов Израиля?..

Фон Бляйхерт, придя на развод, сморщился и приказал «немедленно снять эту гадость».

— К дому, где живут наши солдаты, нечего прикреплять такое «художество», — заявил «барон». — Пусть «штарост» повесит у себя дома и там ищет евреев.

Василий снял плакат.

С «бароном» у меня никогда не заходила речь о его отношении к евреям. Но мне кажется, он в этом вопросе совершенно лоялен. Другое дело, Мартин и Райнер...

43. ВОЗЗВАНИЕ ВЛАСОВА. МАРТИН И МАРУСЯ

Помнится, 31 августа или в самом начале сентября сорок второго года Павел открыто протянул мне на разводе при всех

гатчинскую газету «Северное слово» и, заикаясь, произнес: «Прочти, Ликсандр. Прочти — и скажешь потом».

Я сунул газету в карман и после окончания развода, оказавшись на несколько минут без дела, прочел обращение генерала Власова. Одну из первых фраз я запомнил: «Меня Советская власть ничем не обидела», — в таком роде. Далее очень толково генерал или тот, кто писал за него, объяснял необходимость борьбы с большевизмом за свободу русского народа и призывал к вступлению в организуемую Русскую освободительную армию (РОА).

«Теперь начнется, — подумал я. — Только смогут ли забыть пленные расстрелы, голод, холод — все, что испытали за тот год войны?..»

Улучив момент, когда Павел по обыкновению возился у трактора, я вернул ему газету.

— Что скажешь? — процедил он.

— Хотят русского на русского.

— Если б ннашши меня нна фронт взззяли, — заволновался Павел. — Я бы знал, зза что ссстрадаю, зза что должен ум-мереть. А тут... Нне-ет», — и он матюгнулся.

— Они поняли, что без русских России не взять, так надумали заставить воевать нашими руками. Хера! Поздно! Не надо было так с пленными обращаться. А они сразу показали зубы, думали победили. Черта с два.

Газета писала, что уже поступают первые заявления от пленных и от юношей из гражданского населения.

— У нас в Вохонове весной двое Свяни вступили в эстонские части. Пишут иногда. Где-то охраняют железную дорогу, — сказал Павел. — Но это все равно не дело — помогать врагу. Сейчас, небось, начнут агитировать, силком тащить.

— Павел, — сказал я, — некоторые из наших молодых ребят считают, что лучше бездельничать на охране железной дороги, чем работать в штатгуге. Пусть не дурят: это же ширма — «Русская освободительная армия». Для кого она должна освобождать Россию? Для немцев. Может быть, сам Власов и не такая гадина и не дурак. Письмо написано очень здорово. Но он же, уверен, писал под диктовку. Он-то знает, что ему обратного хода нет: пан или пропал... Да, у нас был бардак и долго еще будет. Но все же Ленинград держится, от Москвы, Тихвина отогнали. Да и Америка с нами. Она долго раскачивается, но раскочается и Германия проиграет, помани мое слово. Я, может, не доживу до этого дня. Но надо, чтоб вохоновцы дожили. И пусть никто не думает, что его сыну будет хорошо, если он пойдет служить во власовскую армию. Идти в нее значит, на-

всегда попрощаться с Родиной. Найдутся пленные, чтоб не умереть с голода, пойдут. Но у них же другого выхода нет. А тут все вольные. Немцам все снится Россия времен самозванцев. Вот они и баламутят. То сына Сталина пытались присобачить к смуте, то еще что. Верить им нельзя, чего бы ни обещали...

По всей округе расклеили воззвания Власова и призывы вступать в РОА. В то же время из пленных немцы стали набирать «хиви» («хильфсвиллиге») — добровольные помощники, («желающие помочь»). Пленные получали форму, похожую на немецкую или трофейную, французскую или чешскую, иногда на подборе. «Хиви» получали солдатский паек. Их закрепляли при обозах, автоколоннах, кухнях, в строительных отрядах «Организацион Тодт». По сути, это были расконвоированные пленные. «Хиви» спасло многих от голода. Набирали из лагерей, где к сорок третьему году обращение и питание стали лучше, во всяком случае, в лагерях Ленинградской области.

Мартин тоже завел со мной разговор о том, что мне с моим знанием языка пора вступить, если не во Власовскую армию, то в «хиви». Я по обыкновению ответил, что у меня брат на фронте и вообще воевать против своих я не могу, потому что не утратил веру в Бога. К Мартину было присоединился Райнер, но вскоре отстал. Сам «барон» пока о таких вещах не заикался. А Мартин возвращался к этому вопросу.

Я понимал, что всемогущий унтер меня побаивается: я слишком много про него знал. Не раз он через меня заказывал для своей фрау то сапожки, то шерстяную кофту, а расплачивался за все казенным овсом и картофелем. Это же делали и другие. Воровали все, кто мог, в той или иной форме. Кто тащил яйца, кто масло с фермы, кто овес. Сделки с шустером (сапожником) Мишей Константиновым из соседней деревни Микино проходили через меня и у «барона», и у унтер-офицеров, и у Антона Хингара, и у коха Ланге, и у солдат...

Но, если сам «барон» оплачивал заказы из своего пайка, а Ланге, Хингар и еще некоторые — за счет приобретений на стороне, на базах и складах, то Мартин за все расплачивался казенным овсом или картофелем и, надо сказать, не скупился. При том, однако, был он сволочью отменной и хлыстик в его руках, которым он похлопывал себя по голенищам сапог, нередко «выбивал пыль» из телогрейки подростка. На женщин Мартин глядел по-особому. Ему доставляло удовольствие видеть, как они его боятся, и он любил пугать их, грозить за малейшую провинность, раздувая ее, требовать уменьшения пайка или присуждения штрафа. Он имел садистские наклонности.

Почему-то больше всего Мартин придирался к Марусе Федоровой, молодой зеленоглазой бабенке лет двадцати шести. Муж ее, кажется, был на фронте. Маруся жила с младшим братом Матвеем и матерью-вдовой. Не знаю, как заметил Марусю унтер, но затребовал в штатсгут, хотя Василий Мионов не направлял ее (обычно набор рабочих согласовывался со старостой).

Маруся явилась раза два, а потом прогуляла. Мартин сам отправился за ней. Привел ее, запер в чулане, недалеко от моего, только с другого входа. Потом унтер наябедничал «барону», наклепал и попросил разрешения... «всыпать ей пятнадцать розог по голой заднице».

«Барон» с удивлением произнес «нн-аа-а?!», пожал плечами и поморщился. Мартин тогда стал разглагольствовать о «немецком воспитании», «о показательном примере», о фюрере («тоже присобачился к бабьей заднице»...) и лейтенант махнул рукой: «Абер ниht цу фест» (только не очень сильно).

Через день Мартин доверительно делился со мной: «Бью ее, а сам... плачу. Люблю ее, блядь. Как она не понимает?! Каждый удар по ней — для меня наслаждение и страшная боль...»

Я молчал, пораженный.

Маруся стала аккуратно приходить. Мать ее, когда унтер проходил мимо их дома, выбежала к воротам, задрала над своей худой синей задницей юбку и выставила всю свою старушечью «панораму» на обозрение садисту. Тот быстро глянул и отвернулся.

Мартин стал окружать вниманием Марусю. Сперва вертелся около нее во время работы; пытался лопотать что-то, возможно, извиняясь; потом начал осыпать подарками, оставлять дома, не отмечая прогулов. Райнер и Виттерн диву давались, видя такую «метаморфозу» в отношении их «камрада» к его недавней жертве.

При этом Мартин по-прежнему грубил и немцам, и рабочим, был строгим надсмотрщиком, и при нем люди не разгибали спины. Солдаты тоже боялись его придиричивой требовательности. Подойдет, проведет рукой по холке лошади — и солдат получает наряд вне очереди или запрет выходить в деревню в воскресенье или после службы.

По поручению «барона» Мартин набирал рабочих для штатсгута и вел переговоры со старостами окрестных деревень.

В бричку садились конвоир или Райнер, Мартин и я, за кучера. С каждой деревни требовалось несколько работников для полевых работ и пара мужчин. Старосты откомандировывали в штатсгут тех, с кем были в плохих отношениях, а больше всего

девушек в возрасте 17—19 лет. Это были здоровые румяные хотушки. Многие из них плохо говорили по-русски и чуть что переходили на финский или эстонский, или на свой особый диалект. Вскоре и я стал разбираться в этом новом для меня смешении языков, усвоив наиболее ходовые выражения, счет и кучу ругательств, начиная с безобиднейшего «перкеле-сатан» (черт) и, кончая вовсе неприличными. Но первое время, переводя разговоры Мартина или «барона» со старостами, которые предпочитали объясняться не на русском языке, я сплошь и рядом оказывался в положении своих непонимающих хозяев... Когда же чухонцы заметили, что я понимаю их язык, они стали пользоваться привычным для меня русским...

Мартин иногда, когда «барон» отсутствовал, приказывал мне сопровождать его и по всяким пустякам ездил то в соседнее Микино, то в Березнево. Перед поездкой унтер никогда не сообщал, куда мы направляемся, что обычно вызывало во мне понятное беспокойство. Я ломал голову: куда и для чего он меня везет? Мартин болтал об отвлеченных вещах, хвастал знакомствами с разными фашистскими бонзами районных масштабов.

Он вез куда-то, а я, сохраняя спокойнейший вид, мучительно гадал: куда?..

В один из таких заездов мы оказались во дворе немецкого лазарета в Николаевке, прямо перед приемным покоем.

Я сразу подумал: не на медосмотр ли привез меня проклятый унтер? Тем более, недавно все солдаты штатсгута проходили осмотр. В Вохоново приезжали немецкие врачи. Тогда я, не выходя из оцепления, забился на чердак конюшни. Кажется, за мной посылали, но не нашли. А я следил сквозь слуховое окошко и, когда увидел, что машина с врачами уехала, вылез из укрытия, спустился в конюшню и стал у входа.

В Николаевке среди охраняемого двора лазарета скрыться было некуда.

Мартин вошел внутрь, заведя меня в один из приемных покоев, где я очутился с глазу на глаз с санитарным фельдфебелем.

Мартин представил меня ему и ушел. Фельдфебель оказался трубачом похоронного оркестра. Мы с ним завязали беседу об искусстве. Он взял трубу и мастерски стал играть знакомые мне мелодии из «Травиаты», «Риголетто», «Тангейзера». Он играл, а я пел. Помещение было почти пустое с повышенной акустикой и голос звучал отлично. Под окнами собрались немцы.

Наконец, появился Мартин. Ему очень польстило, что у него

такой «интересный русский». Мы сели в бричку и вернулись в штатсгут. В лазарете унтер навещал своего больного земляка.

Мартина, зная его бессовестность, все побаивались. Он постоянно держался возле фон Бляйхерта и усердно доносил ему на товарищей. Особенно Мартин невзлюбил Эрнста Виттерна, жившего с ним и Райнером в одной комнате. Мартин доносил, что Виттерн дает своим помощникам масло, без позволения фон Бляйхерта разрешает оставаться дома по своим делам, а числит на службе... Не раз Эрнсту с трудом удавалось оправдаться. «Барон» все чаще заглядывал на ферму: все ли там в порядке?..

А Мария вдруг стала оказывать большое внимание Мартину. Я не мог понять: как она, молодая красивая женщина (Мария была моложе унтера на добрых лет пятнадцать) может переносить его ухаживания?! Необразованный казарменный похабник с мясистым отвислым носом, покрытым, как и все жирное красноватое лицо, мелкими бугорками; толстяк с лысеющей головой, с огромным вихляющим задом?!. Что в нем могло привлечь?! Да еще после порки...

Но, оставаясь заботливым семьянином, как большинство немцев, Мартин явно не на шутку увлекся Марией и стал вечерами захаживать к ней домой.

Теперь и мать будто изменила отношение к немцу. Брат Маруси, Матвей, невысокий узколицый юноша, сухощавый, жилистый, так что ощущалась сила и ловкость в каждом его движении, работал на конюшне с солдатами. Матвей, чувствовалось, лишь для вида примирился с Мартином. Последний после сближения с его сестрой стал оказывать парню внимание, вплоть до того, что добился у «барона» перевода Матвея в высший разряд «фахлётте» (специалистов), что дало юноше возможность получать такой же паек, как Павел Дорофеев и лучшие плотники.

Другие девушки стали опасаться Марии со времени ее сближения с Мартином. Но, хотя она была с некоторыми в неважных отношениях, своей близости со страшным унтером не пользовалась, как и очень симпатичная девушка, тоже по имени Мария (Вайник), убиравшая комнату «барона». Большеглазая, с пунцовыми пышными губами, Мария В., в силу своего положения вынужденно отдалась от сверстниц, но осталась отзывчивой, доброжелательной и, хотя из-за характера «барона» не могла вмешаться в какое-либо его распоряжение, но нет-нет да пыталась вступить, замолвить слово в защиту подруги, не вышедшей на работу. Освободиться от работы у «барона» было

жутко трудно. Когда фон Бляйхерт появлялся на утреннем разводе, направо и налево летели приказы о сокращении пайка, переводе на неделю в низшую категорию, а при неоднократных прогулах — о штрафах. Их накладывали по представлению «барона» и унтеров, наводившие страх жандармы из Гатчины. Они приезжали, обычно два унтера или фельдфебеля, надевали свои блестящие нагрудные бляхи со светящимися орлом и свастикой; вызывали рабочих и, стуча кулаком по столу, накладывали штрафы, в зависимости от представления дежурных унтеров, Мартина и Райнера, от двадцати пяти рублей до трехсот. Чтобы иметь понятие о ценности денег, надо знать, что бутылка коньяка стоила от пятисот до тысячи рублей, а буханка хлеба от ста до двухсот (в конце сорок третьего — сто рублей, тогда все подешевело). Изредка случались штрафы в пятьсот рублей. Конечно, пугали не размеры штрафа, а сама обстановка его наложения. Присутствовали обычно — сам «барон», все унтеры, жандармы.

Наложив штрафы, они, договорившись о порядке их взыскания из заработной платы или наличными, становились вовсе не страшными, довольно благодушными людьми. В основном жандармы были пожилыми. Это значило, что в райхе у них были семьи, по которым они тосковали больше, чем молодые солдаты. И как бы ни говорили те и другие, что «служба есть служба», но, сколько я замечал, нередко следовали священному завету: «Законы существуют, чтобы их обходить...» Про себя, грешным делом, я подумал, что за прогулы, от которых отделялись минимальными штрафами, у нас, увы, грозили тюрьма и долгосрочные ссылки в самые отдаленные края...

На развод, когда собирались рабочие, сперва выходили солдаты, ответственные за те или иные участки, и я. После того, как я на дворе скопировал «барона» и еще некоторых фрицев, солдаты и рабочие требовали, чтоб я показал «этюды», как «Мартин садится верхом, а лошадь брыкается», «барон едет на мотоцикле, а очки поминутно сваливаются с его солидного носа» и так далее. Присутствующие, немцы и наши, помирали со смеху. К чести тех и других, никто даже не подумал об этом донести не только «барону» или Мартину, но даже немного поминувшему по-русски Райнеру.

Во время очередного «представления» солдат вдруг толкал меня в бок или окликал — и я сразу принимал официальный вид: появлялся дежурный унтер или «барон». Начиналась переключка. Ее делал унтер, спотыкаясь на русских и финских фамилиях. Вспотев от усердия, сопровождаемый смехом деву-

шек, унтер кричал на собравшихся и передавал тетрадь со списком мне.

Я делал перекличку: «Аняманятанякатяваняюляколяиратонясонакиравовапалястепавовараяшасашаманя...» Одними именами, произнося их скороговоркой слитно. Благодаря этому веселому способу порой удавалось пропустить фамилию кого-либо из неявившихся. Если затем «ошибка» выяснялась, я объяснял, что «спешил, хотел как лучше»...

В моих интересах было не озлобить против себя рабочих (люди часто путали, где вина оккупанта, где — переводчика) и «не попадать на зуб» немцам, подозрительно поглядывавшим на оживление собравшихся во время переклички. Но я проводил ее настолько быстро, что унтеры только рты разевали. Конечно, при бароне я или скромно выжидал, пока унтеры выговорят фамилии, либо четко и быстро называл их сам. Тут было не до шуток. Узнал бы «Альзо» о моем веселом нраве — и загремел бы я молниеносно в штрафной лагерь. А там?.. Но молодость, жизнерадостная и озорная, никак никогда не хотела со мной расстаться. Юмор не покидал висельника. Естественно, не при всех солдатах мог я держать себя так свободно. Мой первый конвой «орангутант» или плотник и столяр Эрих Баум, сразу показались мне подозрительными...

Никогда не ручаясь за завтрашний день, получив паек, я торопился с ним разделаться. Обычно я угощал ребят, мальчишек, работавших в штатсгуте; спешил отдать долги за починку сапог дяде Мише, за починку гимнастерки — дяде Алеше Иванову, портному; наедался сам — и был таков. На следующий день все начиналось сызнова: томительное ожидание обеденного котелка от постного утра. С осени, когда стала работать «молькерай», мне нет-нет да перепадало что-нибудь оттуда. Но все это было сопряжено с риском. А «барон» не замечал, что возле него находится постоянно голодный «дольмечер» (переводчик): сытый голодного не разумеет, пеший конному — не товарищ...

Когда осенью с продуктами стало лучше, благодаря тому, что солдаты получали дополнительный приварок из урожая штатсгута, мне тоже стало больше перепадать. Альберт Тигель, Эрвин Франк, Антон Хингар, Карл Ценниг, Георг Ланге нередко угощали меня то кусочком хлеба с маргарином, то сигаретой. Эрнст Виттерн угостил даже шнапсом. Пить мне не хотелось. Но отказаться было нельзя. Я выпил этот «наперсток» и захмелел, так как был еще очень слаб после сыпняка. Позднее не раз унтеры и солдаты наливали мне «наперстки» и я не отказывался, потому что немцы считали: раз русский — должен

пить. Я лихо опрокидывал «наперсток» (грамов пятнадцать, не больше), а немцы, привыкшие смаковать питье, только охали.

Раз Мартин пригласил меня к себе наверх и налил рюмашку. — Алекс, — сказал он, — ты, кажется, умеешь писать по-немецки. Видишь, у меня болит рука (палец правой руки у него был перевязан). Я тебе продиктую письмо моей жене.

Я присел к столу и обмакнул перо в чернильницу.

Мартин начал диктовать, дивясь тому, что я пишу красиво и быстро (по-немецки, как ни странно, у меня почерк был значительно лучше, чем по-русски).

Письмо было «дежурным», ничего не содержащим особенного (Мартин уже во всю крутил с Марусей). Главное, это была весточка для далекой семьи, для фрау.

Я кончил писать.

— Хорошо, — улыбнулся Мартин, — теперь напиши «хайль Гитлер» — и я подпишу.

Я довольно резко, но спокойно отложил перо: «Это вы сами напишете, господин унтер-офицер».

— Что-о?! — взревел Мартин и начал отчаянно ругаться, требуя, чтоб я немедленно написал «хайль Гитлер». Он схватился за пистолет, но я остался невозмутимым.

В это время вошли Райнер и Виттерн.

— В чем дело? — спросил кто-то из них.

Возмущенный Мартин объяснил, какую «змею» они пригрели здесь, у своего сердца (унтер любил «образные» выражения).

Однако Райнер отнесся к тираде товарища очень спокойно: «Погоди, а если б тебя в русском плену заставили писать «хайль Шталин»?..

Мартин не успел ответить, как вмешался Виттерн: «Он такой, что написал бы».

Мартин онемел от неожиданности. Ничего не возразил и замолчал.

Интересно, что после этого случая Мартин держал себя со мной как будто ничего не произошло и по-прежнему делился своими переживаниями, объясняя как «эта ведьма Марушка околдовала» его, и он не может ничего с собой поделать, потому что любит эту «хурре» (блядь). Я все выслушивал, не высказывая своих мнений и отношений. Я нужен был унтеру в качестве мусорного ящика для выбрасывания его сентенций.

Поздним вечером, в сумерках, я сидел в своей каморке у столика и, задумавшись, глядел в окно.

Вдруг угол оконного переплета расщепился. Не понимаю, почему я бросился на пол, и в то же мгновение услышал оглу-

шительный выстрел и обернулся: в дверях стоял ухмыляющийся Мартин с пистолетом в руке. Пуля прошла сквозь мои густые волосы.

— Что? Испугался?— засмеялся унтер.

— Конечно,— приходя в себя, подтвердил я.

— Я пошутил,— продолжал Мартин. Он был крепко выпивши. И вышел. А ведь подкрался тихохонько. Незаметно снял крючок, на который снаружи стали закрывать мою дверь...

Равнодушный часовой заглянул в окно и отошел. Я решил даже Виттерну не говорить об этом, а Павлу и Виктору сказал. Что Мартин имеет на меня настоящий «зуб», я понял. Но в дальнейшем держал себя с унтером так, будто поверил, что его выстрел был невинной «шуткой».

44. ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ЛЮДЕРС

В один ясный день, когда зажелтела крыша свежей щепой над новым свинарником, вохоновец Николай Васильев, плотник, по прозвищу «филон» сколотил из обрезков досок свастику и набил ее на торец постройки. «Филон» с гордостью указал на свое произведение фон Бляйхерту, ожидая слов благодарности и восхищения.

«Альзо» глянул и поморщился: «Что это вы так быстро стали сознательным?»— затем подумал и добавил: «Снимите: у вашей свастики крючки не в ту сторону. Это же знак солнца. А она у вас «катится» не туда, куда следует».

* * *

Известие, что командир двести двадцать третьей пехотной дивизии генерал-лейтенант Людерс накануне своего отъезда в отпуск или на новое назначение принял приглашение «барона» и посетит штатсгут взбудоражило всех. «Альзо» решил превзойти самого себя, обязал старосту и все население Вохонова, от детишек до старейших стариков и старух убирать совхозное подворье и прилегающий к нему отрезок дороги. Подбирали щепочки и соломинки, окурки и тряпочки. Фон Бляйхерт вызвал вдову Семичеву и сказал, что староста ему доложил, что у нее есть кровать с пружинным матрасом. Негоже немецкому офицеру спать на подобии деревянных нар, а русской спать на хорошей кровати. Он дает ей расписку, что при отъезде из Вохонова, кровать ей вернут.

Семичева было запротестовала, но «барон» выкатил на нее свои холоднющие глаза, и старуха поняла, что лучше покориться. Но прежде чем самому улечься на настоящую кровать, «барон» велел ее обмыть, застелить чистейшим бельем и первому предоставить возможность поспать на ней генералу Людерсу.

Генеральскую машину лейтенант встречал у границы штатсгута. «Барон» надел свой залатанный китель, дабы производить впечатление человека, всецело занятого порученным ему делом и потому не обращающего внимания на свою внешность.

Генерал сразу проехал в приготовленную для него резиденцию, в комнату «барона» над канцелярией. Сам «Альзо» временно переселился на первый этаж.

Переночевав, генерал на следующий день в сопровождении начальника отдела «айнс Б» или «айнс Ц» хауптмана Келлера, «барона» и двух охранников-солдат обходил штатсгут.

Ко мне на время визита высокого гостя также приставили охранника, сопровождавшего меня вплоть до сортира.

Мартин и Райнер, страстно желавшие попасть на глаза гостю, вертелись во дворе. Я оказался возле небольшой группы женщин, работавших на прополке поблизости от своего чулана.

Обойдя скотный двор, приезжие двинулись к нам. Охранник придвинулся ко мне — и вот прямо передо мной оказались Людерс, Келлер, «барон» и «сопровождающие их лица»...

— Русский военнопленный Александр, — отрекомендовал меня «Альзо», — владеет немецким. Артист из Петербурга.

Келлер — плотный, довольно крупный мужчина лет сорока пяти с несколько обрюзглым полным лицом, смерил меня равнодушным усталым взглядом. Его сосед, генерал, небольшой, худенький, с загорелым или смугловатым лицом, остановил на мне карие внимательные глаза. Возможно, его привлекла моя одежда: «барон» был с одной латкой, а на моей гимнастерке и брюках латок было больше.

На шее генерала у воротника блестели бриллианты на кресте «пур ль эмерит» («за доблесть»), полученного еще из рук императора Вильгельма в первую мировую войну. Одна рука генерала была протезом. Ее венчала черная кожаная перчатка. Эта рука бессильно покоилась у кармана.

Людерс задал несколько обычных вопросов и поразился моему знанию языка.

— Послушайте, — сказал он, — я могу вам помочь вернуться на сцену. Вы так блестяще владеете немецким, что могли бы выступать перед нашими зрителями, играть на немецком языке».

— Благодарю вас за доброе отношение, господин генерал,— ответил я.— Но артист, чтобы убедительно выступать на сцене, должен не только уметь говорить на другом языке, но и думать на нем. А я, хотя говорю по-немецки, но думаю по-русски. Это препятствовало бы моему успеху.

Генерал очень внимательно посмотрел на меня и здоровой рукой пощипал маленькие усики под носом. Келлер нахмурился. Но Людерс улыбнулся; повернул голову к Келлеру:

— Дер керль хат кайн штроу им копф. (У парня не солома в голове).

Все засмеялись.

— Как вам кажется,— продолжая улыбаться, спросил Людерс,— русские скоро прекратят сопротивление? И кто выиграет войну?

— Господин генерал, вы хотите знать мое честное мнение?

— Безусловно.

— Господин генерал, России помогает Америка...

Людерс стоял напротив меня, чуть склонив голову, отчего выглядел задумчивым и несколько утомленным. При моих словах он выпрямился, посмотрел на Келлера и «барона», на застывших в почтительном отдалении солдат и очень тихо заметил: «Я, их гляубэ дер американер вирд ден фогель абшиссен». (Да, я полагаю, что американец «собьет птичку»). И добавил: «Но... мы — солдаты и должны исполнять свой долг».

Келлер изумленно взглянул на генерала. Но это длилось мгновение — и опять лицо начальника «айнс Б» или «айнс Ц» стало бесстрастным.

«Барон» только моргнул глазами и приоткрыл рот.

— Вы образованный человек,— обратился Людерс ко мне.— И к вам, полагаю, (он бросил взгляд на «барона») здесь относятся по-человечески. Вы, когда были на советском фронте, могли ожидать такое обращение?

— Конечно, нет, господин генерал, кроме того, когда я был на советском фронте, я не думал, что могу очутиться в плену,— ответил я с горькой улыбкой.— Игра судьбы («Шпиль дэс шикзальс»).

— Вы верите в судьбу?

— Да, господин генерал. (Во что мне еще оставалось верить?)

— Русские все фаталисты,— вставил Келлер, и все окружающие согласно закивали.

— У вас отличный дольмеччер (переводчик),— повернулся Людерс к «барону»,— думаю, повезло и вам, господин лейтенант, и вам, шаушпилер (артист).

Он еще раз посмотрел на меня немного грустными темными глазами и мне показалось, что маленькие усики у него над верхней губой снова чуть шевельнулись в улыбке. Беседа закончилась. Людерс и Келлер с фон Бляйхертом и свитой пошли наверх к конторе. Через полчаса две машины, одна с генералом, другая с охраной проехали мимо нас.

Утомленный вид генерала объяснялся тем, что он не выспался. «Новая» кровать Семичевой оказалась настолько густо населенной клопами, что генерал уже в полночь соскочил с нее и, пройдя мимо задремавшего часового, вышел в парк. Там его увидел часовой штатсгута и поспешно козырнул высокому начальству. Но Людерс только отмахнулся. Отошел в сторонку, стал вытряхивать одной рукой свою рубашку и чесаться. Подоспевший «барон» стал ему усиленно помогать, проклиная «проклятых русских насекомых».

А кто-то из немцев все же работает на нас. Одной из любимых солдатских песен является «Фор дер казерне». (Перед казармой) с припевом. Эрвин Франк тихонько пропел мне пародию на нее. На другую популярнейшую песню с припевом «Дорт ист майне хаймат, да бин их цу хауз». (Там моя родина, там я дома) ходит по рукам ядовитейшая пародия. Такие вещи могли сочинить только сами немцы. И если в первой строфе пародии поется о бомбардировщиках, о клопах и вшах и о «земляках», поющих «пустите нас домой, в райх», то заключительный куплет рассказывает о том, как желающий попасть домой «ланцер» (земляк) лежит скелетом в придорожной канаве. Его последние желания мягко покрывает снег. Опыляющая марка (жетон солдата на случай, если он погибнет) возвращается на родину. Пародия навеивает мысли о безнадежности, о том, что живыми отсюда не выбраться. Немцы готовы подшутить над Геббельсом, над Герингом, но «своего Адольфа» (Гитлера) пока стараются не задеть.

Сельский учитель из Малого Ондрова Николай Иванович Орлов в штатсгута не работает. Лет ему около тридцати. Как-то он приходил со старостой Мироновым, интересовался открытием зимой школы для ребят. «Барон» сказал, что четырехклассная школа вполне достаточна. Такая у него в Малом Ондрове есть — и ладно.

Через день после отъезда Людерса Павел подошел ко мне:

— Николай Иваныч говорит, если б убить такого, сразу бы орден Ленина дали. А ты как думаешь?

— Я думаю, что этот генерал был не самым худшим. У него нет руки, но, кажется, есть голова.

Фрицы со вздохами вспоминают Францию. Но разве там они

воевали, как здесь? Трудно сказать, правильно ли поступил маршал Петен, предоставив дело спасения страны ее союзникам. Но в его неоккупированной части страны удалось скрыться многим антифашистам, это ясно. Безусловно, сопротивление вконец разгромленной французской армии было бы легко смято и только привело к лишнему кровопролитию. Но Шарль де Голь — герой! Безусловно. Те, что не сдались и продолжают сопротивление — герои. Не исключено, что под крылышком Петена еще оперятся антигитлеровские силы. В ноябре в северной Африке высадились американцы. Командующий военно-морским флотом правительства Виши адмирал Дарлан с боем прорвался сквозь строй немецких судов и с частью французского флота присоединился в северной Африке к союзникам. Правда, через несколько дней Дарлана убил какой-то подосланный убийца. Но значит и там идет борьба и не хотят мириться с германским владычеством.

Немецкие газеты трубят об африканской армии генерала Роммеля. Но Тобрук выдержал восьмимесячную осаду итало-германских войск. Франко почему-то не выступает на стороне своего друга фюрера... Значит, положение последнего непрочное.

Эрнст Виттерн прибыл из отпуска и тихонько говорил мне, что здесь в милом Вохонове («ин либ Вохоново») можно спать спокойно. Немецкие города бомбят беспощадно. Заранее сбрасывают листовки с предупреждением: такого-то числа в такое-то время будем бомбить такой-то район вашего города (или ваш город). Во избежание напрасных жертв эвакуируйтесь. И точно в указанное время на огромной высоте появляются сотни и сотни тяжелых бомбардировщиков и, несмотря на заградительный огонь и «нахтйегер» (ночные истребители), вытряхивают на город тысячи бомб, превращая его в развалины. Не пожелавшие эвакуироваться гибнут в бомбоубежищах и под развалинами зданий.

— Адольф сказал, что он за все оплатит Англи, страхе, которая «лигт ин грайфбарер нэе» (находится в достижимой близости) — завершил свою информацию о бомбежках Эрнст.

— А ведь фюрер торжественно обещал, что «ни одна вражеская бомба не упадет на немецкие города», — напомнил я, — что «Ленинград сам падет, как спелое яблоко» и многое еще обещал...

Эрнст нахмурился, очевидно, фюрер кое-что не предусмотрел. Вероятно, нашлись люди, помешавшие фюреру выполнить его намерения. А вообще, Алекс, никому не говори о том, что я тебе сообщил.

— Что ты, Эрнст?!

Я тороплюсь рассказать обо всем Павлу. В русских газетах о таком не пишут. Вот «Северное слово» поместило статью о безграмотности советской музыкально-театральной критики, основываясь на трех опечатках или неточностях. Тоня на разводе, пока не пришел «Альзо», показала мне газету, и я тут же при всех нашел в этой небольшой статье... сорок три опечатки, в том числе несколько грубых смысловых неточностей. Где уж тут критиковать?..

Мальчишки распевают на мотив «Кукарачи» мои частушки: «Много всяких приключений нам встречается в пути,.. (Ho!) Лучше «Северного слова» для подтирки не найти!»

Всякие частушки сочиняю экспромтом, на ходу ляпаю при мальчишках — они не продадут — и затем распевают во всю глотку. А немцы только одобрительно кивают, ничего не понимая, и повторяют: «Гут, гут». (Хорошо, хорошо).

Войсковицкий комендант хауптман Штарке в своем обычном виде, пьяный, навестил «барона».

Уже лежал снег и Штарке ехал в санях. Еще издали раздавалась стрельба: по пути он стрелял из охотничьей двустволки по воронам. Не знаю, какую цель преследовал визит этого толстого старика с еле просвечивавшими сквозь жирное и отечное лицо свинными глазками? Видимо, искал собутельника. Погрелся он с полчаса у «барона», уехал и больше не показывался.

В Николаевке комендант хауптман Френкель (частая фамилия у евреев). Того я ни разу не видел. Сказывают, он крутоват... Помимо евреев, истребил всех цыган и, если немцы или полиция ловили представителей этих наций, то отправляли к Френкелю. Тот с ними сразу расправлялся.

В Гатчине комендантом майор Шперлинг. Тот тоже долго ни с кем не панькается. На гатчинском базаре постоянно кто-нибудь висит с дощечкой «вор» или «партизан», или еще с каким «титолом». В Красном селе комендант граф фон Кляйстрецов давно перевешал попадавших к нему евреев и цыган. Удивительно: образованный народ, а такое творит... Эсэсовцы хвастали, как они во Франции в борделях и ресторанах развратничали с негритянками-проститутками, а потом их расстреливали. Провели ночь — и в расход... Негры тоже подлежат уничтожению. Негров, взяв в плен, расстреливают.

Не имея права выходить после наступления темноты, я вечерами до отбоя еще не под замком и часто поднимаюсь наверх к солдатам. После трудового дня они штопают, зашивают, латают, готовят на плите, музицируют. Многие играют на губ-

ной гармошке. Клоц на аккордеоне. Клоц болезненного вида долговязый молчун. По-моему он туберкулезник. И вдруг слышу: он играет Шуберта! Я помню некоторые песни из его цикла «Прекрасная мельничиха», и мы поем дуэтом, я — по-русски, он — по-немецки; затем — оба по-немецки.

Я исполняю «Во сне я горько плакал, мне снилось, что ты умерла», «Я не сержусь»; пою «Я вас любил» и перевожу текст немцам. Когда я прочел им одно из стихотворений Лермонтова, написанное им на немецком языке, они не поверили, что это не их классик. О Лермонтове они не слышали, а Пушкина чуточку знают — «Капитанскую дочку».

Разговоры касаются жизни в нашей стране. Они ее не понимают. Но разве они ее знают? Разве можно судить о жизни народа по его быту во время оккупации?..

Когда кончится война?.. Геббельс заверил, что у Германии хватит продуктов еще на десять лет, и она сможет выдержать любую блокаду. Теперь я объясняю фрицам, надеющимся на скорое окончание войны, что она продлится еще десять с половиной лет, пока не иссякнут запасы, «собранные доктором Геббельсом»...

Неграмотный Радс вытягивает шею, Альберт Тигель смеется, рыжий усач по прозвищу «Сюркуф — гроза морей» (почему я его так назвал — объяснить не могу, но прозвище закрепилось), ругается. Мольке внимательно вслушивается. Он в неважных отношениях с Мартином и ждет отправки на фронт. Эрих Баум возмущается: «Алекс слишком хорошо у нас живет и слишком много себе позволяет».

— Что вы делаете вечерами у солдат? — спрашивает меня «барон», обходя двор.

Я объясняю, что сидеть в темноте в своей каморке бессмысленно и потому поднимаюсь к солдатам. Там при свете карбидных ламп читаю, благо, спасибо унтер-офицеру Эггерту, из походной библиотечки он мне дает книги Александра Дюма, Шиллера и другие.

— Н-да-а-а,— протягивает «барон». — Хорошо, что вы читаете... Но кроме того вы ведете там с солдатами неподобающие разговоры, которые могут подорвать веру в победу немецкого оружия... Карбида у нас мало и мы не можем дать вам возможность пользоваться отдельной лампой. Я буду сквозь пальцы смотреть на ваше вечернее пребывание у солдат. Но вы не должны там вести никаких политических «диспутов». Учтите. И,— добавил он,— будьте поаккуратнее в спорах с обер-ефрейтором Эрихом Баумом.

— Яволь!

Вскоре фон Бляйхерт появился со звездочкой на погонах: стал обер-лейтенантом. Видать, не зря снабжал штаб редиской. Из наград у «Альзо» была только «Зимняя медаль», ее давали всем, кто провел зиму сорок первого — сорок второго года в России, неважно — в глубоком тылу в тепле или на передовой. Во всяком случае «барон» был доволен: его не забывали.

Старуха Шимко, беженка, вдруг на разводе, ни с того, ни с сего, разрешилась изливанием верноподданнических чувств при унтерах: «Спасибо великому Гитлеру, что принес нам освобождение. А при Сталине — то так уж мы пострадали. Вот, Александр (это ко мне), переведи им, что я говорю: «Спасибо Гитлеру», — и она еще перекрестилась.

Мне стало противно и я при всех отрубил: «Эх ты, старая карга (или блядь) — и не стыдно тебе, мать твою растак. Кто тебя просит? Да неужели ты при Сталине была беженкой и побиралась? Корке хлеба радовалась? Заткнись, ведьма...»

— Что она говорила и почему ты ее обругал? — настороженно спросил дежурный унтер.

Я все перевел со своими комментариями.

Унтер выругался и ткнул меня в бок под ребро, так что дух перехватило: «Не смей мешать женщине выражать добрые чувства нашему фюреру».

Я возразил, что верить таким «чувствам» глупо и смешно. Но унтер остался при своем мнении, а старуха затаила на меня злобу (если б она только догадывалась о моем происхождении, я бы погиб).

Однако, мое нападение на Шимко заставило других придерживаться языки. Второй унтер поддержал меня: «Чего стоят фальшивые заверения? Алекс — честный, и мы его уважаем. Он не льстит».

Рабочие, видя как я спорю с унтерами, проникались ко мне уважением: раз так себя держит, значит, чувствует твердую почву.

Не знаю, кто по национальности была Шимко. Фамилия ее дочери была Вяре, а внука — Жевжек. Юлик, внук, был отличным мальчуганом, держался с достоинством, но в стороне от деревенских ребят. Антонина Вяре — красивая женщина лет тридцати производила впечатление интеллигентки. Муж ее, кажется, был советским офицером. Антонина была высокой, стройной, черноволосой с черными же глазами. Кто-то из «бдительных» жителей (есть же у нас такие — и много, — которые доносят и выдают — лишь бы предать, безо всякой корысти и смысла) с таинственным видом шепнул мне, что она — еврейка. Я обругал эту доносчицу, объяснив ей, что она, вероятно, евре-

ек не видела. Уверен, что Вяре не была еврейкой. Но, если б кто перевел сказанное кому-либо из немцев, всей семье могли бы причинить неприятности — и крупные. А старуха Шимко не раз пыталась доносничать, обращала внимание на отсутствующих: «А вот сегодня такого-то (такую-то) не видно». «Вчера такая не появилась». «Почему кому-то можно». «Кто-то может»..? и так далее. Рабочие не любили вредную сплетницу. Лет ей было шестьдесят пять — шестьдесят семь. Работала она на переборке свеклы или картофеля в гуртах и складах. Как-то она предъявила претензии Хингару, что он ей недовесил в пайке продукты. Хингар при всех перевесил и... отрезал и отнял все лишнее, что выдал Шимко. К несчастью, при этой операции присутствовал «барон» и дал Антону нагоняй за то, что он «выдает лишнее», не соблюдает точного предписания. С тех пор Хингар кому-кому, а Шимко взвешивал все с точностью до грамма. Недовесов не допускал, но лишнего — тоже.

Как-то я увидел, что унтер-офицер Райнер тащит плачущую Шимко в канцелярию к «барону». Перебирая свеклу, старуха набила бездонные, специально приспособленные карманы своих шаровар свеклой, запихав туда не меньше восьми килограммов. Это заметила одна из скотниц и, не полагаясь на меня, сама донесла Райнеру. Унтер без труда понял и, ругаясь, погнал Шимко к обер-лейтенанту. Там она бухнулась к нему в ноги и со страху обделалась. Свекла покатилась со второго этажа по ступенькам.

«Альзо» не стал пачкать руки и приказал отправить старуху в гатчинскую комендатуру. Все ожидали чего-нибудь страшного. Но оттуда Шимко вернулась как ни в чем не бывало: комендант сказал, что «барону» следует лучше кормить своих рабочих, чтобы не вынуждать их тащить сырую свеклу.

«Альзо» проглотил пилюлю. Думаю, замечание коменданта его не потревожило: он строго придерживался норм обеспечения русских положенными пайками. «Альзо» соблюдал инструкции. Обычно немцы военнопленным, работавшим у них при кухнях, или переводивших, выдавали солдатский паек. А тут штатсгут еженедельно получал: на столько-то немецких солдат, на столько-то русских рабочих разных разрядов и... на одного военнопленного... Обер-лейтенант считал, что с его стороны разрешение выдавать мне с немецкой кухни половинную норму обеда (спасибо поварам, не соблюдавшим эту инструкцию!) попустительство и... благоденствие. А я был голоден. Но то, что сознавал каждый немецкий солдат или унтер, не понимал фон Бляйхерт, и я его ненавидел не меньше, чем Павел, получивший по баронской милости сколько-то плетей в гатчинской

полиции. Да «барон» никого не повесил, не расстрелял, не угнал в Германию или куда-либо на длительные принудительные работы. Но он был помещиком, «классовым врагом», и этого было достаточно, чтобы его ненавидели, ненавидели его скрупулезную точность, скупость, холодные ледяные глаза за стеклами очков, его подчеркнуто официальное обращение. Между ним и его людьми, как и между ним и русскими поднималась непреодолимая стена. Понятия справедливости и чести были у него весьма относительными. Они касались слова, данного немцу, но в отношении русских «барон» не считал себя обязанным держать слово. Так не раз, пообещав кого-либо отпустить домой для приведения в порядок личного хозяйства, он затем не отпускал человека, ссылаясь на изменение обстоятельств, например, наступление хорошей погоды, когда в штатсгуте особенно много дел. Спорить с ним было бесполезно. Когда я переводил возражения обиженных, он, забывая, что я только перевожу, напускался на меня. Тогда я делал паузу. Он смотрел на меня бешеными глазами — и вдруг спохватывался: «Юберзэцен зи вайтер». (Переводите дальше). К русскому языку способностей у него не было никаких, хотя попытки даже с помощью убравшей у него в комнате Марии В. он предпринимал неоднократно. Даже уезжая, он на прощанье выдавил «здристите» («здравствуйте»), вместо непостижимо трудного «до свидания». К счастью и Мартина Бог наказал такими же лингвистическими способностями. В результате, тот и другой были без меня, как без рук. Я же переводил идеально точно, быстро и четко. Конечно, по-прежнему, когда рядом со мной оказывался незнакомый немец, я сперва делал вид, что подыскиваю слова, задерживался, чтоб не ошарашивать своим знанием и избегать лишних глупых вопросов (действительно: почему только евреи должны идеально владеть немецким? Глупо. Я же по-еврейски ни слова не знал). Я учитывал, что у немцев, как-то владевших русским, могла появляться «профессиональная зависть», недалеко от желания напакоstitь... На вид раскованный, внутренне я всегда был насторожен. Оснований для тревоги всегда хватало.

45. КОМЕНДАНТ ШПЕРЛИНГ. АРЕСТ. ВОСПОМИНАНИЯ О СВОБОДЕ

Вовсе не из гуманных побуждений комендант Гатчины так хорошо отнесся к Шимко. Ему не нравилось, что «барон» обходит его, то обращаясь в ВИКАДО, то к вышестоящему армейскому

начальству своей дивизии, корпуса или армии. А общевоисковым начальникам в этой, по-существу прифронтовой полосе подчинялись все комендатуры и коменданты. Одним словом, Шперлинга (эта фамилия в переводе значит «воробей») бесила независимость фон Бляйхерта. Тот обращался к нему, когда требовалось прислать двух жандармов, и Шперлинг обязан был прислать, — чтобы напустить страху на рабочих и оштрафовать их на символические суммы, за которые, комендант знал, на базаре не купить даже бутылки коньяка. А когда следовало бы угостить коменданта свежими парниковыми огурцами, помидорами, настоящим маслом и творогом, тут фон Бляйхерта близко нет... Независимость новоиспеченного обер-лейтенанта, недавно получившего звездочку на погоны, не нравилась Шперлингу. Примешивались и другие мотивы.

Староста соседней с Вохоновым деревни Большое Сяськелево, чухонец Дубельман, назвавший себя при появлении оккупантов финном, вскоре стал в какой-то мере «родичем» Шперлингу: комендант сожительствовал с дочерью старосты, своей переводчицей при комендатуре. Естественно, староста не раз обращался к Шперлингу за поддержкой.

В доме Дубельмана располагалась служба флак (зенитчиков), предупреждавших Гатчину с наблюдательного пункта на крыше о приближении советских самолетов. Дубельман терпел этих постояльцев, так как они в определенной степени служили ему охраной. Односельчане недолюбливали своего «бурмистра», якобы успевшего осенью сорок первого свести счеты со своими личными недругами из Большого Сяськелева и соседней деревни. Так что основания для беспокойства о собственной безопасности у него имелись. Но, стоявшим у него в доме зенитным наблюдателям приходилось несладко: выпьют, пошумят — Дубельман доносит в комендатуру — и не раз состав звена наблюдателей и их командиры менялись.

«Барон», набирая рабочую силу для штатсгута, после Вохонова, естественно, чаще всего интересовался ближайшей деревней... Как-то фон Бляйхерт и Мартин со мной приехали в бричке в Большое Сяськелево. Предприимчивый унтер еще по дороге заметил несколько крепких финских девушек лет восемнадцати, возившихся на огородах.

Когда бричка подкатила к дому старосты, унтер вызвал Дубельмана. Но раньше хозяйина выскочила его огромная черная собака и вцепилась в Мартина. Тот было выхватил пистолет, но тут выбежал Дубельман. Между унтером и старостой началась перебранка. Мое дело было телячье, и я добросовестно пе-

реводил все выражения, которыми они друг друга «крестили». «Барон» сидел в брочке и до поры не вмешивался.

Вдруг староста, видимо решив, что я перевожу что-то не то, перенес «огонь» на меня: дескать, вшивый пленный, очевидно, «красный комиссар», а то и жид еще, смеет с ним, старостой-финном, так разговаривать?! Поневоле пришлось «отдуплиться».

Дубельман был черный, как цыган из самого черного табора, от града его оскорблений я, тут же переводя свои слова немцам, закипятился и заявил, что сам он — подозрительный тип, а его чернота наводит на мысли, что в его роду, безусловно, были евреи или цыгане, а потому пусть воздержится от оскорблений даже «вшивого русского пленного». Я перевожу правильно и ни одного лишнего слова не прибавляю. Каждый дурак это понимает, а если не понимает, то исключительно в силу своего предвзятого отношения к тем, кто с ним сейчас разговаривает. А в вопросах его национального происхождения еще надо будет разобраться — и разберутся.

Не знаю, чем бы кончилась вся эта перепалка, но тут вмешался обер-лейтенант, накричал на старосту, после чего за пять минут решились все вопросы о направлении в штатсгут нескольких девушек и юношей по усмотрению старосты.

...Примерно через неделю, когда я в совхозном дворе, помогая скотницам, носил воду для коров, неподалеку от нас у забора остановились две легковые машины. Из первой вылез маленький худощавый майор, из второй — два жандарма. Я заметил в первой машине на заднем сидении довольно милостивую женщину лет двадцати пяти не больше.

— Переводчица, — догадался я.

Майор кивнул козырнувшему ему солдату штатсгута, что спросил, и солдат жестом указал на меня. Майор громко крикнул: «Дольмечер Александр!» (Переводчик Александр), — и мне ничего не оставалось, как с полными ведрами воды повернуть к дороге и остановиться перед майором.

— Вы — военнопленный Александр?

— Так точно.

— Сейчас же собирайте свои вещи. Вы арестованы. Быстро. Спорить не приходилось. Жандармы стояли рядом.

— Абэр шнэлы! (Но быстро!).

Я направился к своему чулану, подгоняемый сзади окриками «Шнеллер, шнеллер!» (Быстрее, быстрее). В голове роились мысли — как выкрутиться?.. Бежать было бесполезно: жандармы ждали у дороги. Их оказалось даже трое. Догонят и это только усугубит положение.

Солдат-возчик, указавший Шперлингу (это был он) на меня, находился поблизости. Я его окликнул и буквально приказал: «Стремительно беги к обер-лейтенанту и скажи, что срочно требуют сюда. Только быстро!»

Солдат поспешил к канцелярии. Я же пошел к своему чулану и, скрывшись за угол дома, вовсе замедлил шаг, хотя сзади все время раздавались нетерпеливые окрики Шперлинга.

В чулане я, конечно, не поторопился со сборами (а что было собирать? Шинель, драное одеяло, котелок и ложку?.. Да еще томик пушкинской лирики! Все). Я грустно оглядел свою кофур, ставшую в моем положении такой родной. Присел на топчан и наклонился, будто разыскивая что-то под ним: тянул время...

Под окном раздался нетерпеливый окрик: «Ви ланге вирд эс даурн? (Сколько это еще будет длиться?) «Раус!» (Вон!).

Сверху донесся треск мотоцикла. Это, наверное, ехал «барон». Услышав этот треск, я вышел с узлом, в который собрал свои пожитки, и почтительно стал в отдалении от офицеров.

Майор заявил, что я позволяю себе слишком много для русского пленного, оскорбляю заслуженных людей, в частности, безупречного друга немцев старосту Дубельмана. На основании его донесения, а ему он верит безусловно, меня следует арестовать, перепроводить в полицию, чтобы там меня соответствующим образом «перевоспитали» и указали мое место за проволокой...

«Барон» еле выслушал коменданта и стал ему энергично возражать: Александр действовал не от себя, а переводил и не превышал своих прав. То, что Александр — пленный, ничего в данной ситуации не меняет. Он содержится, как пленный, не получит немецкого «фэрпфлегунг» (пайка), за пределы ограды без конвоя не выходит и в столкновении со старостой Большого Сяськелева лишнего себе не позволил. А если староста оскорбил пленного, выражавшего волю немцев, то право возразить в том же тоне остается за пленным: не немцу же он ответил грубостью на грубость!

Шперлинг досадливо отмахнулся и приказал меня посадить во вторую машину с жандармами. Тут «барон» вскипел, тем более, что комендант вгорячах неосторожно обратился к обер-лейтенанту просто «Бляйхерт», без необходимой частицы «фон».

Последний немедленно придрался к этому, что считалось нарушением правил этикета при обращении к лицам дворянского происхождения и могло довести до офицерского суда чести (смотря под каким соусом будет преподнесено). Оба спорщика, забыв о присутствии посторонних, обменивались упреками. А

когда майор заявил, что у обер-лейтенанта в штатсгуте «всем заправляет русский пленный», фон Бляйхерт указал на сидевшую в машине переводчицу и отрезал, что это лучше, чем если всем округом в комендатуре распоряжается не майор, а «подозрительно близкая ему» женщина...

Шперлинг поперхнулся от злости. Разошедшийся «барон» припоминал одно за другим всякие положения, в которых сказалась нерасторопность коменданта и в довершение всего добавил, что они из разных дивизий, «барон» ему не подчинен. Александр же проверен. С ним беседовали генералы и такие представители немецкой администрации (откуда их выцарапал «барон»?), о которых Шперлинг не подозревает. Короче, пусть майор со своей «дамой» возвращается в Гатчину и не мешает нормальной работе штатсгута.

Оба офицера после еще нескольких обоюдоострых выражений отдали друг другу честь. Машины укатили обратно.

Вот этот-то эпизод, наверное, припомнил Шперлинг, чтобы «подкусить» фон Бляйхерта, амнистировав Шимко. Слава Богу.

* * *

Немцев проходят сотни и сотни. Они на постое в Вохоново, они идут мимо штатсгута. Останавливаются, знакомятся, болтают со мной. Мартин или Райнер ездят со мной по другим деревням. Понимаю, что Мартин любит ездить со мной, будто дрессировщик с редким зверем... Многие сюда прибыли с южных направлений или из-за границы. Смотрят: русский в русской форме, залатанной, засаленной, в пилотке без звезды. Пленный. Рядом с немцем в бричке или на козлах. Это неизменно приковывает любопытство. Пленный роскошно владеет немецким, знает европейские языки, немецкую литературу — лучше любого из них. Он — сын рабочего — получил бесплатно прекрасное образование (оно, оказывается, в Советской России доступно всем?!). Он не вступает в «хиви» или в РОА. Он улыбается, когда пробуют его агитировать, убеждать, что «большевики проиграли войну», что вот-вот придет победа райха. Он не верит в близкое окончание войны. Когда ему доказывают, что «русские не знают», за что они воюют, он спрашивает: «А кто знает?»... Он не чувствовал ни в школе, ни в институте «еврейского засилья» и «гнета ГПУ».

Понимаю, что обнаглел. Уверен, находишь я с таким длинным языком по ту сторону фронта, давно бы понес жесточайшее наказание. Я не верю, что за анекдот можно получить наказание

в виде расстрела. Но для себя я придумал, что за анекдот просидел шесть недель, хотя близко к тюремной камере не был. Да, в институте как-то вызывал меня военрук, по совместительству начальник спецотдела, что ли, спрашивал: не слышал ли я на курсе каких-либо анекдотов, не говорят ли о близости мастера моего Соколова к студентке-красавице Наташе Медведевой? Я, конечно, ничего не слышал, ничего не знал. Военрук, скрививши рожу, отпустил меня, предупредив, чтоб я не говорил о его вызове. Я, конечно, никому, кроме Вальки, не сказал. А незадолго до войны было комсомольское собрание. Стоял вопрос о студенте, выпускнике мастерской Бориса Вульфовича Зона, Ефиме Миндине. Ему оставалось два месяца, если не меньше, до окончания института. Я никак не мог понять, почему его осуждают и спросил: «В чем, собственно, дело?» На меня прикрикнули: «Не притворяйся дурачком!» Но я действительно не знал. Потом мне объяснили: Миндин написал на подоконнике одной из аудиторий стишок:

«Театральный институт —
И кого готовят тут?
Дегазаторов, марксистов
И, как будто бы, артистов...»

У нас в учебе последнее время «жали» на военное дело, на дегазацию, и ходили упорные слухи, что должны ввести обязательное изучение политэкономии, что мало вязалось с нашими представлениями об актерской профессии. С нас по уши хватало «Краткого курса истории ВКП(б)», изучения диамата и истмата.

Ефима исключили из комсомола и института. Зон умолил, чтоб его допустили к экзаменам: разрушались давно подготовленные дипломные спектакли. Миндин временно устроился в районной газете, кажется, в Пушкине. Когда началась война, Миндин вступил в ополчение, был в нашем взводе и, возможно, это спасло его от тюрьмы. Последний раз я его видел, «ан пасант», когда после холминского боя наша рота шла к переправе. Он и еще двое или трое, отбившихся от своих частей ребята стояли в стороне от лесной дороги, по которой мы направлялись к одному из самых диких своих испытаний (в бою у переправы на нас безнаказанно вытряхивали бомбы немецкие пикировщики. Бой стоил сотен и сотен жизней).

Где Ефим? Мы тогда перекинулись двумя-тремя словами, и нас погнали дальше. Где он? Жив ли? Выбрался ли из окружения или попал в плен, где его не пощадили?..

Пленных немцев у нас не убивали. Допускаю, что ка-

кой-либо изверг (были и такие среди нас), конвоируя немца в штаб, мог пристрелить его, отрапортовав, что «при попытке к бегству». На кого нарвешься. А разве у фрицев не то же самое? Все может быть на войне. Мёша, взятого раненым в плен (ранен был в ключицу) вместе с его фельдфебелем (тоже раненым), перевязали, накормили. Унтер-офицер Мёш поверил, что мы их не расстреляем и рассказал, куда они наступают (они перерезали дорогу Луга—Новгород, о чем я не знал), что они из шестнадцатой армии. Я переводил нашему майору Семибратову, командиру полка. Фельдфебель, морщась от боли, хмуро упрекнул товарища: «Чего ты объясняешь? Все равно расстреляют». Я стал его горячо разубеждать. Он только недоверчиво усмехался. А Мёш мне поверил и я верил, что говорю правду. Мёшу из Рура было двадцать пять лет. Комиссар полка тогда вмешался в допрос, проходивший сразу после боя, стал кричать, что пленный врет будто немцы нас окружили, стал, ругаясь, разгонять сгрудившихся вокруг бойцов. Полковой комиссар был не чета нашему любимцу, батальонному комиссару Семенову, участнику гражданской и финской, участнику походов «Ермака», «Сибирякова» и «Челюскина».

Пленных уложили спать под охраной. Неподалеку лежали наш ротный, взводный и я. Ротный записал мои данные для награждения. Мы припоминали подробности только что закончившегося боя и ели трофейные консервы без хлеба. Мы заснули.

Среди ночи я пробудился от нечеловеческого крика. Глухой или приглушенный, он разнесся по тихому лесу. Я вскочил. Крик — уже не один, но опять-таки приглушенный, раздался в темноте слева от нас. Я поспешил туда: в чем дело?

— Немцев добивают, — ответил мрачно один из бойцов.

Я метнулся на крик к тому месту, где лежали пленные. Крик не повторялся. С земли доносилось что-то неразборчивое. Стон. Хрип. Свистящий выдох. И глухие удары. Удары граненых штыков в темноту, во что-то еще корчившееся у ног.

— Перестаньте! — заорал я, забыв, что не имею вообще никаких прав приказывать. — Перестаньте!

— Отойди! — властно отстранил меня комиссар полка. — Уйди! Не твое дело.

— Но, товарищ комиссар полка. Мы же не имеем права... Мы же даем козыри в руки фашистской пропаганде.

— Сейчас же замолчи! — прошипел он. — Они закричали во сне. Они могли выдать наше расположение.

— Но, товарищ комиссар! — меня оттащили. А там, по невидимым в черной темени телам все еще били и били штыками.

Утром, увидев Семенова, я рассказал ему. Он согласился

со мной. Мы уходили. Трупы, очевидно, прикрыли ветками. Мы дали фашистской пропаганде отличный материал. Кто после такого пойдет к нам в плен?

Я долгое время думал, что действительно раненые сквозь сон могли закричать. Лишь позднее я понял, что без приказа часовые не посмели бы сделать такое. Наверное, полководец комиссар, зная, что мы должны через час-другой потихоньку выходить из окружения (нас вывел тогда крестьянин из ближнего села) приказал «тихонько» покончить с пленными, хотя они вполне могли двигаться. А бойцы неловко привели варварский приказ в исполнение. Вероятно, каждый из несчастных получил несколько десятков штыковых ран: кололи в темноте, наугад. А если б раненых взяли с собой, пусть даже их бы затем немцы освободили, но это бы доказывало, что Красная Армия не такая, как о ней трубит доктор Геббельс. А так...

Можно представить, какой взрыв бешенства и ура-патристических чувств вызвало у гитлеровцев зрелище их зверски убитых, беспощадно исколотых товарищей! Да и не только у них такое зрелище вызвало бы ярость и желание сражаться до конца против «вандалов».

Для меня немец переставал быть врагом, едва он оказывался пленным. Он внушал мне сострадание. Я видел в нем человека, попавшего в беду, растерянного, задуренного геббельсовской пропагандой. Понимаю, нам в сорок первом еще не хватало злости... Думаю, мне ее всегда не хватало. Врага я мог убивать в честном бою, убивать, ранить. Но не казнить, не мучить, не издеваться. Не исключено, что это черта «гнилой интеллигенции»...

Я был убежден, что случай с убийством пленных не типичен, а потому с чистой совестью уверял немцев, что если кто из них попадет в плен к Красной Армии, ни один волосок с его головы не упадет. Разговоры на эту тему велись обычно без свидетелей... Но велись часто и со многими...

Мольке поздно вечером снял крюк, запиравший снаружи мой чулан. Мольке завтра отправляли на фронт. Я понял, что он готов перебежать к нашим, но боится, что его убьют. Думаю, мне удалось его разубедить. Вскоре случайно я узнал, что он «пропал без вести при невыясненных обстоятельствах»...

Я сознавал, что не зря владею немецким языком и делаю, возможно, больше, чем сотни наших психологов, подчас так заумно составленных, не учитывающих психологию немецкого солдата. Правда, к концу сорок третьего, даже сразу после Сталинграда листовки стали действеннее. Катастрофа на Волге стала лучшей пропагандой. А затем — другие поражения на

восточном фронте, в Африке, бомбардировки немецких городов... Все это заставляло немцев думать (!) и, хотя страх не позволял им открыто протестовать, но я знал, что именно страх держит простых солдат в рамках повиновения. Они боялись фюрера и его приспешников и... советского плена. В том, что он не грозит их жизни, я сумел многих убедить.

46. ЭРНСТ ВИТТЕРН И ЕВРЕЙКА. ПО ОКРЕСТНЫМ ДЕРЕВНЯМ

У Виттерна в «молькерай» работают Надя Миронова, милая курносая обаятельная девушка лет шестнадцати, блондинка с карими глазами, и вохоновская финка, тоже кареглазая, но черноволосая Мария Манинен, очень серьезная и потому немножко смешная. Мария на полтора года моложе Нади. Девушки крутят сепаратор, помогают Эрнсту сбивать масло, делать затем получиться сыр. Эрнсту очень нравится Надя. Вечерами он, прихватив кусочек масла или сыра, ходит в деревню посидеть у Мироновых. Старший брат Нади — офицер Красной Армии. Жив ли? ...Отец Нади — дядя Костя — высокий горбатый старик лет шестидесяти пяти. Дядя Костя умный, начитанный человек. В противоположность своей жене, доброй набожной Анне Петровне, он — убежденный безбожник. Дядя Костя иногда декламирует, и весьма выразительно, басни Демьяна Бедного, в частности «У батюшки Ипата водились деньжата». Анна Петровна укоризненно смотрит на мужа и тяжело вздыхает.

«Барон» рад бы всю деревню заставить ишачить в штатсгуте, но подчас мешают немцы из других частей, расквартированных в деревне. Почти в каждом доме на постое офицеры — и в большинстве чинами не ниже, а то и выше «Альзо». Хозяева жалуются им, когда «барон» требует их на работу. Постояльцы считают, что хозяева должны их обслуживать, а если те будут в штатсгуте, то будут хуже ухаживать. На самом деле «ухаживания» не играют роли, а просто хозяева дают постояльцам лишний литр молока или яйца, чтоб те за них вступились. В деревне офицеров много. Солдаты расположились в землянках, вырытых в лесу неподалеку от дороги, а начальство — в домах.

Наши самолеты больше действуют ночью и летят в тыл, к станциям, забитым эшелонами.

Иногда днем появляются бомбардировщики. Они проплывают на большой высоте. Но немцы, все равно, хотя ясно, что

эскадрильи следуют в глубокий тыл, прячутся в кусты, в канавы, ложатся на землю. Я стою во весь рост среди дороги.

— Ложись, Алекс!— кричит из-за куста немец.

Я не ложусь. Зачем? Пусть бросят бомбу. Пусть она прямым попаданием разорвет меня на мелкие частички. Пусть следа от меня не останется, чтоб никто не мог поиздеваться над моим телом. Ведь рано или поздно узнают, кто я... и тогда воздадут!.. За все!.. И эти девушки, подростки, все эти люди, наши, не говоря о фрицах, станут свидетелями моей жестокой казни. И Эрнст Виттерн «поймет», почему я вел с ним такие (!) разговоры. И Курт «поймет», и Мольке, и Зауэр, и Тигель, и все остальные солдаты. И все, мною сказанное, пойдет на смарку: кто поверит еврею? Кто из немцев усомнится, что все, что я говорил — ложь?

Убежден: они проиграют. Через полгода-год придут наши. Трудно даже попытаться поверить, что смогу дожить до этого. Но... пока живу. Господи! Приблизь это время! Господи, как долго оно тянется! Я не верю в Бога, но очень хочу, чтобы он был. На груди моей крестик, подаренный Марией Семеновой. Может быть, прежде чем расстегнуть штаны, расстегнут ворот гимнастерки?..

* * *

Двор пуст. Все в поле на работе. Эрнст идет от молочной с высокой черноволосой девушкой. Подзывает меня, просит посмотреть — нет ли в комнате унтер-офицеров Мартинна или Райнера. Я поднимаюсь на второй этаж. Никого.

Эрнст говорит девушке, чтоб она положила его в их комнате, а он сбегает в свою «молькерай» (молочную). Девушка все понимает и отвечает по-немецки. Выговор у нее хороший.

Я остаюсь с ней один на один. Не надо быть знатоком, чтобы сразу определить, что она еврейка. Лет ей семнадцать — девятнадцать. Рослая красавица с большими грустными глазами.

— Вы — еврейка?— спрашиваю я, уверенный, что это так.

— Да,— вздыхает она.

— Зачем вы это говорите?!— набрасываюсь я на нее.— Пытать будут — не смейте сознаваться. Говорите, клянитесь, креститесь, убеждайте, что вы армянка или грузинка. Но не смейте сознаваться (кстати, нос у нее не еврейский). Вы же знаете, что вас ждет!?

— Знаю,— тихо говорит она.— Меня долго скрывали, но больше не могли. Я владею немецким, это иногда выручает.

— Ни за что не сознавайтесь в своем происхождении.
Возвращается Эрнст с кувшинчиком молока, свертками масла и творога.

— Поешьте,— говорит он.— Это возьмите с собой и уходите. Он заворачивает еще полбуханки хлеба и кладет девушке вместе с маслом.

— Ты умеешь молчать, Алекс?

— Эрнст, ты за кого меня принимаешь?

Через несколько минут он провожает ее к перекрестку и возвращается задумчивый.

— Никому не говори, Алекс, хотя вряд ли она спасется: слишком похожа...

— А я решил, что она армянка или грузинка.

— Ты ничего не понимаешь, Алекс. Вот я ненавижу евреев. Но при чем же тут женщины, дети?!

Мне так тяжело. Как бы я хотел открыться... Уверен, Эрнст никому бы не сказал. Но уже сознание того, что кто-то знает, лишало бы меня безграничной раскованности: я вошел в роль и жил ею.

— Дорогой Эрнст, я ваших «расовых теорий» не принимаю. Это чушь. Предки нашего великого Пушкина были неграми, поэта Лермонтова — шотландцами, Жуковского — турками, мать величайшего русского полководца Суворова — армянка, предки Ленина — шведы или немцы, Гоголя — поляки, основатели Петербургской и московской консерваторий — евреи, пусть крепченые, великие русские патриоты-полководцы сплошь и рядом были прибалтийцами, немцами, кавказцами. Уверен, если бы лучше знал историю Германии — и там бы нашел тьму примеров инородных происхождений, веяний и влияний у великих ученых, артистов, государственных деятелей. Среди немцев, как и среди всякого другого народа, хватает стяжателей, трусов, продажников — уверен!

— Да-а, Адольф считает, что самый опасный — это «белый еврей» («айн вайсер юд»): к нему не придержишься за происхождение, но эксплуатирует такой почище жида — и безнаказанно!

— Вот видишь!

Ни Эрнст, ни я никогда не узнаем, удалось ли спастись этой бедной еврейке. Остаться здесь ей было слишком опасно, губительно: наличие вокруг людей, готовых при первом удобном случае выслужиться перед оккупантами, грозило быстрой расправой.

Домашние Нади Мироновой готовились отметить ее день рождения. Надя и дядя Костя попросили «барона», чтобы он разрешил мне прийти, пусть с конвоиром. Но обер-лейтенант отказал: «Военнопленный не имеет права».

После празднования Эрнст рассказывал, что сам обер-лейтенант явился в парадной форме со своей неизменной улыбкой за стеклами очков, уселся рядом с родителями, ел, пил, чокался. Подарка не принес. Ушел довольный. Но и Эрнст, и еще два-три приглашенных немца, не говоря о всех гостях-односельчанах, чувствовали себя стесненно.

«Барон» и все немцы штатсгута надевают парадную форму, когда по воскресеньям у себя наверху «барон» устраивает танцы. В штатсгуте остаются только часовые и патрулирующие.

Танцы кончаются с наступлением темноты. Многие немцы провожают девушек домой. Некоторые ухаживают за девушками, как Эрнст за Надей или Антон Хингар за Аней Константиновой, но, кроме милых улыбок, ничего не могут добиться. Тоня Дорофеева ведет себя так, что никому даже в голову не приходит к ней подступиться. Только издали вздыхают: хороша!..

Девушки возвращаются с поля. Впереди — Тоня, распевая:

«Пусть враги, как голодные волки,
У границ оставляют следы:
Не видать им красавицы-Волги
И не пить им из Волги воды».

Девушки хором подхватывают припев. Немцы смеются. Им нравится песня. Они спрашивают, о чем она. Я объясняю. Немцы наслышаны о знаменитой Волге, обожают песню о Степане Разине «Из-за острова на стрежень». Новую песню они воспринимаяют как естественное продолжение серии песен о Волге. А там уже идут бои. Все чаще повторяется немцами слово «Сталинград». В журнале вижу снимок: солдаты вермахта в дозоре на берегу Волги. Дошли-таки, проклятые...

Несколько звеньев наших бомбардировщиков проплыли над головами. Вскоре за Елизаветином забухали зенитки, грохнули разрывы бомб. Потом раздался рокот низко летящего самолета. Появился наш бомбардировщик. В хвост ему впился мессершмидт. Сверкнули язычки огня из орудий самолетов. Вдруг лисьим хвостом вспыхнуло пламя на бомбардировщике. Он резко взмыл вверх, прямо, встал огромным черным крестом против солнца и сразу перевалился на бок и на нос и, оставляя чернорыжий шлейф огня и дыма, стремительно рухнул в лесу,

не далее километра от деревни. Над лесом поднялся огромный черный гриб. Прогредел взрыв. На глазах всей деревни погибли наши летчики. Такое видели не раз. И всегда эта гибель оставляла тягостное впечатление, и люди наши опускали головы; взгляды гасли. Не хотелось вспоминать виденное, говорить вообще.

В немецких газетах отмечается «цэр видерштант дер большевикен» (отчаянное сопротивление большевиков). Уже не «руссен», а «большевикен»... Знаменитые фашистские асы погибают друг за другом. Удэт, Мельдерс, Граф, Марсель... В газетах полно «боевых эпизодов», в которых то некто ефрейтор Ризе, то еще какой-либо солдат из непроверяемой дали уничтожает десятки советских танков. Среди немцев ходит шутка о геббельсовской пропаганде — целый набор «боевых эпизодов», — в которых некий «ефрейтор Арш» (ефрейтор Жопа) совершает сказочные подвиги. Сообщают мне эти хохмы, оглядываясь. Но замечаю, что мне они доверяют больше, чем друг другу.

Мартин постоянно настраивает «барона» против Эрнста.

Обходя штатсгут — с этого обер-лейтенант всегда начинает рабочий день, и я должен сопровождать его, — «барон» придирается, что не увидел в «молькерай» кого-то из работниц. Эрнст объясняет, что по уважительной причине разрешил ей остаться дома, тем более, что сегодня дел немного и можно справиться без отсутствующей.

Обер-лейтенант вскипает: какое право имеет унтер-офицер освобождать русских от работы?

Эрнст пытается оправдаться, но «барон» дает волю гневу.

На грубый тон обер-лейтенанта Виттерн отвечает возражениями. В конце концов каждый припоминает другому всякие допущенные нарушения. «Барон» уходит в бешенстве, кинув на прощание, что отправит Виттерна на фронт. Эрнст говорит, что найдет управу на обер-лейтенанта.

Виттерн пишет в штаб жалобу; так как безусловно прав.

— Увидишь, — убеждает Эрнст, — его царство кончится. Я ему припомнил его бесконечные нарушения дисциплины и его сожительство с Марией В., и ручаюсь, его отсюда выгонят.

— А я убежден, что загремишь отсюда ты. В штабе все поддерживают его. Он дворянин, офицер.

— У нас это роли не играет. Фюрер сказал...

— Фюрер сказал, что война будет блицкригом, — прерываю я. — А у «блица» (молнии) конца не видно. Помяни мое слово: тебя отправят на фронт, а фон Бляйхерту ничего не сделают.

Недели через полторы Виттерн вечером зашел в мой чулан проститься.

Он налил в солдатские кружки коньяку. Мы чокнулись.

— Желая тебе, Эрнст, остаться живому, а твоей Германии — проиграть войну. Не обижайся: что думаю, то говорю.

— Я тебе иногда буду писать, Алекс. У меня есть земляк в части, которая стоит в Луйсковницах. Это километров пять отсюда. Он тебе доставит письма. После войны приезжай ко мне в Гамбург. Будешь дорогим гостем. Впрочем, ты к тому времени станешь знаменитым артистом и таких, как я, знать не захочешь.

— Эрнст! Ты слишком плохого мнения обо мне. Но, увы, за то, что смогу приехать в Гамбург, не ручаюсь. У нас с выездом за границу — жуть как трудно. Я бы очень хотел повидать другие страны, попутешествовать. Но у нас никто не ездит, никого не выпускают. Разве что после войны станет с этим легче.

— Но мы же должны победить!

— Эрнст, вы уже проиграли.

— Сталин после войны тоже не удержится.

— Удержится. Мои предчувствия не обманывают.

Уходя, Виттерн швыряет мне под толчан фуражку с высокой тульей, вроде офицерской. На черта она мне?! Впрочем, пусть лежит. Под нары никто не заглядывает, а уборку я делаю редко... Пусть валяется...

Мы обнялись. Эрнст уехал.

...Ложится снег. Идет второй год плена. 21 ноября Михайлов день, престольный праздник в деревне. На Дмитрия Витюшке стукнуло четырнадцать лет. Вечерами, когда «барон» уезжает куда-то в свой штаб или в Гатчину, Витюшка приходит после работы ко мне и до темноты я ему рассказываю «Три мушкетера», «Отверженные», «Князь Серебряный». Школа для подростков завершена. Четыре класса было — хватит...

Вместо Эрнста заведовать «молькерай» «барон» ставит Карлушу Ценнига, и тот добросовестно старается вникнуть в новое для него дело. Вместо Нади Мироновой и Марии Манинен оберлейтенант также назначает других девушек. Но это дела не меняет. Новые молочницы такие же милые вохоновки и, если мне удастся заскочить в «молькерай», они, как и сам Ценниг, смотрят сквозь пальцы на то, что я проворно запускаю руку в бочку с творогом, хватаю горсть — и в рот. Для «молькерай» это ничто, а для меня — еда! Семидневный свой хлеб я обычно отдаю за починку сапог, гимнастерки, штанов... Хлеб — мера всех вещей. Его не хватает. За все платят хлебом, коньяком, шнапсом. Последние два не по моей части...

Недели через три приезжает мотоциклист, унтер, заходит во двор, спрашивает меня. Мы знакомимся. Он передает мне от-

крытку от Эрнста. В ней ничего особенного. Скучает по Вохову, по Наде. Просит передать приветы ей и ее родителям. Добром вспоминает меня и надеется, что в жизни мы еще встретимся.

— Если что нужно, если чем сможем помочь, обращай ко мне, — предлагает приятель Эрнста, — всякое может случиться, особенно у тебя (он подразумевает, что я пленный). А я думаю, что если случится самое страшное для меня, то никто мне помочь не сумеет да и не возьмется...

Наскоро пишу ответ Эрнсту. Унтер обещает наведываться. Объясняет, как дать ему знать, если понадобится помощь. Мы ждем друг другу руки, и он уезжает.

От весточки Эрнста на душе теплее: приятно знать, что тебя помнит хороший человек. Догадывался б он, кто я...

Проклятая война! Проклятая политика!!! И все ее «идеологические» прикрытия! Люди есть люди. Почему они должны быть разьединены, почему их натравливают друг на друга, заставляют людей, которые могут быть настоящими друзьями, угнетать, уничтожать друг друга!? Цивилизация!.. Все эти орденоносные дипломаты, великие политические деятели — лгуны и лицемеры. Ни один, самый страшный и бессовестный бандюга не насчитает столько жертв своей кровожадности, сколько на счету рядового дипломата, стравливающего целые народы и государства, из-за нефти, угля, всякой всячины, прикрываемой «идеями». Недаром Гейне писал: «Умные выдумывают идеи, дураки их распространяют». А умные — добрые???...

В штатсгут прислали польских «хиви». Человек двадцать. Крестьянские парни, мобилизованные немцами. Получают солдатский паек, одеты в форму, похожую на немецкую. Здоровенные ребята, работающие. Особенно выделяется огромный рыжий детина. С ними я осторожен. Есть поляки, объясняющиеся по-немецки: их оккупировали еще осенью тридцать девятого. Разместили «хиви» отдельно от немцев в отремонтированном домике, где раньше жила Якобсон с детьми до отъезда в Эстонию. Сперва поляки держатся обособленно. Затем все чаще начинают наведываться в деревню, пытаются ухаживать за девушками. Но те понимают, что и немцы, и поляки — «временные»... Танцевать вечерами танцуют, но больше — ни-ни и даже провожать себя не позволяют, хотя провожать-то — сто — двести шагов: вся деревня сорок шесть дворов.

— Их гляубэ, зи вэрден Шталинград айнкассирэн. (Я думаю, они «приберут» Сталинград), — слышу я разговор немцев. В газетах на русском языке ничего, кроме победного крика, пока не выделяется. Но в немецкой прессе заметные тревожные

ноты. Все чаще ссылки на «коварство большевиков и союзников».

Обер-лейтенант — страстный охотник. Как-то ему удается подстрелить двух зайцев, и повар готовит на весь взвод внеочередной обед. Зайцев в округе, как и лисиц, полно. Но последних подстеречь труднее. Подстрелив однажды вместо волка большую собаку, «Альзо» приказывает отнести ее дяде Алексею Иванову, портному, чтобы тот снял шкуру, а в награду «за труды», так и велел передать «Альзо», мясо взял себе.

Когда в сопровождении неизменного конвоира я отнес дяде Леше убитую собаку и в точности передал слова «барона», портной пришел в бешенство (к тому времени с питанием стало лучше, да и предыдущей зимой до собак и кошек крестьяне все-таки не доходили).

— Сам он — собака! — заорал портной. — Пусть сам и жрет! Отнеси ему собачье мясо, пусть слопают и подавятся!

— Дядя Леша, не кипятись. Придет время — они и этому мясу будут рады. А пока сними шкуру и не ругайся с «бароном». Оттого, что я верну ему мясо с твоими «примечаниями», толку не будет: он же считает всех нас низшей расой. Помещик. Феодал. Что с него возьмешь? — и я выругался зело матерно, как и портной.

Ковоир переводил взгляд с одного из нас на другого и, хотя, кроме матюгов, ничего не разбирал, но догадался, о чем речь и почему кипятился дядя Леша. Немец сочувственно покачивал головой: он больше понимал, чем обер-лейтенант, он сам был крестьянином и помещиков не любил.

Обер-лейтенант выпрашивает про глухариную охоту. Но сейчас не сезон. Надо ждать весеннего тока. Да и глухарей здесь нет. А тетерева часты. Местные охотники теперь все без ружей. Изъяли.

...Степан Струков не только тракторист, но и парикмахер. Степка стрижет и вохоновцев и немцев. Подрабатывает. Меня стрижет бесплатно. Волосы у меня вьющиеся. Степан удивляется: «Густющие, черные, как у кавказца» (слава Богу, что не как у еврея...). Объясняя, что мать моя из казачек, а на Кубани все черные. Мои волосы были светлее до сыпного тифа (это правда), а после болезни стали виться мелкими завитушками (говорят, такое действительно происходит).

В редкие моменты, когда мне удается поглядеть в осколок зеркала (бреюсь я использованными лезвиями, которые мне дают солдаты), сам ужасаюсь черноте своих волос. До ухода на фронт, до стрижки, они были каштановыми. Усы у меня рыжеватые. Брови черные. Пилотка не может прикрыть черноту

волос. Правда, когда Степан подстриг меня под бокс или в этом роде, порядочно сняв с боков и сзади, я стал выглядеть светлее. Слышал, если вымыть волосы перекисью водорода, они посветлеют. Как-то зашел косоглазый фельдшер Кребс из Микино, деревни в полутора километрах от Вохонова, где жил дядя Миша — шустер (сапожник). Я попросил немного перекиси, объясняя, что буду разбавлять и полоскать горло: я ведь артист. Фельдшер принес малюсенький пузырек. Я вымыл голову, плюхнув все его содержимое в таз. Увы, волосы не посветлели. Вероятно, я не умел пользоваться перекисью, да и было ее с гулькин нос.

Девушки и женщины обращают внимание на мои вьющиеся волосы. Как-то раза два по утрам я показывался на разводе, «забыв» вытащить из волос все «папильотки», бумажки из газетной бумаги, кое-как скрученные и засунутые в волосы. Вскоре узнал я, что волосы у меня вьются, потому что я их «искусно завиваю»: артист... Это мне и было нужно.

* * *

Наши поездки с Мартином и обер-лейтенантом по окрестным деревням продолжаются. Жители вокруг преимущественно финны или эстонцы. Русские встречаются редко. Заехав за Большое Ондрово, в чистенькой деревушке, встречаем лесника, молодого, лет двадцати восьми, тридцати, с интеллигентным лицом, вьющейся темной бородкой и вьющимися волосами. Я чувствую, что он еврей. Жена его — милая маленькая женщина с ребенком на руках, явно русская. Его фамилия Зенков. Они из беженцев. Он немного говорит по-немецки. Мы знакомимся. У него добрые голубые глаза, глубокие и грустные. Лесник отвечает на вопросы обер-лейтенанта. Заметно, что он специалист, знает и любит свою профессию. К счастью, деревня эта в километрах десяти от Вохонова и ее жителей жадным до рабочей силы Мартину и «барону» привлечь к работе в штатсгуте нельзя.

На Зенкова обер-лейтенант производит хорошее впечатление (когда «барон» хочет, он умеет быть обаятельным, тем более, что «Альзо» угощает его сигаретами — редкая расточительность!).

На обратном пути, едва мы отъехали, как Мартин заявил, что по его мнению лесничий — еврей и странно, что им до сих пор не занялась комендатура. Обер-лейтенант морщится.

— Типично русское интеллигентное лицо, — вмешиваюсь я. —

Посмотрите на лицо Достоевского — копия, на лицо Ивана Грозного в известной картине Репина. Типичный интеллигент.

— Пожалуй, да,— соглашается «барон».— У русских раса выражена очень многообразно. Сказалось татарское влияние. Вот недавно у нас в журнале доказывалось, что Ленин с какой-то стороны тоже татарского или башкирского происхождения.

— По-моему, со стороны матери он шведского или немецкого,— осторожно вставляю я.

Фон Бляйхерт прищуривается: «Н-да-а, что-то тоже слышал».

Про себя я убежден, что Зенков еврей и мне как-то тревожнее, больнее и теплее на душе: где-то есть еще человек, вроде меня, скрывающийся, и, возможно, более несчастный, потому что у него еще малютка-ребенок и жена. Семья. Хорошо, что он в такой глуши, еще дальше от города, чем Вохово, в стороне от больших дорог. По-моему, в той деревне немцев или нет или совсем мало.

Мы продолжаем объезд округи. В одной деревне старый барский дом. Пустой. В хорошем состоянии. В зале стоит великолепная фисгармония с тридцатью шестью регистрами. По очереди, «барон» и я, пытаемся играть. Обер-лейтенант играет весьма прилично, лучше меня. Появляется девушка лет восемнадцати-девятнадцати, русокопая. Кажется, ее фамилия Грудова. Она превосходно говорит на немецком, финском, эстонском языках. Она смотрит на меня сочувственно. По-моему, она финка или эстонка. В каждом ее слове ощущаю симпатию не просто к русскому пленному, но и вообще к России. Нам удается перекинуться несколькими фразами о Ленинграде, о довоенном прошлом. Оно кажется далеким и прекрасным. Больно и приятно его вспоминать. Девушка спрашивает как со мной обращаются. Я отвечаю, что хорошо. Но, кажется, она, глядя на Мартина, не очень верит моим словам. Мы прощаемся. Обер-лейтенант подчеркивает, какой он либерал, что позволил мне в его присутствии поговорить «о посторонних вещах» с незнакомой девушкой (знал бы он, о чем я говорю не в его присутствии с вохновцами и с его солдатами?!).

В Малое Одрово приехали только Мартин, конвоир и я. Зашли в помещение школы. Это большой одноэтажный крестьянский дом. В классной комнате стоит пианино. Привычно сажусь за инструмент. Мартин ничерта не смыслит в музыке. При нем можно «виртуозничать». «Барон» не потерпел бы такой левой руки в аккомпанементе при исполнении классики «на слух», я это сразу понял, когда он сидел за фисгармонией.

Учитель Николай Иванович Орлов вздыхает: инструмент есть, а играть некому. Как заниматься с детьми музыкой?

— А не отпустит ли барон тебя зимой на уроки музыки в школу?— спрашивает он.

Я перевожу его вопрос. Мартин и конвоир смеются, я улыбаюсь: не из того теста обер-лейтенант.

47. «ЧУМА», «ЯЩУР» И РУССКАЯ БАНЯ. ОПЯТЬ О ЕВРЕЯХ...

В моей конуре холод неопиcуемый. Сквозь стенку из неплотно пригнанных грубых досок ветер вдувает снег. Наконец, кто-то догадался, и дядя Федя починил развалившуюся печку, а по-верх кирпичей положил лист железа. Вечером, идя в свой чулан, натаскиваю щепок, дров и растапливаю печку. Но уже к полночи в стоящем на ней высоком кувшине вода превращается в огромную сахарную голову льда.

Тигель, будучи часовым, заметил, как я, скорчившись, одетый, укладываюсь спать, и притащил из конюшни попону. Это были блаженные ночи. Но длились они недолго: другой дежурный, помнится, «ретивый» Баум заметил попону и поднял шум: «Русский пленный укрывается теплыми попонами наших лошадей». Возразить никто не мог. Шум прекратился. Попону забрали.

Поражает обилие у немцев конной тяги. Мне почему-то кажется, что огромные лошади вермахта непривычны к нашим морозам и менее симпатичны, чем наши небольшие русские лошадки, еще имеющиеся у крестьян.

Как-то поехали в сторону Жабино. Где-то не очень далеко от этой русской деревни, как и Вохоново, окруженной чухонскими, проходит фронт. Там знаменитый «Ораниенбаумский плацдарм». При приближении к деревне мне чудится, что слышны выстрелы и разрывы.

Но не успели подъехать к Жабино, как я увидел щиток с надписью «Чума!». Я резко натянул поводья. Лошади остановились.

— Пест (чума),— повернулся я к моим спутникам.

— Мауль унд кляуэнзойхе (ящур),— спокойно возразил обер-лейтенант.— Это для людей не опасно. Но для конных обозов, для скотины это очень опасно. Впрочем, надпись старая. Поехали!

В Жабино никто не обратил на нас внимания и, не доложив о себе ни старосте, ни представителю немецких войск, мы повернули обратно.

Всю дорогу обер-лейтенант молчал. Мне подумалось, что его смутила и навела на раздумье надпись на придорожном щитке: ящур...

С ветеринарами, русским и немецким, я встречался не раз. Из Кикерино, села соседнего Волосовского района, приезжал в штатсгут пожилой, очень полный ветеринар со своим молодым помощником. Пожилой был главным ветеринаром района или округа. Приезжали и немецкие ветеринары. Чаше других посещал штатсгут один обер-ветеринар, вскоре ставший штабс-ветеринаром (чин, равный хауптману), симпатичный австриец лет тридцати двух — тридцати пяти. Он был гебиргсйегером (из горнострелковых частей). На фуражке у него изгибалась металлическая эмблема горных стрелков — альпийский цветок эдельвейс. Штабс-ветеринар, как я понял из разговоров с ним, отнюдь не увлекался фюрером и его политикой. Мне доводилось переводить штабс-ветеринару, когда он по просьбе крестьян осматривал их коров. Делал он это охотно, тем более, что всегда ему за консультацию давали или несколько яиц или кусочек масла, нелишние даже в рационе офицера. Как и со всеми, могущими пригодиться людьми, «барон» поддерживал с ветеринарами хорошие отношения.

Случилось так, что у Шуры Алексеевой, вскоре после нашей поездки в Жабино, заболела телка. Придя на развод, Шура попросила меня перевести дежурному унтеру просьбу вызвать ветеринара.

Унтер, не ручавшийся, что «старик» пойдет навстречу, все же доложил. К удивлению, обер-лейтенант живо заинтересовался болезнью телки; сам, с Мартином и со мной пришел на двор к Алексеевой; осмотрел, правда, не касаясь, телку; переглянулся с Мартином, покачал головой и я снова услышал слова «мауль унд кляуэнзойхе» (ящур).

Придя в канцелярию, обер-лейтенант приказал мне написать в Волосово главному ветеринару записку на двух языках. Фон Бляйхерт подписал немецкий текст.

Через день или на следующий же день главный ветеринар со своим помощником прибыли. Сперва «барон» пригласил главного ветеринара к себе; поговорил с ним; приказал угостить его обедом с немецкой кухни; дал бутылку коньяка. Затем обер-лейтенант в сопровождении Мартина, унтер-офицеров Райнера и Эггерта и, конечно, меня отправился к дому Алексеевой. Вся «комиссия» вошла в сарай, где лежала ничего не подозревавшая телка. Фон Бляйхерт стал через меня рассказывать о симптомах ящура и необходимости соблюдать край-

нюю осторожность, так как в штатсгуте множество лошадей, овец, коров, свиней и так далее.

Ветеринары отлично поняли, что от них требуется. Они привезли с собой дезинфицирующие жидкости и тут же, у входа в хлев, побрызгали на пол, на стены, на тряпку у порога. Все присутствующие тщательно вытерли ноги об нее и отправились обратно. Телку, чего боялась хозяйка, резать не стали; дали немного какого-то безобидного питья и кучу всяких советов.

В канцелярии главный ветеринар оставил официальную бумагу о том, что зафиксирован случай ящура и необходим длительный карантин для всей скотины деревни Вохоново и штатсгута.

Следом за русскими приехал симпатичный штабс-ветеринар австриец. Обер-лейтенант предварительно побеседовал и с ним. Затем офицеры в сопровождении меня проследовали к телке. С порога хлева штабс-ветеринар окинул взглядом «пациентку», кивнул головой; вся «комиссия» вытерла ноги о тряпку, смоченную дезинфицирующей жидкостью. Я опять перевел хозяйке кучу полезных советов, и мы ушли.

Во все стороны от Вохоново на всех дорогах были установлены щитки с надписями о том, что для конных обозов, для любого вида конной тяги проезд строго воспрещен ввиду эпидемии ящура.

«Эпидемия» не распространилась, не помешала привозу в молькерай молока со всех окрестных и вохоновских коров; не помешала являться в штатсгут рабочим из других деревень и даже приводить с собой скот к племенному быку, жеребцу и козлу. Правда, на утренней разрядке я раза два переводил объявления о необходимости соблюдать меры предосторожности, в связи с опасностью распространения эпидемии ящура. Сперва жителям других деревень даже предлагалось приходиться на работу не по той улице, где благополучно здравствовала виновница карантина. Затем все вошло в свою колею. Но щиты, предостерегавшие и запрещавшие любым видам конных подразделений посещать Вохоново, остались. На многие месяцы деревню оградили от постоя оккупантов, благо чуть не все их части имели в своем распоряжении лошадей. Легче вздохнули в фон Бляйхерт, вечно ссорившийся с офицерами, квартировавшими в Вохоново, и жители, которым не меньше хлопот доставляли постой. Даже движение автотранспорта через деревню сократилось: на колесах машин можно было разнести бактерии ящура. В общем, на длительное время наступала полоса относительного спокойствия. Конечно, машины гат-

чинской или войсковицкой комендатур нет-нет да проскакивали через «зараженную местность»; вохоновцы беспрепятственно ездили на базар или по личным делам в близлежащие поселки (за пределы «бецирка» (района) они могли выезжать только по специальным пропускам комендатур).

«Яшур» стал причиной несвоевременной доставки продуктов и боеприпасов различным подразделениям. Что ж, интересы обер-лейтенанта и мои (да и вохоновцев) сошлись.

Рабочим, приезжавшим иногда из соседних деревень на утренний развод в дровнях, предложили временно пользоваться другим транспортом. Зимой большинство из них приезжало на финских саночках, стоя одной ногой на одном из полозьев, держась руками за высокую спинку саней, а другой ногой отталкиваясь. Так ездили быстро — и молодежь, и пожилые. Летом почти все приезжали на велосипедах. Меня удивило, что здесь все имели их и умели на них ездить. Мне велосипед казался роскошью. До войны я только мечтал его иметь.

Почему я спокойно сплю? Мне не снится то, что преследует меня днем: разоблачение. Снится все, кроме него.

За окном — поле. За ним деревня Муттолово. В том направлении Красное село. Я видел обычное с угрозами распоряжение красносельской комендатуры, подписанное комендантом — фон Кляйст-Ретцов. Неужели это потомок знаменитого Клейста, романтика, автора «Разбитого кувшина»; так радовавшего ленинградских зрителей-ребятишек? Мне чудится ночью, что оттуда, из-под Красного села, доносятся звуки канонады. Я верю: наши придут оттуда. Я часто-часто смотрю в ту сторону. Там Ленинград — лучшее воспоминание моей жизни. Театральный институт. Мастера. Преподаватели — друзья на всю жизнь. Первое письмо на фронте я получил от Елены Львовны Финкельштейн (Куниковой). Она сообщала, что отправила посылку. Конечно, я ее не получил. А письмо храню. Только надорвал сверху, где стояло «Рафа»...

В бане я моюсь после немцев. Тетя Маша готовит баню. Сперва моется обер-лейтенант, затем — унтеры, после них — солдаты. Остатки — мои. Стоящий снаружи немец поторапливает. Обычно баня вечером. Темно. Не опасно.

У Манинена баня на самом краю парка, примыкающего к постройкам штатсгута, возле дороги на Малое Ондрово. Старый Оскар Манинен предлагает: «Ты бы, Ликсанд, сходил ко мне в баню. У меня ваш барон мылся. Ему понравилось. Унтеры тоже ходят. Чего бы тебе не сходить? Попроси, чтоб отпустили. Сегодня мы топим для себя. Приходи».

«Для себя», значит, обойдутся без немцев. Это меня прель-

щает. Обер-лейтенант поехал в штаб: сегодня не вернется. Отпроситься у Мартина можно. Он сквозь пальцы посмотрит на то, что я буду мыться на краю совхозной территории. Сбежать нельзя: в Малом Одрове, в Муттолове,— везде фрицы и их пикеты.

Мартин разрешает. Я захожу в горячо натопленную баню, не спеша, раздеваюсь в предбаннике, захожу внутрь, укладываюсь на полку. Красота! Только-только начинается вечереть. Лежу и задумываюсь о своем.

Вдруг дверь предбанника отворяется. Заходят унтер-офицер Эггерт, повар Ланге и Хингар. «Повезло!»... Тот самый Эггерт, который мне объяснял: «Чем можно каждого еврея от православных отличить». ...Хингар и Ланге в этом отношении тоже собаку съели.

— Хо! Алекс, ду бист хир?!— всовывает в дверь длинный нос смуглый Ланге. (Хо, Алекс, ты здесь?!).

— Яволь!— бодро отвечаю я.— Верден цузаммен баден (будем купаться вместе).

— Гут, гут,— влезает в баньку Хингар. Вслед за ним, пригнув голову, сгорбившись, лезут остальные.

Я плеснул на камни еще один ковш. Поднялся пар. На полке стало нестерпимо жарко.

— Толлер Алекс! (Бешеный Алекс),— взвыл Эггерт.— Эс ист цу хайс. (Слишком жарко!).

— На, на, зи мюссен дох маль айне эхт руссише зауна прюфен. (На, на, должны же вы разок испытать настоящую русскую баню).— Я плеснул еще один ковш. Немцы приникли к полу. Сверху я, улыбаясь, слежу за ними.— Ви гейтс? (Как дела?).

— Алекс, ду бист феррюкт. Дас ист унфэртреглич (Алекс, ты сошел с ума. Это невыносимо).

— Алес руссише ист фюр зи унфэртреглич. (Все русское для вас невыносимо),— наглею я. И, когда они, чертыхаясь, поспешно ползут к выходу, кидаю: «Эх зи, юдэн!» (Эх вы, жида!).

Обалделые немцы, наскоро одевшись, выскакивают из бани. После их ухода я, тоже обалделый, приоткрываю дверь в предбанник.

* * *

Девки!.. Они мне снятся. Их много вокруг, красивых и лукавых. Но я никогда не бываю один. Все время рядом конвоир или другой немец, от унтера до фон Бляйхерта. Нередко я про-

сыпаюсь, когда мне уже приснились встречи с женщинами... Когда я смотрю на них, разговариваю с ними, чувствую, даже голос мой меняется, внутри к самому горлу подступает волна нежности, горячая, невытребованная жажда желания. Никто, очевидно, об этом не догадывается. Шучу. Смеюсь. Чуть оберлейтенант или Мартин в сторону, копирую их и прочих «гостей». И никто не замечает, что появившееся вдалеке облачко пыли от немецкой машины уже совершает в моей душе переворот, уже кажется мне едущим разоблачением, медицинской комиссией или посланцами комендатуры, которым поручено проверить мое происхождение. И тогда все. А я смеюсь. Я не могу без смеха, без игры. И все понимают: Александр — артист. Артист должен быть веселым. С оберлейтенантом я серьезен, с Мартином и Райнером — почти так же серьезен, с солдатами — весел, а с нашими — очень весел! Знаю: они любят меня за это, за стихи и песни, за то, что ненавижу «гостей», что явно не верю в их царствие.

— Почему ты, Сашка, не вступаешь к ним в «хиви»? — спрашивает надоедливый староста.

— А как наши придут — что мне тогда? — отвечаю ему вопросом на вопрос. — Креста на мне нет, что ли? Я ж присягу давал. Напоминание о кресте не лишнее, а присяги я, честно говоря, не давал, как и другие наши первые ополченцы. Не до того было. Торопились заткнуть брешь на фронте.

Мое упорное неверие в их победу производит впечатление на всех вохоновцев. Матвей Федоров отказывается вступить в немецкое «хиви» для цивилистов (гражданских), Павлик Наукас тоже отказывается. Когда им предложили, они пришли ко мне и я им отсоветовал: все равно, наши придут. Лучше работайте в штатгуте.

Иногда «скользкие» разговоры приходится вести в присутствии немца, кое-как разбирающего по-русски. Но язык наш так богат синонимами, что обойти зыбкие знания иностранца не представляет труда. Вместо «замолчи» можно сказать «заткнись», «придержи язык», «онемей», «набери в рот воды» и еще многое. Вместо слова «доносить» есть «докладывать», «ябедничать», «наушничать», «фискалить», «сообщать» и так далее. Рядом стоящий немец будет напрасно пытаться уловить соль разговора и этим я умело пользуюсь. Впрочем, замечаю, что немцы не очень-то пытаются изучить русский. Зачем? Есть Алекс. Чуть что — «Алекс, переведи». А наши девчата, хотя со смехотворными ошибками, но порядочно понимают уже по-немецки и даже объясняются, хотя предпочитают тоже, чтобы «перевел Сашка». Хуже всего они понимают то, что им не по

вкусу, особенно касательно работы. Тут они и Райнера, а то и Антона Хингара «не понимают»... Одним словом, я нужен всем. Даже когда в деревню на постой прибывают новые части, староста просит фон Бляйхерта, чтобы «Ликсандра перевел, объяснил» и нередко «Альзо» отправляет меня в сопровождении конвоира переводить старосте или немецкому офицеру. Не скажу, чтоб это мне нравилось: повторяю, каждое новое знакомство таило для меня опасность. Свежее впечатление очень объективно и (для меня) опасно. Новый офицер, еще не привыкший ко мне, может заподозрить в моих чертах что-либо и... Правда, когда немец или не немец слышит: «Мы позовем русского пленного, он хорошо знает немецкий»,— это уже говорит о том, что тот, кого позовут, русский и спрашивать о его национальности смешно.

* * *

Немцы говорят, что нашей авиации больше, что наша артиллерия лучше. О последней я это слышал давно. Один немецкий летчик еще в конце сорок первого в лазарете говорил мне, что наши «ратас» (ястребки) более подвижны, и он бы предпочел летать на них.

В газетах пишут о новых эмге (пулеметах), еще более скорострельных, о «небельверфер» («туманометах», которые немцы пытались безуспешно противопоставить нашим «катюшам»), о новых, еще более скорых мессершмидтах. Давно ушли из леса возле Вохонова располагавшиеся там части. По-моему, их перебросили на другой фронт. О штурме Ленинграда больше не болтают. Но где-то у Волги идут жестокие бои...

— Скоро война кончится,— пророчествует Курт, маленький крестьянин, еще недавно выражавший опасение, что «русские долго продержатся».

— Россия не кончается у Волги,— возражаю я.

— Увидишь, Алекс, мы победим.

— Курт, я не уверен, что буду так долго жить.

Нет, Сталин не сдастся. Ему нельзя сдаваться: его вздернут, как Кагановича, как все его окружение. Спасая свои шкуры, они на мир с Гитлером не пойдут. Уверен.

— Сталинград взят!— кричит Эрих Баум.— Скоро, Алекс, твои большевики сдадутся.

— Почему они «мои»? И почему «сдадутся»?

— Но ты же поднял руки.

— Я рук не поднимал. Меня захватили в плен, и я не был вынужден их поднимать.

— Но захватили же!

— От этого никто не открестится: судьба.

— Чуть что — «судьба». Вот увидишь: в этом году война кончится.

— Дай-то Бог! Мне она не нужна.

— Да, она нужна только жидам и большевикам.

— Кстати, Сталин перестрелял и пересажал столько жидов, сколько не снилось царю.

— Почему? — заинтересовывается Баум. — А вот Кагановича держит.

— Братьев Кагановича он расстрелял. А Кагановича действительно держит. Тут я ничего не объясню.

— Был бы ты жидом — все мог бы объяснить.

— Бог миловал.

С Баумом говорить опасно. Но спуску давать ему тоже не хочется.

48. «СЮРКУФ», ФРАНК И ЯЙЦА. ВЕЩИЙ СОН

«Сюркуф», как я окрестил усатого рыжего обер-ефрейтора, работающего на коношне, ударил Витюшку, который стоял рядом со мной. Не знаю, как получилось, в сердцах я сразу кулаком стукнул «Сюркуфа» под нижнюю челюсть так, что он опрокинулся на навозную кучу. Вскочил, ругаясь, бросился ко мне. Но тут у него из носу закапала кровь. Подбежали Тигель, Эрвин Франк и еще кто-то; встали между нами.

— Кончено твое хамство, — захныкал «Сюркуф», поднимаясь. — Все доложу «старому».

— За что ты стукнул маленького Виктора? — спросил Альберт Тигель.

— Да проклятый русский медленно поворачивался, а тут пошевеливаться надо. Лодырь.

— Неправда, — вступился Тигель. — Виктор работает хорошо.

Эрвин тоже заступился за Витюшку. Но «Сюркуф», вытирая кровь, сочившуюся из носа, запричитал, адресуясь ко мне: «Проклятый русский, посмел ударить немецкого солдата. Я заявлю и тебя расстреляют. Знаешь: так положено. (Действительно, пленному, поднявшему руку на немецкого военнослужащего, полагаются расстрел, и ни о каких помилованиях речи быть не могло.)»

Мне оставалось только пожать плечами: расстрел так расстрел.

Но тут взорвался Эрвин Франк: «Если ты скажешь «старому» (обер-лейтенанту), я заявлю, что ты ворующь яйца из-под совхозных кур — и тебя отправят на фронт.

— Химмель, арш унд волькенбрух (буквально: «Небо, жопа и разрыв туч!»). А ты не ворующь?

— Пусть. Но и тебя отправят — и раньше, чем меня: ты давно ворующь. А как отнесется к этому «старый», ты знаешь.

— Ты что, в самом деле, доложишь ему?

— Конечно!

Тигель понял, что дальше обойдутся без него и пошел чистить лошадей.

— Попробуй только донести, — почувствовав еще большую уверенность, — наступал Эрвин, — и твоя песенка спета («дайн лидьхен ист аус»).

Не знаю, с чего вдруг «Сюркуф» распоясался. Это был поживой и довольно безобидный тип. Как-то его, правда, несильно отлупили девчата, за то что при них громко портил воздух.

— Дайте друг другу руки и не деритесь, — предложил Эрвин. — Так будет лучше. Не сердись, Алекс. Нн-у... — обернулся Франк к «Сюркуфу».

Опасность миновала. Мы с «Сюркуфом» обменялись рукопожатиями.

— Но ты, Алекс, должен быть повыдержаннее, — предупредил, оставшись наедине со мной Эрвин.

— Ты чудный парень, — улыбнулся я ему. — Ты золотой парень, Эрвин.

* * *

Мне снится ясный летний день над Вохоновым. Пронзительно голубое небо над полями за моим окном. В поле кипит работа. А над полем вскипает воздушный бой (воздушные бои здесь были часто). Гудят, извиваясь в далекой высоте крошечные запятые самолетиков, чуть слышно доносится попукивание бортовых пушек. Но вот вспыхивает спичечным пламенем огонек над одним из самолетов. Нашим!.. И вдруг небо становится подобием ромашкового поля: в нем раскрываются десятки белоснежных парашютов. Какая солнечная ясная погода!

А немцы уже привели двух, спустившихся на поле русских летчиков. Привели и посадили под моим окном на лавочке.

— Ну вот, — говорит один из летчиков, — остались живы. Война для нас кончилась.

Другой согласно кивнул головой: «Долг свой выполнили. Теперь поживем в плену».

— Вы думаете, что «поживете» в плену?— вмешиваюсь я.— Да тут у вас не меньше шансов подохнуть от голода или от пули конвоира, а то и от гада полиция, чем на фронте. Вы думаете, вас тут кормить будут по-человечески? Сколько таких, как вы, уже похоронены безвестными?! Не радуйтесь. Лучше, пока не поздно, попытаемся отсюда выбраться.

В это время, я вижу, немцы прикатили сбитый самолет во двор и поставили между конюшней, кузницей и коровником.

— Вон ваш самолет,— указываю я.— Давайте попробуем. Он в порядке?

— Конечно.

Куда-то отходит часовой, приставленный к пленным, и я веду через двор к самолету двух летчиков. Немцы заняты своим делом, хлопочут у конюшни и не обращают на нас внимания. Мы подходим к самолету.

— Садитесь скорее!— говорю я и летчики проворно занимают места у руля впереди. Я вскакиваю следом за ними и оказываюсь рядом.

Самолет желтый фанерный или деревянный. В общем, такой, какой я видел когда-то у нас. Впереди у самолета большое стекло и желтый пропеллер. Его надо обязательно крутануть. Как быть? Вдруг я вижу Павла Дорофеева, идущего к трактору.

— Дядя Паля!— махаю ему рукой.— Подойди сюда! Скорее! Он подходит.

— Павел, крутани пропеллер! Только быстро! Ну!..

Павел немеет от ужаса и заикается: «Чтт-о тты!?!».

— Крутани!!!

— У меня жже жжена, ддетти...— заикается Павел.

— Крути!!!— вдруг резко приказываю я и направляю на Павла указательный палец, как в детстве, когда мы, играя, «стреляли» друг в друга. И... чудо!— у меня вместо пальца в руке оказывается настоящий увесистый револьвер: «Крути!!!».

Павел крутанул. Мотор взревел — и машина дернулась с места; пробежала несколько метров и резко поднялась над двором. Глядя вниз, вижу как из конюшни выбегают, задирая головы, удивленные немцы. А самолет все набирает и набирает высоту и летит туда, в сторону Муттолова и дальше...

— Куда мы летим?— спрашиваю у летчиков, очутившись на заднем сиденье.

Один из них поворачивает голову и торжественно, не понимая, почему по-немецки, отвечает: «Нах Ленинград!» (В Ленинград).

Я проснулся в великолепном настроении. Солнечный сон жил во мне. Я рассказал его Павлу и Степану, а заодно Эрвину. Последний только посмеялся: «А снится?!».

— Конечно, Эрвин.

Павел воспринял сон как вещий: «Все равно, Сашка, помни мои слова: мы еще встретимся в Ленинграде».

— Ох, дай-то Бог, Павел!

Степан только скалит зубы: «А ты, часом, сам себе не придумал такой сон?»..

— Клянусь, что нет!— и я крещусь.

В Вохонове все ждут не дождутся наших. Не только потому, что у каждого там, «у красных», родные. Нет. Как бы сносно ни жились при оккупантах, но каждый согласен жить в сто раз беднее, чем при чужеземцах. Одно присутствие их заставляет с тоской вспоминать о довоенном времени, даже прощать коллективизацию, заставляет помнить только о хорошем, о том, что Советская власть дала детям образование, что, главное, хвалили и ругали людей на всем понятном русском языке.

Павел считает, что наши придут уже весной. Я не уверен, что так скоро. Лишь бы союзники не подвели. Говорят, сейчас немцы разрешили пленным переписываться с родными, кормят лучше. Но... агитируют в «хиви» и во власовцы. Хотят чужими руками жар загребать. Кто им поверит? Поздно!

Если бы не обед, на который я должен являться последним, я бы, наверное, протянул ноги. Но последнему достается всегда больше, по-моему, даже в политической жизни, где подчас серые фигуры сменяют гениев, истощившихся в титанической борьбе. Обычно Ланге, если поблизости не видно начальства, накладывает мне полный котелок густого, как пюре, жирного супа, который и супом назвать трудно, такой он густой. В отношении курева меня выручает мундштук, подаренный когда-то жандармским штабс-фельдфебелем Керкенмайером. В «цигаретеншпице» (мундштук) я могу вставлять остатки сигарет. «Стреляю» и на самокрутки самосада у дяди Феди Ипатова, у Степки. У него всегда есть табак. Своих запасов у меня нет. Да и к чему они?..

Хлеб я почти не ем. Он идет на оплату моих долгов. С дядей Мишей договорился о пошиве новых сапог. Кирзовых. Где он что достанет, меня не касается. У него старых голенищ и прочего, снятого с убитых еще в сорок первом, полно, как почти у всех жителей здешних деревень. Немцы издали грозный приказ сдать все вещи из красноармейского обмундирования. Не знаю, кто сдал? Но перешивали и переделывали все. За сапоги я должен дяде Мише в течение полутора месяцев за-

платить четыре буханки хлеба и весь мой паек мармелада. Еще две буханки я должен дяде Леше, портному, за то, что он из моей плащ-палатки сошьет мне брюки-галифе и починит гимнастерку. Кроме того, я должен портному за эту работу также маргарин за вторую половину следующего месяца. Одним словом, я «обеспечен». Вся надежда на кухню и на «молькерай». Правда, Антон Хингар, ведающий выдачей продуктов немцам и рабочим штатсгута, может иногда подкинуть прихваченную плесенью буханку или поручить вымыть ведро из-под мармелада, где я наскребу столько, что приглашу еще двух-трех пацанов «на чай» и мы попируем. Но... Антон может найти негодную буханку не чаще, чем раз в две недели. Когда я кормил немецкую овчарку, это меня крепко поддерживало. А Пунди никакого «специального пайка» не получает. Его подкармливают все. Ласковый пес привик и к нашим, и к немцам. Только «барон» глядит на него сердито: не может забыть, сколько ему этот пес стоил. Да и Пунди, завидев издали фон Бляйхерта, старается избежать с ним встречу: чует опасность...

...Когда Мартин увидел на Марусе Федоровой зимние сапожки на меху, ему немедленно пришло в голову отвезти такие же в отпуск своей фрау. Унтер щедро расплатился с дядей Мишей казенным зерном и коньяком. Хотя с осени сорок второго во всех деревнях стали гнать самогон из картофеля, свеклы, даже из турнепса и всякой всячины, но коньяк, ром, шнапс своей ценностью не потеряли. Расплачиваются с рабочими советскими деньгами. Новенькими... Павел по высшей ставке получает паек и около восьмисот рублей в месяц. В общем, на бутылку коньяка. Самый высший жандармский штраф — пятьсот рублей. Откуда у фрицев столько советских денег? Не иначе — сами штампуют. А на здешние марки в Германии ничего не купишь. Это у них специальные оккупационные деньги. А если так уверены в победе, почему пускают в обращение советские деньги?..

Мартин показал сапожки «барону» и тот загорелся мыслью сделать и своей фрау такой же подарок. Фон Бляйхерт скривился, услышав цену подарка в коньячно-хлебном выражении. Я посоветовал дяде Мише с сверх-скупого «барина» слишком не драть: еще пригодится. Столковались на двух бутылках коньяка, двух шнапса, двух буханках хлеба и нескольких пакетиках «дропсов», леденцов, для шестилетней дочурки дяди Миши, «пупочки», как он ее ласково называл. Вскоре «барон», нагруженный охотничьими трофеями в виде двух или трех зайчих шкур, одной лисьей, одной собачьей и еще какой-то

мелочи, не считая сапожек с подкладкой из овчины, стал собираться в отпуск.

Мартин полагал, что на время отпуска будет назначен замещать обер-лейтенанта. Но последний рассудил иначе. В один прекрасный день в штатсгута прибыл симпатичный фельдфебель Хенель, чтобы замещать «барона» на время его отсутствия. Для Хенеля отремонтировали комнату на первом этаже того же дома, где был мой чулан.

Конечно, Мартин и Райнер сразу же не влюбились новичка. Но служебная субординация не позволила им не подчиняться ему. А солдаты приняли Хенеля радушно: он никогда не оскорблял их, не повышал голоса и на русских. При нем стало значительно проще отпрашиваться с работы и, безусловно, некоторые наивные рабочие штатсгута решили, что «Сашка по-добрел».

Как-то Николай Иванов, живший очень бедно, появился под окном моего чулана, жестами объяснил часовому, что ему нужно ко мне и, войдя, выложил на стол кусок сала — около фунта — и бутылку самогона. Я обалдел.

— Александр, — сказал он, — мне нужно завтра остаться дома. Поговори с Мартином или с «бароном».

Я никогда не брал взяток, ненавидел и презирал с детства всякую корысть. А этот приход свидетельствовал о том, что люди считают, что я нечист на руку.

— Как тебе не стыдно! — сопровождая эти слова российским матом, выразился я. — У тебя дома дети голодные, а ты тащишь мне. Убери сейчас же. Если мне что будет нужно, честное слово, не постесняюсь и попрошу сам — и не у того, кто еле концы с концами сводит. Я ничего изменить не могу: отпускают тебя — я переведу, что отпускают; не отпускают — что я могу сделать? Иди, мать твою..!

Николай униженно стал извиняться и убрался во свояси. Но я понял, что он недоволен и не может понять, почему я у него не взял «подарок».

Не помню, удалось ли ему тогда отпроситься или нет. Кажется, удалось. У дежурных унтеров, Мартина и Райнера женщины без моего посредничества получали отгулы, когда им требовалось поработать у себя по дому, за полдесятка яиц.

49. СТАЛИНГРАД. ПОЖАР. ПРОВОКАЦИЯ ПРОПАГАНДЫ

В «молькерай» привезли из Германии два огромных сепаратора и еще какие-то приборы. После установки этих сепараторов

молочный налог по всей округе должны увеличить примерно в два раза. Гиганты, призванные стать виновниками увеличения налога, стояли, блестящие и важные, на специально сделанных Баумом столиках.

В примвывавшем к «мольксерай» глубоком, выложенном цементом погребе оборудовался склад и дядя Федя выкладывал печку. Труба вытянулась из самой глубины погреба через чердак на крышу. На чердаке весь день девушки и «партизанята» (так в шутку называли работающих подростков) складывали свеженапиленные доски: фон Бляйхерт планировал новое строительство, хотя уже поднялись огромный свинарник и овчарня, и следовало бы понять, что хозяйничанью оккупантов близится конец.

Все чаще я слышал тревожные фразы о положении в Сталинграде, вычитывал в газетах о «невиданном героизме», «неслыханном сопротивлении» и тому подобных вещах, подготавливавших к неприятным известиям. Из разговоров немцев я узнал, что где-то за Псковом есть чуть ли не целые партизанские районы, где даже колхозы не расформированы. Слышал, что партизанское движение в тылах вермахта становится все более угрожающим.

Конец сорок второго года принес известия о поражениях прославленной армии Роммеля. Африку очищали от немцев. Кажется, и успехи японцев потеряли свою первоначальную громкость. Приезжавшие из отпусков тихонько рассказывали о бомбежках немецких городов. О «тайном оружии фюрера», которое вот-вот принесет долгожданную победу и конец войне, вспоминали только Баум и Эггерт. Газетные известия запаздывали.

Наконец, в немецкой газете я ухитрился подсмотреть, что «...фельдмаршал Паулюс и его штаб оказывают последнее сопротивление в бывшем здании ГПУ» («ляйстен ден летцтен видерштанд им ГПУ-гебойде»). В следующем номере сообщалось о самоубийстве Паулюса. В «Северном слове» еще этих новостей не печатали.

...Конечно, оккупанты хотели бы и здесь, как в своем райхе, изымать у населения все молоко до капельки. Но у них пока просто не хватало технических средств для подобного ограбления. Привезенные сепараторы позволяли частично наверстать упущенное. Понятно, что резкое повышение молочных поставок вызовет недовольство населения. Будут роптать и в штатсгуте, по обыкновению приписывая ужесточение условий жизни не только «барону», но и мне, Сашке...

На всякий случай, о немецких планах повышения налогов

на молоко я предупредил вохоновцев, а значит, и остальных крестьян.

В «молькерай» сделали деревянную перегородку, выделив отдельное помещение для огромных стеклянных банок для сливок и для хранения деталей сепараторов. Наборы конусообразных, аккуратно подобранных металлических тарелочек, нанизанные на железные стержни, висели на деревянной стенке. Без этих тарелочек нельзя было сепарировать молоко. Именно через них осуществлялась переработка.

Верхняя часть трубы от печки из погреба только снаружи, на чердаке и над крышей, была обложена кирпичом. Когда дядя Федя опробовал печку, труба раскалилась до красна. Федя предупредил, что слишком сильно топить не следует. Караульный солдат вечером и ночью должен понемногу подкладывать дрова, не давая накаляться трубе.

Это было накануне 23 февраля.

* * *

Слегка морозило. Была тихая безветренная погода; облака висели низко над крышами.

Около полуночи меня разбудил топот ног на лестнице и громкие возбужденные голоса. Дверь моей конуры распахнулась и Райнер крикнул: «Алекс! Скорее беги во двор: горит молочная ферма!».

Моментально я выскочил. Все вокруг озарялось огнем пожара. Пылали крыша над кузницей и «молькерай». Огромное пламя освещало окрестности. Удивительно, что оно не привлекло внимания наших самолетов, обычно совершавших рейсы по ночам.

Уже вызванные из домов штатсгута и из деревни, вокруг «молькерай» бегали с ведрами тетя Маша, Соня Драченко, Юнгер, чей дом находился в ограде совхоза, и все немцы. Хенель только хватался за голову: «Меня расстреляют! Что со мной будет?! «Старик» со всех нас снимет головы!»...

Мартин бегал тут же и также хватался за голову, как Хенель, хотя оснований для беспокойства не имел.

— Алекс! Помогай!— крикнул мне кузнец, и я тоже включился в общую суматоху.

— Сепараторы! Оборудование фермы!— заорал Райнер.

Я кинулся в горящую «молькерай». Над головой пылал потолок, с треском рушились вниз горящие доски с чердака. Горела деревянная перегородка, за которой стояли банки со сливками. Возле сепараторов уже возились кузнец и Баум. Я вбе-

жал за горящую перегородку, схватил со стены висевшие там «тарелочки» и бросил их в огонь. Затем взял и вынес огромную банку с уже свернувшимися от жара сливками. После этого я совершил еще три рейда внутрь, вынес еще три банки, убедился, что «тарелочки» попали в самое пекло: деревянная стенка, на которой они висели, рухнула и превратилась в сплошной костер.

Подаваемые по цепочке ведра с водой не могли остановить огня. Только отсутствие ветра спасло близлежащую конюшню и коровник от пожара.

Утром Хенель поехал в Гатчину. Оттуда прибыла комиссия из ВИКАДО; побродила по пепелищу и установила диагноз, что труба, видимо, слишком близко была к деревянному настилу потолка молочной фермы. Приехавший через несколько дней обер-лейтенант обошел штатсгут, поглядел на остатки «молькерай», сказал привычно «альзо» и отдал распоряжение строить заново потолок над фермой и над кузницей. На следующий же день вызванные из деревни плотники занялись этим. Хенеля отправили в его часть на фронт. А парень он был очень неплохой.

Мне кажется, фон Бляйхерт даже был доволен, что такое происшествие случилось в его отсутствие. Оно доказывало, что он необходим, незаменим — и чуть уезжает, как без него начинается беспорядок.

Об увеличении налога замолчали. Кое-как приведенные в порядок старенькие сепараторы еле-еле могли справляться с переработкой того, что доставлялось на «молькерай» раньше.

— Сашка, а признайся: ведь это ты сжег ферму, — вызывал меня на откровенность потом Василий-староста.

В ответ я только стучал пальцем по лбу: ты что — спятил? Я же ночью под замком, а днем под надзором.

И все-таки он не верил. Хорошо, что своими сомнениями он тогда ни с кем, кроме односельчан, не делился.

Еще когда строили первую крышу над кузницей и фермой, лучшим плотником считался веселый пожилой вохновец Владимир Иванов. Как-то он поскользнулся на мокрых стропилах и упал с крыши. Вызвали врача. Симпатичный обер-артцт доктор Мозес (вскоре он стал штабс-артцт) сперва только покачал головой: вряд ли выживет да и с лекарствами трудно. Я начал упрашивать, и доктор пообещал сделать все, что в его силах. Мы с ним поболтали по-французски и по-английски, я блеснул (со слов своего старика дяди Бориса, а также из нескольких популярных книг) знаниями по истории медицины, назвав среди ее корифеев профессора Бориса Клейна, специа-

листа по сывороткам. К моему удивлению, Мозес был знаком с его трудами, считал его русским певцом, в чем я не пытался разуверить обер-арцта. Он в течение недели каждый день приезжал из Елизаветина в Вохоново, пока не миновала опасность и дядя Володя не стал поправляться. Однако он почти оглох и больше к работе в штатсгуте не привлекался, а в своем хозяйстве трудился во всю.

Первое время фон Бляйхерт распорядился выдавать ему полный паек. Но уже через две недели урезал. А после и вовсе отказал. Но Антон Хингар тайком от «Альзо» регулярно выдавал продукты дяде Володе через его сына, милого подростка, работавшего вместе с другими «партизанами» в штатсгуте.

* * *

Вести о поражении немцем под Сталинградом, об уходе их с Кавказа и о наступлении Красной Армии будоражили вохоновцев. Староста Василий, заходя во двор штатсгута, вздыхал: «Ох, придут наши — что-то будет? Повесят меня».

— За что?— удивлялся я.— Ты защищаешь своих крестьян, споришь, ссоришься из-за них с немцами. За что же тебя?..

— Не знаешь ты наших,— сокрушался Василий,— думаешь, они тебя пощадят? Ходи ты трижды оборванный в нашей форме, будь ты трижды подконвойным, все равно ты для наших — «переводчик», а значит, изменник.

— Не я, так другой будет переводить — и беды от этого будет только больше.

— Знаю,— перебил Василий,— ты людей не обижаешь, горой стоишь за русских, не обогащаешься, как другие переводчики. Знаешь, как они обогащаются?! Да и ты, ежели б только захотел...

— Не того воспитания.

— Вот за то тебя народ уважает. А все-таки для нашей Красной Армии ты будешь изменником. Ты ж не партизан?..

— А где они тут?

— Их нет и быть не может: кругом немцы. Леса маленькие. Кругом чухны. Они, что ни случай, вашего брата пленных, как кто сбежит, выдают комендатурам. А вот за Волосовым, толкуют, появились партизаны. В сорок первом — втором за Николаевкой километрах в пятнадцати-двадцати, в верепьевском заповеднике, были. Их весной всех захватили в сорок втором и там же расстреляли.

— А что там за заповедник?

— Лоси раньше водились. Глухари. Да теперь поистребили.

А посреди того заповедника сумасшедший дом стоял. Там фрифы, как пришли, всех поубивали. Старый ветеринар из Кикерина, что на ящур карантин накладывал, рассказывал. Там теперь, в том доме, гарнизон стоит. Из власовцев. Где тут быть партизанам? Тут немцам спокойно, потому они и не лютуют. А где подальше от фронта, как услышали, что немцы проигрывают, так давай грехи замаливать: полицаи, власовцы уходят в партизаны. Ну, да там леса!.. Да я бы и сам ушел, кабы не семья.

— А что б ты в партизанах делал?

— Что и все: жил бы в лесу, своих дожидался. Может, какой отставший немецкий обоз укарауливал. А ты, Сашка, ты же умный человек, все по ихнему понимаешь, скажи: они сами уходить собираются?

— Они, дядя Вася, люди подневольные: солдаты. Что скажут, то они и сделают. Скажут уходить — уйдут, скажут драться — будут пробовать, хотя — что за вояки эти обозники? Они же, за исключением унтеров, почти все нестроевые. А «барон» разве будет со мной откровенничать?

«Барона» все боялись. Знали: он с улыбочкой может и оштрафовать и в Парицы в каменоломню на неделю послать. Его победа над старостой в споре о земле, его отправка Павла в гатчинскую комендатуру, его отдаленность от всех и само «фон» делало его пугающей загадкой для населения. Благодаря обилию данных ему мною прозвищ, мне удавалось о нем даже в его присутствии говорить с нашими людьми так, что немцы не подозревали о ком идет речь.

— На Ваньку-черепа опасайся полагаться,— предостерегал я при нем же, улыбаясь, избегая частицы «не», «нельзя», «не стоит», которые были уже на слуху у немцев, как отрицания.— Помещик откажет, лучше сам попытайся,— и так далее.

Но, за исключением своих «примечаний», я всегда переводил точно.

Обер-лейтенанта поражало, что я знаком с немецкой литературой не хуже его; хорошо знаю немецкую музыку, образительное искусство, историю, хотя и в превратном «большевистском» истолковании; знаю даже философию, хотя опять-таки в «перевернутом» виде. Увы, обо всех этих интересных предметах фон Бляйхерту говорить было не с кем, кроме меня. Обер-лейтенант считал, что артисты стоят вне политики, им все равно, для кого играть и не поражался возвращению Эмиля Янингса из Голливуда, участием Штюве в германских фильмах. «Барон» доверительно говорил о Марлен Дитрих, покинувшей Германию в 1933 году; восторгался Марикой Рек, Саррой

Леандр, Ольгой Чеховой. Мне было приятно, что русская актриса пользуется такой популярностью.

С моей легкой руки фон Бляйхерт стал значительно уважительнее и лучше относиться к русским, хотя сперва больше доверял чухонцам. Зимой, когда Павел, Василий или другие вохоновцы обращались к «барону» с просьбой о выдаче им разрешения съездить к берегу Финского залива выменять салаки, он брал для них специальные пропуска у комендантов. Каждый уезжавший туда на три-четыре дня, возвращался нагруженный свежемороженой рыбой и пару килограммов считал долгом отделить «барону». Тот отдавал рыбу на общую солдатскую кухню, но на «дававшего» уже смотрел подобранными глазами, благо сам, кажется, тоже не брезговал жареной рыбой. А так он взятки не брал, самогона не пил, имея коньяк, к которому первое время не прикадывался, сберегая его для «коммерческих операций» по пошивке сапог или еще чего-либо своей фразы. Он как-то в присутствии Марии Вайник и Тани Ивановой попытался мне всучить «подарок» в виде жутко заплесневелой буханки хлеба, не годившейся уже ни на какие обмены. Я сердечно поблагодарил, но, чем его обидел, наотрез отказался: одно дело взять у немецкого солдата, другое — у офицера. Но обижался он недолго: все-таки, такого переводчика, как я, нигде близко не было. Не уверен, что у дипломатов были лучшие.

Наши опять потерпели поражение: окружили армейскую группировку под Харьковом; застрелился генерал Тупиков, командующий, или Новиков или Чистяков... Но ведь уже вырвались за Харьков, уже шли к Днепру!.. Неужели погиб дядя Борис? Где он, многострадальный ученый, заменивший мне отца? Живы ли мои родные? Мои друзья? Валя?..

А в Харькове бургомистром был доктор Добровольский, один из тех, кто травил ученых в тридцать седьмом году. Помоему, это был гадкий человек. В Киеве бургомистром Федор Парфентьевич Богатырчук, лучший рентгенолог Украины, бывший чемпион СССР по шахматам, интеллигентный и очень мягкий и тактичный человек. Его назначили немцы в сорок втором году. Я занимался у него в шахматной школе при Академии наук Украины и не могу представить его в роли стандартного пособника оккупантов. А Добровольского могу.

Случайно в руки попадает листовка «Нахрихтен фюр ди труппэ» («Известия для части»), строго секретные. Сообщается, что во время русского контрнаступления в Донбассе «большевики» захватили немецкий лазарет. Среди немцев ходят слухи, что при этом «большевики» истребили несколько сот ра-

ненных немцев, а также медицинских сестер и врачей. «Нахрихтен» уполномочен заявить, что это неправда: «большевики» расстреляли не несколько сот немцев, а всего лишь восемьдесят семь или восемьдесят восемь раненых и санитаров, так как больше в лазарете никого не было.

«Поборники правды!». Никаких «слухов» такого рода среди немцев не ходило. Да и кто тут мог знать о южном фронте? Но, чтобы напомнить, «что ждет» при попадании в плен, геббельсовская пропаганда выпустила этакую «уточняющую» листовочку «для служебного пользования». Надо отдать должное — ловкий пропагандистский ход.

Когда кто-то из солдат не удержался и выболтал мне об этих «нахрихтен», я ему объяснил, что с таким же шиком на южном фронте можно что угодно врать о северном фронте и «зверствах русских под Ленинградом». Павлу я тоже объяснил суть фокуса, добавив, что это знак того, что настроение «завоевателей» внушает тревогу их «фюрерскому командованию» и требует всяких фальшивок для поддержки «боевого духа».

50. ДОКТОР МОЗЕС И СПАСЕНИЕ КАТИ. СПРАВКА.

Сапоги свои я чищу мазутом и они отменно блестят. Мартин позавидовал. Притащил свои сапоги и приказал почистить. Сволочь! Знает, что я артист и хочет меня унижить. Я попытался возражать, но он гаркнул: «Бефейль ист бефейль» («Приказ — есть приказ»), а было это во время отпуска «барона», когда Райнер и Мартин чувствовали себя хозяевами. Что ж, я вычистил ему сапоги так, что они стали невыразимо полосатыми. Мартин не мог слова вымолвить, поглядев на мое «художество».

— Это что за работа?— выдавил он.

Я с невинным видом посмотрел на сапоги: «Ничего особенного».

— Свои сапоги ты разве так чистишь?!— прогремел он.

— Я никогда не чистил чужих сапог, господин унтер-офицер, а потому не научился. Свои я надеваю на свои ноги и так чищу, а ваши на меня малы, да и смею ли я надевать немецкие сапоги?..

— Ты всегда вывернешься,— пробурчал унтер, взял сапоги и отправился к себе замазывать последствия моей «художественной чистки». Больше он ко мне с подобными просьбами не обращался.

Заболела Катя Чуканова, девочка лет тринадцати, милая, исключительно красивая. Родители ее были пожилыми. Сын служил в Красной Армии и известий о нем, конечно, не было.

Мать пришла к «барону» с просьбой вызвать немецкого врача. На полуграмотного фельдшера Кребса из Микино надежды не было. Тот, осмотрев девочку, прямо заявил, что спасти нельзя, нет лекарств, даже не смог поставить диагноз.

«Барон» выслушал женщину, сочувственно покачал головой и со вздохом сказал, что очень жалеет девочку, но ничем помочь не может: родители Кати не работают в штатсгуте, девочка тоже не работала: какие основания есть для того, чтобы вызывать к ней немецкого врача, отвлекать его от ухода за ранеными?...

С болью переводил я бессердечный отказ, думая, как бы помочь малышке?..

Мать ушла в слезах. Фон Бляйхерт вздохнул ей вслед: «криг» (война) и пошел к себе. Я, как положено, в ответ на его прощальный жест — руку к пилотке — тоже козырнул и нырнул в «молькерай» к Ценнигу, где рассказал ему о болезни Кати. Девушки, крутившие сепаратор, заохали, возмущаясь бездушием «барона».

— Карл,— сказал я Ценнигу,— надо помочь. Чем маленькая милая девочка виновата, что идет война? У нас бы такое не допустили: нашли бы возможность вызвать врача к девочке-немке, если б она нуждалась, честное слово! Помоги, Карл!

Карлуша выругался по адресу «барона» и задумался.

— Пусть Катина мама сама быстро сходит в Николаевку,— сказал он.— Пусть придет в немецкий лазарет и там попросит: врачи не должны отказать.

— Могут отказать,— вставила одна из девушек.— У нас уже такое было. Даже до врача не допустили.

Ценниг развел руками: тогда он не знает, как быть?

Я вышел из «молькерай». Ценниг отлучиться не мог. Просить унтеров было бесполезно.

Возле конюшни стояла куча велосипедов, на которых приезжали рабочие. Из конюшни вышел Матвей Федоров, брат Маруси, помогавший Тигелю. Я быстро объяснил положение, умоляя помочь девочке. Тигель только вздыхал: отлучаться с работы он никак не мог.

— Тигель, а если ты отпустишь Матвея? Пусть он смотает-

ся в Николаевку (поселок Николаевка — станция Елизаветино).

— Так он же по-немецки ни бум-бум.

— Я дам ему записку к доктору Мозесу.

— Ты? А я чем могу помочь?

— Ты просто не заметишь, что Матвей уехал.

— А Мартин?

— Думаю, он тоже не заметит (с тех пор как Мартин стал встречаться с Марией, он и к Матвею стал относиться покровительно, пытался завоевать его расположение, хотя, вероятно, чувствовал, что тот ненавидит его).

— Только чтоб никто не заметил.— Оглядываясь по сторонам, согласился Альберт Тигель. Он быстро метнулся к своему ранцу, достал блокнот и дал мне: пиши.

Я тут же от своего имени набросал записку доктору Мозесу с просьбой, если можно, немедленно приехать в штатсгут для оказания срочной помощи заболевшему ребенку. Матвей вскочил на велосипед и помчался в Николаевку.

К счастью, Мозес оказался на месте и буквально через час на велосипеде приехал в Вохоново, где, не объясняя причин появления, оставил велосипед возле кухни, быстро поднялся к фон Бляйхерту и попросил его «одолжить» ему на полчаса переводчика Александра для срочного визита в деревне. «Барон» не мог отказать, только заметил, «чтоб ненадолго» и велел позвать меня.

Через несколько минут мы вошли в избу Чукаповых. Девочку нельзя было узнать. Она превратилась в бледненький скелетик. На узеньком белом личике горели, казавшиеся еще большими, изумительные лучистые глаза, страдальческие и такие по-детски чистые. Казалось, они то вспыхивали, когда Катя поднимала веки, то снова гасли, когда она закрывала глаза.

Не помню, какой диагноз поставил доктор. Но он заметил, что я при виде бедной девочки не мог сдерживать слез; видел ее мать и отца.

Мозес после обычных расспросов и осмотра больной оставил родителям кое-какие лекарства; попросил, чтобы я с ним поехал в Николаевку: он даст мне еще лекарства и завтра обязательно наведается к больной опять.

Однако, фон Бляйхерт, улыбнувшись, вздохнул, что никак не может отпустить меня в Николаевку: я необходим здесь и, кроме того, пленного отпускать без сопровождения нельзя, а у него свободных людей нет.

Когда Мозес вышел от обер-лейтенанта, я предложил, что-

бы с ним поехал кто-нибудь из «партизанят». Так и сделали.

Доктор, как пообещал, стал ежедневно посещать больную. Конечно, Чукановы угощали его яйцами и молоком. Но, независимо ни от чего, я почувствовал в нем великую человечность. Его возмутило бездумие фон Бляйхерта (о том, что вызвал доктора я, он благоразумно промолчал, сказав, что мать послала к нему записку). Удивило Мозеса и недоверие, выказанное обер-лейтенантом мне.

— А вы не думаете вступать в «хиви»?— спросил он меня, когда я сопровождал его во время очередного визита.

— По правде говоря, боюсь,— ответил я.— Сегодня скажут: носи нашу форму, а завтра прикажут: стреляй в своих. Не так ли? Кроме того, доктор, у меня, по-моему, легкие не совсем в порядке.

— А что такое?

— Мать моя умерла от туберкулеза. Нет ли у меня тоже чего-нибудь?— и вдруг меня осенило:— Доктор, пожалуйста, послушайте меня. Если я, по-вашему, здоров, если легкие в порядке, дайте мне справку. Я с ней пойду к обер-лейтенанту, если надумаю, все-таки, вступить в «хиви».

Разговор происходил в доме Чукановых.

Доктор попросил всех отвернуться. Я поднял гимнастерку. Мозес внимательно послушал меня спереди и сзади, обстучал и нашел, что мне нечего опасаться: я здоров. Тут же он на своем бланке с печатью написал, что военнопленный русский Александр Ксенин им медицински обследован и вполне здоров. Самое главное для меня заключалось в том, что я «прошел медицинский осмотр», обследование.

Благодаря доктору Мозесу Катя начала поправляться и недели через три, еще слабенькая, бледная, уже звонко смеялась и даже как-то пришла в штатсгут навестить своих старших, работающих подруг.

Староста Василий передал фон Бляйхерту предписание, чтобы всех рабочих мужского пола, начиная с четырнадцатилетнего возраста, немедленно послать в Большое Сяськелево на медосмотр. Предписание было подписано комендантом Гатчины Шперлингом.

Хотя пора была горячая и «барон» скривился, но конфликтовать не стал.

— Тут уже ни цыган, ни евреев близко нет, а они все ищут,— вздохнул обер-лейтенант.

Пришлось снять с работы всех мужчин и мальчишек и послать в Большое Сяськелево. Юлика Жевжека не послали, так

как мать его, Вяре, уверила, что ему двенадцать, что с максимальной убедительностью я перевел «барону». Тот обрадовался: хоть кто-то останется помогать убирать навоз из конюшни. Вообще-то Юлику, конечно, было не меньше сорокадвяти...

Через некоторое время староста приколесил на велосипеде с приказом: немедленно доставить на осмотр военнопленного переводчика Александра.

— Я проходил осмотр с немцами,— сказал я Василю.

— Приказали,— усмехнулся он.

— Я же проходил осмотр с гражданским населением и, когда меня направило ВИКАДО в штатсгут из лазарета военнопленных,— заметил я фон Бляйхерту.

Он возмутился: «Что за глупость? Поедем!».

Его бесило, что некому работать, а там держат на каком-то вшивом медосмотре да еще и русские врачи. От немцев только какой-то санитарный обер- или штабс-фельдфебель.

Обер-лейтенант выкатил мотоцикл и велел мне сесть сзади на багажник. Мы помчались. Ноги мои висели по сторонам колеса. Соблазнительно поблескивал слева от меня выглядывавший из кобуры маленький браунинг. Вытащить его из кобуры и убить хозяина не составило бы труда... Мысли об этом не раз проносились в моей голове. Но, рассуждал я, убью его. А дальше? Если мне не удастся скрыться, меня зверски казнят, а на место фон Бляйхерта пришлют какого-нибудь зверя, который будет и расстреливать и вешать, и ссылая черт знает куда за малейшую провинность. Фон Бляйхерт, хотя считает русских низшей расой, но не терпит издевательства над ними, против побоев. Он по-своему хорошо относится ко мне, хотя не понимает, что я вечно голодный. Он мог повысить голос, прикрикнуть на меня, если ему казалось, что я слишком медленно иду на его зов. Но никто из немцев не смел прикрикнуть на меня в его присутствии. А в его отсутствии этот вопрос отпадал сам собой даже для Мартина и Райнера, иногда пытавшихся повышать голос на меня.

Предположим, я убью его и скроюсь. Тогда расстреляют пять или десять заложников, вохонцев или пленных в ближайшем лагере: убийство офицера «оплачивалось» минимум в десятикратном размере.

Я мог спрыгнуть с мотоцикла и побежать в лес. Но... это значило, что меня вскорости найдут: лесок-то жидкий... Спрятать военнопленного, да еще беглого «дольмеччера», никто бы даже в Вохонове не решился. Кроме всего, любая попытка к

побегу, любое проявление неуверенности играло против меня. Я решил держаться подчеркнуто уверенно.

Возле одноэтажного кирпичного здания невдалеке от дома старосты Дубельмана толпился народ. Проходили осмотр не только вохоновцы, но и жители по крайней мере десяти деревень. Возле дома стояла крытая грузовая машина, чуть в стороне — легковая. У входа дежурил жандарм.

При виде обер-лейтенанта он взял под козырек и я, важно козырнув жандарму, быстро вошел в дом за «бароном».

В коридоре толпились, раздеваясь, мужчины и подростки. Наших не было видно. Они еще дожидались своей очереди во дворе. Это сразу же взъярило «барона». Когда он вошел в большую комнату, где в халатах сидели два русских врача и фельдшер с немецким санитарным штабс-фельдфебелем, все вскочили с мест. Последний едва успел возгласить: «Ахтунг!»

— Почему до сих пор не отпустили моих рабочих? — накинулся фон Бляйхерт на медиков. — Я же сказал, что они необходимы на полевых работах. Их следовало осмотреть в первую очередь!

Я переводил в том же повелительном тоне, каким привык отдавать распоряжения «барон», когда его что-либо бесило.

Штабс-фельдфебель стал извиняться. Один из врачей попытался что-то возразить через русского переводчика, раскрывшего рот от изумления, услышав как я «с ходу» перевожу «пулеметную тираду» расвирепевшего «барона». Последний цыкнул на врача. Тот только успел выдать: «Мы хотели вашего... переводчика...». Но, уже предугадав этот «ход», я резко вынул из кармана гимнастерки справку доктора Мозеса, с которой не расставался уже добрый месяц, и предъявил ее штабс-фельдфебелю. Тот глянул, вежливо развел руками, показал ее русскому врачу. Тот тоже кивнул. Штабс-фельдфебель с улыбкой вернул мне справку.

Я переводил быстрые распоряжения «барона»: немедленно вне очереди пропустить всех рабочих штатсгута. Остальных осматривать потом.

Переводчик выскочил на крыльцо, приглашая поскорее заходить вохоновцев. Фон Бляйхерт что-то еще наговорил штабс-фельдфебелю. Мы вышли. На крыльце я повторил приказание обер-лейтенанта: тем, кто пройдет медосмотр, сейчас же вернуться в штатсгут и приступить к работе.

Осмотр заключался исключительно в спускании штанов, только глупые раздевались догола.

Не знаю, обратил ли внимание «Альзо» на предъявление мною бумажки штабс-фельдфебелю. Но он даже не поинте-

ресовался ею, вероятно догадавшись, что это свидетельство о том, что я в свое время прошел медосмотр и не являюсь евреем.

Староста Василий, присутствовавший при том, когда я предъявил справку, понял, что это за свидетельство и уверился, наконец, что к «жидам» я отношения не имею. А ведь, ей-ей, он сомневался... Бдительный мужик. Хитрый. Но теперь все сомнения рассеялись. Публично.

Несколько раньше произошел казус, имевший примечательные последствия.

51. МОИ «КОНЦЕРТЫ». ОТЪЕЗД УНТЕР-ОФИЦЕРА МАРТИНА

По воскресеньям в деревне, в доме Вайников или Дементьевых, устраивались танцы. Их посещали все вохоновские девушки, а также расквартированные в деревне немцы, польские «хиви», работавшие в штатсгуте и, конечно, немцы из штатсгута. Фон Бляйхерт на танцы в деревню не ходил. А танцы у него в доме, над кухней, после Сталинграда не возобновлялись: траур по «Сталинградской катастрофе» касался не только райха, но и оккупированных территорий. Но на танцы в деревне «барон» смотрел сквозь пальцы: хотят веселиться,— пусть.

Как-то Аня Константинова, крутившая сепаратор в «молькерай», позвала меня к Ценнигу. Она и Таня Свяни пытались что-то втолковать Карлуше, но тот не понимал. Оказалось, девушки в обиде на унтер-офицера Мартина. Он вчера был УФД («Унтер-офицер фом динст», дежурный унтер-офицер) и обходя деревню, ворвался в дом, где танцевали девушки с поляками. Именно «ворвался». Там он наорал на всех, а одного поляка ударил кулаком по лицу. Поляков и девушек возмущало, что на унтера нет управы. Вот они и обратились за советом к Ценнигу: как быть?

Ценниг, как и большинство немцев, ненавидел Мартина. Тот не раз ставил Карлушу под удар, вымогая у него масло для своих бесконечных приобретений, при этом был груб, зная, что Карлуша не посмеет жаловаться, и все более наглел в своих претензиях.

Выслушав девушек, Ценниг посоветовал:

— Надо написать в штаб 223-й дивизии,— и он назвал отдел, в который адресовать.— Я на днях поеду туда с отчетами обер-лейтенанта и отвезу. Я там знаю вестового, земляка, он сразу передаст донесение в руки начальнику отдела. Только

поторопитесь. Пишите по-русски. Там найдут переводчика.

Я тут же составил обширное письмо с описанием поведения Мартина не только в отношении поляков, но и русских, зная, что теперь не сорок первый год и немцы не благословят унтера, распускающего руки.

Девушки передали письмо Тоне Дорофеевой. Она и Надя Миронова, каждая по странице, разборчиво переписали послание. Здесь жаловаться «барону» было бесполезно: у всех создавалось впечатление, что он всецело доверяет Мартину, постоянно находящемуся рядом с ним.

Дня через два Карлуша сел на мотоцикл и затарахтел в штаб.

Меня удивляла неприязнь, царившая между немцами различных областей Германии. Саксонцы терпеть не могли бренденбуржцев, издевались над прусским «роллендес «р» (раскатистым «р»); ганноверцы становились объектом насмешек баварцев и саксонцев; рейнландцы недолюбливали саксонцев; над швабами и тюрингцами насмеялись вестфальцы и так далее.

Как-то стоявшая на одной улице Вохонова баварская часть подралась с подразделением, состоявшим из саксонцев, которые квартировали на другой улице. В драке участвовали человек триста. Нескольких так искалечили, что их отправили в госпиталь. «Барон», по-моему, был саксонцем, как и большинство солдат штатсгута.

Под навесом над тракторами возле кузницы, а то и в конюшне или в коровнике, когда не было «барона», я читал стихи. Молодежь и обожавшие литературу Павел Дорофеев и дядя Костя Мионов, специально приходили послушать пушкинского «Царя Никиту», «Братьев-разбойников», озорную лермонтовскую «Казначейшу», рассказы Чехова, большинство которых я пересказывал «в лицах». Немцы выставляли «часового», чтобы предупредить, если появится обер-лейтенант или дежурный унтер, или кто-либо из «ретивых» обер-ефрейторов.

За то, что я рассказывал русским, немцы всегда просили петь. Голос у меня был и чудесные русские песни «Вниз по Волге-реке», «Среди долины ровныя», романсы «Гори, гори, моя звезда», а также «Улица, улица, ты, брат, пьяна», «Фонарики» и «Дубинушка» звучали, наряду с ариями из опер, напеваемыми вполголоса, а при возможности, в полный голос. Особенно любили «Утес Стенки Разина» Навроцкого. Да и я с чувством исполнял эту чудесную песню, включая последнюю строфу, которую знал от дяди Бориса:

«Если есть на Руси хоть один человек,
Кто б с корыстью житейской не znalся,
Кто б свободу, как мать дорогую любил
И во имя ее подвизался,
Пусть свободно вздохнет,
На утес тот взойдет
И к нему чутким ухом приляжет,
И утес-великан
Все, что думал Степан,
Человеку тому перескажет».

Я переводил текст немцам, и он им очень нравился. Вообще, все, что касалось Степана Разина, казалось им романтическим и привлекало.

Вскоре после возвращения Ценнига из штаба Мартин, побывавший с утра у фон Бляйхерта, подошел ко мне. Лицо унтера, склонного, как и его обожаемый фюрер, к дешевой патетике, было торжественным и грустным.

— Мы сегодня простимся с тобой, Алекс,— сказал он.

— Вас ист лёз? (Что случилось?) — вытянул я физиономию.

— Фюрер и фатерлянд призывают меня на фронт,— напыщенно возгласил унтер.

— Ничего не понимаю,— нахмурил я лоб, делая удивленную рожу, хотя догадался, что переданная через Карлушу «мельдунг» (донесение) достигла цели.— Зачем это вам?

— Я давно просился на передовую линию,— продолжал гаерничать Мартин.— Не могу сидеть в тылу в то время, когда мои боевые товарищи отдают жизнь за фюрера и фатерлянд.

— Ну и «зарядил» чертов гад,— подумал я. Врет, как последняя баба, да еще прикрывается «святым долгом» и прочей шелухой. Но вслух я сказал: «Господин унтер-офицер, мне трудно поверить, что вас не будет (о, как долго я мечтал об этом!); как пойдут дела здесь, без вас, я не представляю!..

— Я всегда хорошо относился к тебе, Алекс,— вздохнул Мартин.— А потому, не скрою, что и у меня на душе тяжело: мне больно расставаться с Марушей (так он произносил «Маруся»). Но... долг прежде всего,— и вдруг он сорвался: «Пони-маешь, какая-то свинья накатала в штаб такое отточенное донесение («зо айне цаккиге мельдунг»)...

— О чем, господин унтер-офицер?

— Да о том, как я поколотил одного поляка на танцах. В общем, там еще всякое донесли — и вот уезжаю.

Через час он, уже с походным ранцем и каким-то чемоданом, довольно объемистым, стоял у дороги.

Подъехал Карлуша на «штрассенфлоу» («уличной блохе»). Мы с унтером на прощанье обменялись крепкими рукопожатиями и в душе я себя почувствовал Иудой, хотя разум шептал, что гаду Мартину, который, знай он — кто я, первый бы стал надо мной издеваться, лучше отправиться поскорее на фронт и, желательно, к праотцам...

Когда Мартин уехал, бразды правления попытался захватить Райнер. Но он был моложе, крикливее, кичливее и его не так боялись.

Как я понял, после отбытия Мартина, Райнер и, видно, не он один, стали рассказывать фон Бляйхерту о некоторых «теневых» сторонах деятельности Мартина по части отношения к казенному добру, которое он использовал для оплаты за подарки для фрау и для Марии. Последняя напоминала мне шолоховскую Лушку из «Поднятой целины»; вела себя так, будто ничего не случилось, так же глядела озорными зелеными глазами на своих и на чужих, только на работу стала являться ежедневно, понимая, что поблажек не будет.

А вот ее подружка Шура Алексеева, высокая, статная, видная собой тридцатилетняя женщина, подживавшая с Василием-старостой, из-за чего вечно плакала бедная жена его, сестра Павла, не сумела сдержаться. Ей при Мартине тоже делались поблажки, благодаря ее близости с Марией. После его отъезда она вскоре без предупреждения не явилась на утреннюю разрядку на работу.

Райнер сразу заметил ее отсутствие и решил навести порядок самым жестоким образом, благо фон Бляйхерт на сутки или двое уехал в штаб, оставив вместо себя унтера.

— Почему нет Шуры Алексеевой?! — заорал Райнер, окидывая грозным взглядом толпу рабочих, по обыкновению собравшихся на поросшем травой холме у кромки леса напротив двухэтажного дома, где жили немцы и я, в чулане. — Где Алексеева?!

Все молчали. Райнер начал кричать, что всяким послаблениям настал конец и так далее.

Я переводил его болтовню, по обыкновению, предварительно предупреждая, что «он орет», «он ругается», «он бесится», «он говорит», после чего дословно переводил его тирады.

Так как никто не мог и не хотел объяснять, почему не явилась на работу Шура (каждому было ясно, что просто у нее, как у всех, свои дела по дому, а то и просто захотела отдохнуть, выспаться), Райнер завопил, что это саботаж, кликнул двух солдат, приказал им «зофорт умшналлен» (сейчас же подпоясаться, то есть, явиться в полной форме) и вдруг обер-

нулся ко мне, когда солдаты, уже в кителях при оружии появились на разводе.

— Алекс, немедленно ступайте с солдатами в деревню и арестуйте Алексева, я ее сажаю под арест. Марш!

— Я никуда не пойду, господин унтер-офицер,— возразил я.— Я русский пленный, исполняющий здесь, в государственном имении (штатсгут) обязанности дольмечера (переводчика), но я не полицейский, и никто мне не может приказывать кого-либо арестовывать. Это полицейские функции. Никуда я не пойду.

— Ты обнаглел!— сорвался Райнер.— Мы, немцы, слишком гуманны. Немедленно выполняй приказ!— и он схватился за кобуру.

Я стоял с невозмутимым видом.

— В последний раз приказываю, Алекс!— орал Райнер.— Я доложу обо всем обер-лейтенанту. Ты думаешь, я не знаю, что ты себе чересчур много позволяешь?! Я могу тебя расстрелять на месте за саботаж! Ты покровительствуешь саботажу! Я все знаю! Все — и про твои ссоры с нашими солдатами, про все!..

— Можете меня расстрелять на месте, господин унтер-офицер,— спокойно отвечал я, тут же переводя и его, и свои реплики на русский язык, к сведению собравшихся, что еще больше бесило унтера. Я прекрасно понимал, что он не посмеет ничего мне сделать.— Но не грозите, что пожалуетесь на меня обер-лейтенанту. Отмените приказ об аресте Алексеевой: может быть, у нее дети больны или другая какая причина. Обер-лейтенант никогда не приказывает кого-либо наказывать, не заинтересовавшись сперва причиной невыхода на работу. А мне, повторяю, не грозите: если я скажу, что знаю про вас, вам будет хуже...

Райнер приказал стоявшим в отдалении солдатам вернуться. Развод закончился в тишине. После него Райнер вдруг дружелюбно обратился ко мне: «Алекс, как ты мог так разговаривать при всем народе? Ведь это роняет мой авторитет. Неужели ты не понял, что мне иначе нельзя? Надеюсь, ты не скажешь ничего обер-лейтенанту?».

— Господин унтер-офицер, если вы будете относиться ко мне нормально, то и я не буду прибегать к крайностям, не так ли?

— Будем надеяться, что больше ссор не будет,— кивнул Райнер (он мне напоминал собаку, трусливо поджавшую хвост).— Только ничего не говори обер-лейтенанту.

— Натюрлих, герр унтер-офицер. (Конечно, господин унтер-офицер).

52. АРТИСТЫ ТРЕВОГА. ЛЕСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Большая группа вохоновской молодежи ходила за пять или семь километров в село возле станции Елизаветино. Там, рассказывали на другой день, часто показывают фильмы. На сей раз демонстрировали фильм с громким названием «ГПУ», о всяких ужасах, творимых в советских застенках, и, конечно, о каких-то трогательных любовных приключениях. Толком понять рассказчиков я не смог, только рукой махнул: «пропаганда». А содержание мультфильма, показанного перед «ГПУ», объяснили весьма толково: крестьянин-хозяин разводит кур, свиней, гусей. Работает в поте лица своего, сеет и пашет, коров доит... Приезжает, извиваясь на отвратительных дорогах, «газик». Из него выходит, конечно, еврей и начинает устраивать колхоз: метлой загоняет в огороженный забором неудобный двор и скотину и хозяина с хозяйкой; затем дает хозяину под зад метлой. Потом показано, как бедно живут крестьяне в колхозе, а в Москву потоком идут мясные туши, яйца, зерно... А на кремлевской стене стоят и улыбаются Сталин и Каганович. Кто-то из них наигрывает на гармошке, и оба поют на мотив известной «Катюши» «Широка страна моя родная».

Мультик понравился всем больше самого фильма.

Девушки говорили, что их как-то раньше водили на фильм «Ночь в Венеции», в котором по их словам не было «никакого содержания», но зато замечательная музыка и прекрасные певцы. Я с грустью припомнил «Большой вальс» и «Сто мужчин и одна девушка», виденные в сороковом году.

...В Вохоново приезжают артисты! Утром об этом рассказывали страстные любительницы искусства, девушки. В деревне висят афиши. Будут выступать в доме Вайников: там самая большая комната. Ее полностью освободят от мебели, поставят скамейки. Уже приехали участники концерта; приводят в порядок этот «зал», отгораживают в нем место для сцены.

Сердце екнуло: сцена!.. Какая ни на есть, но сцена. Выступление...

Артисты разместились по домам у крестьян. Те принимают их, как родных. Всеми владеет любопытство: настоящие актеры!.. У меня посасывает под ложечкой: вдруг встречу кого из знакомых!?. Да еще кого?!. Рывкнет на радостях: Рафа!— и все тут. Или... тихонько «продаст»?..

Поэтому я без особого энтузиазма последовал за фон Бляйхертом в деревню, где он, желая оказать внимание отделу пропаганды, решил посмотреть как устроились приезжие.

Мы подошли к дому Чукановых, где разместились женщины

ны, и я, после предварительного стука, и ответного: «Войдите»,— открыл дверь. Все во мне похолодело: в глубине комнаты сидела в полупрофиль ко мне... красавица Наташа Медведева. Одна из лучших студенток нашей мастерской, она уже начала съемки в кино у Яна Борисовича Фрида в фильме «Женых с миллионами». Наташа дала мне почитать сценарий. Это был не совсем заурядный, пропагандистский фильм о том как хорошо живут у нас в стране в колхозах или в местечках евреи. Приехав гостем из Америки, к красавице-еврейке сватается миллионер. Он очарован красавицей и всей еврейской жизнью в нашей стране. Но... невеста ему отказывает: ей слишком дорога советская родина. В общем, фильм чем-то кончился, что требовалось «на том этапе» нашей гибкой идеологии...

Так вот эта самая красавица-еврейка по фильму (ее роль играла коренная русская Наташа) сидела в глубине комнаты.

Вероятно, узнать меня сразу было нелегко, из-за приличных рыжеватых усов, которые я носил на случай непредвиденных встреч, из-за непривычной для тех, кто меня знал до войны, красноармейской формы. Кроме того, я немного прищурился, чтобы стать еще менее узнаваемым. Но в груди у меня стало жарко...

Красавица с пышными черными волосами медленно повернулась в анфас: это была не Медведева.

Фон Бляйхерт разрешил мне познакомиться с артистками. Я сразу понял, что среди них нет профессионалов. В труппе профессиональными актерами были только двое — пожилой артист Александринского театра Борис Александрович Болконский и его жена, симпатичная еще молодая женщина. Они остановились в соседнем доме. И к ним мы заглянули. Познакомились. Сразу нашли общих знакомых. Он знал моего непосредственного педагога по актерскому мастерству — Александра Васильевича Соколова, и руководителя класса — Леонида Сергеевича Визьена и еще ряд актеров, которых хорошо знал я.

Борис Александрович нервничал; осторожно выбирал фразы (я основное переводил тут же стоящему «барону»), жаловался, что «у них» плохо, хотя руководитель группы зондерфюрер Зундра, говорящий по-русски, очень неплохой человек.

Оказались Болконские на оккупированной территории случайно, когда летом были на даче. Артист заметно тяготился своим участием в «передвижном театральном организме». Но... надо было зарабатывать на хлеб...

Вот увидите — что это за «театр»,— доверительно сказал он.— Любители. А во главе — кочегар Дома культуры, бала-

лаечник. Одним словом, несем «искусство», — со вздохом завершил александринец.

Болконский выглядел весьма импозантно и фон Бляйхерт даже подумал — не из дворян ли он?.. Вечером «барон» дал мне в сопровождение двух конвоиров и разрешил посмотреть концерт. На нем, кроме фон Бляйхерта, этих конвоиров и одного унтера, никто из немцев не присутствовал. Помещение заполнили польские «хиви» и вохоновцы. Яблоку упасть негде.

Концерт произвел и на обер-лейтенанта и на меня весьма скромное впечатление. Сначала выступил руководитель этой бригады или группы, невзрачный рыжеватый мужчина лет тридцати-тридцати пяти — и замолвил слово о «расцвете искусства при фюрере», благодаря тому, что «немцы дали свободу нашему творчеству» (???!!!). К счастью, он говорил мало. Затем пара приезжих что-то станцевала под баян; с «злободневными» частушками о сборе утиль-сырья (???!!!) выступил руководитель группы со своей невзрачной костлявенькой женой. Аккомпанировал частушкам сам исполнитель на балалайке. Надя Павлова (красавица, похожая на Наташу Медведеву), что-то спела и сыграла в каком-то совершенно безобидном и глупом скетче.

Потом вышел румяный юноша лет восемнадцати, и вдруг помещение заполнил сочный бархатистый баритон. Юноша, фамилия его была Розин, поразил настоящим голосом, которым кстати владел довольно прилично. Пел он русские песни, среди них — мою любимую «Вниз по Волге-реке». Болконские читали «Русские женщины», диалог княгини Трубецкой и Губернатора, и, хотя это было очень неплохо, особенно у Болконского, но очень уж выбивалось из пестрейшего ситца всего концерта.

После его окончания, когда зрители стали расходиться, к фон Бляйхерту подошел зондерфюрер Зундра и попросил разрешения побеседовать со мной. «Альзо» кивнул в знак согласия.

Говорили мы по-русски. Я предпочитал его в разговоре с теми немцами, которые его более или менее знали, так как своим произношением и дикцией мог поразить любого куда больше, чем владением немецким, что нет-нет да и вызывало удивленные возгласы восторга и... ненужные мне вопросы.

Зундра сказал, что от жителей уже знает обо мне; спросил, где я учился, где играл. Я ответил, подчеркнув, что актер я молодой, начинающий. На стандартный вопрос: не играл ли я в спектаклях по пьесам немецких акторов, я соврал, что играл и

назвал небольшие роли в «Перед заходом солнца», «Розе Бернд» Гауптмана, в «Разбойниках» Шиллера.

Зундра предложил мне что-нибудь прочесть. Я спросил фон Бляйхерта — можно ли? Он кивнул, и я прочел «Бой Мцыри с барсом» и, смеха ради, пару басен Лафонтена на французском языке.

Присутствовавшие, а в помещении оставались и вохоновцы и актеры, пришли в восторг. «Барон» тоже довольно заулыбался, вот какой у него пленный!

Зундра тут же предложил вступить в их труппу. Меня сразу же освободят: это в его власти. Я стану свободным человеком, смогу играть не только в данной группе, но и в любой другой (в его распоряжении и другие русские артистические труппы). Есть у него и такие труппы, которые ставят спектакли, правда, пока одноактные. Но, улыбнулся зондерфюрер, «с Вашим приходом можно будет рассчитывать на настоящие постановки».

Тут же Зундра обратился к фон Бляйхерту, наговорив комплиментов о моем «даровании», и заявил, что очень желательно, чтобы в «пропагандацуг» (взвод пропаганды) или в «пропагандакомпани» (рота пропаганды) пришел такой молодой артист.

Фон Бляйхерт улыбнулся и пожал плечами: этот вопрос предстоит решать самому Александру.

Меня тянуло на сцену, но я понимал, что участие в «пропагандакомпани» навсегда отрежет мои надежды на возвращение в настоящее искусство, если мне удастся иным путем вырваться из плена. Никакой немецкий паек, который получали в труппе Зундры, не мог от меня заслонить реальной картины. Пусть эта труппа не играла ничего пропагандистского, но уже то, что она состояла на обеспечении фашистской пропаганды, отталкивало.

— Большое спасибо, господин зондерфюрер,— сказал я после короткого раздумья.— Вы задали очень лестный для меня и очень серьезный вопрос и решить его сразу невозможно. Видите ли, ко мне здесь очень хорошо относятся господин обер-лейтенант, и я не могу с этим не считаться; я здесь уже более года; свылся с сельской работой, а вы знаете, что каждого из нас, русских, всегда влекла деревня, и здесь вокруг чудесные люди. С ними я тоже сблизился, а они — со мной. И вообще, господин зондерфюрер, я как-то мыслю себе настоящее возвращение к избранной профессии, к сцене, не в передвижном коллективе и уже после окончания войны, после...

— Подумайте,— сказал на прощанье Зундра,— если пере-

думаете, сразу дайте мне знать. Я буду ждать,— и он назвал, куда обратиться.

Я еще раз поблагодарил его. «Барон» остался очень доволен. Но Зундра и на другой день, когда артисты собирались в дорогу, просил Чуканова передать мне, что будет ждать моего окончательного ответа. Мне кажется, зондерфюрера немного удивил мой вид: аккуратно, но все-таки залатанная гимнастерка, брюки из плащпалатки...— и он потому не оставил надежду заполучить меня в свой «агитвзвод».

В «Северном слове» писали о Печковском (он концертировал в Гатчине); сам он, выступая в прессе, не позволял себе ни одного худого слова о Родине, а после возвращения из поездки по Германии и знакомства с оперными труппами, написал в газете, что даже лучшие впечатления не могли у него изгладить памяти «о незабвенном Маринском театре» и его постановках.

Другое дело — Блюменталь-Тамарин: не было почти газеты, в которой он не выливал потоки грязи на Советскую власть и на все, что у нас творилось. Не было антисоветского или антисемитского анекдота, который бы Всеволод Александрович, так мило потягивавший ямайский ром в гостях у Анапия Абрамовича Шахматова, директора Выборгского Дома культуры в Ленинграде, брата первого мужа моей родной тети, который бы Блюменталь не выдал в прессе за неоспоримый факт. Так он писал об осквернении могилы Гоголя, о продаже ребра великого писателя американским миллионерам. Любую грязь выливал он и на своих бывших товарищей по сцене, на знаменитых своих знакомых из театрального мира России.

В том же «Северном слове» сообщалось о постановке водевиля А. П. Чехова «Медведь» и исполнении центральной роли руководителем труппы Готкевичем. Сперва о нем писал как о Готкевиче, потом, помещая фотографии, как об Астрове, подчеркивая, что он выбрал себе этот псевдоним.

Ефима Готкевича я знал: учились в одной школе № 13 в Киеве. Он был чуточку старше меня, с детства мечтал о сцене, еще мальчишкой играл в фильме «С одной улицы трое». После окончания десятилетки мы оба держали экзамен в ГИТИС. Его приняли, меня — нет. По совету Москвина я тогда уехал в Ленинград.

Ефим сумел упорнейшим трудом преодолеть речевой дефект — грассирующее «р» — и должен был стать выдающимся актером. Вероятно, его взяли в армию с первого курса, благо в тридцать девятом и сороковом, чуть подходило время, забирали и студентов. Очевидно, попав в плен, Ефим, как и я, скрыл свое

происхождение и через театральную концертную группу или через «пропагандакомпани» стал заниматься любимым делом. Что ж, дай Бог ему удачи!.. Однако, встречаться нам не обязательно: откуда я знаю, какую сказку он придумал о себе, а ему откуда знать, что о себе сочинил я?..

Через некоторое время одна из вохоновских девушек после поездки в Гатчину сообщила, что красивую Надю Павлову убил немецкий часовой. Она вечером шла по улице после комендантского часа и на окрик часового не ответила. А тот сразу выстрелил и убил наповал.

В Вохонове после наступления темноты по улицам ходят «штрайфен» (патрули). Слава Богу, еще никого не убили. Иногда я узнаю пароль. Когда немцы, заперев меня на ночь, выстраиваются неподалеку от окна, я слышу их команду и, сообщаемое к сведению часовых и патрулей «кенворт» (пароль). Но запертому это ничего не дает.

53. ВЕРЕПЬЕВСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. ОХОТА. ВЛАСОВЦЫ.

Весенним утром, когда только-только сошел снег, «барон» приказал запрягать молодого жеребца Ханзеля. Едем втроем — обер-лейтенант, Курт и я. Курт немногословный с крестьянской хитрецей саксонец. Видимо, понадобился он фон Бляйхерту «для мебели»: офицеру приличествует ездить с подчиненным. Один пленный на козлах в роли кучера — недостаточно престижно для появления обер-лейтенанта, где его еще не знают.

Проезжаем Николаевку, станцию Елизаветино и, несколько раз переспросив о дороге, направляемся в Верепье.

С обер-лейтенантом ехать спокойнее, чем с каким-нибудь унтером: никто не останавливает, не спрашивает о пленном на козлах, не ввязывается в беседу.

За Николаевкой миновали одну, другую деревню, а уже в третьей немцев не заметили. Потом долго ехали, пока не показались Верепье.

Здесь легко отыскали дом охотника Комаринена, сухощавого жилистого финна лет пятидесяти, если не больше, но, сразу видно, крепкого, сильного. Зашли. Хозяин, по обыкновению извинившись, что живут небогато, пригласил к столу.

«Барон» с неожиданной широтой натуры (ради охоты готов на все!) поставил на стол бутылку коньяка, чем моментально создал у хозяев самое выгодное представление о своем характере, и дефицитные рыбные консервы. Неожиданно предложил и мне сесть, подчеркнув, что вообще-то за одним столом с плен-

ным ему сидеть не положено, но иногда можно нарушить правила. Я тоже получил «наперсток» коньяка.

Комаринен объяснил, что в этой, отдаленной от дорог деревне, «войны не было». С осени сорок первого в лесу прятались тринадцать партизан. Среди них одна женщина. Собственно, ничего они не делали. Отсиживались в лесу. Весной сорок второго немцы устроили облаву. Видно, кто-то донес. Обложили со всех сторон. Партизаны отстреливались. Несколько немцев ранили, одного или двух убили. Вероятно, когда израсходовали все патроны, попали в плен. Их тут же вместе с женщиной расстреляли.

— В сухом месте, за урочищем, за болотами,— рассказывал Комаринен,— был сумасшедший дом. Как немцы пришли, всех уничтожили. Они сумасшедших не держат. А сейчас в том доме «РОА» стоит. Рота или взвод. Озорники. Так по девкам и шастают. Что плохо лежит в деревне,— тянут. Хуже немцев».

Я механически перевел и заключительную фразу, чем вызвал смех фон Бляйхерта и Курта. Затем разговор опять перешел на охоту. В Верепьевском заповеднике водилось много лосей, но их перестреляли еще в сорок первом, весной сорок второго. А теперь развелось множество лисиц, зайцев. Есть, конечно, всякая птица.

Обер-лейтенанта больше всего интересовали глухари и глаза его разгорелись, когда Комаринен сказал, что знает, где их ток. Комаринен, глянув критически на мою обувь, посоветовал занять места поблизости от глухариного тока еще с вечера.

Курт остался в доме охотника, а мы отправились — Комаринен, обер-лейтенант и я. Впереди финн, за ним я, позади «фон». Оба они в высоких охотничьих сапогах.

Действительно, без проводника не добраться бы до глухариного тока. Путь лежит через невероятные дебри. Под ногами вода, подчас приходится идти вброд через глубокие лужи и озерца и ледяная вода порой выше колен. А по сторонам в зарослях серебрятся, уже темнеющие от весенних лучей, полоски льда и снега.

Нет худа без добра: ледяная вода, сразу залившая мою кирзятину, обжигая ноги ледяным холодом, тут же выливалась из сапог через бесчисленные дыры в голенищах и у отстающих подметок, так что, когда, наконец, мы пришли часа через два три — путь был долгим — на облюбованное Комариненом место, выливать что-либо из моих сапог было бесполезно: все вытекло еще по дороге.

Как я не простудился?! Впрочем, почему я не простывал, работая зимой в лазарете в Коломовке, в чудовском лагере,

вообще, в плену?! Не знаю. За все время, кроме тифа, только раз, уже в Вохонове, я явно затемпературил зимой, простыл. Но, спасибо Павлу, он тайком сунул мне поллитровку вонючего самогона, шепнув: «Перед сном выпей и разотри ноги и всего себя». Я так и сделал и наутро, несмотря на жуткую головную боль, от насморка не оставалось следа.

Подобно всем мальчишкам — и детям — я в детстве не любил умываться. Но вдруг, когда мне миновало пятнадцать, «в начале шестнадцатого», у меня появилась страсть к обливанию ледяной водой. Я стал ежедневно умываться под холодным душем, зимой и летом. Выстаивал под ним подолгу. Как я тогда не заработал никаких ишеасов, радикулитов, воспалений, не знаю. Может быть, эти юношеские души закалили меня?.. А ведь приходилось в немецком лазарете под окрики санитарных ефрейторов в Чудове выскакивать босиком на снег, чтобы «шкоррэй, шкоррэй!» разгружать дрова и доски для офицерских гробов.

Вот сейчас бы хоть «наперсток» коньяку... Но обер-лейтенант не замечал, с каким остервенением я снимал сапоги и выжимал портянки.

Комаринен объяснил, что привел нас кратчайшим путем и спокойно прилег на холмике.

Ночь была черная. Но мне не спалось. Я думал о партизанах, погибших где-то здесь, поблизости от этого урочища, о власовцах, карауливших эти девственные чащи, о фон Бляйхерте, который дремал недалеко от меня, подложив под голову рюкзак. Он даже не поинтересовался, что у меня ноги ледяные, не предложил каплю спиртного, чтоб растереть их,... согреться. А ведь взял же с собой. И вот лежит себе безмятежно во враждебной стране в военное время. Диво! Или так уверен в себе, или так верит мне и Комаринену?.. Скорее всего, понимает, что убивать его глупо. Комаринен не убьет, потому что у него семья. Да и зачем ему?.. А если я убью, то сделаю ли доброе дело? Этот хоть явно терпеть не может доносчиков, предателей. Вот недавно вызвал меня и добрых часа полтора убеждал вступить, если не во власовцы, то в «хиви». Дескать, не нужно будет держать возле вас конвоира, сможете жить свободно, ходить свободно, будете получать немецкий паек, зарплату, сможете завести себе женщину, и ему, значит, будет легче: меньше неудобств, а то получают паек на тридцать-сорок солдат и на одного пленного. Смешно! Лишних распросов не будет: почему не вступает в «хиви» и так далее. Верно, он, обер-лейтенант значит, мало внимания уделяет перековке сознания единственного пленного...

Я отвечал, что не могу переменить форму даже на «хиви», так как это означает измену присяге. Я русский солдат. Меня можно убить, уморить голодом, потому что негодяй Сталин отказался вступить в какую-то «генфскую» (Женевскую) конвенцию о военнопленных, но заставить меня поднять оружие на брата, а у меня брат в Красной Армии, нельзя. Если же я стану «хиви» сегодня меня пошлют на кухню, завтра куда-то против партизан, а послезавтра вообще прикажут стрелять в своих. Если я, пленный, уйду, выругаются, но никто не упрекнет меня в вероломстве. А, если я, «хиви», расконвоированный, перебегу к своим, меня справедливо назовут двойным изменником. В общем, заключил я, вступать в какие-либо соединения под эгидой райха не могу. Не верю тем, кто вступает: кто сегодня изменяет одной стороне, завтра изменит другой.

Фон Бляйхерт терпеливо выслушал меня и объяснил, что мое нежелание ему понятно, но не все время он сможет защищать меня, если потребуют объяснений. Кругом все пленные (откуда «все»?) давно вступили в РОА (Русская освободительная армия, власовцы) или в «хиви», а я нет. Он вынужден будет искать себе другого переводчика, а меня придется отправить в лагерь.

— Вы понимаете,— завершил он,— мне придется отправить вас опять в лагерь. А там не сладко. Вы это знаете.

— Знаю,— ответил я.— Но ничего поделать не могу. Менять форму я не намерен.

— Повторяю: я вынужден буду отправить вас в лагерь.

Я пожал плечами: «Воля ваша, господин обер-лейтенант».

Он пристально посмотрел на меня и поднялся с кресла (разговор происходил в его комнате). Он подошел ко мне и, (чудо!) протянул мне руку. Я ее пожал, а он заметил: «Впрочем, если бы вы поступили иначе, я бы перестал вас уважать». Значит, где-то в нем жило понятие о простой порядочности, о верности и он уважал это даже у врага.

Правда, через несколько дней едва не произошел казус: в присутствии Антона Хингара кох Ланге, как бы между прочим, ляпнул, что на днях «Альзо» намерен отправить меня в лагерь.

Лагеря я, конечно, боялся: теперь каждого вновь прибывшего подвергали медосмотру для проверки...

Я виду не подал, что «приятная новость» повергла меня в смятение. Переменив тему разговора, я поскорее ушел с кухни.

Рабочие уже собирались по домам. Девушки из Таровиц, Аня и Хельми садились на велосипеды.

— Хельми!— окликнул я.

Миловидная финка, брюнетка с черными смородиновыми, чуточку косящими глазами подъехала ко мне. Она знает унтера, товарища Эрнста Виттерна. Он квартирует в Таровицах.

— Хельми, сейчас же передай унтеру (называю его имя), что я очень прошу его срочно приехать ко мне. Срочно!

Хельми понимающе улыбается и жмет на педали.

Зайдя в чулан, я быстро пишу записку зондерфюреру Зундре: согласен. Пусть поторопится.

Зундра во мне заинтересован. Уверен: для него достаточно будет справки доктора Мозеса...

Следующим утром, подавая ведра с водой повару, я невзначай бросил: «А мы, Георг, вот-вот действительно распрощаемся. (Я был уверен, что Зундра за мной приедет, чуть получит записку: русские артисты на улице не валяются).

Георг вопросительно поднял свои вороньи глаза: «Вас? Вас?» (Что? Что?).

— Когда ты мне вчера сообщил о намерении обер-лейтенанта отправить меня в лагерь, я попросил сообщить в «пропагандакомпани» зондерфюреру Зундре, что согласен участвовать в его артистической бригаде. Он за мной должен заехать.

Кох схватился за голову: «Алекс! Что ты наделал?! «Старый» меня съест! Я же пошутил! Неужели ты не понял?! Я пошутил!..»

— Хорошие «шутки», — отрезал я: теперь наступило время мне «отыграться». — А я шутить не умею, во всяком случае, так.

— Алекс, Алекс, меня же обер-лейтенант съест! Как ты мог поверить шутке?!

— Другой раз так «шутить» не будешь.

Кох застонал: «Боже, Боже, что ты наделал?!..»

— Ты серьезно говоришь, что пошутил?

— Клянусь, Алекс! Клянусь!

— Ой, Георг, что же теперь делать?!

— Прошу тебя, Алекс, придумай что-нибудь!..

Я ушел вниз к разводу — и вовремя: меня возле чулана уже ждал приятель Эрнста Виттерна. Я честно объяснил ему, что произошло, почему я вызывал его. Он не обиделся, не рассердился. Он еще извинялся, что вчера вечером не смог приехать. Заодно он передал мне открытку от Эрнста. Она оканчивалась словами: «Хайль Гитлер, троц Сталинград» (Хайль Гитлер, не смотря на Сталинград). Эрнст еще пытался шутить.

Кох Ланге больше не пытался меня пугать.

...Лес начинал просыпаться. Первая запела какая-то маленькая птичка, за ней — другие. Это была симфония редкой чистоты, свежести и обаяния. Только проводивший такие часы в дев-

ственных лесах, тогда, в пору весеннего пробуждения, только тот, в ком есть хоть немного чувства, способен понять очарование подобного утреннего призыва природы: к свободе, к свету!..

Внезапно неподалеку раздалось нечто скрипящее, похожее на потирание спички о коробку, громкое, повторяющееся. Словно кто, невидимый, возил огромной спичкой по коробке...

Обер-лейтенант вскинул двухстволку и выпалил в сторону этого близкого, скрежещущего звука.

Что-то черное огромное отделилось от недалекой сосны и, тяжело взмахивая крыльями, полетело прочь. Обер-лейтенант нервно загнал в ствол новый патрон, выстрелил. Но птица уже скрылась. Больше оставаться на току не стоило. Глухарь осторожен. Охота кончилась.

Обратно «барон» решил пойти через участок сумасшедшего дома. Комаринен указал путь, объяснил, как идти, а сам направился кратчайшим путем, так как ему еще хотелось проверить свои расставленные силки.

Напрасно «барон» убеждал охотника проводить нас. Упрямый финн отказался, объяснив, что раз уж забрел по нашим делам так далеко, то не зря же: хоть свои ловушки проверит.

Мы отправились вдвоем. На этот раз дорога была, хотя и не ближней, но такой долгой, как вчерашняя, мне не показалась, вероятно, из-за того, что наступил день, пригрело солнышко и путь не лежал через топи и болота, а через сухие сосняки.

Часа через полтора-два мы оказались возле огороженного каменного двухэтажного дома. Прошли внутрь никем не охраняемой ограды и двинулись полевой дорогой к деревне.

Отойдя с километр, мы встретили человек пять власовцев. Они поспешно шагали к дому из Верепья, шумно переговариваясь. Это были молодые краснорожие парни, немного подвыпившие. Они громко болтали о «бабах», смеялись. В руках у них были ремни, на которых качались кобуры с пистолетами.

Поравнявшись с нами, они небрежно козырнули, не сбавляя шага, и направились дальше.

— Хальт!— весь побагровев, гаркнул обер-лейтенант.— Цурюк! (Стой! Назад!).

Я перевел в том же тоне.

Власовцы повернули, приблизились и фон Бляйхерт накинулся на них, обыывая разгильдяями и прочее, и прочее.

Я переводил в тон его повелительному тону, заражаясь его гневом (артист, все-таки!). Он приказал власовцам «зофорт умшналлен!» (сейчас же подпоясаться!), построиться — только быстро!— и эти «герои», так лихо вышагивавшие минуту назад из деревни, покорно выстроились и, откозыряв, как требовалось,

подпоясавшись, без слова возражения двинулись к своей базе.

Я был поражен: они могли, шутя, пристрелить «барона», заодно придушить меня, пленного, столь командирским тоном переводившего приказания фон Бляйхерта — и никто бы не узнал, не спросил. Могли бы даже отнести смерть офицера за счет меня: дескать, пленный убил — и все. Кто бы стал в то время разбираться, докапываться до истины?!

Но они покорно вытерпели все ругательства и, главное, тон «барона», повелительный, полный презрения, и, униженные, безропотно двинулись «до дому, до хаты».

«Барон», отправив их, пошел дальше таким же крупным шагом, не оглядываясь, а я, по правде говоря, несколько раз оглянулся. Но власовцы «чесали» без оглядки.

Когда мы вернулись в Верепье, Комаринен уже был там. Курт уже запряг Ханзеля, и мы поехали в Вохоново.

После этого еще раз, под осень, вместе с фон Бляйхертом мне довелось ездить в Верепье на глухариный ток. Но и тогда вернулись без трофеев. Пришлось «барону» довольствоваться теми редкими зайцами, которых удавалось подстрелить в окрестностях Вохонова.

Однако сам факт, что «барон» ездил со мной на охоту, в глазах и немцев, и населения воспринимался как знак особой милости фон Бляйхерта ко мне.

* * *

Наша листовка с фотоснимками, среди которых центральное место занимает «Фельдмаршал Паулюс и офицеры его штаба осматривают выставку прикладного искусства немецких военнопленных», была великолепной. Солдаты делали вид, что не верят, шепотом переговаривались: оказывается, фельдмаршал не застрелился!..

* * *

В Африке Роммель вынужден сдать позиции. Фрицы почему ругают итальянцев и румын, за Сталинград и Воронеж; считают, что союзники их постоянно подводят. А за что воевать союзникам? Кто может верить Гитлеру, кроме его подданных, которые по его обещаниям после победоносного окончания войны и установления тысячелетнего (!!!) мира не будут работать физически, только распоряжаться другими, поработанными народами. Боже мой! И в этот «рай» могли верить погибавшие в окопах, в атаках на суше и на море?!. Неужели немецкий на-

род превратился в Панургово стадо?! А может быть?! Я вспоминаю Пушкина:

«Паситесь, мирные народы,
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич».

А один ли немецкий народ оказался в положении стада?.. Я прилично знаю историю, люблю ее с детства, и бью своих немецких оппонентов более обстоятельным знанием истории Германии, чем то, что им впрыснули в начальных или средних школах. Я отлично знаю огрехи Советской власти, многое еще. Вероятно, знаю далеко не все. Во многое услышанное не хочу, отказываюсь верить. Не верю, что в Ленинграде зимой сорок первого — сорок второго был голод. Не может быть, чтобы наше правительство и командование допустили такое. Это пропаганда. И я говорю немцам, что если б что похожее случилось, Ленинград бы пал. А он стоит и, того и гляди, погонит прочь от своих стен незванных пришельцев. Врут Гитлер и Геббельс. Крыть им больше нечем.

В сорок третьем с немцами говорить легче. Все больше их интересует советский плен. Им хочется верить мне, что мы с пленными обращаемся хорошо. Но геббельсовская пропаганда постоянно угощает солдат новыми и новыми «подробностями большевистских зверств». Немцы боятся: кому верить?..

В Вохоново приезжает «пропагандаваген», останавливается среди деревни. Внутри сидит русский в штатском. Девушки, перекинувшиеся с ним несколькими фразами, говорят, что он из бывших пленных. Он агитирует сельскую молодежь вступать в немецкие «хиви» (вспомогательные части) и в РОА.

В обеденный перерыв ко мне подходит группа подростков и юношей; спрашивают — как им быть? «Хиви» и РОА освобождают от трудовой повинности, а так, раньше или позже, их погонят к черту на кулички в принудительный «Арбайтсдинст» («Трудовая повинность»). Многим надоело работать в государственном имении (штатсгуте). У молодежи головы не столько «горячие», сколько «сырые».

Недавно приезжал один из Свяни, вступивший в финские или эстонские вспомогательные войска под эгидой вермахта еще весной сорок второго. Подтянутый. Форма — вроде немецкой. Выглядит свежо, даже щеголевато. Ходил по деревне, болтал с приятелями. Где-то он и его новые товарищи охраняют

железнодорожное полотно от партизан. А могли бы охранять немецкие войска... Свяни уехал через несколько дней. Такой куцый отпуск...

Еще не раз мне придется предостерегать наших ребят от вступления в немецкие формирования. В этом вопросе мои интересы совпадают с интересами... фон Бляйхерта: он катастрофически боится терять рабочую силу, даже ее подобие в облике приходящих в штатсгут подростков. Конечно, знал бы он о моих «добрых советах», вряд ли отнесся бы к ним положительно... Во всяком случае, ни один парень из Вохонова и из тех, кто работал в штатсгуде, не записался ни в какие «хиви», ни в РОА.

Немцы всегда ждут лета. Им кажется, что именно «этим летом» они наконец-то разгромят врагов и война закончится. Они свои наступления планируют всегда на лето. Сорок третий смешивает все карты вермахта.

Чуть ли не из Рабочего поселка возле Ладоги или из-под Мги прибыла группа эвакуированных. Там зимой наши прорвали блокаду Ленинграда, заняли несколько поселков. Из них и из прифронтовой полосы немцы выселили жителей в тыл. Выселяемые успели взять с собой лишь немногие узлы с вещами. Поселили прибывших сюда переселенцев в Муттолове, а трудоустроили в штатсгуде.

Среди эвакуированных плотный мужчина лет пятидесяти, прилично одетый; держится уверенно, немного говорит по-немецки. Он был бургомистром какого-то поселка или даже города. Мы знакомимся. Это не простой человек, как окружающие вохоновцы; в нем чувствуется подозрительность. Со снисходительной мягкостью он разговаривает со мной, спрашивает давно ли я здесь, а заодно — нет ли у меня родственников немецкого или (о ужас!) еврейского происхождения. Его удивляет и настораживает, почему я до сих пор не вступаю в «хиви», когда «все уже вступили, и это дает так много преимуществ...»

Отвечаю, что ни немцев, ни жидов в моем роду не было, что на Кубани, откуда моя мать, казачка, все черноволосые, кудрявые или рыжие. Вступать мне в «хиви» незачем: мне и тут хорошо. Не обижают, и предупреждая дальнейшее выпытывание, говорю: «Меня уж тут проверяли, так что «не сумлевайтесь».

Видимо, он не перестал «сумлеваться» и даже попытался поделиться своими подозрениями с немцем, присматривавшим за работой в поле. Немец вдруг спросил меня: проходил ли я медосмотр? Я удивился: сколько раз можно проходить? — и показал спасительную справку доктора Мозеса. Немец кивнул, так сказать успокоился, а затем подошел к бургомистру и что-

то ему объяснил. Тот, судя по жестам, извинялся, пожимал плечами, и я понял, что избежал еще одной опасности.

Беженцам из-под Ладоги не пришлось так трудно, как беженцам сорок первого года, зимовавшим в голодных деревнях, разоренных бесконечными окруженцами, с которыми крестьяне делились последними продуктами. Теперь после урожая лета сорок второго крестьяне зажили куда лучше, чем жители городов. Хлеб к осени сорок третьего стоил на рынке уже сто рублей, подешевели овощи, молоко; только на яйца и кур цены оставались сравнительно высокими: уж больно охочи были до них фрицы.

Иногда бургомистр ездил по делам в Гатчину. Фон Бляйхерт отпускал его «со скрипом». Наконец, бургомистр объявил, что «договорился»: его и прибывших с ним эвакуируют «в глубокий тыл». Не уверен, что у этого «активиста» совесть была чиста: очень уж он беспокоился, как бы наши не пришли... Не раз он важно говорил о своих знакомствах со всякими немецкими комендантами, высокими офицерами и так далее. Упорно старался он вступать в «откровенные беседы» со мной. Но я держался подчеркнуто сдержанно.

В один прекрасный день он показал, сделавшему равнодушную мину фон Бляйхерту, распоряжение из Гатчины. Обер-лейтенант сказал свое обычное «альзо» (итак), но сразу выделить транспорт для отправки эвакуированных в Гатчину отказался: все занято на полевых работах и отправил бургомистра и сопровождавших его беженцев только через три, когда погода испортилась, а из комендатуры пришло новое напоминание не чинить препятствий для отъезда «временно эвакуируемых».

Среди немцев, уже не вспоминавших о «штурме Ленинграда», ползли слухи о дислокации, о переброске частей на южные направления, о готовящемся новом наступлении на Москву: лето...

54. МАРТИН ВЕРНУЛСЯ! САМОУБИЙСТВО...

Внезапно, как снег на голову, свалилось известие: Мартин вернулся! Ошарашило!.. Все радовались, что избавились от него, а тут... Принесший «веселое сообщение» Курт не выражал восторга.

Был ясный солнечный день. В совхозном дворе хлопотали и немцы и вохоновцы. И вот появился он, Мартин. Он шел, сияющий, направо и налево расточая улыбки, сукин сын, упрекавший обер-лейтенанта в «либерализме». О, если б дали сво-

боду действий Мартину!!! Уверен, так как слышал от него не раз, он бы не одного вздернул на виселицу, а скольких бы заporол?.

И вот теперь этот Мартин, которого мы уже мысленно давно «списали», по-хозяйски вышагивал перед народом, расточая улыбки и что-то выкрикивая.

Мне оставалось тоже сделать умильную рожу и «прийти в его объятия», которые он мне демонстративно распахнул. Конечно, я тут же поинтересовался, каким образом и в каком «образе» он вновь явился, чему, понятно, «безумно рад» и надеюсь, он снова будет в штатсгуте.

— Не исключено, не исключено,— отвечал унтер, не совсем представлявший, какие ушаты помоев вылили на него после его отбытия все «камраден» и Райнер, донося обер-лейтенанту.— Я прибыл во главе специальной «хойкомандо» («сенокоманды») для заготовки сенажа, которого здесь предостаточно. Но, возможно, Хорст (фон Бляйхерт), который ко мне очень хорошо относится (о «фон»— дипломат!) оставит меня здесь (не дай Бог!— подумал я).

У Райнера и всех прочих фрицев при виде свирепого унтера лица вытягивались с угодливыми улыбками: все его боялись. А он зачастил в штатсгут. Заготовка сена затянулась у него на длительное время... Вечерами он гулял с Марией, которую днем Райнер освобождал от работы, о чем тут же спешил донести обер-лейтенанту. Тот раза два побеседовал с Марином, но не на «любовную тему»; держался, как обычно, официально, холодно улыбаясь сквозь стекла очков. Улыбка, ни к чему не обязывающая, не выдававшая настроение аристократа.

Обер-лейтенанта раздражало отсутствие Марии на работе и, произнося свое «альзо», когда дежурный унтер докладывал ему на разводе, что «Мартин просил, ссылаясь на благоволение господина фон Бляйхерта», отпустить ее, последний хмурился все больше и в конце концов заявил, что впредь никаких разрешений не будет: он разрешал только один раз. Все!

А Мартин по делам своей «хойкомандо» разъезжал с Марией в вохоновской бричке по окрестным деревням и ночевал у нее в доме. Женщины, не говоря о девушках, единодушно осуждали Марию. Никто не верил, что она любит этого пудрого прыщавого унтера, самодура и пошляка. Но Мария будто не обращала внимания ни на кого, хотя в Вохонове избегала показываться вместе с Марином. Держалась она независимо, была по-прежнему озорной, улыбчивой, бесшабашной бабенкой с зелеными искорками в дерзких глазах. Я, несмотря на то, что Мартин исповедовался мне в своих чувствах, не мог предста-

вить Марусю в объятиях этого типа, не верил в ее искренность. Пожалуй, другие тоже не верили.

А роман продолжался. Один из «партизанят», мальчуган лет тринадцати (какой от такого прок?—загадка) в рабочее время отправился в деревню с запиской от Мартина к Марии. Никто паренька не отпускал и он, понимая, что если его увидит «Альзо», ему нагорит, подошел к дежурному унтеру с вопросом: можно ли ему идти? Я перевел вопрос, а унтер удивился: по какому делу?

Мальчишка скорчил рожу и бухнул: «Да вот Мартын посылает к своей... записку, а я боюсь как бы на глаза «барону» не попасться. Оштрафует».

— А ты покажи ему записку — и ничего не будет, — посоветовал я. Унтер только покосился на меня.

Мальчишка ушел и тут же напоролся на обер-лейтенанта. Как я предсказал, ему ничего не было. Записка осталась у фон Бляйхерта, а через день Мартин получил приказ свертывать свои дела, срочно возвращаться в часть.

Утром накануне его отбытия, буквально ни свет ни заря, в моем чулане загремел запор и, вбежавший Антон Хингар, возбужденный до крайности, захлебываясь от сознания, что несет нечто сенсационное, на жутейшем, четырежды переверканном подобии русского языка, залопотал какую-то невероятную, связанную с Мартином. Я матюгнулся и предложил перейти на немецкий. Хингар набрал побольше воздуха в легкие и, выпучив глаза, то ли удивленно, но больше радостно, гаркнул: «Мартин кончил жизнь самоубийством! Застрелился!»

Обер-лейтенант послал Хингара за мной. Через несколько минут мы были в деревне у дома Федоровой.

У открытых дверей стоял часовой. В отдалении жалась кучка любопытных жителей. Подошел фон Бляйхерт.

В узком коридорчике, между наружной дверью и входом внутрь избы, занимая всю его длину, лежал на спине Мартин. Из левого уголка приоткрытого рта на пол протянулась красная ленточка застывшей крови. Глаза были закрыты. На полу справа, возле кисти руки, лежал пистолет. Мартин был в брюках, в подтяжках поверх рубашки.

Мария рассказала, что вечером она с Мартином ездила в Большое Одрово, а на обратном пути он стал ей клясться в любви, говорить, что она его не любит и грозил тут же застрелить. Она его с трудом умолила пощадить ее. Он говорил, что убьет ее и себя. Вечером он много пил. Ночью все не спал, ворочался, а перед утром встал, выпил еще стакан шнапса, вышел в коридор и стал звать Марию. Но она боялась выйти

к нему. Он позвал раз, другой, потом вдруг грохнул выстрел.

Вызванный из Николаевки врач осмотрел труп. Ему Мария, ее мать и Матвей повторили то, что рассказала Мария.

Труп увезли и похоронили на кладбище возле Николаевки, где хоронили умерших: в лазарете. На могиле Мартина, говорят, креста не поставили: самоубийцам не положено. Мария затем, рассказывали, несколько раз ездила на могилу унтера с цветами. Марусю я о таких вещах не расспрашивал.

Самоубийство произошло между первой и второй поездками фон Бляйхерта со мной в Верепье. Во время второй поездки зашел разговор об этом событии и фон Бляйхерт, к моему удивлению, выразил мнение, что Мартин, как я был уверен, выстреливший себе в рот, мог быть убит кем-либо другим. Я усомнился, но фон Бляйхерт заметил, что кровь, вытекающая изо рта, еще не является доказательством того, что человек выстрелил сам себе в рот. Впоследствии Матвей тихонько подхвастывал, что это он «кокнул» проклятого унтера. Но полагаю, если б у немецкого врача появились подозрения о насильственной смерти, дело бы так тихо и быстро не кончилось.

Среди немцев самоубийства случались нередко. В Елизаветине тоже застрелился один унтер. Сами немцы рассказывали также о других, известных им случаях.

55. ЗНАКОМСТВО С ИСПАНЦАМИ.

В соседних деревнях и на дорогах вблизи Вохонова за истекший год раза три или четыре жители или полицан задерживали и отправляли в лагеря беглых пленных. Теперь, в сорок третьем, их не расстреливали, а снова водворяли за проволоку после предварительного наказания плетью, так рассказывали женщины.

Толкуют, что на советской стороне введены повешение и каторга. Не верю: это совершенно противоречит нашим понятиям и коммунистическому учению. Другое дело — здесь. В Гатчине на базаре болтаются на виселице трупы. На груди у них дощечки — «партизан» или «вор».

Как это немцы могут хранить обычаи средневековья?! Правда, воровства как такового нет. В дома не лезут, в карманы тоже. Но воруют в том или ином понятии все: солдаты стараются достать что-то помимо пайка, офицеры тоже. Кажется, начальника ВИКАДО Ширмера расстреляли за крупные хищения.

Хулиганства тоже, считай, нет. Знают: фрицы его не потерпят.

У нас, в России, всегда к ворам и пьяницам относились покровительственно. Когда на западе за кражу рубили руки и даже вешали, у нас утверждали: «Не обманешь — не продашь», «От трудов праведных не поведешь палат каменных». Зато у нас за неосторожное слово, а то и без него карали жесточайшим образом. Не опоздали ли мы на добрых полтора-два столетия с нашими понятиями о нравственности?..

Идущий под конвоем пленный отдает честь немецкому генералу или просто вытягивается по команде «смирно». Генерал обязательно отдает честь в ответ. Не раз так было и со мной. А вот наши командиры — спасибо, если небрежно козырнут своему же солдату в ответ на приветствие. Осмелится ли наш командир или солдат ответить на приветствие человека, идущего под конвоем?.. Сомневаюсь.

Мне немецкие солдаты, унтеры, а то и офицеры подают руку, хотя на мне выцветшая и залатанная форма солдата враждебной армии. И это не просто «красивые жесты», а внутренний долг, выражение понимания моего положения. По инструкции они так делать не должны. А делают. Не все, мне это и не нужно, но многие. В этом чувствуется осознание того, что все мы — люди и никто не застрахован от капризов судьбы. Мы — люди враждебных армий, идеологий, но не враги.

На среднем и южном участках фронта бежать легче: там он нестабильный, а здесь, под Ленинградом, перейти его невозможно: весь в бетоне и минных полях. Но, если фронт сдвинется с места, то в направлении Красного села есть шанс убежать. До него километров двадцать пять... Какая досада, что нет карты!?. Ничего точно не знаю. Все по чужим отрывочным сведениям. Падкие до сенсаций жители поговаривали, что «красным» удалось прорвать фронт, что фашисты подбрасывают новые части в прорыв, но сдержать «красных» уже не могут.

Мы называем немцев фашистами, а они таковыми называют итальянцев, а себя — национал-социалистами. Когда немец идет в армию, он сдает партийный билет, хоть рядовой, хоть генерал. Армия считается беспартийной. Для меня в этом что-то странное. А может быть, я неправ?.. Может быть, армия действительно должна подчиняться только правительству? Только — кому?.. Армия у них не участвует в выборах. Да и что за «голос» у солдата или генерала? А наши выборы — простая комедия, лишняя трата средств на пустую демонстрацию редкого «единства партии и народа». Все советские люди знают это. Но у нас

армия защищает Родину, а у них, «беспартийная», служит бесчеловечному нацизму. Комедия! Кровавая!

Третий день в направлении Красного села грохотало. Ночью виднелось зарево. Из Муттолова ушли все немцы, бывшие там на постое. В следующем за Муттоловым селе их тоже не стало, о чем сообщили рабочие штатсгута.

Было бы здорово, если б всю околотенинградскую группировку наши окружили. Немцы бы капитулировали (ох, не пойдут они на это!) и сразу бы кончилась война! Догадались бы гитлеровцы убрать Гитлера и его клику!.. Мечты!.. Мечты!..

Грохотало далеко, далеко... Обер-лейтенант уехал в Гатчину или в свой штаб. В поле шла работа и я, изредка переводивший указания дежурного обер-ефрейтора, наблюдавшего за работой, вертелся в поле почти у самого Муттолова, то-есть, километрах в трех от штатсгута.

Унтер, пользуясь отсутствием «барона», тоже куда-то отлучился. Наступал час обеденного перерыва. Ближе к Муттолову начинался лес, огибавший деревню справа и слева. Только в стороне, обращенной к штатсгугу, простиралось открытое поле.

Люди спешили в тень перелеска, развязывали узелки, рассаживались. Я тоже оказался в перелеске без надзора; быстро прошел его, углубился в другой перелесок, за ним — в лес, хотя слышал, что в нем попадались мины. Я держался кромки леса, изредка скрываясь в зарослях, когда приближался к Муттолову. Обогнул деревню и прошел еще километра полтора. В следующем селе меня видели, когда приезжал с Мартином или фон Бляйхертом, и я уверенно прошагал по улице, пересекавшей село. Затем снова свернул в лес. Беспрепятственно миновал еще какую-то деревеньку. В общей сложности мне удалось так пройти около десяти километров, когда я заметил, что обходить следующую деревню нельзя: в окружавшем ее лесе мелькали палатки. Пришлось воспользоваться испытанным способом: я зашагал через деревню, на всякий случай, кивнув, как старой знакомой, какой-то неизвестной бабенке за забором.

Шел я деловито, по сторонам не оглядывался. Но мое настроенное ухо уловило звуки не немецкой и не финской речи. Я понял, что нахожусь в селе, занятом испанской «голубой дивизией». Об испанцах судачили разное. Рассказывали, что они как-то у Ладоги так перепились, что в одних кальсонах зимой драпали от наших, бросив всю технику. Иные утверждали, что они отчаянные храбрецы. Поговаривали, что «южане» до баб охочи», насильничают, воруют.

Я прошел уже добрую половину деревни, и никто меня не

остановил, пока не заметил, как из одного дома вышел дюжий крестьянин среднего возраста и направился ко мне.

Я постарался прибавить шагу. Крестьянин меня окликнул. Делая вид, что это меня не касается, я продолжал идти.

Крестьянин тогда заорал во всю глотку: «Остановись!».

Из ближних домов выглянули жители и испанцы. Я сбавил шаг и обернулся к преследователю: «В чем дело?»

Меня окружили двое или трое жителей и столько же испанских солдат. Преследовавший попытался схватить меня за руку, но я начал так отчаянно огрызаться по-немецки, что окружающие опешили. Испанцы, как мне показалось, хотели махнуть рукой, но мужички-чухонцы потребовали отвести меня в комендатуру.

Сердце мое отчаянно колотилось, но на лице я старался сохранить выражение обиженной добродетели.

Комендант оказался пожилым испанским офицером, с которым я сразу же перешел на французский язык, чем огорошил всех присутствующих. Не в пример испанским солдатам, среди которых попадались малограмотные, офицеры производили впечатление людей образованных. В доме коменданта все стены были увешаны иконами: видно, он их собирал. Испанские офицеры тут же за столом играли в карты, необычные какие-то, рисунчатые.

Старший по-немецки не говорил, и я на французском сумел ему объяснить, что являюсь «дольмечером» государственного имения Вохоново, что заблудился, выполняя поручение «барона фон Бляйхерта» (что мне оставалось делать?) и иду в штатсгут.

Комендант внимательно выслушал меня. Французский произвел на него впечатление. Другие офицеры встали из-за стола, подошли и с любопытством оглядывали странного типа в форме, напоминавшей советскую. Они не вмешивались в расспросы коменданта. Тот кликнул денщика и что-то сказал ему. Через минуту последний явился и быстро доложил офицеру. Тот махнул рукой. Я понял, что комендант вызывал какого-то немца, вероятно, прикрепленного к испанской части. Но представитель вермахта или отсутствовал или был мертвецки пьян и спал.

Офицер задумался и наконец объявил, что отправит меня в комендатуру Красного села. Я настойчиво стал объяснять, что отношусь к комендатуре штатсгута (такой не было), к Хорсту фон Бляйхерту, барону, а не к фон Кляйст-Ретцову.

Упоминание «барона» (не зря я его выдумал!) возымело действие. Комендант приказал вестовому вызвать двух конвоиров и сопроводить меня в штатсгут: там пускай разберутся.

Пока конвоиры собирались, я успел показать офицерам свою

образованность в испанской литературе, назвав славные имена Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Дона Педро Кальдерона де ля Барка Эннао де ла Барреда и Рианья (недаром я постарался выучить эту длиннейшую благозвучную фамилию великого драматурга). Последнее обстоятельство произвело огромное впечатление. Офицеры поверили, что я артист. О том, что я пленный, я не говорил, заявив, что я переводчик штатсгута. Критические взгляды, бросавшиеся на мою одежду, уступили место откровенному любопытству. В ответ на расспросы я назвал ряд пьес испанских классиков, с успехом показанных в московских, ленинградских, киевских театрах.

Один из офицеров спросил: курю ли я и, получив утвердительный ответ, протянул мне нераспечатанную пачку сигарет.

В дверях показались конвоиры. Офицер приказал отвести меня в Вохоново. Мне кажется, на прощание он взглянул на меня несколько подозрительно: такой эрудит так одет?.. Я отдал честь. Офицеры тоже откозыряли.

У крыльца топтался задержавший меня мужчина и еще один крестьянин, возможно, полицейский. Когда меня вывели, они что-то залопотали по-эстонски или по-фински. Я постарался их не заметить, хотя задержавший прошипел, что-то вроде «попался» или «поймали!» и поспешил зайти в комендатуру, откуда выскочил подозрительно быстро. Полагаю, он хотел сразу получить вознаграждение за поимку пленного. Везде висели объявления, что за задержание беглого пленного выдается награда — бутылка коньяка, пятьдесят или сто рублей денег и несколько пачек махорки или сигарет. Страшно сознавать, что находились люди, мало того, что задерживавшие беглецов, но и требовавшие вознаграждения за предательство.

Как часто, наблюдая людей, думалось о гибели Христа: среди дюжины апостолов нашелся один предатель, Иуда. В двадцатом веке из дюжины не пришлось бы выискивать одного...

В Вохонове я сразу пустил слух, что немцы терпеть не могут донощиков и отучил многих от привычки, впрыснутой понятием «бдительности», — наущничать. Пусть каждый отвечает за себя. Кого-то нет — разберутся без «посторонней помощи».

«Запахло» вторым фронтом. События в Италии. Крах Муссолини, несмотря на романтическую историю его освобождения из неприступного отеля Гран-Сассо капитаном СС Отто Скорцени, доказывали, что поражение райха не за горами.

Испанцы, одного из них звали Родриго Рубио, выведя меня из деревни, сами попытались завязать со мной разговор. К счастью, они слышали про Сервантеса и Дон-Кихота. От жестов

мы вскоре перешли к словам. Шли мы около двух часов и за это время я запомнил сравнительно много.

Увы, еще когда я находился в селе, занятом испанцами, ка-нонада со стороны Красного села смолкла и по всему поведе-нию южан не было заметно, чтобы они собирались куда-либо сматываться... Из разговора с конвоирами я узнал, что они вскоре должны вернуться на родину: истек срок их «службы». Они воевали «по вольному найму»...

Пройдя Муттолово, мы приблизились к штатсгуту. Я подо-звал двух вохоновских «партизанят», пасших овец, и послал их кликнуть кого-либо из немцев.

Конвоиры не подозревали грозы над своей головой. Немцы не любили испанцев, а последние — первых. Появившиеся сол-даты сразу же подтвердили, что я работаю в штатсгуте.

Объяснение происходило через меня, так как обе стороны абсолютно не понимали друг друга. Я же с помощью отдельных испанских и французских слов еще что-то мог «наскрести».

Я объяснил немцам, что меня похитили испанцы, и немцы, не попытавшись разобраться (слава Богу!), наорали на моих конвоиров, не дав им вымолвить слова в оправдание. На всякий случай, я избегал упоминания о комендатуре, в которой побы-вал.

Немцы прогнали испанцев, чуть не отлупив их, и мне стоило труда успокоить фрицев.

Вся история с испанцами была доложена солдатами фон Бляйхерту в таком виде, что, мол, испанцы попытались вы-красть Александра, но они, солдаты, во время прогнали «союз-ников». Обер-лейтенант понял, что это пустяк и даже не поин-тересовался подробностями.

Последние недели он явно беспокоился о другом: 223-ю пе-хотную дивизию должны были куда-то перебросить. В штат-сгуте будет распоряжаться другая дивизия. Солдаты жалова-лись, что им вскоре придется прощаться с «либвохоново» (с «милым Вохоновым»), с крестьянской работой и снова тя-нуть армейскую лямку. Фон Бляйхерт ездил с «дарами приро-ды» — редиской, огурцами, помидорами, разными сортами капу-сты (он вырастил в штатсгуте свыше десяти сортов!) — в штаб, о чем-то хлопотал. Ему тоже не хотелось менять свою помещи-чью жизнь на фронтную.

Усилия обер-лейтенанта не пропали даром. В один прекрас-ный день в Вохоново прибыли штабные офицеры, среди кото-рых я запомнил высокого красавца блондина с веселыми нас-мешливыми глазами, графа фон Бориса, начальника то ли айнс-б, то ли айнс-цэ, отдела штаба. В сопровождении двух мо-

лоденьких офицеров майор граф фон Бóрис пробежался по двору штатсгута, пожал руки первым попавшимся, козырнувшим ему, Курту и мне, о чем-то поговорил с фон Бляйхертом, после чего тот вышел провожать его, сияя, как тульский самовар.

Фон Бóрис уехал и через день в штатсгут прибыли с высокими обозными повозками немцы из 290-й дивизии. Рэ́йнер и солдаты 223-й ушли. Фон Бляйхерт, переведенный в 290-ю дивизию, остался руководителем штатсгута.

56. НОВАЯ ДИВИЗИЯ. ШТАБСФЕЛЬД. ГЕНЕРАЛ. БАРОН ФОН КОРФ

Первый, кто обратил на себя внимание — и недаром! — из ново-прибывших был штабс-фельдфебель Вилли Хёвельмайер. Огромный, с крупными чертами добродушного широкого лица, толстый, но прочный, налитой силой, он чем-то походил на слона. Так ему я и определил прозвище — «Слон». Вилли сразу же располагал к себе открытостью, бесконечной добротой и простотой, отсутствием какого-либо лукавства, рисовки, чего-нибудь фальшивого. Это был крестьянин-труженик, дослужившийся в армии до штабс-фельдфебеля, но не ожесточившийся в ней. Как все немцы, Вилли был служака. Но там, где его совесть сталкивалась с несправедливостью, он мог даже вопреки воинской дисциплине не только открыто высказывать свое мнение, но и поступать так, как ему подсказывало его сердце. Он был беспредельно доверчив, а потому верил, что виновники всех бед евреи, хотя никого из них не знал и, кажется, даже не видел. Но, если и видел, не думаю, что мог принимать участие в издевательствах и в казнях. Один из немцев показал мне снимки, сделанные еще в сорок первом году в Прибалтике. Евреи, старые с бородами и дети, вооруженные метлами, бегом метут улицы Риги под охраной местных полицаяв и под улюлюканье мальчишек. Показывавший фото объяснил, что они, немцы, не стали пачкать руки о евреев, а дали возможность самому населению «проявить свою сознательность». Я с деланным равнодушием смотрел фото, хотя внутри меня все переворачивалось. На одной из карточек крупным планом был снят мальчик лет девяти-десяти с огромными страдальческими глазами на худеньком личике. Позади ребенка виднелся, вероятно раввин с огромной бородой.

— А что же с ними сделали потом? — спросил я.

Немец пожал плечами: «Расстреляли или отправили в гетто.

А там.., все равно, добьют»,— говорил он без сочувствия, равнодушно.

Я покачал головой: причем тут дети?

— Если русские и евреи нас победят,— многозначительно начал немец «старую песню»,— то всех мужчин кастрируют, а женщин поместят в публичные дома.

— И ты веришь такой чепухе?! Ручаюсь, никто не собирается вас кастрировать.

— Но евреи, которых мы истребляли, обязательно нам отплатят!

— Я считаю евреев неглупыми людьми. Они великолепно понимают, что кастрировать нацию Гете, Шиллера, Баха, Канта нельзя. До прихода Гитлера к власти, знаю, немцы всегда были лучшими друзьями евреев.

— Да, даже многие дворяне женились на еврейках. Но... из-за денег.

— Жена Маркса была немецкой дворянкой.

— Ты, Алекс, большевистский пропагандист.

— Я просто рассуждаю здраво: зачем нужно евреям кастрировать немцев? Сам подумай. А ведь Христос-то — еврей и, ей-ей, все его апостолы тоже. Вот комедия! Вы истребляете евреев и поклоняетесь еврею.

— Безбожник ты, Алекс. Вот, если будем живы, после войны приедешь к нам, в Дойчланд, ты уже не будешь пленным и мы выпьем на брудершафт и вспомним наши разговоры.

— Дай-то Бог!..

Не с одним были такие беседы. Немцы понимали, что «Александр уверен в победе русских, иначе он бы давно вступил в «хиви» или дал согласие выступать в КДФ («Крафт дурьх фройде» — «Сила — в радости»), организации, к которой относились разные концертные бригады, в том числе руководимые зондерфюрером Зундрой, а также немецкие коллективы артистов, не заглядывавшие в села.

После приключения с испанцами я попросил Тоню принести мне бумагу и ручку с чернильницей, и написал, и передал ей письмо, которое она после прихода наших должна будет переслать в Театральный институт, на Моховую, 34.

Не называя себя, я указывал роли, которые играл в спектаклях, стихотворения, которые читал. Я знал: меня помнят. Тоня обещала выполнить просьбу.

Вилли Хёвельмайер, повар Вилли — тихий, робкий ефрейтор с нежным молочного цвета лицом и грустными, немного нависшими глазами, а также еще какой-то унтер поселились на

месте Ланге, Хингара и Эггерта в канцелярии на первом этаже рядом с кухней (на втором жил «барон»).

Вместо поляков с 290-й дивизией пришли литовские «хиви». Они оказались проще и дружелюбнее. С ними я вскоре нашел общий язык и, не боясь предательства, говорил о самых «острых темах». Литовцы не умели читать ни по-русски, ни по-немецки и единственным источником информации для них стал я.

Вилли Хёвельмайеру, несмотря на его мягкость, «Альзо» доверял больше, чем всем унтерам из предыдущей дивизии, и Вилли предоставил мне большую свободу передвижения не только по служебному двору, но и примыкавшему к нему маленькому парку с великолепными старыми дубами. Вообще вторым летом мне было значительно легче. Я уже сумел войти в курс сельскохозяйственного производства и стал «флисенд» («поточно», «роскошно») переводить, усвоив агрономическую терминологию. Карантин по «Ящуру» действовал почти год и только на исходе лета сорок третьего, к великой досаде «барона» и всех вохоновцев, был снят. Тянуть больше не удалось. В деревне стали обосновываться разные части.

* * *

В конце лета генерал-лейтенант Хайнрихс, командующий 290-й пехотной дивизией, решил навестить штатсгут. «Барон» готовился к этому визиту почище, чем к приезду Людерса. Впереди и позади открытого генеральского ландо ехали машины с охраной. С утра все унтеры были на местах возле рабочих и работниц, занятых в поле, в хоздворе, в огороде, у парников, на стройке сарая.

В сопровождении фон Бляйхерта, двух штабных офицеров и двух охранников сзади генерал медленно обходил штатсгут. Толстый, с моноклем в глазу, с обрюзглым желтоватым лицом, он производил впечатление равнодушного головастого лентяя лет сорока пяти. Говорят, он начал войну полковником и быстро пошел в гору.

Генерал до карикатурности затейливо отдавал честь. Он медленно подносил ладонь ребром к козырьку фуражки, над самым носом. На мгновение могло показаться, что у генерала вырастает клюв. Потом Хайнрихс начинал «отнимать» пальцы от руки, приложенной к козырьку, один палец за другим, и, наконец, отпускал всю руку. Через несколько шагов, когда другой немец козырял генералу, в таком же размеренном темпе повторялась такая же церемония отдавания чести. Я сразу «взял на вооружение» все поведение генерала, его походку, медлитель-

ные реакции, взгляд из-за монокля, жесты и, конечно, манеру отдавать честь.

В сопровождении свиты Хайнрихс приблизился к конюшне, где возле двух немцев стоял я у огромной навозной кучи. Я козырнул и генерал, морщась от навозного «аромата», размеренно ответил отдачей чести. Фон Бляйхерт представил меня: «Русский военнопленный. Артист по профессии. Из Петербурга. Прекрасно владеет немецким».

— Давно в плену?— спросил Хайнрихс.

— Два года, господин генерал.

Интерес Хайнрихса был исчерпан. Он вяло спросил как меня зовут, сколько мне лет и, кивнув тяжелой головой, направился дальше.

Следующим утром во время развода, пока «барон» не появлялся, я под дружный хохот присутствующих копировал генерала. Наши и немцы помирали со смеху. Стоял я на пригорке. Вдруг кто-то крикнул: «Генерал!» Я обернулся и, продолжая копировать Хайнрихса, издевательски... козырнул ему: он как раз проезжал в машине у пригорка и его голова оказалась на одном уровне с моей.

Генерал отпрянул назад к спинке сиденья, инстинктивно поднося руку к козырьку, а я по инерции отвернулся, продолжая веселое «отдавание чести».

Смех смолк. Павел крикнул: «Сашка, беги!»

Я опять повернулся, на этот раз лицом к рабочим, не упуская из вида машин с генералом и с охраной. Казалось, они намерены остановиться. Но вдруг резко завернули за угол, скрылись за поворотом дороги на Микино и Елизаветино.

Стоявший рядом и искренне смеявшийся Вилли Хёвельмайер ошалело глядел на меня: «Толлер Алекс, толлер Алекс, армер шаушпиллер!» (Бешеный Алекс, бешеный Алекс, бедный артист!).

Ругать меня никто не стал, когда и через несколько минут ни одна из машин не возвратилась. Пришедший «барон» был в хорошем настроении и о «козырянии» генералу никто ему докладывать не стал.

Хёвельмайер не требовал такой обязательной явки как Мартин или сам обер-лейтенант. Он старался договориться с людьми по-хорошему и рабочие, соскучившиеся по душевному отношению, старались не подводить штабс-фельдфебеля. Он сумел завоевать настоящую любовь. Фон Бляйхерт иногда хмурился, морщился, когда на утреннем или дневном разводе присутствовало чуть больше половины рабочих. Но Вилли, выслушав оче-

редной «фэрпаст» (взбучку), на следующий день опять не мог отказать кому-либо в просьбе остаться дома.

Под стать Вилли был и унтер-офицер Бэр, тоже умевший понимать людей.

Совсем другим был унтер-офицер, которого я прозвал «Змеиная голова», — долговязый худой тип, белесый, с белесыми выпученными глазами. На длинной шее его кое-как держалась маленькая голова, то и дело поворачивавшаяся то в одну, то в другую сторону. Держался он надменно, говорил со всеми и со мной в приказном тоне и не упускал возможности высказывать свое презрительное мнение о русских. Придиричиво требовательный, он никогда не улыбался. Подозрительность прочно вселилась в его душу. Когда он дежурил, об отлучках домой, о невыходе после обеда или уходе с работы раньше положенного часа речи быть не могло. Этот «Змий», как я его окрестил сокращенно, придирался ко всем, даже к подросткам, носившим или собиравшим мусор.

Ко мне «Змий» подошел сугубо официально. Сразу спросил: почему не вступил в «хиви»? Заметив его тупую пристрастность, я прямо ответил, что пока я бесправный пленный, меня никто не может заставить чистить сапоги какому-нибудь унтеру, а если вступлю в «хиви», то вынужден буду подчиниться «воинской субординации», а это «не в моей русской артистической натуре». Последними словами я чуть смягчил общее звучание фразы, но унтер это не пропустил мимо ушей и стал за мной присматривать. К счастью, солдаты тоже недолюбливали «Змю» и среди них он себе помощников не нашел.

С 290-й дивизией прибыл в Вохоново также обер-ширмайстер Барг (нечто вроде кавалерийского обер-фельдфебеля). Поселился он в доме Шуры Алексеевой и вскоре, к великому сожалению старосты Василия, отбил у него домохозяйку.

Барг дружил с Бэром. Они были земляками. Бэр вечерами часто посещал обер-ширмайстера, от которого неизменно возвращался подвыпивши. Бэр был хорошим парнем. С ним удалось легко поладить, покрывая отдельные неявки рабочих. Для меня это играло существенную роль, так как я понимал, что недовершенство рабочих будет вымещаться на мне: переводчика считали самым влиятельным лицом. Особенно недоверчивыми были пожилые рабочие чухонцы. Им во всем мерещился подвох. Понять их можно. Их обманывали много лет подряд и свои, и не свои. Сейчас, когда расформировали колхозы, чухонцы первые поднялись на ноги и стали быстро богатеть. Расчетливые, очень аккуратные, трудолюбивые, они знали цену

своему благополучию и всячески старались жить богаче и красивее.

В Гатчине предприимчивые люди открыли частный ресторан, лавки. Немцы открыли бордель для своих солдат и офицеров, отдельно. Не знаю, разрешалось ли пользоваться этим заведением «хиви» и влосовцам? Однако, несмотря на попытки обжить занятую местность, никто не верил в устойчивость оккупационного режима, в то, что немцы здесь надолго. Верить мог только тот, кто хотел. Барон хотел.

Однажды на утреннем разводе он представил собравшимся своего нового заместителя, зондерфюрера барона фон Корфа, брюнета лет тридцати трех с капризным, недовольным выражением лица. Голову он носил слегка набок, будто почтительно прислушиваясь. Корф был из старинного дворянского рода прибалтийских немцев, порядком пострадавших из-за революции, когда по его словам на территории нынешней Ленинградской области он потерял свои имения. Корф говорил по-русски с сильным акцентом, но вполне мог обходиться без меня. Однако «барон», сперва попытавшийся объясняться через Корфа, вынужден был обращаться ко мне: я стал первоклассным долбечером.

Корф пытался узнавать про меня у рабочих, у солдат. Но многого не выудил. Я же держался с ним сдержанно и вообще старался поменьше общаться. Его, как и покойного Мартина, занимало, почему я не вступаю в «хиви», что он считал с моей стороны проявлением явной враждебности к вермахту.

С фон Бляйхертом зондерфюрер держался угодливо, даже немного склонялся, выслушивая распоряжения. Был Корф, видимо, тоже кем-то вроде агронома, разбирался в сельском хозяйстве. Иногда он расспрашивал меня, что я знаю о дореволюционной истории Вохонова.

Ходил остзеец со стеклом. Сперва держался, не выказывая своего характера, присматривался. Но уже через неделю-полторы стал покрикивать на рабочих, благо на немцев не решался. А ругаться самым оскорбительным образом по-русски остзейский барон умел. Как-то, когда он «честил» кого-то, не стесняясь девушек, я не выдержал и попытался остановить его.

Корф поперхнулся, дико посмотрел на меня и процедил: «Разберусь я еще с тобой»...

Ближе всего зондерфюрер сошелся со «Змием». Вскоре палка барона стала гулять по спинам подростков. Что я мог сделать? Я знал, что фон Бляйхерт не запретит этого. Одно дело самому пачкаться, другое, — когда это творится чужими руками.

Миновала неделя и я, как и Корф, сделал вид, что забыл

о нашей стычке. Фон Корф снова заговорил о своих владениях до революции и вдруг заявил, что Вохоново тоже некогда принадлежало его предкам и, таким образом, он имеет на государственное имение (штатсгут) определенные права.

Я не стал спорить с зондерфюрером, но при первом же удобном случае, оказавшись один на один с фон Бляйхертом, с наивным видом сообщил ему о словах остзейца.

— Я что-то не помню тут его предков, когда спрашивал вохоновцев о прошлом деревни и имения,— добавил я.— Но, может быть, он имеет основания для претензий?.. Жаль...

Обер-лейтенант очень внимательно выслушал это и хмыкнул: «Ну, это мы еще посмотрим...»

Через недельку «за ненадобностью» зондерфюрера направили в другую часть, подальше от его «родового имения...»

Обер-лейтенант и фон Корф простились сухо и официально. Не знаю, каким образом мой шеф сумел так оперативно «передислоцировать» претендента на «Вохоновский престол». Не только русские и я, но и финны, и эстонцы вздохнули свободнее после отъезда фон Корфа.

* * *

Ловлю себя на мысли, что сейчас смотрю на очень и очень многое и на многих иначе, чем тогда... Тогда я ненавидел немцев, хотя отдавал должное личным качествам каждого; ненавидел фон Бляйхерта, соблюдая вид сухой дисциплинированности: мое дело — правильно переводить. Не может быть человека, который бы не пересматривал свое отношение к окружающему и к окружающим под влиянием различных факторов и... времени...

Тогда все жило известиями с фронтов. Настроение русских и немцев зависело от сводок. Ждали матери, дети, солдаты, немцы и русские, чухонцы, пленные, «хиви» и власовцы. Среди последних было полно таких, кто не забыл голода и издевательств сорок первого-сорок второго годов. Многие переменяли форму, чтобы не сдохнуть с голода и при первой возможности либо перейти к Красной Армии, либо в немецком тылу мстить гитлеровцам. Власов, конечно, не мог ожидать пощады, хотя, уверен, он вовсе не мечтал о немецком плене и очутился в нем не по своей вине, иначе не стал бы прятаться под полом в погребе у колхозников.

Власов побывал в Гатчине. В «Северном слове» напечатали его выступление. «Во всяком случае, демократии в России не будет»,— пообещал он, отвечая на заданный вопрос о после-

военном политическом устройстве. Но ощущалось, что в победу германских вооруженных сил он не верит. Ощущалось.

Тоня Дорофеева привезла мне из Гатчины книгу Федора Шаляпина «Маска и душа», и я ее с жадностью проглотил. Ее же у нас не издавали. А что в ней было антисоветского? Конечно, Шаляпина возмущало, когда после Октябрьской революции его награждали шампанским, реквизированным из его же погреба, когда к нему лезли пить на брудершафт скороспелые комиссары, хамы, ставшие большими начальниками. Эпизод в штабном вагоне, где Шаляпин видел и немного беседовал с Молотовым, Сталиным и другими деятелями, выглядел для меня не очень убедительно: я плохо представлял лиц, знакомых лишь по портретам, в другой обстановке.

«Змий» случайно услышал один из моих «концертов»; разогнал собравшихся русских и немцев, а мне запретил петь вообще. Я сказал, что пою разрешенные песни («эрляубте лидер») и запретить он мне петь не может. Тут же я перевел сказанное присутствующим.

Случайно услышал, что фамилии, имевшие в основе женские имена, давались якобы раньше в случае, когда не был точно известен отец. Правда, в романе Писемского «Масоны» главный герой носит фамилию Марфин, а Марусиных у нас хватает. Но я начал подумывать о том, чтобы сделать себе другую фамилию, объяснив, что Ксенин — мой сценический псевдоним. К счастью, фамилией моей никто не интересовался, кроме старосты, и то первое время. Паек получали «на одного пленного». Все русские звали меня «Сашкой» или «Ликсандрой», «Ликсандром», а немцы — «Александром — Алексом...» Новую — основную — фамилию я себе решил придумать «Коротов» или «Коротков», лучше, думалось, первую: не очень распространенная и, напоминающая мою действительную «Клейн» («Кляйн» — маленький...).

57. ПОДГОТОВКА К ПОБЕГУ. ПРЕДАТЕЛЬНИЦА. ГРАФ ФОН ХУЗЕН

Испанцы уходят. Слышал, некоторые по пути предлагают жителям обмен — автомат за десяток яиц, а когда житель отказывается, пройдут шагов сто и выбрасывают автомат в кусты. У них договор кончился. Возвращаются домой. Полагаю, на Франко нажали союзники. Испанцы идут неорганизованно, подчас толпой, весело окликают незнакомых женщин и девушек и

ругают фрицев. Последние тоже смотрят враждебно на своих уходящих союзников.

Три испанца заходят в штатсгут напиться воды. Немцы им отказывают. Я беру у тети Маши чистое ведро, наполняю водой из колодца, подношу им. Они пьют прямо из ведра. Немцы по-ругиваются издалека. У испанцев через плечо карабины. Один из южан говорит о Гитлере: «Иль я ля порт а ля тет» (франц. «У него дверь в голове» (букв.), он не в своем уме). Я киваю: согласен.

После ухода испанцев немцы набрасываются на меня: зачем дал пить? Я делаю глупое лицо и объясняю, что думал, солдаты не поняли испанцев.

Начинают поговаривать об эвакуации местного населения, финнов — в Финляндию, эстонцев — в Эстонию. Слухи не лишены основания: вдруг некоторые чухонцы из соседних деревень, ранее не желавшие работать в штатсгутае, теперь сами приходят наниматься. Фон Бляйхерт записывает их без всяких обиняков: он еще верит, что штатсгут незыблемо, что немцы не уйдут...

В Красной Армии будто введены погоны. Сталин обещал после войны распустить колхозы, а попавших в плен из окружений не карать. Понимает: виноваты не солдаты, а плохие командиры. После войны жизнь будет свободнее и лучше. Хочется верить в такое. Мне, как, наверное, каждому, родившемуся при Советской власти, кажется, что она незыблема со всеми своими «пристройками», «надстройками» и «настройками», которые так мешают проявлению инициативы. Разве мне не мечталось стать хозяином театра?

Разве не мечталось о различных решениях классических произведений, о поездках за границу?!... Я живу, потому что мечтаю о сцене, о театре, из которого бы зрители уходили потрясенными, как я уходил из МХАТа после Москвина в роли царя Федора. Мысленно я подбирал актеров — единомышленников. Где-то сейчас Соля Аронович? Где Виктор Кот? Где друзья моего детства, не отвернувшиеся от меня, подобно Дуське Гельбергеру, когда дядю Бориса арестовали?.. Потом... когда его выпустили, иные снова хотели стать моими друзьями...

...В каждой избе гонят самогон. У каждого — своя «марка». Гонят из всего. Немцы, сперва воротившие нос от нашего «пойла», понемногу привыкают к нему. Официально гнать не разрешают, но... законы существуют, чтобы их обходить.

Слухи о предстоящей насильственной эвакуации заставляют жить сегодняшним днем.

Учитель Николай Иванович Орлов — советский человек, он

живет верой в нашу победу. Уверен, он и детям в своей четырехлетней школе говорит о Родине, о ее гордости и мощи. Он воспитывает хороших честных людей. Как поверить, что наши, когда придут, будут карать Николая Ивановича за то, что учил детей грамоте при немцах, тетю Машу — за то, что доила немецких коров, которых по заказу «барона» пригнали из Германии больше сотни? А, может, и коров судить будут и кур? Они же давали гитлеровцам молоко и яйца?.. Чуть!..

Когда из штатсгута уходили солдаты 223-й дивизии, я выпросил себе большой белый мешок. Новый. На нем немецкий орел и свастика. Если придется бежать летом, то я в своих брюках, в залатанной гимнастерке, с красноармейским вещмешком буду незаметен в лесу и в окружающей зелени или в рыжих красках осени. А вот зимой... Зимой наши скорее всего пойдут в наступление. Нужно иметь с собой, хотя бы на день-два что-нибудь поесть и запасные портянки.

Я прошу тетю Машу сшить из белого мешка рюкзак, только к черту вырезав орла и свастику. Вскоре тетя Маша незаметно передает мне в коровнике готовый рюкзак. Я отношу его в свой чулан, днем он не запирается, и кладу в изголовье, вместо подушки...

Приказ: всем юношам и девушкам старше четырнадцати лет призываться в «Арбайтсдинст».

Фон Бляйхерт едет хлопотать, чтоб из штатсгута не брали. Первая поездка удается: дают отсрочку. В штатсгут просятся те, которые раньше яростно сопротивлялись работе в нем.

Поговорив с Вилли, у которого список работающих, мы вносим в него еще несколько ребят и девушек из Вохоново. Получается, что из этой деревни все заняты в штатсгутах и брать некого. Конечно, записанные должны являться в штатсгут и работать. Фон Бляйхерт делает вид, что не замечает увеличения контингента... Он все еще во власти своих планов...

О, как хотел бы я дожидаться победы! Жутко тяжело. Очевидно, лишь редкие люди, долгое время скрывавшиеся от безжалостного закона под чужим именем, могут понять частицу моего душевного состояния. Как мне хочется облегчить душу! Бывает, разговаривая с немцем, выражающим возмущение «еврейской политикой» нацизма, мне хочется открыться этому человеку, сказать, что я не тот, за кого меня считают. Я понимаю великий смысл исповеди. Но я сдерживаюсь и, одобряя «гуманистическую позицию» собеседника, не выдаю своей тайны.

Я бы и Павлу или Витюшке, с которым особенно сдружился после казуса с «Сюркуфом», открылся. Но... не могу. Верю, что

немец никому бы не открыл мою тайну. Но я сам чувствовал бы себя иначе, зная, что кто-то знает, что я — не я. А Витюшка мог бы закадычному другу своему Сергею доверить тайну. А Павел с самыми лучшими намерениями «под секретом» мог бы тоже кому-то сказать. И пошло бы, и пошло... Не надо! А так я искренне смеюсь, шучу, шаржирую немецких и наших недотеп. Но больше достается немцам!.. Я показываю «барона», его врезающуюся в память походку, манеры поправлять очки, облизывать сухие губы... Показываю унтеров и фельдфебелей, ефрейторов и генералов, Гитлера, Геббельса, пузатого Геринга. Эта «троица» — мой коронный номер. Павел, дядя Костя и Сергей покатываются со смеху. Но, когда вдруг Василий-староста просит показать ему Гитлера, я догадываюсь, что Павел ему по-дружески рассказал и отказываюсь: не припомню, чтоб показывал такое...

Я весел, всегда шучу. Это не способ маскировки. Это — моя суть. Актер есть актер? Не знаю. Объяснить трудно. Да и можно ли? Я всегда был полон жизненной энергии и начинен смехом. Болтун! Значит,.. лучше всего умеют хранить тайну... болтуны. Я болтаю и... молчу. Но как мне горько, когда на ночь я остаюсь беспомощно запертым в своем холодном чулане, который «барон» еще склонен считать «отличным жильем». Хорошо, что немцы ночью не имеют обыкновения арестовывать или заниматься какими-либо делами. Но после ночи наступает день, и я снова весел, а душа напряженно ждет неожиданности... Да, как сказал когда-то неизвестный немец, показывая мне приказ о расстреле, я — «кинд дэс тодэс» (дитя смерти). А если б он тогда знал, кто я?.. Конечно, шлепнули бы.

Жандармский унтер Райзен как-то рассказал мне, что ему летом сорок первого поручили расстрелять пленного политрука или комиссара. Райзен отвел его в лес, приказал снять сапоги (нельзя же возвращаться без «доказательств») и показал: «Беги!..» Кто бы там летом в сумятице спохватился?

Слух о том, что фон Бляйхерт добился отсрочки от «Арбайтсдинста» для вохоновских юношей и девушек, быстро достиг ушей окрестных жителей и те, хлопоча о своих чадах, в Гатчинской и других комендатурах тычут именами вохоновских ребят, подчеркивая их русское происхождение: «А почему русских подростков из Вохоново не берут?»... Проклятая зависть, проклятые доносчики! Их растили трудами нашей молодой литературы, воспевшей Павлика Морозова, объявившей законной вражду братьев, сражающихся по разные стороны баррикад. Все это противоестественно. Маттео Фальконе расстрелял родного сына за то, что тот предал разбойника, нашедшего убе-

жище в доме Фальконе, предал закон гостеприимства. Сын не имеет права предавать родителей, они — сына, соседи — соседей. А нам со школы прививали стремление к доносительству. Чему же удивляться?..

Теперь, когда поняли, что гитлеровцы вовсе не из желания «освободить народ» от Сталина и его клики пришли сюда, наши люди становятся благороднее, сознают, что нельзя выдавать друг друга, что враг — общий. Люди в Вохонове это понимают. Почти все.

* * *

Жена старосты деревни Микино, красивая соблазнительно аппетитная молодая бабенка с пышным бюстом, бойкая на язык, с бесстыдно алчущими похотливыми глазами, «ядренная», изменяет мужу-недотеке на каждом шагу. Гуляет с немцами. С некоторых пор, когда поползли слухи, что собираются эвакуировать финнов и эстонцев, старостику приняли на работу в штатсгут.

По утрам во время развода она и мне подмигивала. Но я держался с ней официально, чувствуя ее фальшь. Она, посмеиваясь, сверкая глазами, говорила, что я «так холоден, а мог бы попользоваться любовью, если б только захотел...» Все это я пропускал мимо ушей не оттого, что не хотел «поддаваться на провокацию», а потому, что всеми фибрами ощущал цинизм распутницы, хотя женщину мне очень, очень хотелось. Немцы ухмылялись в ответ на ее заигрывания, но, опасаясь гонорреи, предпочитали не вступать с ней в близкие отношения (а вдруг больна...): пусть пользуется теми, что квартируют в Микине...

Как-то вохоновские девушки с возмущением рассказали мне о ее предательстве.

Во время одного из многочисленных воздушных боев неподалеку от Микино сбили советский самолет. Немцы бросились на поиски летчика, спустившегося с парашютом. Дело было ночью и засечь место приземления не удалось. Прошло несколько дней и поиски прекратили.

Леса вокруг небольшие. Как-то утром, за ягодами или за грибами, жена микинского старосты отправилась в лес и вдруг услышала как ее кто-то окликнул. Сперва женщина испугалась, потом подошла. Под деревом она увидела нашего раненого летчика. Он попросил, чтоб она принесла ему немного поесть и попить.

— А как тебя зовут?— спросила старостица.— Я, как вернусь, позову.

Раненый назвался «Васей» или другим именем. Неважно. — Сейчас принесу,— пообещала стерва.— Я окликну, ты отзовись.

Она ушла и сразу же донесла немцам, стоявшим в Микино. Она их привела к месту, где лежал летчик, окликнула его. Он отозвался — и тут его захватили в плен.

Как можно было после этого смотреть на старостиху?

Вохоновские девушки объявили ей бойкот: никто с ней не разговаривал, не отвечал на ее вопросы и вообще не хотел находиться рядом с ней на работе и так продолжалось месяц или полтора, пока она со своим мужем не эвакуировалась.

Когда немцы штатсгута поинтересовались причиной бойкота и я рассказал о женщине-предательнице, они поняли, что это за тварь и уже не отвечали на ее подмигивания, не посмеивались вместе с ней, а презрительно смотрели на нее.

* * *

Фон Бляйхерт собирался в новый отпуск. Дяде Мише-шустеру (сапожнику) он срочно заказал утепленные мехом сапожки для своей фрау, дяде Леше-портному — тоже что-то. Как я понял, в январе-феврале он был в отпуску еще по своей тогдашней 223-й дивизии, а теперь поедет по 290-й.

Солдаты вздыхали и завидовали. Вместо обер-лейтенанта остался Вилли Хевельмайер. Для вохоновцев наступила золотая пора. Милый «Слон», благо основные сезонные работы подходили к концу, щедро давал отгулы, оплачивая их пайками (деньги, все равно, не имели цены). Некоторым вохоновцам Вилли разменял старых коров на остфризских из совхозного стада. Ни на кого штабс-фельдфебель не кричал. А если пытался ухаживать за красивой финкой Элиной Карьялайнен из Микино, то только позволял себе робко вздыхать возле нее, провожая до Микино, причем, Элина обязательно брала с собой двух-трех подруг «по пути», так что бедному Вилли только оставалось вздыхать и восторженно глядеть с высоты своего великолепного роста на желтокудрую красавицу.

Вилли и мне стал разрешать иногда забегать днем без конвоя по мелким поручениям к старосте, ставшего после Сталинграда совсем другим человеком, к Павлу или другим штатсгубовским рабочим.

Чаще всего Вилли звал Павла, которого как великолепного тракториста и механизатора, очень уважал.

Так как вся деревня была на виду, а вокруг нее с двух сторон чистое поле, мои выходы исключали возможность побега.

Если же стоявшие в деревне немцы окликали меня, я при содействии тут же случавшихся вохоновцев, а то и без «посторонней помощи» объяснял, что «иду по делу». Конечно, каждый немец при этом ввязывался со мной в разговор.

Припоминается мне во время таких «сольных» выходов в деревню знакомство с графом фон Хузенем. Я не поверил, что он, обыкновенный унтер-офицер, занимавшийся кузнечным делом, является графом. Но он показал мне свой «зольбух».

Фон Хузен перед началом войны жил в Южной Америке. Под каким-то предлогом его вызвали в Германию и мобилизовали. Хотя он был из обедневших графов, но своим титулом дорожил. Он мне рассказывал о значении приставки «фон», которую имеет право продать за огромные деньги, но ни за что этого не сделает. В нем жила совершенно феноменальная ненависть к Гитлеру. Я даже сперва подумал, что он меня провоцирует. Однако, вскоре убедился, что это не так.

Граф «подрабатывал» тем, что подковывал лошадей, выполнял разные кузнечные заказы крестьянам. Те ему платили, как заведено, яйцами, молоком, картошкой. Он неважно говорил по-французски; производил впечатление человека воспитанного, глубоко порядочного, тактичного, но не очень образованного по части гуманитарных наук. «Юдэнполитик» Гитлера («еврейская политика») его возмущала. Он восхищался мужеством евреев, восставших в Варшаве и считал, что русским пленным, как мне, лучше находиться здесь, на земле своей родины, чем в тылу, в Польше или в Германии.

Несколько раз нам доводилось беседовать. Я чувствовал какое-то одиночество графа. Он держал себя независимо и офицеры, даже фон Бляйхерт (казалось бы, «собрат по крови») общались с ним с изрядной долей почтения. А вот с русскими крестьянами, со мной, пленным, фон Хузен держался просто и откровенно. Он знал, что мы его не выдадим и нам он может свободно говорить о своей ненависти к нацистам.

Графа я не пытался агитировать сдаваться в плен, но уверял, руководствуясь нашими листовками, что офицерам у нас в плену гарантируется ношение холодного оружия и наград. Он не был офицером, которые в плену могли не работать, а только смеялся: кузнецы нужны везде. До войны он занимался, как я понял, коммерческой деятельностью, но с детства его хобби стало кузнечное дело — и вот пригодилось.

58. ЭВАКУАЦИЯ ФИННОВ. ПОПЫТКА ЗАСТУПНИЧЕСТВА

Всех финнов, эстонцев, латышей эвакуируют в Прибалтику.

Веками жили здесь Каллонены, Карьялайнены, Свяни, Люконены, Крумеры, Круманы, Манинены, Вайники, Юнтеры — и вот все они должны в срочном порядке покинуть родные места.

Гитлер планировал на случай прихода Красной Армии создать «мертвую зону», выжечь все деревни, перетоптать все поля, чтобы не за что было зацепиться нашим наступающим войскам. Никакой «заботой о населении, которое в случае боевых действий, может пострадать», это поголовное выселение не диктовалось.

Русских пока не трогали. Но их в окрестных деревнях почти совсем не было. В Малом Одрове жили только Орловы, в Микино — только сапожник дядя Миша Константинов с женой и «пупочкой», поздней дочуркой шестидесятилетнего шустера. Центром русского поселения было Вохоново. Здесь давно попережились, породнились русские с чухонцами. Но последние, носившие финские фамилии, поторопились при приходе немцев записать себя финнами, а теперь расплачивались за это.

Плач стоял в деревнях. Нельзя было равнодушно смотреть на прощание эвакуируемых с остающимися.

Горько плакала Маруся Вайник. Ни для кого не было тайной, что, взяв ее к себе в верхний дом «убирать комнату», фон Бляйхерт не оставил девушку невинной... Но Мария с какой-то особой грустинкой в лице, всегда оставалась доброжелательной и простой, очень отзывчивой откровенной подругой. А ведь другая на ее месте могла бы во зло использовать свою близость с всемогущим «Альзо». Ничего похожего Мария себе не позволяла и меньшой брат ее также работал с другими подростками в штатсгуте. И вот теперь она с матерью и младшими детьми покидала родное гнездо. Я был уверен, что фон Бляйхерт может избавить ее от эвакуации. Мог в любой момент. Всех или нескольких избавить — одно дело, но одну семью — другое.

Мария в слезах пришла в хоздвор проститься с подругами и со мной.

И тут сверху пришел, едва Мария скрылась из вида, фон Бляйхерт. Я был под свежим впечатлением горя девушки, а обер-лейтенант показался мне не в худшем из своих настроений, когда с ним вовсе не стоило разговаривать.

— Господин обер-лейтенант, разрешите обратиться?

— Я вас слушаю.

— Господин обер-лейтенант, я понимаю необходимость военного времени и, возможно, даже эвакуации. Но я вижу боль

людей, оставляющих свои дома и фактически все свое добро, теряющих друзей и близких. Может быть, господин обер-лейтенант, есть возможность и вы, безусловно, можете спасти от эвакуации кого-либо, хотя бы в Вохонове, где практически все семьи связаны с работой в штатсгуте.

— Кого вы имеете в виду?

— Семейю Вайлик, ведь они наполовину русские. Я видел сейчас Марию в слезах. Она чудная девушка. Предки Вайников здесь жили чуть не с основания деревни. Мария — хорошая, работающая девушка, вся ее семья тоже...

Я начинал, кажется, не хлопотать, а «лопотать», так как на моих глазах лицо «барона» вдруг стало багроветь, а за стеклами очков глаза сузились, стали колючими, беспощадными.

— Алекс! — вспыхнув, чуть не выкрикнул он. — Замолчите! Замолчите сейчас же! Вы позволяете себе слишком много. Не пытайтесь обсуждать мои распоряжения. Приказ есть приказ. Исключений никаких! И не вам вмешиваться в мои дела!..

— Простите, господин обер-лейтенант, это не вмешательство, а голос сердца.

— Бросьте ваши сантименты! Не забывайте: пока я здесь хозяин. Альзо! (Итак!)

— Яволь, герр обер-лейтенант!..

Как-то во время отпуска «барона» Хёвельмайер подозвал меня и Павла. Сегодня у Вилли день рождения. Вечером будут отмечать на кухне. Он приглашает Павла и меня.

Вечером унтер-офицер Бэр отвел меня наверх. Там уже собрались Хёвельмайер, кох Вилли, Павел и горбун дядя Костя Миронов, отец Нади, устроенный в штатсгут недавно, чтобы не эвакуироваться. Дядя Костя был очень антинемецки настроен, но, ненавидя все гитлеровское, никогда не мог отказать себе в справедливом взгляде на того или другого немца. Поэтому, напомним, когда прошлым летом отмечался день рождения Нади, он пригласил Эрнста Виттерна, Ценнига, Хингара, и, скрепя сердце «барона». Дядя Костя умел держать язык за зубами, знал, с кем можно говорить и дружить, а с кем нет. Меня он удостоил своим доверием.

И вот мы все за одним столом. В пивные кружки повар наливал ром и кипяток, затем бросал кусковой сахар. Это называлось «грогом». Закуски, что было для меня главным, хватало. Без всяких подношений, подарков, мы просто пожелали Вилли Хёвельмайеру — от души! — остаться живым в этой проклятой войне, живым и невредимым! Вернуться к себе «наххаузе» (домой) и жить много лет, здоровым и счастливым.

Разговоры вращались вокруг войны и ее исхода. Вилли со

вздыхом заявил, что, к несчастью, во всем виноваты «жиды и масоны». Дядя Костя, Павел и я уверяли, что это чепуха. Бэр поддерживал Вилли, а повар «держал нейтралитет». Наша, русская сторона, выражала уверенность, что скоро союзники выиграют войну.

— И тогда, — горячился Павел, заикаясь, — привезем сюда, в Вввохонново «ббаррона» и повесим! Он думает, я ззабыл плети, ккоторыми мменя били в гатчинской комендатуре?! А тебя, Вилли, — продолжал Павел, — никто не тронет. Оставайся, как ваши начнут драпать. Мы все, весь народ Вохонова тебя защитим, потому что ты очень хороший человек!»

Я точно переводил все. Все смеялись, чокались и выражали сочувствие друг другу, так как все мы по милости «каких-то негодяев-правителей» должны страдать от войны.

— Ты, Алекс, — обнимал меня Хёвельмайер, — после войны вернешься в свой театр, приедешь на гастроли в Дойчланд и, скорее всего, не вспомнишь твоих немецких друзей...

— Дорогой Вилли, — отвечал я, — тебя я никогда не забуду. У меня нет обыкновения забывать хороших добрых людей, независимо от их национальности. Но я также не уверен, что смогу дожить до конца войны. Спасибо тебе, Вилли, за твое доброе сердце. Но война — есть война. Пойми, что меня тянет к своим. Плен есть плен. Я люблю и тебя, Вилли, и других хороших немцев; не могу представить вас убитыми, как и себя. Но дожить до конца войны смогут, увы, немногие из солдат. А я — солдат.

Вилли и Бэр обнимали меня, говорили, что они понимают, что «дер криг ист шайсе», что они не хотели ее. Мы вместе пели. Я исполнял «Из-за острова на стрежень», столь любимую немцами и другие русские песни; потом копировал генерала Хайнрихса, пьяницу коменданта Войсковиц Штарке, показывал «статуи» — римского цезаря, дискобола Мирона, Петра Первого верхом на коне, а после него... «барона» верхом... на мотоцикле. Было много смеха, а про себя думалось: кабы вы только, люди хорошие, знали, кто я?..

После полуночи Бэр и кох Вилли тихонько развели нас по домам, Павла и дядю Костю — в деревню, меня — в мой чулан.

Все остались довольны. Мы были искренни в нашем добром отношении друг к другу.

Дня через два вернулся из отпуска фон Бляйхерт.

Не знаю, проведаль ли что-нибудь о нашем праздновании «Змеинная голова»: очень уж он на следующее утро то ли приглядывался, то ли принимался, стоя возле меня на разводе. Но главным был не он, а Хёвельмайер. А после возвращения

«барона» вскоре началась та самая эвакуация финнов и эстонцев, о которой так больно вспоминать.

Опустели окрестные деревни. Приказ об эвакуации распространили и на русских. Лишь фон Бляйхерт под предлогом, что ему необходимо завершить хозяйственные работы, добился, что жителей Вохонова не тронули. Теперь все они были приписаны к штатсгугу, в том числе сапожник дядя Миша из Микино, наши, староста Василий и полицейай Панфилов с женой, по его словам, бывшей актрисой.

Это была расплывчатая в своей полноте, манерная женщина лет тридцати пяти или больше. Глаза ее были вечно «на мокром месте», то ли из-за того, что муж, как поговаривали, бил ее под пьяную руку, то ли из-за избытка чувств или горечи по минувшей красоте. Хозяйкой она была никудышной, что вело к домашним скандалам. Детей у них не было.

Панфилов, все время пытавшийся войти ко мне в доверие, и Василий Миронов работали хорошо. Но вскоре Панфилов стал поговаривать об эвакуации. Валентин был сыном раскулаченных. Плохого он при мне никому ничего не делал. На лице его застыло выражение угодливой покорности, и чем-то он мне напоминал приказчиков из комедий Островского. Этаким Подхалин из первого акта «Свои люди сочтемся».

...Один из Ивановых построил себе новый аккуратный однокомнатный домик в середине деревни. Дом желтел свежим тесом. Игрушка. Вдруг фон Бляйхерт вызвал Иванова и объявил, что он сам будет жить в этом доме. Конечно, возражать не пришлось. Переехав, «барон» назначил одну из девушек убирать в своем новом жилище... Думаю, он перебрался неспроста, чтобы «заменить» надоевшую ему, видимо, Марию, которую дал эвакуировать... Для своей безопасности он приказал патрулям после наступления темноты «постоянно держать в поле зрения» его новое обиталище.

Как-то «барон» вернулся из штаба или комендатуры в подавленном настроении: поступил приказ о срочном призыве в «Арбайтсдинст» подростков. Фон Бляйхерт попытался хлопотать хотя бы за Витюшку Дорофеева, считаясь с его отцом, но ничего не вышло. Подростков забрали. Увозили их, как и эвакуированных, в сопровождении жандармов. Вскоре стало известно, что находятся они километров за семьдесят-сто от Гатчины в сторону Сиверской, где их содержат в лагерях под охраной. Работали там подростки на стройке укреплений, рыли траншеи. Из «Арбайтсдинста» многие убежали.

Поговаривали, что за Волосовым, за Сиверской появились наши партизаны и освобождали ребят из «Арбайтсдинста».

Все чаще мы читали сбрасываемые с самолетов листовки о наступлении Красной Армии, о комитете «Свободная Германия», о Паулюсе, о немцах, в довольстве живущих в советском плену. Фрицы все чаще вздыхали о своей «хаймат» (родине). Через Вохоново шли и останавливались, иногда на две-три недели, пехотные и моторизованные части.

Окрестные деревни заносило снегом. Дорог не чистили, кроме той, что проходила через Вохоново.

Еще до снегопада «барон» приказал Степану Струкову и Павлу перепахать посевы. Сам фон Бляйхерт все реже выглядывал из дома; опять перебрался в двухэтажный. Если «Альзо» выходил, то нередко выпивши. Случалось, он вдруг появлялся по-прежнему бодрым, кажется, надеясь, что его «воздушный замок» останется нетронутым войной. Тогда он велел запрягать Ханзеля и в сопровождении солдата или унтера и, конечно, меня, кучера-дольмечера, ездил по опустевшим окрестным деревням, заходил в безмолвные дома, заглядывал в сараи. После таких объездов он приказал солдатам собирать и свозить в штатсгут найденные запасы зерна, картофеля, муки, если они окажутся в покинутых избах и амбарах.

В Большом Сяськелеве меня поразил в пустом добротном кирпичном доме великолепный старый рояль. Крышка его была откинута, струны порваны. На обрывках струн и между ними блестя осколки от винных бутылок. Клавиши были вырваны «с мясом» или поломаны.

Я все время надеялся, что наши окружат немцев и надо постараться сохранить все, что только можно.

Павел и Степан, пользуясь бесконтрольностью «барона», «перепахали» незасеянные полосы.

Я предложил фон Бляйхерту поставить у него хорошую фисгармонь с множеством регистров, оставленную в одном из домов за Березневым. Обер-лейтенант поторопился спасти дорогой инструмент. В самом Вохонове фисгармонь уехавшего Юнтера купил для Тони Павел. В финских деревнях оказалось немало музыкальных инструментов. Их стали свозить в Вохоново. К неудовольствию тети Маши и к радости ее дочери Нади, в большую комнату к ним по моей подсказке поставили огромный рояль. Старуха запротестовала, но я убедил ее, что «лучше на постое рояль, чем фриц». Однажды, вернувшись вечером в свою конуру, я тоже увидел в ней «гостью», порядком разбитую фисгармонь, завезенную каким-то солдатом, ставшим с моей легкой руки «спасителем культурных ценностей».

Останки немецких солдат, похороненных в разных концах района, свозят в одно место: в Гатчине открывают «Хельден-

фридхоф» («кладбище героев»). Из могил возле Вохонова тоже выкапывают развалившиеся трупы и укладывают в гробы. Издали мы видим, что эту работу выполняют пленные под наблюдением жандармов.

Через мертвые деревни время от времени проезжают машины с полицией или жандармами, проверяя не укрылся ли кто от эвакуации.

Как-то «Альзо» вышел на охоту за зайцами и вдруг поспешно вернулся: «Аларм!» (Тревога). Меня второпях «Змий» запер среди бела дня в чулане. Все немцы с карабинами отправились во главе с обер-лейтенантом в лес в сторону деревни Березнево к северу от Вохонова.

Через час все вернулись, ведя под конвоем старика и старуху Крумер.

Охотясь, обер-лейтенант вдруг заметил среди деревьев дымок и сразу же решил, что здесь появились партизаны. Немедленно вернувшись, «Альзо» поднял всех по тревоге.

Окружив «партизан» и, понаблюдав за ними, немцы убедились, что это старик и старуха. Тогда с возгласом «хайль!» солдаты, человек двадцать-тридцать, направили карабины на стариков и гаркнули «Хэнде хох!» (Руки вверх!).

Старики, конечно, подняли руки. Крумеров доставили в Вохоново, еще по пути убедившись, что это здешние коренные жители, эстонцы, не пожелавшие эвакуироваться и где-то неподалеку от родной деревни «смывшиеся» с дороги и вернувшиеся на свой хутор, где заранее припрятали припасы, давно обдумав план спасения от эвакуации.

Вслед за Крумерами привезли на лошадях их барахло и съестные припасы.

Допрашивал «партизан» сам фон Бляйхерт через унтер-офицера Бэра. Тот мне потом со смехом рассказывал, как перетрусивший «барон» орал на стариков и в довершение всего занялся разделом их имущества, отобрав для личного пользования две дмотканых полинялых ковровых дорожки и еще какую-то мелочь, а для солдатской кухни реквизировал несколько кастрюль, черпаков и полотенец. Однако эвакуация давно закончилась и Крумеры, на которых нагнали страха, остались работать в штатсгуте.

Обер-лейтенант и из покинутых деревень свозил в штатсгут нередко такое барахло, что даже солдаты смеялись, а у меня появилась новая пища для острот и этюдов на тему «фон Плюшкин» обогащает райх».

Мне хочется женщину. Но рядом всегда торчат немцы. Знаю, мне бы не одна молодуха оказала внимание, но наедине

ни с кем побыть не удастся. Солдатских «соломенных» вдов кругом хватает, да и некоторые девчата уже в таком соку... Вот и сука, жена микинского старосты, проходя, нарочно задевает пышными бедрами. Но с этой — хрена. Сволочь!

Просыпаюсь, когда уже штаны, сплю в них, мокрые. Неприятность. Проблема сушки... На развод выходить неудобно... Иногда кажется — так бы и набросился на женщину. Как-то Анна Калонен наклонилась. Поблизости никого. Возле коровника. Вдруг, откуда ни возьмись, «барон»: «Александр!» — срочно понадобился. Было уже склонился над Лизой Свяни, молодой солдатской вдовой, но одновременно, когда я уже хотел... — она быстро прошептала: «Сашка, я больна.., я бы рада, но нехорошая болезнь у меня...», — и в тот же миг опять крик: «Алекс!» — опять какому-то немцу понадобился. И совсем рядом. В обеденный перерыв в мой чулан заскочила раскосая милая Хельми. Я знал: Люконен специально встала «на часах» за уголком. Но не успела Хельми войти, как дверь распахнулась и дежурный унтер, заругавшись, приказал девушке убираться: «Цивилистен» (штатские) не имеют права входить в мою конуру. Немцы могут. Время от времени они в мое отсутствие в чулане делают «обыск». Но от него можно спрятать в том же чулане даже пулемет, если б он был.

Степка Струков хороший мастер. Он сделал мне маленький финский нож. Я ношу его в кармане своих галифе из плащ-палатки. Все может случиться при побеге...

Из разговоров с жителями и поездок по окрестным деревням я представляю себе окружающую местность на несколько километров на север, северо-восток и восток. Однажды «Слон» показал мне на своей карте — где примерно фронт. Я так и впился глазами в карту, все врезалось в память, я представил себе, где нахожусь и понял, что мне, скорее всего, придется кружить по лесам вокруг ближних деревень. Бежать надо наверняка. Если сорвется — начать игру с начала не удастся.

Фельджандармы со своими бляхами не кажутся мне страшными. Служаки: прикажут рывкнуть — рывкнут, прикажут наложить штраф — наложат. Живут они, видно, сытно: все толстые, румяные. Пожилые. Опасны наши полицай: воспитаны на бдительности, черт бы ее побрал. А жандармы доверчивы. Вот приезжают, похлопают по плечу: «Война кончится, ты с нами, шаушпилер (артист), и разговаривать не станешь». Смеются. Иногда удается упросить, чтоб уменьшили штраф, когда рядом нет фон Бляйхерта. Объяснишь: семья большая, трудно. Понимают. Иной раз даже не возьмут штраф: один черт, деньги — бумажки... Лучшее средство оплаты — коньяк, шнапс, самогон.

Если Павел хочет остаться дома, он тихонько предупреждает меня и Вилли. Как-то Павел не предупредил, а фон Бляйхерт потребовал его и послал немца и меня позвать тракториста. Мы пришли к Павлу, а он занят выделкой кож. Мастер на все руки.

— Павел, ты почему не предупредил Вилли?

— Срочно нужно... Что-нибудь придумай.

Мы возвращаемся в штатсгут и я докладываю «барону»: «Бедный Павел лежит дома пьяный, головы поднять не может».

Немец, хвативший из рук жены Павла, тети Шуры, стаканчик самогона, плотно сжав губы, кивает.

Барон тяжело вздыхает: «Русская болезнь, ничего не поделаешь»: оказаться пьяным в стельку — уважительная причина для неявки на работу... Пьянство даже фон Бляйхерт извиняет.

Говорят, в Красной Армии отменили политруков и комиссаров, так что теперь, кроме евреев и цыган, расстреливать некого. Сталин обещал после войны свободу всем. Сажать, как раньше, не будут. Коминтерн распущен. Всех ждет жизнь хорошая, справедливая... Конечно, если выбирать между Гитлером и Сталиным, то последний по-моему лучше, хотя бы тем, что не националист. В газетах пишут о зверствах ГПУ, о Катынском лесе, где НКВД расстреляло перед войной десять тысяч польских офицеров; печатают «Повесть непогашенной луны» Бориса Пильняка про смерть Фрунзе. Он там под именем командарма Гаврилова. Еще печатают бесконечную поэму «Воскресший Маркс». Рассчитана на дешевый вкус, но написана бойким пером. Глянул и запомнил вступление:

«Воскресший Маркс, узнать желая,
Какой дала коммуна прок,
В ней шилом патоки хватает,
Скитаясь вдоль и поперек.
Воскресший Маркс сквозь все рогатки
Пробрался в СССР,
Где видит грязь и беспорядки,—
Марксизма в практике пример».

В сорок втором «Северное слово» поместило интервью с Васей Мироновым. Тогда он чувствовал себя в силе. Теперь боится. Здоровый мужик. Хитрый. Болтлив чрезвычайно. Все хочет выведать у меня, что его «ждет»?.. Я уверяю, что ему ничего не будет, хотя уверен в обратном. Соня Драченко прямо называет его виновником гибели своего мужа. Да и другие крестьяне на него порой в обиде: хамоват и все норовит себе... А жена его, тихая Лиза, сестра Павла, ангел, и тяжело переживает

измены и грубость мужа. Она его любит, все ему прощает, бережет детишек.

А мне, уверен, ничего не будет, даже при нашей сверхбдительности. Ведь это нужно быть круглым идиотом, чтобы допустить мысль, что в этой войне еврей может разделять взгляды гитлеровцев или им сочувствовать?!. Форму я не сменил. Слово «хайль» ни разу не произнес, ни разу не вскинул руку в кратком фашистском приветствии, вытянув ее вперед. За что меня сажать? Да я наделал фрицам больше, чем тысячи тысяч наших листовок. И наших подбадриваю. Из Вохонова ни один при мне не вступил ни в «хиви», ни в РОА, никого не повесили, не расстреляли, не уpekли к черту на рога, не посадили. Не только из Вохонова, но из всех рабочих штатсгута. И знаю, в человеческом отношении к нашим людям со стороны немцев я сыграл и играю великую роль. Немцы стыдятся при мне, «образованном русском», распускать свои страсти-мордасти.

Мои сапоги развалились. Но у дяди Миши, по его словам, нет в запасе кожи для подметок и для расширения голенищ.

Павел, узнав о моей беде, говорит: «Сына у меня забрали сволочи. Ты будешь вместо него»— и дает дяде Мише самодельную кожу для подметок и для расширения голенищ.

Когда через месяца полтора (Миша, как все сапожники, тянуть мастер) надеваю новые сапоги, на которых отчетливо видны сыромятные вставки, чувствую себя на седьмом небе.

Объезжая с солдатами покинутые деревни, я подобрал там сносные подшитые валенки и несколько кусков выработанной овчины. Попрошу дядю Лешу скамстролить из моей шинели москвичку с воротником! Моя заповедь: помни о побеге!

Необходимость в нем может возникнуть совершенно неожиданно. Надо быть готовым!

В Вохонове немцы уже после первых недель совместных полевых работ видели в жителях таких же крестьян, как они сами. Конечно, далеко не каждый оккупант сознавал, что он такой же человек, как русский, финн, эстонец, работающие с ним рядом. Когда нечем больше хвалиться, кичаться своей принадлежностью к какой-либо нации, а если и этим хвалиться нельзя, то гордятся только тем, что они не евреи... А ведь люди есть люди.

Не помню, кому и когда первому пришла в голову мысль как-то накануне воскресенья, а они иногда соблюдались, попросить у фон Бляйхерта немецких лошадей с немецким же плугом, чтобы вспахать свое поле. Ванька-череп сперва отказал, но, поразмыслив, дал разрешение с условием, что пахать будет не сам крестьянин, а тот немец-солдат, который согласится. Бу-

лучи отчаянным формалистом, обер-лейтенант не решался доверить немецких лошадей русским людям. Но, если кто из немцев согласится, — пожалуйста.

С тех пор каждое свободное воскресенье в летнюю, осеннюю или весеннюю пору, когда давали выходной, несколько солдат с удовольствием отправлялись «батрачить» на наших крестьян. Обычно при этом работали крестьяне, а солдаты, покуривая, «стояли на шухере»: смотрели — не появится ли поблизости обер-лейтенант, чтобы скорее сделать вид, что они никому не доверяют лошадей. Многие немцы при этом охотно трудились вместе с хозяевами, которые, конечно, брали в этот день на себя заботу о питании солдата. Естественно, хозяева никогда не обижали едой своих «батраков». Обедали, в нарушение всех инструкций, за одним столом, выставляя мальчишку или девочку следить: не идет ли дежурный унтер-офицер или «барон».

59. ГАДАЛКА. ДУБЫ. БЕГСТВО ОРЛОВА. МОЙ «ДЯДЯ»...

Жизнь в Вохоново, расположенном в двадцати пяти-тридцати километрах от фронта, казалась немцам райской. Они так и называли деревню «либ Вохоново» (Милое Вохоново). Солдаты штатсгута были уже не вояки. В них не жила ненависть к русским, которую так пыталось вселить идеологическое руководство рейха. Подчас общими становились не просто хозяйственные интересы, но также симпатии и антипатии к тем же немецким унтерам или фон Бляйхерту.

Не только коренные жители, но и беженцы, за редким исключением, приживались в специфической обстановке оккупации, зачастую переставали быть чужаками. Так отличный плотник Алексей Ручкин, домовитая мордовка Анна Казакова, соблазнительно полногрудая работающая мать двоих детей Мария Горб своей открытостью и трудолюбием привлекли сердца вохоновцев, в большинстве людей очень добрых.

Была среди беженцев и огромная бой-баба Анна Алексеева. Городская или сельская, она заметно отличалась от других. Билась в ней жилка той самой «бдительности» наших советских людей, которая во время оккупации так помогала гитлеровцам вылавливать бывших коммунистов, евреев и просто недоброжелателей... Не раз пыталась Анна и со мной заводить речь о моей «похожести на кавказского человека». Я старался избегать разговоров с ней. Анна была болтлива и среди нанвных вохоновцев пользовалась авторитетом. Секрет его заключался в том, что она гадала на картах — и с успехом. Не бесплатно. Без

мзды гадала лишь «избранным». Предложила и мне погадать. Но я отказался: ни в какие гадания не верю. Это правда. Но я про себя еще и побаивался, как бы «гадалка» с таинственным видом не высказала под маркой «нагаданного» своих подозрений о моем происхождении. А такие у многоопытной хитрой бабы могли быть. Я посмеялся и назвал ее шарлатанкой. Я знал, что она гадала Мартину и Марии и напророчила покойному унтеру «долгую счастливую жизнь». Об этом я не преминул напомнить Анне после ее очередного предложения погадать мне.

Анна перекрестилась и попыталась придать своим плутоватым глазам честное выражение.

— Поверь, Александр,—многозначительно произнесла она,—я видела, что ему близкая смерть на роду написана. Но он же такой страшный. Сказала бы—еще пристрелил бы тут же. А видела...

* * *

На разводе обер-лейтенант заявил, что в парке, примыкающем к хоздвору, надо спилить все дубы для отправки в райх. Там из них сделают первоклассную мебель.

Приказ огорошил всех. Красавцы, взращенные еще при крепостном праве в помещичьей усадьбе, должны погибнуть. Ежедневно «барон» приказал отряжать несколько самых сильных мужчин для пилки дубов.

К тому времени Василий Миронов стал все определеннее выражать свои антипатии немцам. Он тоже должен был пилить дубы. Через Егорова, Сергея Андреевича Константинова, младшего брата сапожника, я предложил, чтобы «пилы ломались».

Зубья так и «летели». Но «барон» требовал продолжать уничтожение дубов, хотя за полторы или две недели «удалось» спилить лишь два, наименее толстых.

Приближалась зима. Бежавших из «Арбайтсдинста» подростков, в том числе, Витюшку Дорофеева, опять пристроили в штатсгуте: обер-лейтенант сквозь пальцы посмотрел на их появление на работе. Привыкли. Но через неделю приехали фельджандармы и снова всех забрали. Правда, по просьбе Павла «барон» сказал жандармам, чтобы парней не трогали и жандармы пообещали, что бить не будут, только «накричат». Свое слово они сдержали. Но парнишек увезли. Еще тише стало в деревне и штатсгуте.

А мальчишки лет десяти-двенадцати продолжали играть «в партизан». Брошенного оружия на полях и в лесу валялось

немало. Ребятишки нашли обломок винтовки. Сын среднего Константинова стал забивать в ржавый ствол патрон, пристукнул затвор о камень — и убил наповал своего младшего братишку. Тот только успел удивленно сказать: «Ой, что-то ноги у меня ослабели». И все.

Опять приехали жандармы. Выяснили все, как было. Братубийцу только напугали, погрозили. Да он и сам переживал достаточно.

* * *

В белоснежный рюкзак я положил найденные старые валенки. Портной дядя Леша за месячный паек хлеба и всего, что к нему полагалось пленному, перешил мою шинель, сделав из нее приличную с моей точки зрения москвичку на овечьем меху с таким же меховым воротником. Теперь я смахиваю на штатского, кстати, немецкие офицеры, сплошь и рядом, носят тоже что-то непонятное с меховыми воротниками. Из основной моей красноармейской формы неизменными оставались пилотка, гимнастерка и брюки из нашей плащпалатки. Но снаружи — только пилотка. Без звезды... Ее я хранил в подкладке москвички. У меня все готово. Чуть фронт сдвинется — убегу. Анна Петровна Миронова, жена дяди Кости, передала мне «на случай» с полкилограмма черных сухарей. Они лежат в рюкзаке.

Фон Бляйхерт, сперва покосившийся на мою москвичку: больно уж отличается от формы военнопленного, привык к моему новому щегольскому виду.

Литовцы хорошие ребята. С ними договариваюсь. Они согласны бежать вместе со мной.

* * *

В деревне комендант хауптман Нойман, черноволосый офицер возраста обер-лейтенанта. Нойман квартирует у портного, дяди Леша, иногда хлопочет за его дочь Зою, чтобы ее фон Бляйхерт освобождал от выхода на работу в штатсгут. «Альзо» этого вмешательства в свои дела терпеть не может и каждый раз, морщась, делает вид, что совершает великое одолжение.

Мария Горб прибегает к фон Бляйхерту с жалобой: Нойман напился, ворвался в ее домик, пытался ее изнасиловать, но был настолько пьян, что свалился и там же уснул. Обер-лейтенант поспешно опоясывается и спешит застать хауптмана врасплох на месте преступления. Однако, «Зменная голова», проню-

хав об опасности, грозящей Нойману, успевает добежать до жилища Горб раньше. Входящему обер-лейтенанту навстречу поднимается уже успевший встать с постели, на которой валялся явно в сапогах, Нойман, одетый, с застегнутыми штанами, но с помятым лицом.

Фон Бляйхерту остается только козырнуть, объяснив, что он «совершает очередной обход» (?) и ретироваться, обменявшись с комендантом не очень доброжелательными взглядами.

Со мной хауптман держится настороженно, но не враждебно; начинает относиться заметно лучше, после того как я, зайдя с Бэром к дяде Леше Иванову, подсел к пианино, привезенную солдатами из штатсгута в дом портного, быстро наладил в нем слетавшие молоточки и что-то сыграл. Нойман тоже сел за пианино и тоже стал играть. Контакт, подумалось мне, налажился...

В своем чулане я пытаюсь играть на фисгармони. Приходят солдаты. Слушают. Они в большинстве музыкальны. Играют на губных гармошках, кое-кто на аккордеоне, как и сам фон Бляйхерт.

Он неожиданно появляется в дверях и, видя у меня солдат, приказывает им немедленно удалиться и не забывать, что здесь пристанище военнопленного. Почтительно козырнув, с неизменным «яволь!» «гости» поворачиваются кругом...

Обер-лейтенант подсаживается к инструменту. Фисгармонь звучит значительно хуже, чем привезенная ему, две клавиши западают, и он успокаивается.

* * *

Василий Миронов по секрету сообщает, что Николай Иванович Орлов, учитель, сагитировал группу «хиви» при части, стоявшей в Малом Одрове, и они, забрав винтовку у повара (почему только одну?..) убежали в лес и стали партизанами. Я не уверен, что партизаном называется всякий, кто убегает в лес и там пассивно дожидается прихода наших. Но уже то, что завладели хоть каким-то оружием, надеюсь, не одной винтовкой... —наводит на мысль, что и здесь начнется партизанское движение, о котором поговаривают и немцы штатсгута. Они наверняка знают об Орлове, но ни слова мне не говорят. Только «Змеинная голова» и отдельные, особо недоверчивые солдаты косятся на меня и, когда я разговариваю с русскими или литовцами, стараются держаться поблизости. Но я же умею говорить по-русски так, что даже понимающие немцы ничего разобрать не могут...

Новое известие: Николай Иванович утащил из-под носа у немцев свою жену тоже в лес. А жена его будто бы жила уже с хауптманом Нойманом, ставшим недавно чем-то вроде районного коменданта и на днях перебравшегося в Большое Одрово в трех километрах от Вохонова. Василий-староста, носитель всех «последних известий», говорит, что Николай Иванович собрал вокруг себя большую группу «хиви» и русских, укрывшихся от эвакуации; на днях этой группе удалось установить связь с нашими и перейти фронт. Что-то трудно поверить. Василий падок на сенсации, и язык у него длиннющий...

Вместо уехавшего Панфилова Гатчина назначила полицаем Васильева-филона или Иванова-заикку. Кажется, первого. Почему их вечно путаю? Часы бегут. Надо держать ухо востро.

Слух, переданный шепотом на утреннем разводе: Николая Ивановича и его товарищей поймали. Окружили. Кто-то из беглецов выстрелил и ранил одного немца или власовца, участвовавших в облаве. Всех захватили. Нужно было Орлову вытаскивать в лес свою жену, «подружившуюся» с Нойманом?.. А, может, напрасно на нее говорят? А вообще, что это за партизаны с «удобствами»?.. Жаль Николая Ивановича.

Всезнающий Василий Миронов клянется, что арестовали лесничего, того самого, который производил такое интеллигентное впечатление да и фон Бляйхерту понравился.

Последний, даже если может пользоваться другим переводчиком, предпочитает меня. Тут он уверен в качестве и точности, да и привычка играет роль. Девчонки находят его интересным и ...красивым. Не понимаю их вкуса. Они ахают как он играет на аккордеоне, какой «кавалер», когда танцевал (прошлым летом, до Сталинграда). Не понимаю их вкуса. Ненавижу его. Не верю ему, аристократу, ставящему себя над всеми, помещику.

С Сергеем Константиновым-старшим и Павлом мы обсуждаем предстоящие действия. Немцы, конечно, попытаются всех эвакуировать. Надо быть готовыми к уходу в лес. Зимой снег глубок, далеко гнаться не будут. Продукты надо заготовить и в лесу, и в деревне, в погребах, в таких местах, чтоб немцы не догадались. В лесу придется пробыть не одни сутки. Не исключено, что срываться надо будет с дороги, если сразу не удастся спастись от насильной эвакуации.

— Уж ты, Александр, нас в беде не покидай, — предупреждает Константинов. — Мы, если что, все за тебя. — Надо, главное, заранее нам сказать..

Я все понимаю. Они привыкли, что я знаю больше их и, когда перевожу распоряжения, им кажется, что я командую...

В эвакуации, убеждаю я, шансов погибнуть больше, чем при своевременном уходе в лес. Конечно, риск везде.

— Может быть, мне самому придется бежать раньше. Одному. Надо, чтоб все и без меня были готовы.

Павел кивает. Пока Тоня и ее подруги работают в штатсгуге. А там — кто знает?.. Можно ожидать всего. Чувствуется, что вот-вот фрицев должны погнать. Тон газет на русском да и на немецком отдает хворью... Немцы вздыхают, что русская авиация господствует в воздухе (это вам не сорок первый!) Все болеют за наших. Малыши орут «Скоро русские придут, будет Гитлеру капут!»

«Змий» хватает пацана и тащит к фон Бляйхерту, услышав частушку. «Змий» требует, чтобы мальчугана... повесили. Своим ушам не верю: ну и гад!

Парнишка, сын плотника Егорова, струхнул и заревел. Я ему успел незаметно шепнуть, чтоб не смел признаваться, чтоб клялся, что «унтеру слышалось».

«Змеинная голова» утверждает, что ему не «слышалось». Я говорю, что ребятишки распевали «про грибы», «полегли», но не упоминали Гитлера.

— Кому вы больше верите, господин обер-лейтенант, — вспыхивает унтер, — немецкому капралу или русскому пленному?

Обер-лейтенант почесал нос: «Мои унтер-офицеры меня тоже иногда обманывали...»

Напуганного мальчишку отпустили. Уверен, что фон Бляйхерт не позволил бы повесить паренька. Но вызвать жандармов, чтоб те дали ему плетей и наложили штраф, мог. А зачем нужны лишние свидания с жандармами?..

Пилка дубов подвигается черепашьими темпами. «Змеинная голова» заметил, что мужичков вообще нет на месте (они ушли в деревню выпить) и побежал к «барону». Мне удалось через мальчуганов предупредить отцов и, когда фон Бляйхерт с унтером показались в парке, все наши люди возились возле дуба. Все были крепко выпивши.

Фон Бляйхерт, сам навеселе, зло глянул на мужичков и еще злее на унтера, вытащившего его из тепла на мороз.

«Змий» заявил, что я могу подтвердить, что рабочих на месте не было. Я извинился и попросил не заставляя меня говорить о том, чему я не был свидетелем: мне же не поручено «присматривать» за ними. «Атака» унтера снова была отбита. Он все злее смотрел на меня, моя недосыгаемость бесила его. Представляю, с каким удовольствием он бы меня пристрелил!

Ненависть его была столь очевидна, что позволяла принимать предохранительные меры и соблюдать осторожность.

Немцы перед отступлением сжигают целые села, чтобы наши шли по пустыне. Так сообщают наши листовки, предупреждая, чтоб все «готовили Красной Армии достойную встречу».

Глядя на свежестроенные огромные деревянные сооружения коровника, свинарника, кузницы, «молькерай», сараев, мне не верилось, что фон Бляйхерт благословит уничтожение всего этого. Но... война...

Как-то из проходившего по дороге обоза меня окликнули. Я обернулся и сразу узнал рослого усатого пленного сибиряка Истомина в форме «хиви».

Мы обнялись. Я был в москвичке, и, несмотря на пилотку, выглядел более штатским, нежели пленным.

Истомин рассказал, что летом сорок второго лагерь близ Чудова, переполненный пленными из второй ударной армии Волховского фронта, начали эвакуировать. Коменданта-перебежчика, поваров и полицаев, жутко грабивших пленных, взяли на службу в вольную полицию. Эпидемия сыпного тифа, в начале которой заболел и я, скосила множество пленных, а еще больше немцев. Умер от тифа толстяк штабс-фельдфебель Кольц; переболели жандармы Шталь, Никиш, а гада Гуека тиф не задел.

— Ежели бы, — сказал Истомин, — коменданта и полицаев предварительно не вывели за проволоку и не отделили от остальных пленных, последние бы этих гадов не пощадили.

— А почему ты пошел в «хиви»?

— Больше шансов, сам понимаешь, ... А в лагере и сил для этого не соберешь, и трудно. А тут, — он кивнул на окружающие леса, — чуть сориентируемся — и в чашу или к своим, куда ближе будет.

Немцы, видя, что я разговариваю с человеком в их форме, не обращали на нас внимания. Я подошел к Павлу и представил Истомина... братом моей матери. И вот привелось встретиться!

Истомин сообщил, что и Дмитрий, тот самый, по-моему, еврейского происхождения «американец», который, будучи в лагере, стряпал на немецкой офицерской кухне и трепал, что служил поваром в московском «Метрополе», тоже у них в «хиви», при той же кухне.

Истому я сказал, что Вохоново — моя родная деревня и здесь живут мои родичи со стороны отца.

— А у нас жалели тебя, — сказал сибиряк. — Слух шел, что в этапе ты умер от сыпняка.

Времени оставалось мало. Обоз остановился всего на полчаса.

В сопровождении Истомина — немцы посмотрели на это как на нечто само собой разумеющееся — так как я им тоже доложил, что встретил «дядю», отпустили меня в деревню к Павлу.

Фон Бляйхерт отсутствовал, и мы втроем быстро обменялись новостями. Павел угостил нас (и сам, конечно, выпил) самогоном. На прощанье мы обнялись и «дядя», укрепив в вохоновцах и немцах мнение о моем чистейшем происхождении, отправился с обозом дальше, сообщив, что «вскорости фронт должен сдвинуться», что немцы сгоняют людей отовсюду в глубокий тыл рыть окопы, противотанковые рвы, строить доты на линии Псков-Нарва. Туда собираются отходить, «выравнивать фронт».

* * *

Николай Иванович Орлов в Гатчине. Теперь можно, считал я, ожидать всякого. Начнут пытаться, допрашивать, выяснять, кто с кем дружил, кто о ком слышал... Я высчитывал дни, когда можно будет с наибольшей вероятностью удачи бежать. Неужели?!

60. НОЧНОЙ ДОПРОС. «ФОН» БЕРЕТ МЕНЯ НА ПОРУКИ.

Меня трясли настойчиво, толкая в бока.

— Штэй ауф, Алекс, штэй ауф! (Вставай, Алекс, вставай!)

Надо мной, чуть наклонясь, стоял длинный «Змий», а рядом еще два солдата.

Я сделал гримасу и стал подниматься: «Вас ист лёз?» (Что случилось?)

— Штэй ауф унд гей мит унс (Вставай и иди с нами).

— Цум альтен? («К старому?») Обер-лейтенанту).

Ответа не последовало. Мы вышли и направились вверх по дороге к канцелярии с кухней. Однако перед самым крыльцом свернули направо и, пройдя немного, спустились по восточной улице Вохонова. Мы шли мимо молчаливых затемненных домов.

Прошли всю деревню. Освещенная ярко лунным светом перед нами легла белая снежная дорога между невысокими сугробами. С обеих сторон было поле. За ним — лес.

По деревне мы шли все рядом. Когда завернули за последний домик, «Зменная голова» вдруг резко скомандовал: «Драй шрит фор! («Три шага вперед!»). Одновременно с командой шелкнули выхваченные из кобур пистолеты.

— Не оборачиваться! — угадав мое намерение, скомандовал «Змий».

Бежать было бесполезно. Вокруг снег. Шаг в сторону — увязнешь и тут же пристрелят. Светло, как днем. Оставалось надеяться на Судьбу.

Молча прошли мы около трех километров к Большому Ондрову. Посреди деревни, в самом большом доме, помещалась комендатура. У входа стояли немецкие часовые. «Зменная голова» приказал мне подняться в дом. С крыльца я вошел в освещенный карбидной лампой коридор, из него — в комнату. В ней был хауптман Нойман. Я поднял руку к пилотке, приветствуя, но он, обычно вежливый, даже не кивнул, а головой указал на дверь слева от него.

Я отворил ее. За ней оказалась еще одна дверь. Нойман махнул рукой — и эту!..

Я открыл вторую дверь. В лицо ударил яркий свет и на чистейшем русском языке человек в немецкой форме сказал:

«Заходите и садитесь.»

За столом сидели два власовских офицера (а, может быть, офицера полиции, я в этих тонкостях не разбирался). Один, вероятно, старший, предложил мне сесть.

Помня о своих черных волосах, я подчеркнуто уверенно снял с головы засаленную пилотку и опустил на стул напротив них.

Сердце билось учащенно. Я догадывался, что меня вытащили по чьему-либо указанию или доносу. Но в чем могли обвинить, что могли обо мне сказать, что заподозрить? Я не знал и решил не выпрашивать, а только отвечать на вопросы.

Власовцы внимательно оглядели меня с ног до головы.

Я понял, что пока они не знают о моем происхождении, иначе разговор и обращение были бы совсем иными... С безразличным видом я устало чуть наклонил голову над столом.

— Фамилия?!

— Ксенин.

— Имя, отчество?!

— Александр Степаныч.

— Год рождения?!

— 1918-й.

— Где родился?

— В Челябинске.

— Точнее...

— КБС, 22 квартира 9 (я называл часть адреса Вали. К счастью, что такое «КБС» меня не спросили).

Мать моя из кубанских казачек, отец — слесарь, сибиряк. Есть два брата, один — Алексей — старше меня, рабочий, сейчас в армии, младший — Николай — учился в десятилетке, очевидно, тоже в армии. Я — артист, начинаю д.й. Играл в Ленинградском театре драмы и комедии (как хорошо, что никому там не попался никакой проспект по ленинградским театрам! Где бы там они нашли, в каком спектакле мою фамилию — Ксенин — среди исполнителей?!)

Мобилизовали, потому что мой год 1918-й подошел. Воевал под Лугой в 237-й дивизии. Попал в плен при выходе из окружения, долго плутал по деревням, в октябре. У немцев после Любаньского лагеря был при полевой жандармерии АОК 16 (такое производит впечатление); после того как взвод передислоцировали, находился недолго в чудовском лагере, затем — в немецком лазарете, затем — снова в лагере; после сыпняка — в совхозе, государственном имении. Здесь уже полтора года. Учился немецкому в школе, институте, в плену...

В таком четком плане я спокойно выложил свою «биографию».

— А почему, когда все вступили в РОА или «хиви», ты не вступил тоже? — резко спросил один из допрашивавших.

— Я же вам сказал, что у меня два брата на фронте.

— А, может, они уже тоже в плену, в РОА или в «хиви»?

— Не уверен. А если вступлю, что на мне креста нет, что ли, вдруг заставят стрелять в братьев. Этого я себе никогда не прошу.

Вдруг перед моими глазами что-то зачернело. Я не успел сообразить. Что, как резкая боль заставила меня отшатнуться: допрашивавший сунул мне в ноздрю мушку пистолета и, дернув, разорвал ноздрю. Потекла кровь. Второй приостановил агрессивные намерения первого. Пока я вытирал кровь, слегка запрокинув голову, он спросил: «Ну, не вступили в РОА, не переменили форму, а почему агитируете крестьян не поддаваться немецкой эвакуации, склоняете уходить в лес, говорите, что «скоро придут наши»?..

— Не знаю, кто вам доставил такие сведения? С гражданскими я общаюсь только при переводе с немецкого, ничего похожего на то, что вы сказали, я себе не позволю и не могу позволить.

— И ты думаешь, — переходя на «ты», усмехнулся первый

допрашивавший, — что Красная Армия, придя сюда, погладит тебя по головке?

— Я читал в газете показания капитана Кулакова, — ответил я, — и уверен, что он говорил правду: всех, кто попал в плен, ждет суд, а потому я понимаю, что поневоле связан с немцами и буду эвакуироваться вместе с ними. Они сами меня эвакуируют. Я понимаю, что ждать добра от наших мне не приходится, хотя чикому я зла не сделал из наших русских людей, взятку не брал и не беру и чести не потерял. А вступать в РОА или «хиви», не сердитесь, я не буду: после смерти родителей мои братья — самое дорогое у меня. Не могу. Ко мне здесь немцы относятся хорошо. Перевозу я всегда правильно, что не пойму — переспрошу. Люди они хорошие. Жаль, что война.

Тут допрашивающие начали снова крутить, почему я довольствуюсь бесправным положением пленного, на что я возражал, что ко мне относятся по-человечески, а связываться с воинской дисциплиной я не намерен. Если будут недовольны — отправят в лагерь. Там сейчас не так как было в сорок первом — сорок втором. Фон Бляйхерт ко мне относится прекрасно. Я его уважаю. Он культурный благородный человек.

Власовцы переглянулись и стали спрашивать меня о Василии Миронове, старосте, я понял, что его арестовали раньше меня и уже допрашивали, о Павле Дорофееве, горбатым дяде Косте Миронове, о старшем Сергее Константинове.

Я отвечал, что все они степенные пожилые люди, семейные, никакими партизанами от них не пахнет. Никогда они не безобразничают. Ни от кого из них я никогда не слышал ни одного антинемецкого высказывания. По натуре своей они дисциплинированные и, главное после расформирования колхоза живут очень неплохо, лучше, чем раньше.

— И вы их не склоняли к неподчинению немецким приказам?

— Каким?—искренне удивился я.

— Об эвакуации.

Я разъяснил, что об этом приказов не было. Штатсгут— часть хозяйства вермахта и будет таковым до конца войны.

— А почему же эвакуировали чухонцев?

— Возможно, поблизости ожидаются военные действия. Кроме того, Эстония и Финляндия полны родичами местных финнов и эстонцев. Фронт же стоит незыблемо и думаю, по его линии пройдет перемирие. Оно будет. Войны не вечны (тут я вовсе притворился наивнейшим). Но как ни странно, я заметил, это произвело успокаивающее впечатление на моих «собеседников».

Они приставали ко мне с вопросами о моих настроениях, пытались вкраплять слова о том, что им известно о моей агитации среди населения. Так продолжалось часа два или три. Затем один из них вышел.

В комнате стояло пианино. Я попросил разрешения и стал наигрывать свои любимые старинные романсы.

Как я понял, на власовцев (или полицаяв) ¹⁴ произвел впечатление мой ответ насчет капитана Кулакова. Он, попав в плен, выложил там полнейшую картину того, что ждет бывших пленных и даже население, попавшее в оккупацию. Я чувствовал, что Кулаков не врет, но лично для себя не мог представить такого идиотизма и для вохоновцев, которым ничего не оставалось делать как существовать в оставленной нашей армией местности. Вохоновцы мне рассказывали, как они при приближении гитлеровцев ушли в лес, как немцы под угрозой расстрела заставили всех выйти из него, беззащитных, с детьми, стариками и старухами. А когда вышли, им приказали расселиться по своим домам. А старостой выбрали все бывшего председателя колхоза Василия Миронова. Сейчас, на допросе, я оттенял только верность Василия немцам. Я понимал: начну чернить другого, он в ответ очернит меня—и, чего доброго, доберутся до моего происхождения...

Спрашивали и про Алексея Иванова, портного. Я заметил, что он большой человек. У него чахотка — и ни о каких уходах в лес с ним говорить нельзя. Он, даже если произойдет эвакуация, не будет ей противиться. У него в доме стоял хауптман Нойман, нынешний комендант, и знает, что портной далек от политики. У него все заботы — своя семья и здоровье.

— Что вы хотите,—заключил я,—Вохоново—русская деревня, и ее жители патриархальные русские крестьяне, которых не успел испортить колхоз. Никто из вохоновцев никогда ничего против немцев не имел и не имеет. Никто в деревне от немцев не пострадал.

— А что вы знаете об учителе Орлове?

— Слышал, что он ушел в лес. Но, где находится, понятия не имею. Я все-таки хоть и пленный, но переводчик и, сами понимаете, со мной население не может быть откровенным и ничего такого мне не сообщают.

— А откуда вы узнали о его бегстве?

— Кто-то из мальчишек сказал несколько дней тому назад или я просто случайно услышал, что он с семьей ушел в лес. А куда, где, что, как, почему? Тут я никого не спрашивал да и никто бы мне не сказал, благо, по-моему, никто об этом толком не знает. Слухи.

Я держался уверенно и спокойно. Степенно. Но чувствовал, что мне не доверяют, хотя улики против меня, как я догадался, нет. Москвичка на мне сидела хорошо. Я выглядел в ней прилично и мои слова о том, что в плену мне неплохо, не воспринимались как ложь, тем более, латанные сапоги скрывались под столом. Избавляло от самого неприятного вопроса то, что никому не могло прийти в голову, что в течение двух с лишним лет в плену может оставаться невыявленным еврей. Сам по себе вопрос: не еврей ли я?—является абсурдным. Его и не задавали.

— А почему вы, артист, не вступили в концертную группу?

— Мне зондерфюрер Зундра предлагал. Но я уже давно здесь, свыкся со своим положением и с людьми и колесить по проселочным дорогам не хочу. Кончится война — вернусь к сцене.

— Так вам и дадут!?

— Я все-таки надеюсь, что она кончится победой вермахта.

— Вы уверены?

— Да.

Власовцы переглянулись и хмыкнули. Затем, ранее выходявший заметил, что меня отправят в Гатчину и «там разберутся».

Я пожал плечами. Тут кто-то заглянул в дверь и вызвал их. Слышно было, как Нойман с кем-то переругивался по телефону. Минуты три я оставался один. Сидел, как мне приказали, не двигаясь «со стула».

Затем дверь отворилась и мне приказали выйти.

В той же комнате, через которую меня ввели, стоял Нойман. На этот раз он слегка козырнул в ответ, когда я поднес руку к пилотке. Рядом с хауптманом стояли мои вохоновские конвоиры и власовцы. Мне приказали выйти и следом за мной спустились с крыльца конвоиры.

Брезжил рассвет. Белоснежная тихая дорога и сугробы по сторонам искрились. Меня повели в Вохоново и доставили в мой чулан. Я успел заметить, что на его окне прибиты дополнительные железные прутья решетки.

Спать, конечно, не хотелось. Я мог остаться наедине со своими мыслями. Не раздеваясь, я прилег, но звякнул ключ в замке и солдат объявил: «Зофорт — цум обер-лейтнант!» (Сейчас же к обер-лейтенанту!).

В сопровождении двух солдат я пошел к дому, где жил фон Бляйхерт.

Доложив о моем приходе, солдат приказал мне подняться к «барону».

Я поднялся по лестнице, постучал в дверь. В ответ на «хэ-райн» (войдите) вошел и отдал честь.

Обер-лейтенант был одет. Видимо, он не ложился спать. Он быстро подошел ко мне и...протянул мне руку. Я немного растерялся, слабо ответив на рукопожатие.

— Вас там не били?

— Нет, господин обер-лейтенант. Немного вот царапнули нос (и я указал на надорванную левую ноздрю).

— Вроде вашего ГПУ.

— У нас в ГПУ такого не делают. Меня там держали три недели, врал я, но пальцем не тронули. Я вообще не знаю, чего они хотели?

— Вы—русский. Это—ваше национальное дело. Я вас ни о чем не спрашиваю. Но... Я поручился за вас, пока будет идти расследование. Я взял вас на поруки. Обязался по первому приказанию, если потребуется, доставить вас в Гатчину.

— Не думаю, что это что-либо может изменить.

— Повторяю, Александр, это ваше дело. Вы — русский и, знаю, любите свою родину. Но... поручившись за вас, я должен оградить и себя. Поэтому я приказал поставить в вашей комнате двойные решетки, строже охранять вас, не давать вам шагу ступить без вооруженного конвоира даже на территории хозяйственного двора. Кого бы вы хотели иметь своим конвоиром?

Последний вопрос поверг меня в полную растерянность.

— Мне все равно,—сказал я.

— Нет. Не говорите так. Есть, знаю, среди моих солдат такие, что вам могли бы быть неприятны, есть просто настроенные против русских, а потому и против вас.

— Большое спасибо, господин обер-лейтенант,—сказал я со всей искренностью, ибо меня растрогало неожиданное душевное отношение моего хозяина. Подумав, я назвал Альфреда Вицека.

— Хорошо,—согласился обер-лейтенант.—А теперь ответьте еще на вопрос: почему именно его?

— Он спокойный честный пожилой человек. По здоровью он вам не так нужен, как более сильные солдаты. Кроме того— и это главное—Вицек—чешский немец, понимает по-русски и, если я буду вести какую-либо «пропаганду», сейчас же доложит вам.

Обер-лейтенант кивнул, удовлетворенный ответом.

Через несколько минут в сопровождении Вицека я уже выходил на утренний развод, где ожидали Вилли Хёвельмайер и кто-то из унтеров, не «Змеиная голова», получивший с моими ночными конвоирами право «заслуженно отоспаться».

Вилли крепко пожал мне руку, явно сочувственно.

Кто-то из рабочих по привычке попросил: «Сашка, изобрази Ваньку-черепа».

— Ничего объяснять не буду и не хочу,—ответил я.—Но отныне копировать его, насмехаться над ним, перекривлять его не буду. Ничего не объясню. Но он — человек, не заслуживающий издевательств. Так что с этим больше не приставайте, раз и навсегда. А теперь,— тут я сделал веселое озорное выражение, — пока его нет, Тоня, Надя, Зоя Иванова (дочь портного), быстро ко мне со смехом, подойдите, смеясь. Смейтесь! Ну-у!..

Девчонки, ожидая с моей стороны какой-то новой шутки, весело подбегали. Вицек, понимавший по-русски «в пределах возможного», то-есть, очень немного, кивал головой и добродушно улыбался.

— Девчата, что бы я ни говорил, смейтесь, будто анекдот рассказываю (Вицек одобрительно закивал, повторяя «анекдот»).

— Сегодня ночью меня допрашивали. Ну, чего, Тоня, вытянула рожицу, о твоём отце, о твоём отце (кивнул я Наде), о твоём (кивок Зое). Может быть всякое. Предупредите их, чтобы были готовы, если нагрянут. Да смейтесь же! Ну! (Девчата засмеялись!). Предупредите: за мной усиленное наблюдение. Что-то спрашивали о них, о связях с учителем, который ушел в чащу и сейчас пойман. Ясно? Смейтесь же! Дурашки, смейтесь! (Девчонки смеялись). Предупредите как можно скорее—и всех. Мужа Лизы (я опасался произнести фамилию старосты Миронова) ночью, по-моему, тоже допрашивали. В общем, предупредите родителей и сами будьте осторожны.

Девушки смеялись, а отходя, по моему совету, говорили другим, что Сашка рассказал не очень приличный анекдот, потому они и замахали на меня: «Ну и Сашка!...»

Появился фон Бляйхерт и работа пошла своим чередом. Вицек следовал за мной на почтительном расстоянии в три шага, держа руку на кобуре. Куда я — туда он. По правде, говоря, иногда, когда расстояние между нами сокращалось, я в душе подумывал, что в случае чего—не последний шанс—ударом кулака сбить с ног беднягу и убежать. Конечно, во дворе это было невозможно и Вицек, прихрамывая, повсюду тащился за мной, изредка повторяя: «Нихт зо шнель, Алекс, нихт зо шнель» (не так быстро, Алекс, не так быстро).

Вицеку больше нравилось быть моим конвоиром, чем потеть на постройке сарая или в конюшне, как другие немцы. Мы с ним и до того были в хороших отношениях, а тут просто подружились. Он был мне благодарен за то, что избавлен от тяжелой работы. Это был спокойный, как и многие судетские немцы, немного запуганный человек. Долговязый, костистый, с погрустневшими глазами на обветренном лице, он повсюду покорно ковылял за мной, изредка со вздохом напоминая, что, если я попытаюсь бежать, он вынужден будет стрелять в меня, так как у него дома семья.

Бродя под конвоем Вицека, я доказывал ему, что война безнадежно проиграна, что все заверения фюрера и Геббельса о «сверхоружии» — обычный пропагандный трюк, что через год война будет кончена. Я полагал, что к концу сорок четвертого.

Вицек вздыхал, соглашался, но предупреждал, чтоб я об этом не говорил другим немцам. По существу, ефрейтор стал моим подчиненным. Фон Бляйхерт вызывал меня к себе, а Вицек оставался внизу. Обер-лейтенант приказывал, например, пойти в деревню и позвать к нему, чтобы посоветоваться, дядю Федю Ипатова, садовника, или Павла-тракториста, или дядю Лешу, портного.

Я выходил от «Альзо» и коротко бросал Вицеку: «Ком!» (Иди!). И он покорно следовал за мной, не спрашивая, куда и зачем я его тащу за собой.

Если фон Бляйхерту мечталось когда-нибудь стать подлинным хозяином штатсгута, то мне мечталось полностью сохранить штатсгут до прихода наших войск, сохранить все — зерно для посева, картофель, все припасы и запасы, всю технику, коров, овец, свиней, лошадей, чтобы все досталось нашим и, главное, уберечь вохоновцев от эвакуации. Я чувствовал, что они мне верят, любят меня, уважают. И я их любил, верил им и в них, в чудесных русских людей, трогательных в своей незащищенности, в своей безудержной преданности Родине, которой они прощали все, лишь бы она была своей, русской, а не чужеземной. Уверен, если бы условия окружающего были иными, немало вохоновцев стали бы партизанами. А сейчас они ждали, ждали своих и я разделял и поддерживал их веру в приход наших, в нашу победу.

Тетю Лизу, жену арестованного старосты Василия, я попросил подойти к обер-лейтенанту. Она, плача, пришла и я, добавляя, что считал необходимым для убедительности ее

просьбы, переводил ее ходатайство о муже. В конце концов фон Бляйхерт согласился поехать в Гатчину «разузнать». Перед этим я убедил его, что Василий не причастен к «делу Орлова», так как отлично знает, что его ждет в случае прихода Красной Армии.

Тетя Лиза поехала в Гатчину с продуктами и самогоном, подарками для полицаев и комендатуры, которые не чурались самых откровенных взяток. Ездить пришлось не раз. Каждый вояж—и «барона», и Лизы—заставлял меня в тревоге дожидаться их возвращения: «не позовут» ли меня?... Дамоклов меч завис над моей головой, теперь...волосок мог ежесекундно порваться...

Увы, «барон» не всемогущ. После очередного разговора с Гатчиной по полевому телефону из канцелярии он выходит хмурый, расстроенный: отстоять девушек, работающих в штатсгуте, не удалось. Тоню, Зою Дементьеву, всегда такую бодрую, веселую, отличную работницу, Марию и Аню Константиновых, Надю Павлову, дочь тети Маши, забирают в «Арбайтсдинст». В деревне останутся только взрослые да подростки, дети.

Приезжают жандармы со своими, устрашающе действующими на жителей огромными блестящими бляхами на груди и никакое, самое добродушное выражение лица жандарма не может развеять ужаса от этой бляхи с изображением хищного орла, держащего в когтях кружочек со свастикой внутри. Девушки уезжают, матери клянут немцев. Клянут, ничего не боясь. Немцы, работающие в штатсгуте, хмурятся, будто и они виновны, опускают головы. Некоторые сочувственно разводят руки: что они могут сделать? «Криг ист шайсе» (война—говно).

Через несколько дней тетя Шура, жена Павла, Анна Петровна, мать Нади, другие матери узнают, где находятся девушки и, испросив разрешения у «барона», отправляются к ним.

Обер-лейтенант становится заметно мягче. Меньше появляется в хозяйственном дворе, иногда пропускает развод. Иногда вечером вызывает меня и делает обход построек и двора штатсгута. Возвращается. Ужинает и пьет всегда один. Сидящие в канцелярии под его спальней Вилли Хёвельмайер, кох Вилли и Бэр слышат как он наигрывает на фисгармонии—и все грустное, грустное. Классику...

При Вицке, пользуясь синонимами, способными запутать любого нерусского, договариваюсь все же с литовскими «хиви»: по первому знаку все они пойдут, куда им укажут я или

Павел, или кто из наших доверенных вохоновцев. Вицек, стоя рядом, добродушно кивает тяжелой головой, когда я для вящей убедительности поворачиваю к нему свою усатую физиономию. Усы у меня рыжеватые. Иногда я их облизываю. Привычка осталась от времен, когда я был вечно голодным: на усах, казалось, хоть чуточку остается от супа или чего съестного. При Вилли-поваре мне достается больше, чем при Герге Ланге, хотя тот в меру своего понимания тоже не пытался меня обижать.

Обер-лейтенант возвращается из Гатчины и возле дверей канцелярии кох прибывает дощечку «Ортскомендатур» (Местная комендатура): обер-лейтенант согласился стать комендантом Вохонова. Теперь каждая часть, желающая расквартироваться в деревне, должна заявить об этом обер-лейтенанту и получить от него формальное разрешение. Время от времени он в сопровождении дежурного унтер-офицера или Хёвельмайера, Вицека со мной и еще кого-либо из солдат обходит деревню, интересуясь расквартировкой: нет ли жалоб у жителей. Последние все — работники штатсгута. Об этом «фон» не забывает и в обиду постояльцам их не дает. У шефа все еще теплится надежда, что немцы удержатся и он останется управляющим штатсгута. На государственное он смотрит, как на свое. Увлеченный, знающий агроном, знаток своего дела. Прирожденная аккуратность, стремление доводить начатое до конца, причем, на совесть, делает его образцовым руководителем. Да есть в нем жесткость, непонимание чужих страданий и бед. Есть. Но он — хозяин. Настоящий.

Однажды вечером, пригласив меня к себе, он предложив сигарету, начинает со мной разговор о том, что «большевикам не хватает настоящих хозяев», и он бы с удовольствием «на этих плодородных землях» (как такие земли могут показаться «плодородными», мы, избалованные природой, понять не сможем) развивал хозяйство совхоза. Как бы большевики посмотрели на такого руководителя совхоза?

Я искренно ответил, что о таком руководителе нашим бы только мечтать и мечтать. Но его, дворянина, к сожалению, по своей предвзятости и безнадежной тупости, наши власти к заведованию совхозом, увы, не допустят. Я понимаю, что это глупо. Но не могу соврать.

«Фон» грустно замолчал и угостил меня еще одной сигаретой.

61. МЕЛЬХИОР КЛАУС

Вызванный обер-лейтенантом наверх, встречаю у него высокого обер-фельдфебеля, на редкость симпатичного красавца, хотя среди немцев очень много красивых мужчин, голубоглазого блондина с открытым, очень интеллигентным лицом. Это цугфюрер (взводный). Он пришел к ортскоменданту по вопросу размещения своих солдат. Узнав, что я артист, обер-фельд интересуется моими знаниями, и мы находим общий язык сразу.

Видимо, обер-фельд понравился и фон Бляйхерту, потому что он разрешает гостю вечером зайти за мной, чтобы взять меня в деревню на несколько партий в шахматы.

Так я знакомлюсь с Мельхиором Клаусом и грустно мне думать, что, может быть, сейчас этот красивый и душевно, и внешне, человек, не по своей воле принимавший участие в отвратительной войне, лежит где-нибудь, непохороненный, или калеккой доживает последние дни. Человек, ненавидевший войну и Гитлера, бесконечно добрый и честный, скованный понятиями опять же чести и фронтового братства.

Древние греки умели уважать врагов. В «Илиаде» воздается должное и землякам Гомера и троянцам и, ей-ей, троянец Гектор описан с большей симпатией, чем Ахиллес. А ведь война с Тройей по тому времени тоже была «идеологической»: разве похищение Елены, нарушение законов чести, не рассматривалось как обоснованный повод для войны?... Конечно, о подлинном благородстве и в те далекие времена говорить не приходилось. Жгли, убивали, грабили, насиловали, обращали в рабство. Но в принципе Гомер, освещая «дела давно минувших дней», не стремился вызвать ненависти к врагам своих земляков. Для русской литературы такая объективность тоже характерна. Лермонтов восхищается горцами, отстаивающими свою свободу; Лев Толстой любит Хаджи-Мурата, в «Войне и мире» находит человеческие хорошие черты у французов, отказывая в этом Наполеону, как в «Хаджи-Мурате», Шамилю.

И вот я сижу в доме Константиновых, откуда на днях забрали в «Арбайтсдинст» Марию и Аню, милых сестер-певуний, и Мельхиор Клаус пытается успокоить их мать, уверяя, что они останутся невредимы и, кто знает, может быть, благополучно уйдут домой.

Мельхиор, как ни старается, проигрывает одну партию за другой. Я смотрю в его чистое лицо, в его ясные глаза. Он плохо поворачивает шею: она перевязана: легкое пулевое ранение. Я вижу непринужденное, все основанное на уважении

и влюбленности отношение солдат к своему командиру и его отношение к ним. Здесь дисциплина — принятая форма общения. Но в ней нет никакой вынужденности и я понимаю, что это продиктовано исключительно обаянием человека, Мельхиора. Проиграв, он не огорчается, с улыбкой берет аккордеон и начинает играть «по заказу», все, что прошу я и солдаты. Редко, когда он не может выполнить заказ, сыграть ставшую популярной классическую пьесу.

Он весь гармония. Как бы я хотел ему открыться! Сказать, какой камень у меня на душе. Но я сдерживаю себя. На вопрос: почему я не вступаю в «хиви», признаюсь: «Я все равно от вас при первом удобном случае убегу к своим и не хочу, чтоб меня считали нечестным человеком. А убегу обязательно».

Мельхиор улыбается: «Тебе же неплохо у нас в плену. А там тебя ждет фронт; может быть, будешь убит или искалечен».

— Пусть, — считаю я, — но не могу быть в стороне, на фронте мы все убиваем. Мне будет горько, если я, Мельхиор, попаду в тебя. Но я не буду знать этого, как и ты не будешь знать, что стрелял в меня. Фронт — другое дело. Я — пацифист, гуманист, я против всякой войны, против всякого убийства, его нельзя прикрыть никакими самыми громкими «идеями». Я не верю в коммунизм да и не знаю, имею ли право вообще думать о нем. Я не политик. Но знаю: эту войну мы ведем за свою Родину. Эта война жестокая, и мне жаль, Мельхиор, что наш народ вынужден ненавидеть вас всех скопом.

Я говорю Мельхиору, что они безнадежно проиграли, что Гитлер и его клика доводят Германию до гибельного конца.

Мельхиор внимательно слушает. Он со всем согласен. Но он вместе со своими солдатами мерз в окопах, делил все трудности и опасности. Он не оставит их и вместе с ними добровольно не пойдет в плен: он солдат, как и они. Он не верит Гитлеру, все, все понимает. Но иначе поступать, чем продиктовано понятием воинского долга, он не может. Мне он советует быть поосторожней в своей «агитации». Я заверяю, что чувствую к нему «особое доверие» (к многим оно у меня так проявлялось).

Несколько вечеров, пока часть Клауса, кажется, уроженца рейнской области или Рура, стояла в Вохонове, мы играли в шахматы и беседовали на самые «скользкие» темы. А потом Мельхиор со своими солдатами куда-то ушел и больше мы не встречались с ним, как и с другими, как с Виттерном, Райзенном, как с тем, кто почему-то называл меня «Йозеф»...

Мельхпюр говорил, что, если я убегу, наши меня пошлют на фронт. Но ведь я другого и не жду. Я готов к этому. Я уверен, что смогу принести громадную пользу нашим. Через мои руки прошли тысячи немцев, я помню тысячи имен. Если меня поставят у микрофона на передовой, я смогу по именам называть своих знакомых, обещая им жизнь в русском плену и хорошее обращение. И знаю: мне поверят. Я смогу в разведке, уже отлично усвоив немецкий «солдатский язык», принести неоценимую пользу. Я знаю главное — душу немецкого солдата и могу воздействовать на него. Не поверив официальной пропаганде, он поверит мне — и не ошибется. А у каждого из них десятки друзей и знакомых. Сколько жизней смогу я сбереечь! В конце концов теперь я владею немецким так, что меня не отличить от них. Меня могут использовать переодетым, забросив в тыл к врагам. Чуть я, если нашим покажется, проштрафлюсь, стоит дать знать немцам кто я на самом деле, — и со мной беспощадно расправятся. Но пользу я принесу своим огромную. Сколько жизней наших солдат и офицеров я смогу спасти! Я знаю многое из немецкой военной терминологии, чисто военной, солдатской, давно различаю по петлицам и нашивкам и род войск и характер награды. Уверен, и листовки сумел бы составлять для агитации лучше, чем большинство тех, что сбрасывают наши. Надо только убежать. Убежать так, чтобы наверняка. Понимаю, что находясь в плену, приношу огромную пользу делу нашей победы. А если доживу до конца войны, просто буду встречаться с людьми, рассказывая о войне, о дурацкой нацистской идеологии, о своем пребывании в плену, где каждый день является пощечиной хваленой «расовой теории».

* * *

Утверждают, что когда наши занимают города или поселки, будто устраивают на немецких кладбищах танцплощадки. Глупое варварство. Потакание самому низменному. Кстати, немецкое кладбище, ухоженное, с аккуратными березовыми крестами всегда производит большее впечатление, чем наша безымянная братская могила, общая яма. У нас один холм, а у них — целое поле белых крестов, так что в глазах рябит. Можно подумать, что у них потери больше наших...

Вилли Хёвельмайер дал мне вечерком послушать наших. Кто-то замечательно читал «Сабантуй» из поэмы «Василий Тёркин». Здорово написано и исполнено! Господи, услышь мою молитву: дай мне убежать к своим! Там Валя. Я верю:

она жива. Там мой Театральный институт, мои мастера, мои чудесные педагоги.

Немцы шумели насчет Винницкой тюрьмы, Таллинской, Катынского леса. Расстрелянные заключенные, которых не успели в спешке отступления вывезти, расстрелянные пленные лалось при белом свете. Полиция усвоила тактику НКВД.

Мельхиор Клаус в День трех королей — Каспара, Мельхиора и Бальтасара — последний раз провожает меня к моей конуре и сдает часовому. День трех королей — шестое января — это вроде нашего крещения. Оно, по новому стилю, будет девятнадцатого.

После ночного вызова в Большое Одрово я и за ночь не ручаюсь: могут взять и ночью. Прошло время, когда все делалось при белом свете. Полиция услоила тактику НКВД.

Немцы в основной массе очень терпимы ко всяким нациям. Но чуть речь заходит о евреях, как начинают их винить во всех грехах. Теми же гадкими качествами обладают, с чем фрицы согласны, многие представители других народов, в том числе немецкого. Но я заметил, что примерно половина немцев-солдат, а среди офицеров еще большая часть не разделяют ненависти к евреям, за исключением отдельных фанатиков и эссовцев, вообще тех, кому «по службе» приходится за ними охотиться. Антисемитов больше среди молодых, воспитанных уже после прихода нацистов к власти. Люди постарше терпимее.

...Неподалеку сбили советский самолет и захватили в плен каких-то начальников, одетых в штатское. Отвезли их в Гатчину. Говорят, захваченные держались бодро, уверяли, что скоро придут наши.

Все Вохоново живет ожиданием скорого освобождения, а все немцы — ожиданием скорого отступления. Пьют те и другие. Даже фон Бляйхерт. Фрицы научились употреблять самогон. По первости он им кажется чересчур крепким, воинским, но им уже своего шнапса недостаточно. А каждый день — какой-нибудь религиозный праздник, какого-нибудь святого. Как же тут не пить?..

Я и раньше знал православные праздники, ничего не ведая о еврейских, кроме пасхи. Ее встречали, кажется, после православной. В семье отмечали ту и другую, ели мацу и куличи, красили яйца и все все ели. Это было далекое детство. «Сока»... Софья Карловна. Когда она пришла в нашу семью воспитательницей, мне было трудно выговорить ее имя и отчество. Я называл ее «Сока». Эта аббревиатура за ней у меня закрепилась. Когда она в одну ночь за двадцать минут — она

спала в одной комнате со мной — умерла от инфаркта, ей не было еще и тридцати шести лет. От нервного потрясения я тогда заболел и месяц с лишним провалялся в постели. Эта смерть поразила меня больше маминой. Мама лежала последние годы, а «Сока» — вдруг, сразу. «Сока» несколько раз ходила со мной в лютеранскую кирху. Бывал я на православном богослужении, на католическом, а на еврейском ни разу. В караимской синагоге смотрел фильм «Красные дьяволята». Никак не пойму: почему можно истреблять целый народ? За Христа? Но он же еврей! За Иуду? Тогда из дюжины людей нашелся один продажник. А теперь?.. Очевидно, в древности предательство меньше поощрялось...

Фон Бляйхерт, подумав, назначает старостой дядю Костю Миронова, горбуна. Так как сам обер-лейтенант является теперь комендантом, старику не надо никуда ездить и практически ничего делать не надо. По правде говоря, я посоветовал «барону» назначить дядю Костю. За него я ручаюсь: никого не продаст, человек глубоко порядочный. Пусть числится. Все равно, все вопросы постояя решаются как-то сами собой. Даже о прибытии некоторые командиры забывают доложить ортс-коменданту. Иногда ночью вваливаются в дом непрошенные постояльцы, вшивые, грязные, усталые, замерзшие и прямо валяются на пол посреди избы и тут же засыпают, наполняя помещение вонью водочного перегара, выпускаемых газов, пота...

В деревне появляются какие-то подозрительные немцы. По-моему, вроде минеров или поджигателей. Доложив с себе фон Бляйхерту, останавливаются в большом доме Дементьевых. Старуху, дочь Зою и других детей поменьше выселяют. Сами запираются, что-то там камстролят. А что?.. У дороги на Микино в лесу для этих людей по сторонам копали две ямы. Незнакомцы что-то возле них «колдовали». Не мины ли ставили противотанковые?..

62. МОЙ «АДЬЮТАНТ» ВИЦЕК. СПАСЕНИЕ ДЕВУШЕК. Я — «ОБЕР»...

На утреннем разводе ко мне подходит старуха Шимко и «доверительно» шепчет, что из «Арбайтсдинста» убежали девочки и прячутся у тети Маши и у тети Шуры.

Рядом стоит «Слон». Еле сдерживаясь, с улыбкой говорю негодяйке, что об этом уже известно. Пусть она не беспокоится. Понятно? При этом, кажется, я так глянул ей в глаза,

что она, приоткрыв свой продажный рот, поспешно ретировалась в толпу.

Через несколько минут я предупредил тетю Машу и тетю Шуру. Конечно, шила в мешке не утаишь. Но помочь своим надо. Очень кстати появляется дядя Костя Миронов и просит подошедшего «Альзо» посодействовать установлению порядка в деревне: все время постои за постоями, никто, несмотря на просьбы старосты, не слушает: лезут во все дома, хоть там малые дети, хоть больные, разносят вшей...

Фон Бляйхерт внимательно выслушивает и после развода в сопровождении дежурного унтер-офицера, Вицека и меня вместе с дядей Костей отправляется в деревню. Оглядывая дома, приказывает на каждом указывать «белегбар» (подлежит постою) или «унбелегбар» (постою не подлежит). Так мы обходим все сорок шесть дворов. Не подлежащих постою оказывается мало. Но все-таки есть. Через несколько минут после возвращения в канцелярии бойкий писарь отстучал под копирку кучку распоряжений для наклейки на дома. Подписаны все «Ортскомендатур». Фон Бляйхерт вызвал Вицека и велел ему со мной пройти по деревне и, согласно приказу, кнопками прикрепить у входа каждого дома указание — «белегбар» или «унбелегбар».

Козырнув, мы отправились в путь и, конечно, на доме Павла, тети Маши, дяди Кости — везде, где прятались бежавшие из «Арбайтсдинста» девушки, я прикрепил «унбелегбар» (постою не подлежит).

Ночью в окно моего чулана постучали. Я вскочил и прильнул к окну: тетя Шура!.. Ночью действует пароль, могут подстрелить. Как она пробралась через деревню, парк, двор?! Везде же патрули.

Через окно кричать бесполезно. Я указал ей, чтобы она вошла в коридор и объяснила через дверь. Тетя Шура кивнула: поняла.

— Что случилось?

— В доме немцы. Полон дом. Девушки на печке — ни выйти, ни ни-ни. Выручай!..

Не вспомню — что пронеслось в голове. Но я тут же попросил: «Тетя Шура, быстро позови со второго этажа Вицека».

Через минуту ефрейтор был у дверей: «Вас ист лёз?»

— Вицека, шнель умшнален унд мит мир (Вицека, быстро опсайся — и со мной).

Вицека, привыкший к тому, что я его подчас и не ставил в известность о распоряжениях фон Бляйхерта и автоматиче-

ски следовавший за мной, кивнул и через минуту уже открывал дверь.

Никак не могу объяснить, но это правда (!) правда! — почему я метнулся под свои нары и ухватил валявшуюся там со времени отъезда Виттерна пыльную фуражку с высокой тульей. Сунул ее за пазуху и в сопровождении Вицека и тети Шуры вышел во двор. Мы быстро прошли в деревню. Вицек везде аккуратно откликался на «кенворт» (пароль), так что уже в нескольких шагах от дома Павла я сам откликнулся.

В прихожей я достал из-за пазухи фуражку, нацепил на голову и, откуда такая прыть (!), резким толчком ноги распахнул дверь. «Ахтунг!» — возгласил я. (Внимание!)

Далее все разворачивалось как в приключенческом фильме.

Что-то на полу зашевелилось. А я, не давая времени опомниться и, пользуясь темнотой, «лаял» на хорошо усвоенном «военном языке»: «Кто дал разрешение занять этот дом?! Не видели объявление комендатуры, что «Постою не подлежит?!» Это что за безобразие?! Немедленно очистить дом!.. Быстро!»

У ног кругом закопошилось. Какой-то по-моему долговязый немец приподнялся с пола, встал и попытался возражать, говоря, что они устали и еще в этом роде. Я резко прервал его:

— Хальтен зи гар ди кнохен цузаммен вен зи мит мир шпрехен воллен! (Держите-ка кости вместе, если вы со мной хотите разговаривать!). После этого я в том же тоне приказал немедленно очистить дом и доложить о себе коменданту господину фон Бляйхерту (звание его я называть не стал, оно не производило впечатления, а «фон»! — другое дело). По обыкновению, я закончил тираду словом «Альзо!» (Итак!).

В ответ я услышал четкое «Яволь!» (Так точно) — и в этот момент кто-то чиркнул зажигалкой. Я обер: передо мной на вытяжку стоял долговязый усталый обер-лейтенант, офицер, который мог, знай он, что я пленный, на месте пристрелить меня и никому не отчитаться.

На мне была фуражка с высокой тульей, москвичка с бараньим воротником, так что и «погон» видно не было... Так ходили многие немцы. Одно ясно: офицер. Да еще сзади адъютант — Вицек.

Отступать было невозможно. Я резко повторил приказание, подчеркнув «госпоина коменданта фон Бляйхерта», которому освободив дом, немедля доложить о себе.

Резко повернувшись, я кивнул Вицеку: «Ком!» (Иди!) — и вышел. Вицек, ковыляя сзади, повторял: «Алекс, Алекс, блёдер

хунд...» (Алекс, Алекс, бешеный пес!..) На что я ему ответил обычным: «Хальт ди кляппе» (заткнись. Молчи).

Отойдя, мы увидели как из дома, послушные приказу, стали выходить солдаты вместе со своим командиром. Мы с Вицеком быстро вернулись в штатсгут. Утром тетя Шура сказала, что немцы, напуганные и возмущенные «строгим офицером», ругаясь, стремительно покинули избу. А в ней прятались Тоня и еще три невохоновских девушки, бежавшие вместе с ней из «Арбайтсдинста».

Трудно приходилось Дорофеевым. Всего годик был младшей дочурке Надюше. Угнетало отсутствие известий о Витюшке, тревожила судьба Тони...

Конечно, отойдя чуть подальше от дома Павла, по требованию Вицека, понимавшего, что я явно «превысил власть», я снял фуражку и мы поспешно вернулись в штатсгут.

* * *

Фронт загрохотал под старый новый год и с той поры гремел неумолчно, днем и ночью.

У дяди Миши-шустера горе: умерла от воспаления легких за какие-нибудь два-три дня его радость, семилетняя дочурка «пупочка». Всегда он для нее выпрашивал у немцев «бонбошки», иногда за сладенькое для малышки задешево выполнял заказы. Миша запил во всю. В Микино он остался один: все остальные — чухонцы — эвакуированы.

Обер-лейтенант почти не выходил из своей комнаты над канцелярией. Если появлялся, то не надолго. Неделю тому назад он отдал свою шинель в Микино, чтобы дядя Миша укоротил ее и лучше приладил погоны, а из сэкономленной материи скамстролил «айне гебиргсйегермюце» (фуражку «горных стрелков»). Такова уж природа всякого ограничения: если положена определенно какая-то форма, то всегда, имеющие возможность, стараются ее «улучшить», как на гражданке. Зимой, я заметил, среди офицеров появилась мода на «гебиргсйегермюцен». По мнению фон Бляйхерта дядя Миша уже давно должен был выполнить заказ. Заодно обер-лейтенант велел передать сапожнику, что он разрешает ему, как последний просил, перебраться в Вохоново и занять там пустующий большой дом неподалеку от канцелярии. Фон Бляйхерту все еще не хотелось вернуть в отступление и он по-прежнему считал нелишним иметь под рукой шустера для выполнения своих заказов.

В сопровождении Вицека я отправился по лесной дороге

в Микино. Заказ был готов. Я передал дяде Мише разрешение «барона» перебраться в Вохоново.

Немного обогревшись, мы пустились в обратный путь. С утра мне показалось не очень холодно и я был в телогрейке. Я перекинул шинель с погонами через руку, в которой держал новенькую «гебиргсйегермюце» и, поживаясь от холода, шагал впереди Вицека. Мы мирно переговаривались. Вдруг мне пришла в голову мысль согреться: я надел шинель поверх телогрейки, а заодно, сняв пилотку, шлепнул на голову «горнострелковую фуражку».

Вероятно, вид у меня стал неожиданно величественным, потому что Вицек восторженно захохотал, заявив, что я выгляжу самым настоящим офицером вермахта.

Я небрежно козырнул своему конвоюру, он, смеясь, мне, и так мы с шутками продолжали идти по пустынной лесной дороге. Она обрывалась лишь невдалеке от штатсгута.

Мы не успели еще выйти из леса, как носом к носу столкнулись с длинной немецкой колонной. Она следовала от Войсковиц в направлении Вохонова по перпендикулярной к нам дороге.

Ехавший впереди молоденький лейтенант склонился с седла, взял под козырек (я ему, конечно, также вежливо козырнул в ответ) и спросил: «Дарф их мих венден герр оберлейтенант?» (Разрешите обратиться, господин оберлейтенант?)

— Бештимт (Безусловно), — милостиво кивнул я.

— Заген зи битте, во гейт-с хир нах Ропша хин? (Скажите, пожалуйста, где тут путь на Ропшу?).

Под Ропшей все грохотало. Там наступали наши. Вслед за молоденьким лейтенантом тянулся артиллерийский дивизион, двенадцать или шестнадцать трехдюймовок на конной тяге.

Молниеносно окинув взглядом колонну, я рукой указал лейтенанту: «Герадеаус!» (Прямо!) — в сторону Муттолово.

Лейтенант поблагодарил и, кляня русские снега, весь дивизион через поле по бездорожью, утопая в сугробах, двинулся в сторону давно покинутой необитаемой деревни Муттолово. В ней никого не было. Она вся была занесена снегом.

Долго еще чернели вдали выбивавшиеся из сил кони и орудия.

Я скинул шинель и фуражку. Вицек настороженно глядел на меня, покачивая головой.

— Хальт ди кляппе, — кинул я ему. — Он покорно кивнул.

Если он посмеет сказать, то попадет черт знает куда за то, что позволил пленному напялить офицерскую форму.

На следующее утро Хёвельмайер рассказывал, что неизвестный обер-лейтенант неправильно указал артиллеристам дорогу, и они потеряли полдня напрасно, вынужденные возвратиться из Муттолова.

63. «УНТЕР-ОФИЦЕР БЭР НЕ ВИНОВАТ»

После очередной поездки в Гатчину обер-лейтенант вызывает меня и сообщает, что завтра Василия Миронова освободят. Я прошу разрешения передать известие его жене.

Обер-лейтенант соглашается и я, уже без сопровождения Вицека, бегу за три дома от канцелярии в деревню, к тете Лизе. Бедная женщина! Как она обрадовалась! Много перенесла она от мужа несправедливого, грубого, а все равно, все, что могла, делала для его освобождения, вся жила его тревогами. Преждевременно постаревшая, иссушенная заботами, лишь одни лучистые добрые глаза! Святая русская женщина, многострадальная мать и жена!

От радости тетя Лиза заплакала и бросилась обнимать меня. Будто бы, принося добрую весть, я становился причастным к самому событию. Но так уж мы устроены: кто приносит добрую весть, тот кажется нам лучшим другом, кто — плохую — врагом.

Непривычно было даже эти сто шагов идти без конвоя. На обратном пути, а задержался я всего на две-три минуты, меня окликнул какой-то немец из расквартированных в деревне. Я бойко гаркнул, что из «орткомендатур» и он успокоился.

Освобождение Василия означало, что я оказался тоже вне подозрений и надзор за мной будет ослаблен. Гора свалилась с плеч.

Когда Василий на следующий день пришел, обер-лейтенант сразу же обязал его выйти на работу и объяснил, что он уже не староста, чему Василий от души обрадовался. Я, про себя, был благодарен ему за то, что он, вероятно, болтал в полиции меньше, чем от него следовало ожидать (больше всего я боялся, что он выскажет подозрения о моем происхождении. Но сомнений у него, очевидно, не было).

Василий рассказал, что вместе с Николаем Ивановичем Орловым и «хиви», которых он сагитировал бежать с ним в лес, был также лесничий с интеллигентным лицом по фамилии

Зенков. Он оказался евреем и его сразу же, как только это выяснилось, должны были расстрелять, а перед этим страшно избивали. Николая Ивановича тоже присудили к расстрелу. Но держался он бодро и всем говорил, что вот-вот придут наши. Непонятной осталась роль жены Николая Ивановича в его побеге в лес и в поимке. Не знал ничего бывший староста и о тех «хивн», что бежали с Орловым. Впрочем, их никто здесь не знал.

В Вохоново в дома, из которых ушли эвакуированные чухонцы, вселились бывшие беженцы, работающие в штатсгуге, Ольга Казакова, Мария Горб, Антонина Вяре. Все они с детьми, все без мужей. У Вяре на постое какой-то лейтенант, и она держится теперь увереннее... В деревне появляется и скрывается у родителей повзрослевший Сережа Константинов, товарищ Витюшки. Сережа сбежал и даже ухитрился стащить плащ у немецкого мотоциклиста. Вечером, когда Сергей надел его, выглядел совсем как взрослый.

Немцы пустили слух, что хотят выманить русских из неприступных укреплений вокруг Ленинграда и чуть наша армия отдалится от него, ударить по ней, как в сорок первом, окружить и овладеть городом. Не верю «ложному отходу» от Ленинграда. Это — пропаганда. Почему же они сгоняют людей на постройку новой линии обороны Псков — Нарва?

Литовцы дали окончательное согласие. Вот будет здорово! Приведу к своим тринадцать литовцев, отличных парней, готовых биться вместе с нашей армией против фашистов. Попробовал пощупать почву об уходе в лес с Василием. Но он, понятно, так напуган «знакомством» с гатчинской полицией, что даже слушать об этом боится. Константиновы, Дементьевы, Дорофеевы, Ивановы, Егоровы, Ипатовы — эти все готовы. Что смогли из продуктов уже запасли в путь или попрятали в тайниках, чтоб фрицы не нашли. Кое-что припасли в лесу еще с осени.

«Партизанятам» объяснил, что провод полевого телефона проходит где-то рядом с канавой по правой стороне дороги на Войсковницы-Гатчину. Провод красный, заметный. Но и другие провода, какие будут рядом, надо рвать — и не в одном месте, а во многих, чтобы не сразу собрать и починить. Накануне крещения надо будет рвать наверняка.

Будет досадно, если за считанные дни до прихода наших меня вдруг разоблачат.

Идет густой снег. Дороги замело. По ним вот-вот начнется отступление. Канонада все ближе. Кроме вохоновцев, людей нет, а расчищать дорогу надо. Фон Бляйхерт, получив соответствующий приказ, вызвал дежурного унтер-офицера Бэра и велел срочно расчищать дорогу через деревню в сторону Большого Ондрова. По ней будет двигаться основная масса отступающих от Ропши, Жабина, Низковиц.

Бэр сказал, чтоб я перевел приказ жителям, собравшимся у штатсгута, а сам ушел по своим делам.

Я предупредил рабочих, чтоб не торопились: снега много, на всех хватит (все надеюсь, что наши самолеты заметят массовый отход. Как на зло облачность низкая). Потом я сказал чистить дорогу на Березнево, параллельную ондровской. От Березнева никто не идет и идти не собирается. Вскоре со стороны Большого Ондрова перед Вохоновым образовался невероятный затор. Стояли сотни и сотни машин, в том числе штабные, огромные АОК «фернляст» («дальние грузы главнокомандования», восьми или десятитонные грузовики), тягачи, санитарные машины и обозы. Отчаянная ругань висела в воздухе. Пробка образовалась из-за того, что часть дороги и улица, по которой должны были отходить войска, утонула в снегу. Машины, чистившие дороги, не могли пробиться со стороны Большого Ондрова к Вохонову: все было забито отступающими людьми и техникой, застрявшей в сугробах. Лопат не хватало. А в это время вохоновские мужички бойко помахивали лопатами на параллельной улице...

Наконец кто-то из отступающих офицеров пробрался в комендатуру к фон Бляйхерту. Тот рассвирепел и вызвал Бэра, «сорвавшего расчистку дороги». Того не сразу нашли. А когда бедняга предстал перед «бароном», тот ему устроил бешеный разнос. Унтер попытался возразить, что он «все объяснил Алексу». Но обер-лейтенант слушать не хотел и приказал немедленно посадить Бэра под арест. Отчаянно ругавший меня Бэр, снял оружие и отправился под конвоем на отсидку, чтобы затем загреть на фронт.

Мне было жаль Бэра. Он хорошо относился к людям; мне доверился, а я подвел его, пусть даже во имя своих великих целей... Как бы то ни было, совесть меня мучила. Но говорить с разгневанным фон Бляйхертом было бесполезно. Я это знал по опыту.

Когда стемнело, обер-лейтенант решил прогуляться. Вызвал меня и мы пошли по улице на Большое Ондрово, где те-

перь работали вохоновцы. Завидя «барона», они быстрее замахали лопатами. Наконец, снегоочиститель с ондровской дороги смог кое-как пролезть на вохоновскую улицу. К тому времени уже и все немцы, опасливо поглядывая на небо, тоже спешно расчищали снег, кто чем мог.

Через деревню потянулась бесконечная змея отступавших, извиваясь на всех поворотах. Среди первых ехали, сопровождаемые нелестными эпитетами, открытые машины со штабными офицерами. Я увидел генералов, молчаливых, надутых, по-нуру сидевших в открытых ландо и, старавшихся не смотреть по сторонам. Затем двинулись санитарные машины, потом остальные. Пробка, задержавшая всю эту массу народа на несколько часов, медленно рассасывалась.

Фон Бляйхерт, возможно, под воздействием свежего воздуха, пришел в хорошее настроение. Подойдя к работавшей Семячевой, той, у которой он когда-то реквизировал кровать, «барон» передал, что женщина может на днях забрать свою вещь, что он всегда держит свое слово. (Интересно, если б не отступление, куда бы он девался со своим «словом»?).

Вид работающих явно успокаивал фон Бляйхерта и на его тонких губах нет-нет да играла улыбка. Он был подвыпивши. Я решил воспользоваться случаем.

— Господин обер-лейтенант, разрешите обратиться?

— Я вас слушаю.

— Господин обер-лейтенант, я знаю, вы всегда держите слово. Вы не будете сердиться на меня, если я вас очень попрошу. Сейчас канун крещения, и я прошу не отказать в моей просьбе.

— Ну-у-у, что еще за просьба? — протянул он.

— Она в ваших силах. То, о чем я прошу, всецело зависит от вас и будет еще больше способствовать вашему авторитету.

— Что это за предисловие, Алекс? — удивился фон Бляйхерт. — Что ты хочешь сказать? (Он вдруг перешел на «ты»).

— Но вы не будете сердиться?

— Что за условия? Говори. Не буду.

— Господин обер-лейтенант, Бэр не виноват, отпустите его: я перепутал улицы.

Несколько секунд обер-лейтенант молчал. Потом внимательно посмотрел на меня. Я стоял с открытым лицом и, чувствую, оно носило мягкое и вполне невинное выражение.

— Он должен был проконтролировать работу, — заметил наконец фон Бляйхерт. — И кроме того, он был выпивши.

— Господин обер-лейтенант, сейчас все пьют. Я тоже сегодня хлебнул.

— Незаметно,— процедил он.

Он даже не поинтересовался, кто дал мне выпить. Опустив голову, он задумался.

— Вы — пленный. С вас другой спрос, — снова переходя на «вы», произнес он.— А Бэр — УФаДэ (дежурный унтер-офицер).

— Но, ей-ей, он не виноват, — умоляюще поднял я глаза. — Он очень аккуратный унтер-офицер, и это случайное недоразумение.

— Ладно, прекратим этот разговор. Кстати, Александр, вы читали Шиллера?

— Конечно! Я помню наизусть некоторые баллады и на немецком и на русском языке в великолепном переводе Жуковского.

— Прекрасно! А вы читали его трилогию «Валленштейн»?

— Читал.

— Там есть выражение «Их кенне майне паппенхаймер» («Я знаю моих паппенгеймцев». Эту цитату я нередко слышал от немцев). Так вот, я разрешил вам говорить, что вы хотите, но «моих паппенгеймцев» я знаю достаточно хорошо и пусть это будет последним разом, когда вы позволяете себе касаться моих отношений с ними. Ясно?

— Так точно, господин обер-лейтенант.

Ночью звякнул замок моей конуры. С карбидной лампой в руке на пороге стоял Бэр. Он поставил лампу на столик и достал из-за пазухи бутылку коньяку.

— Выпьем, Алекс! — и рассказал, что час тому назад его вызвал «старик» и сообщил, что он свободен.

— Я,— продолжал Бэр,— попытался ему объяснить, что во всем виноват «проклятый русский», ты, Алекс. Но он прервал меня и велел пойти к тебе, Алекс, потому что, если б не ты, то я бы сидел под арестом и завтра загремел на фронт. Я понял, что ты что-то хорошее сделал для меня. Давай выпьем.

Я пить никогда не любил. Но знал, что отказать нельзя. Они считали, что раз ты русский, значит, должен пить. Почему только я не пьянел?..

Мы выпили, и я ему сообщил о мучениях совести и о своем разговоре с фон Бляйхертом.

— Алекс, после войны ты обязательно приедешь ко мне в гости. После войны все будет иначе. А может быть и я приеду к тебе в «Петербург». Ты меня поведешь в театр. Я буду аплодировать тебе. Ох, хоть бы она, проклятая, скорее кончилась!..

Я молчал. Я был уверен, что после войны, как и тысячи

и миллионы других советских людей, не буду иметь возможность поехать за-границу, побывать в Германии, повидать тех, кто думал, что знает меня, русского военнопленного Александра. Я полагал, что достаточно хорошо изучил наш советский режим. Мне очень хотелось повидать другие страны и я был бы всей душой рад встретиться с теми, кто так хорошо относился ко мне в плену. Увидеться и сказать: «Я не тот, за кого вы меня принимали. Но я не уронил чести русского солдата, а потому не надо плохо думать о каком-либо народе. Я — еврей, но с рождения связан с этой моей единственной родиной, с ее людьми, с ее культурой. Она — моя, они — мои. Эти люди, этот народ, даже тогда, когда они и он не знают, кто я такой. К чему тут всякие «расовые теории»? Люди — есть люди.

Ну зачем у нас так пропагандировали против попов? И среди них — разные люди. Да и вообще, религия. Не рано ли ее выбрасывать на свалку? Я не верю. А как бы хотелось мне, чтоб Бог был!!! Меня удивляет, что сельские девушки, воспитанные в нашей советской школе, стали посещать церковь где-то за семь километров, если не больше. Неужели они поверили? Немцы говорят: «Эс гибт дох айнэ хёере махт!» («Есть все же высшая сила!»). Хотел бы верить. Но не могу. Не так воспитан. Всякая мистика в немецких газетах меня только смешит: дурман.

64. ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ. «ИТАК, ДО НИКОЛАЕВКИ». ПОБЕГ.

Последние часы. Я чувствую: это — последние часы. «Партизанята» еще вчера перед уходом из штатсгута порвали телефонные провода. Так постарались, что вообще все части, находящиеся в Вохоново, потеряли связь с Гатчиной и Войсковницами.

Через деревню струится густой поток отступающих. А наших самолетов нет: по-прежнему низкая облачность. Дорога разъезжена. На меня никто не обращает внимания. Я выхожу на дорогу возле хоздвора.

— Хэй, Хайлы! — возле меня останавливается мотоцикл. На нем жандарм, из тех, кто приезжал накладывать штрафы. Меня, благо я имел несчастье при этом переводить, он приветствует как старого знакомого.

— Ничего тут не разберешь! Связь прервана. Передай коменданту фон Бляйхерту, — он сует мне в руку конверт. —

Это приказ о немедленной эвакуации гражданского населения.

В ответ на мое «яволы!» жандарм кивает, поворачивает мотоцикл и уезжает.

Поблизости наших нет. Засовываю конверт за пазуху. Оглядываюсь и захожу в уборную. Рву в клочья приказ гатчинского коменданта.

Немцы получили приказ об эвакуации всего имущества штатсгута еще позавчера. Я понял это по их хлопотам. Все аккуратно складывают — кузнечные инструменты, слесарные, столярные, оборудование «молькерай», кузницы; на высокие возы грузят мешки с овсом, пшеницей, ячменем. Картофель почти не трогают: куда его набирать из огромных гуртов?

Вилли Хёвельмайер вызывает Павла и Степана. Фон Бляйхерт не показывается. Я убеждаю Вилли, что Павел болен: сильно выпил. Причина уважительная. Но надо вывозить оба трактора... Ничего не попишешь, на один сядет Степан, на другой — немец.

Надо эвакуировать скот. Вилли стоит среди двора, огромный, беспомощный. Ему, как и всем здешним немцам, проработавшим в штатсгутае, до слез больно расставаться с вохонцами, со спокойной жизнью в этом оазисе среди войны. Виллина симпатия, до которой он не решился прикоснуться, Элина Карьялайнен, давно эвакуирована в Финляндию. Здесь этот добродушный великан стал нам близким благодаря своей невероятной доброте, открытости, доверчивости.

К Вилли подходит одна из вохонских женщин и просит: нельзя ли ей свою старенькую коровку обменять на остфризскую? Ведь угонять будут, а там, все равно, какие...

Вилли чешет за ухом, оглядывается и соглашается. Женщина бежит в деревню и вскоре возвращается с коровенкой, на которую действительно страшновато смотреть... Вилли кивает: выбирай. Женщина быстро указывает (верно, заранее наметила) и уходит с хорошей коровой.

Через несколько минут все Вохоново знает об этом и во двор штатсгута начинается паломничество женщин. Вилли сперва растерялся. Я говорю ему: «Криг ист криг, абэр ду канст унд муст дизэн фрауэн хэльфен» («Война есть война, но ты можешь и должен помочь этим женщинам»). Я вспоминаю Бога — и Вилли соглашается: все равно, при эвакуации все добро штатсгута пойдет прахом.

Подходят и те, у кого коров вовсе не было и им штабсфельдфебель разрешает уводить штатсгутовскую скотину в

деревню. Снующие вокруг немцы из штатсгута не обращают внимания ни на что. Каждый торопится ухватить себе что-либо из казенного имущества.

В деревне тоже движение. Войска, стоящие там, тоже убираются.

Немецких солдат из штатсгута позавчера перевели в деревню, так как в доме, где мой чулан, поселили отступавших немцев. Меня тоже перевели в пустой после эвакуации финнов дом возле Шуры Алексеевой. Там отвели нечто вроде чуланчика. В нем нары. Ход к нему через комнату. В ней Вицек и другие наши солдаты. Ночью в дом набралось столько отступающих, что все полы были завалены спящими. Иногда среди ночи можно было при свете коптилки различить как фронтовики нервно сдергивали с себя рубахи и давили вшей.

Обер-лейтенант уезжает раньше остальных. Он все поручил Вилли, а сам садится в грузовик. Приказывает позвать меня. Я подхожу. Он явно расстроен, но держится прямо, бодрится, а я вижу как ему тяжело.

— Вы отправитесь вместе с солдатами,— говорит он и протягивает мне руку.— Альзо. Бис Николаефка! Здришь-тите!» (Итак, до Николаевки! А «здришь-тите» на прощанье, вместо «до свиданья»). Впрочем, зачем ему был нужен язык, когда у него имелся отличный переводчик?..

Он пожал мне руку и кивнул головой. И мне вдруг стало жаль его. Я не хотел вспоминать его анекдотическую скупость, все его другие минусы, я хотел помнить только доброе. Я увидел в нем человека, который мне доверял, но которого я собираюсь обмануть самым жестоким образом.

Мне кажется, если бы он чуть дольше задержал мою руку и сказал еще два-три слова, я бы сам попросил его взять меня под стражу.

Но он только глубоко вздохнул и быстро сел в кабину грузовика. Из окна кабины он опять поднес руку к фуражке. Я тоже козырнул и машина тронулась. Я остался в распоряжении Вилли, а ему, как и другим, было не до меня.

Заранее предупредив вохонцев о грозящей им эвакуации, я передал дяде Сергею Константинову, чтобы все были готовы сбежать, если не сейчас, то хотя бы с дороги на Николаевку, если последует вторичный приказ, который не удастся перехватить.

После этого я направился к литовцам. Теперь можно было вместе с ними уйти в лес. Наши придут не сегодня — завтра. Это ясно. Никто не сумеет организовать погоню. Вокруг такой кавардак, что исчезновение тринадцати «хиви» сразу

не заметят. Знающие их солдаты штатсгута все на хоздворе. Никто не хватится. Все продумано.

Однако старший «хиви» вышел ко мне с огорченным лицом. Он еще вчера посоветовался с товарищами, и они решили пока воздержаться от побега. Не рисковать. О моем же намерении и моем призыве они никому не говорили и не скажут. Я попытался переубедить «хиви». Но они только покачивали головами. Пожали мне руку и наотрез отказались.

Я взял приготовленный рюкзак со всем, собранным для побега, и хотел направиться в сторону леса. Но тут подошел солдат из штатсгута и сказал, что Вилли зовет меня.

Я попросил подождать немного, так как пойду проститься с друзьями в Вохонове и быстро свернул на березневскую улицу, ту, по которой не двигался поток отступавших.

Там я вошел в дом Алексея Иванова, портного и, кроме хозяев, увидел незнакомых немцев, офицера и двух унтеров.

Алексей сразу понял, что я хочу остаться. Это было самым «бескровным» способом избежать плена: дожидаться в деревне прихода своих. Портной во избежание подозрений со стороны постояльцев сразу обнял меня. Я сказал, что жду с часа на час наших. Алексей вставил, что он, дядя Сергей и Иван Константиновы, а также кто-то из беженцев хотят ближе к вечеру отправиться в лес на хутор Крумера. Там заготовлены припасы и можно будет с семьями дожидаться прихода наших. Это безопаснее, чем оставаться в деревне, которая, наверное, подвергнется обстрелу. Мне он предложил подождать у него и присоединиться к ним. Я согласился и послал к Павлу мальчишку передать предложение Сергея Константинова и портного.

Свое пребывание в доме следовало как-то оправдать и я сел к пианино, стоявшему здесь со времени квартирования хауптмана Ноймана. Я начал тихонько наигрывать знакомые русские мелодии, вслушиваясь в звуки, иногда заглядывая в открытую крышку пианино, якобы для того, чтобы проверить инструмент перед настройкой.

Немцы, большие любители музыки, окружили меня, предлагая сыграть разные пьесы и, конечно же, «Песню о Степане Разине». Я, тихонько наигрывая, поглядывал изредка на улицу через окно и увидел, что к дому направляется унтер-офицер Бэр и двое солдат штатсгута. Когда они вошли, я объяснил, что прощаюсь с вохоновскими друзьями.

Дядя Леша понял, что нужно вмешаться, быстро налил вошедшим и мне. Мы выпили. Поговорили и я вышел с Бэром

и другими. Мы направились к штатсгуту. Бэр отпустил солдат.

Я разыгрывал из себя крепко выпившего, а сам лихорадочно соображал: как быть? Упускать шанс было преступлением. Сейчас все смешалось и именно сегодня я должен им воспользоваться.

Бэр увидел знакомого немца и, махнув мне, чтоб я дальше шел сам, повернул к нему. Я дошел до боковой улицы и свернул в дом, который у края леса занял сапожник дядя Миша Константинов. Он мне обрадовался, как родному. Я попросил, чтоб он меня спрятал, а когда стемнеет, я уберусь в лес. Миша закивал головой и предложил пока спрятаться в хлеву среди соломы. Я туда и забрался. Вскоре дядя Миша подошел ко мне, сообщил, что в деревне все спокойно и предложил выпить. Но я отказался. Ни есть, ни пить не хотелось.

Примерно через полчаса в хлев вошли немцы и стали собирать солому, вероятно, для набивки матрацов и на подстилку. Когда ушли эти немцы, послышались голоса других. Они также хотели набрать соломы.

Оставаться здесь не стоило. Человека, идущего среди улицы, не остановят, но прячущегося... Я отлично знал эту сторону медали; вылез из хлева и зашел в дом. Но не успел я переступить порог, как увидел за столом длинного тощего обер-лейтенанта, в котором сразу признал того несчастного, которого недавней ночью, чуть не позапрошлой, поставил перед собой на вытяжку, очищая от постоя дом Павла.

Офицер сидел за столом и ел. Я поманил дядю Мишу в прихожую и предупредил, что ухожу. Миша проводил меня несколько шагов от крыльца. Я шел так, чтобы не поворачиваться лицом к окну комнаты, где сидел обер-лейтенант. У дома дяди Миши уже красовался щиток: «Ортскомендант»...

Двухэтажный дом на пригорке, в котором располагались канцелярия и фон Бляйхерт, был окружен автомашинами. Над крыльцом развевалось белое полотнище с красным крестом.

— Лазарет, — подумал я, — похоже, они не собираются сразу убираться...»

Сбоку у поворота дороги стоял указатель «Айнхайт Ганнибал» (подразделение Ганнибала) и невдалеке — «Штабс-артцт Ганнибал» (штабс-врач Ганнибал). Я сразу вспомнил чернявого молоденького военного врача возле Чудова, когда после опроса меня отправили в рабочую роту доктора Фёрстера...

— Опасновато, — подумал я, вспоминая заодно встречу с хауптманом Гофманом...

У подножия пригорка, на самом углу улицы стоял маленький домик, который заняла беженка Мария Горб со Степаном.

Я зашел и сразу его увидел. Он улизнул со двора штатсгута. Степан сказал, что «там все нормально»: так спешат, что ничего не замечают. Он сразу понял, что я хочу избежать эвакуации, и мы решили вместе переждать. Нам думалось, что в общей суматохе никто меня не хватится. А наши вот-вот придут.

Однако пришли не «наши», а тот же унтер Бэр, которому велели разыскать меня. Я стал уверять, что ничего худого у меня в голове нет, а Мария Горб поспешно накрыла на стол и унтер, бывший уже порядком под хмельком, пригубил еще стакан крепчайшего самогона.

Я шепнул Марии, что «гостя» надо обязательно напоить. Она улыбнулась и налила еще. Но тут дверь распахнулась и появился обер-ширмайстер Барг. Он, увы, был трезв.

— Чего тут расселись! — загремел он. — Алекс! Тебя кругом ищут. Что? Бежать задумал? Меня не проведешь! Я тебя насквозь вижу.

Хорошо, что тут же был Бэр, приятель обер-ширмайстера. Плохо держась на ногах, заплетающимся языком, он все же попытался объяснить другу, что мы ничем предосудительным не занимаемся...

Не поддаваясь ни на какие уверения, Барг приказал Бэру и мне немедленно выйти и отправиться вместе со всеми в путь.

— Наши уже в пути, — добавил он.

Я нацепил свой рюкзак и мы, попрощавшись с Марией, вышли.

Поднялись на пригорок мимо канцелярии, занятой лазаретом. Справа у крыльца своего дома стояли Лиза-дурочка и ее сестра Евдокия. Лиза кричала немцам, смеясь, «Убирайтесь быстрее, бляди, скоро наши придут!» (Она не могла без ругани).

Немцы улыбались, кивали: «Я, я, гут, гут» (Да, да, хорошо, хорошо). Отчего Лиза еще пуще хохотала.

Барг зло посматривал на меня, повторяя: «Не выйдет. Я все понял. Бежать вздумал?»

Я делал вид, что пьян и бурчал: «Квач... Думхайт.» (Чепуха. Глупость). А сам мучительно соображал как бы улизнуть.

Дорога была запружена отступающими. Повозки. Солдаты. Мы шли у края дороги. Справа, у длинного барака, где жили Соня Драченко, тетя Маша и другие рабочие штатсгута, на крыльце стояли Надя Павлова и Зоя Дементьева, сбежавшие

из «Арбайтсдинста» и, не скрываясь уже, раскрасневшиеся, довольные, глядели вслед уходящим.

К Баргу и Бэру подскочили Мария Федорова и Шура Алексеева. Бэр стал их уговаривать уходить с ними. Мы остановились. Затем двинулись дальше. Справа, у края дороги, на небольшом расстоянии друг от друга стояли солдаты, как бы ограждая дорогу от тут же начинавшегося леса.

Мария и Шура подхватили Бэра и Барга под руки и я, сперва шедший чуть впереди них, оказался сзади.

— Заговорите им зубы. Заговорите им зубы, — несколько раз повторил я. Мария через плечо весело кивнула: поняла. Как бы они не крутили с фрицами, а были русскими милыми женщинами.

Обе весело затараторили с кавалерами. Выражение «заговорите зубы» Бэр, конечно, не понял. Я начал понемногу отставать.

Сперва я был шагов на четыре-пять позади Бэра и Барга, потом — шагов на семь-восемь, потом — на десять...

Барг каждые несколько секунд оборачивался, подгоняя: «Шнель, Алекс, шнель, Александер». (Быстро, Алекс, быстро, Александр).

— Их геэ, их фольге нах (Я иду, я следую за вами), — отзывался я, а сам делал шаги все короче. Уже удалось отстать шагов на пятнадцать.

— Александер, геэ, дох шнеллер! — обернувшись, крикнул Барг. (Александр, иди же быстрее). Я ответил громче обычно: «Их геэ дох!» (Я же иду).

Мы уже поравнялись с последним домом штатсгута, тем, где был мой чулан, тем домом, перед которым по утрам собирались на поросшем деревьями холме рабочие на развод. Дальше был лес. От холма убегала узенькая, протоптанная в снегу тропинка в сторону дороги на Микино. Тропинка как бы срезала угол, хотя до самой дороги по прямой оставалось немногим более пятидесяти шагов.

Только-только, по обыкновению обернувшись, Барг выкрикнул свое обычное: «Алекс, абэр шнеллер дох!» (Алекс, скорее же!) — и я заметил как Мария и Шура что-то затрещали немцам.

Справа, почти у самой тропинки, стоял солдат.

Так, чтобы он слышал, но идущие впереди, не слышали, я сказал, будто обращаясь к впередиидущим: «Герр оберфельд, их вэрде хир дэм кюрцстен вэге нах фольген.» (Господин обер-фельд, я последую здесь, кратчайшей дорогой), — и сде-

лал шаг к тропинке. Сделал второй и третий шаг, уже по ней, а затем стремительно забежал за холм — и в лес!

Сзади где-то я услышал «Алекс, Алекс, Алекс!», повторенное много раз. А я бежал, бежал, быстро вытаскивая ноги из снега и опять в него погружаясь, бежал в глубину леса, вправо, чтобы обогнуть деревню и поскорее прийти к нашим.

Я не слышал за собой ничего, кроме общего шума дороги. Этот шум помогал мне держаться от нее подальше. Сколько времени бежал? Трудно сказать. Остановился перевести дух. Прислушался. Меня охватила вдруг тишина зимнего леса. Окриков, голосов переговаривающихся преследователей не слышал. Огляделся. Между деревьями вокруг меня торчали полузанесенные снегом кресты. Я догадался, что прибежал к вохоновскому кладбищу. Значит, я недалеко ушел от деревни. Кладбище неподалеку от ее западной окраины. Нужно углубиться в лес, обогнуть деревню, пересечь дорогу на Березнево, потом лесную же дорогу на другую деревню и следовать в сторону Большого Ондрова — Низковиц. Там уже должны быть наши.

65. В ЛЕСУ. Я УВОЖУ ВОХОНОВЦЕВ.

Быстро темнело. Я продолжал путь, часто останавливался и прислушивался. Шум доносился со стороны Вохонова, стрельба — со стороны Низковиц и Большого Ондрова. Но не разрывы, а минометные и пушечные выстрелы раздавались где-то поблизости, чуть не в лесу. Иногда стрельба вдруг прекращалась.

Я подкрался к опушке у дороги на Березнево. Вот проехала одна машина, потом другая. Снова дорога опустела. Есть ли кто тут? Стоят ли посты? Патрулируется ли дорога?..

Теперь для меня выход из леса являлся проблемой: выходящий из леса, естественно, сразу привлечет внимание немцев, если они окажутся поблизости. Я понимал: поймают — все! Не отговариваться никаким немецким.

В кармане я сжал изготовленный для меня Степаном нож с наборной ручкой из разноцветного оргстекла. В случае внезапного столкновения с патрульным, скажу два-три слова по-немецки — и ударю. Мне терять нечего.

Приглядываясь и вслушиваясь, прошел вдоль дороги. Никого. Быстро перебежал опушку, дорогу и опушку с другой стороны. Углубился в лес между березневской и следующей

лесной дорогой. Было уже темно, когда я подошел к ней. Задержался, переводя дыхание.

Вдруг в нескольких шагах от меня рывкнула немецкая команда и грохнул залп минометов.

Я стоял, не дыша. Через несколько секунд — снова залп. И снова.

Во зремя залпов я начал тихонько отходить параллельно дороге, стараясь не приближаться к ней. Внезапно раздался резкий окрик. Рядом со мной просвистела автоматная очередь. Треск выстрелов огласил лес. Снова раздался окрик. Опять затрещал автомат. Уже не один.

Стараясь не наступать на ветки, я осторожно отходил опять вглубь леса. Еще несколько раз треснул автомат, уже отдаляясь.

Я бродил по лесу, окаймлявшему Вохоново с севера. Через поредевшие деревья я увидел вдалеке поле, примыкавшее к деревне. Опять отступил в глубь. Стало совсем темно.

Настороженно вслушиваясь в лесную тишину, я выбрал место под густой елью с низко нависшими над землей длинными ветками. Немного разгреб снег. Вытащил из рюкзака валенки. Надел вместо сапог. Их сунул в рюкзак. Рюкзак под себя. Сел, прислонясь к стволу, скорчившись. Спать не хотел. Думал.

К ночи шум боя затихал. Лишь со стороны Большого Ондрова изредка слышались отдельные выстрелы и рокот моторов. Одно из двух: или немцы отходят или наши уже преследуют...

Со стороны станции Елизаветино (Николаевка) ухнул выстрел тяжелого железнодорожного орудия. Через минут пятнадцать — другой и с равными интервалами — еще несколько.

— Сволочи, — подумал я. — С Ленинградом «прощаются». Из Гатчины, верно, орудие перевезли...»

По моим расчетам немцы должны были оставить Вохоново буквально через часа три-четыре после моего бегства. Но то, что я наткнулся еще не доходя до Большого Ондрова на батарею, означало, что фрицы еще не отошли. Сейчас орудийная стрельба доносилась со стороны западной оконечности Вохонова и со стороны Большого Ондрова.

Перед рассветом стрельба стихла; заурчали машины. Я догадался: отступили. Но к утру бой разгорелся с новой силой. Я было попытался снова пройти через лесную параллельно березневской дороге, поближе к Ондрову. Но она оказалась занятой немцами.

Взобравшись на дерево, я сумел издали оглянуть часть поля между Большим Ондровым и Вохоново. По дороге сновали грузовики. Очевидно, немецкие. Вновь и вновь приближаясь к дороге, я слышал звуки немецкой речи и, как прежде, отходил в глубину леса.

Вторую ночь я провел опять под деревом. Опять к утру пальба стихла. На этот раз я с дерева увидел две машины, быстро катившие от Большого Ондрова. Они промчались к Вохонову. В нем никакого движения не замечалось. Деревня словно вымерла. Неужели перед отступлением сумели-таки эвакуировать жителей?!.. Неужели и Вохоново сейчас стало такой же мертвой деревней, как те, из которых угнали финнов, эстонцев?..

Я решил пробраться к Вохонову, даже зайти в деревню, чтобы выяснить положение.

Снова со всеми предосторожностями я пересек дорогу на Березнево, обогнув Вохоново, подошел со стороны леса. Остановился. Прислушался и, не заметив никого, пересек узкую улочку, отделявшую крайние дома от чащи. Осторожно постучался в окошко первого попавшегося дома. В нем жила вдова Вера Наукас, сестра Павла Дорофеева.

Она выглянула и тихонько открыла дверь: «Сашка!?».

— Тетя Вера, немцев у вас нет?

— Нет. Заходи, Саня.

Павлик, девятнадцатилетний красавец — сын тети Веры, радостно обнял меня: «Тебя позавчера искали. Приходили в деревню. Спрашивали. Ну, мы, конечно, никто не знали. Говорили: еще придут».

— Павлик, где наши?..

— Никто ничего не знает. Всю ночь стреляли с той стороны. Сейчас тихо. На нашей улице немцев нет. А на той, ондровской?.. Может, уже наши?..

— Павлик, дай мне что-нибудь на голову вместо пилотки. А то немцы сразу хватятся.

Павлик подал мне свой картуз. Теперь, в москвичке и фуражке, я ничем не отличался от любого штатского.

В дверь постучали. Вошла соседка. Увидела меня, всплеснула руками: «А тебя искали!.. Убежал все-таки!.. Молодец!..»

Через несколько минут к тете Вере началось паломничество. Пришли и дядя Миша и Павел Дорофеев. Оказалось, что немцы не ушли и даже не собираются уступать деревню. Смотрят на жителей, как волки. Фронтвики. Обозленные.

— Надо уходить в лес, — повторял я.

В дом зашли три немца. Солдаты. Оглянули комнату и пе-

реглянулись: «хир» (здесь). Сбросили шинели. Стали устраиваться, как дома.

При виде фрицев соседи ушли. Я попросил Павлика не выдавать, что я знаю немецкий и, когда солдаты обращались ко мне, спрашивая, где взять гвоздь или молоток, делал непонимающее лицо или объяснялся на невероятном немецко-русском жаргоне с помощью жестов, как другие. Меня это даже забавляло.

Движение на улицах деревни оживилось.

Я предложил нескольким крестьянам собраться в соседнем доме, еще свободном от немцев.

— Давайте уходить в лес. Чем скорее, тем лучше,— убеждал я.

Мужички почесывали затылки: авось пронесет... Вдруг пришел Егоров: у него немцы реквизировали лошадь.

— Подождите еще — все заберут,— предупредил я.

Действительно, через несколько минут оказалось, что еще у кого-то забрали корову.

Пришла старуха Анастасия и пожаловалась, что ее вообще из избы выгоняют.

— В общем, я буду вас ждать,— сказал я, направляясь к домику Марии Горб. — Отсюда пойдем лесной дорогой в чашу.

Пришедший Василий Миронов сообщил, что только что видел немца-переводчика. Тот ходит по домам, требуя немедленной эвакуации.

Сам Василий в лес уходить боялся: нагнало страху гатчинское гестапо.

Вдруг свистнул один снаряд, за ним другой и рядом, у самого края леса, загремели разрывы. Воздух наполнился свистом, воем, шипением и грохотом.

— Давайте быстрее!— уже приказал я.

Еще через несколько минут возле дома Марии Горб вытянулся небольшой обоз. Ипатовы, Дорофеевы, Константиновы, семьи дяди Миши, и Анны, и Маруси, Федоровы, Александровы с малышкой, Константинов, дед Андрей, девяносто пяти лет, со старухой, а также Тоня и девушки, бежавшие из «Арбайтсдинста», и другие.

Мальчишки-«партизанята» к ужасу родителей весело бежали по деревне с криками «Ура!», приветствуя каждый разрыв снаряда. Сергей Константинов в немецком мотоциклетном плаще с трудом урезонивал своих младших приятелей.

На улице стояли две фанерные люльки с привезенными от

Большого Ондрова трупами немцев. На них никто не обращал внимания.

— Пошли!— командовал я. И направился к лесу. За мной тянулся весь обоз. Вновь засвистели снаряды. Девушки испугались, бросились в стороны.

— Скорей в лес! — крикнул я и вернул их в колонну.

Там, где дорога ныряла в лес, стоял немец: «Вохин?» (Куда?).

— Дорт ист цу гэфэрлих (там слишком опасно),— указал я в сторону основной дороги, — Вир вэрдэн унс ляут дэм бэфэйль дер комендатур хир эвакуирен. Хир ист дэр вег кюрцэр. Вир фольген алле нах Николаевка. (Мы будем здесь, согласно приказу комендатуры, эвакуироваться. Здесь путь короче. Мы все следуем к Николаевке). Дорт ист цу гэфэрлих (Там слишком опасно).

Услышав родную речь, солдат понимающе закивал головой и весь наш обоз въехал в лес. Однако несмотря на то, что я настаивал углубиться в него, вохоновцы решили расположиться поблизости от деревни в покинутых «австрийцами» летних землянках, вырытых в позапрошлом году. Это были по существу летние домики из пихтовых жердей, построенные тем самым учебным полком, которым командовал мой партнер по шахматам, вступивший в конфликт с фон Бляйхертом из-за редиски.

Конечно, эти горе-домики не могли спасти ни от пуль, ни от осколков, хотя примерно на метр были в земле.

Напрасно я убеждал идти дальше или хотя бы занять не один, а несколько домиков. Нет! Все женщины и большинство мужчин сгрудились в кучу в один, самый большой домишко. В нем все буквально стояли толпой. Маленькая Надюшка Дорофеева редела на руках у тети Шуры.

До деревни было рукой подать. В любой момент могли нагрянуть немцы и поступить со всеми, как с партизанами: беспощадно.

Мои просьбы рассредоточиться не возымели действия, а я чувствовал себя почему-то ответственным за всех.

Плюнув, я вышел из переполненной горе-землянки и вместе с Павлом присел за огромной, поваленной разрывом сосной. Неподалеку от нас на снегу, завернувшись в тулуп, улеглись вместе дед Андрей Константинов со своей старухой.

66. ПОД ОГНЕМ. «КУДА ТЫ — ТУДА И МЫ»

Редкая минута обходилась без нескольких разрывов снарядов и мин. Когда же чуть стихало, все наполнялось трескотней автоматов и пулеметов и... ревом маленькой Надюшки. Я боялся, что из-за нее нас всех обнаружат и уничтожат.

С оглушительным скрежетом и треском валились, подстреленные под корень снарядами вековые сосны. Вой, своеобразный, как шум исполинских крыльев, хлопающий звук сопровождал полет снарядов и мин и заканчивался оглушительными взрывами. Разноцветные цепочки трассирующих пуль то и дело пестрели над землянками.

Менее, чем в ста шагах от нас с Павлом мы видели стоящего на бугорке между деревьями во весь рост автоматчика — фельдфебеля с сигаркой в зубах. Иногда он выпускал серию пуль в разные стороны.

Вдруг артиллерийский обстрел прекратился. Мы услышали автоматные очереди и нестройное... пение... Создавалось впечатление, что дрожащими голосами поют люди, разбросанные в разных местах леса. Пели что-то вроде «Широка страна моя родная»...

Автоматчик, не кланяясь пулям, выпускал очередь за очередью в сторону раздававшихся голосов. Они смолкли. Со стороны Вохонова, с улицы, ведущей на Большое Ондрово, раздались звуки мощных моторов и хлопки частых выстрелов. Они слились в сплошную какофонию. Над деревней заалело зарево пожара. Казалось, она вся горит. После оглушительных разрывов вспыхнул пожар и в стороне хоздвора штатсгута. Там, думалось, самым безопасным местом был глубокий цементированный узкий погреб «молькерай».

Чуть стало светать, через лес мимо нас после очередной серии разрывов промчались двое немцев без оружия. Они бежали в сторону Микино и едва не споткнулись о лежащих в тулупе деда Андрея с женой. Дед, видимо, спавший, так как был глух, высунулся из-под тулупа и начал приподниматься во весь свой огромный рост, доставшийся по наследству всему роду Константиновых, кроме Ивана. Немцы в ужасе вскрикнули, шарахнулись за деревья и, спотыкаясь и размахивая руками, побежали дальше.

Когда затихло, стали советоваться. Надо было узнать: кто в деревне? Мы с Павлом полагали, что наши уже ее заняли, хотя, возможно, не всю. Пока мы гадали, старуха Алексеева и еще одна бабка, перекрестясь, решили, что им по возрасту уже ничего не страшно, отправились на разведку.

Вернулись они минут через тридцать с известием, что в деревне немцы. Сгорели дом, в котором жили Дорофеевы и еще два дома. А возле дома Вайников стоят два наших подбитых танка. Дошли туда, побив много немцев. Но там их подожгли, а когда танкисты выскочили, озверевшие фрицы тут же повесили их на ветках над горевшими танками. Сожгли.

— Из деревни так и не ушли никуда Вяре и Шимко. Они бегают в перерыве между обстрелами, — рассказывали «разведчицы», — и тащат к себе вещи из оставленных домов. Не ушли и Василий Миронов с тетей Лизой. Отсиживаются с детьми в погребе. На краю деревни, в доме Анны и Марии Константиновых, немцы выломали стенку и в комнате поставили пушку, которая обстреливает дорогу на Большое Ондрово. Во дворе штатсгута прямым попаданием разрушены кузница и «молькерай» с погребом. В нем прятались немцы. Их там всех «накрыло».

...Что делать дальше? Я предложил всем углубиться в лес. Здесь, у самого края немецкой обороны, оставаться опасно. Фрицы могут в любую минуту нагрянуть и расправиться. Можно погибнуть и от наших снарядов. Чудом эта ночь обошлась без жертв... Говорил я убедительно. Крестьяне кивали головами. Но затем вдруг начали сомневаться в целесообразности дальнейшего углубления в лес: «Тут, ежели что, — рассуждали некоторые, — ничего худого не подумают...»

— Ну, смотрите, — возразил я, — вам, может, ничего и не будет, в чем очень сомневаюсь, а мне ждать от них нечего. Я иду. Кто пойдет за мной?

Наступило молчание. Кто-то негромко сказал: «Иди сам».

Не оглядываясь, я зашагал вглубь, ориентируясь по шуму дорог и выстрелам. Пройдя около километра с небольшим, остановился и прислушался. Находился я по моим расчетам посреди неширокого леса между Вохоновым и Микино, чуть в сторону Березнево, поближе, все-таки, к нашим, как я полагал. Справа поднималась невысокая холмистая гряда не выше двух-трех метров. Слева от нее была небольшая ложбинка, также поросшая лесом. В конце ее у поваленной сосны уходила под корни дерева глубокая воронка от бомбы или снаряда.

Внезапно сзади раздалось поскрипывание и приглушенные голоса. Из-за деревьев показались дровни, за ними другие. Шедший впереди дядя Федя Ипатов, покашливая, подошел ко мне: «Куда ты, туда и мы».

Из-за его спины вынырнул, согласно кивая, низкорослый

добродушный старичок Александров с женой и детьми, мал мала меньше.

— Располагайтесь,— сказал я. Бабы сразу же домовито стали готовить завтрак. Разложили костры в ямках. Мужчины занялись лошадьми и коровами. Вскоре тетя Шура Дорофеева подозвала меня, дала большую тарелку и наложила ее «с верхом» душистым картофельным пюре: «Ешь, Саша!»

Вверху что-то пронзительно щелкнуло и серия оглушительных разрывов сотрясла ложбину. Разбитая тарелка вывалилась у меня из рук. В снегу шипел горячий осколок.

Несколько секунд длился огневой налет. По-моему, это были мины, рвавшие при соприкосновении с верхушками деревьев. Судя по звукам, стреляли со стороны Микина, из Луйковиц. Огневой налет прекратился также неожиданно как начался.

Тетя Шура, как ни в чем не бывало, взяла другую тарелку и наложила ее.

Хотя я не ел почти двое суток, но без аппетита принялся за завтрак. Сказывалось нервное напряжение: решался вопрос — быть или не быть свободным, живым или мертвым, стать снова самим собой или сгнуться безвестным пленным под вымышленным именем и фамилией. Я не смог доесть тарелку.

Вместе с Тоней среди девушек, бежавших из «Арбайтсдинста», была бойкая девятнадцатилетняя блондинка Люба Столярова, отлично говорившая по-немецки. Мы с ней сперва немного попикировались, но затем стали на дружеской ноге. Когда стало темнеть и все занялись приготовлением ночлега, устроив нечто вроде палаток и шатров, я предложил Любе пойти со мной в воронку. Сперва она испуганно взглянула на меня, но вдруг согласилась.

Я расстелил в воронке москвичку и рюкзак, в изголовье положил сапоги, по сторонам обрывки одеял. Сверху воронку густо накрыл ветками. Мы забрались в «землянку» и улеглись рядом.

Над головами летали снаряды, мины, наши и немецкие. Удивительно, что лошади и коровы, словно понимая необходимость соблюдать тишину, не ржали и не мычали.

Я обнял Любу. Она не сопротивлялась, лежа на моей руке.

Мы тихо переговаривались. Я ей сказал, что был добровольцем-ополченцем, что скрывал это от немцев, так как они добровольцев в плен не брали, расстреливали сразу. Люба думала, что я был офицером. Я засмеялся: мне двадцать один год. Молод еще. Рассказал, что на фронт провожала меня Валя, будущая артистка, что я часто думаю о ней. И вдруг мне

очень захотелось прийти к Вале, я почему-то был уверен, что она жива, чистым... И еще одну ночь я лежал рядом с Любой. Утром вохоновские девушки пришли нас «поздравить». А ведь я Любу не тронул.

Выстрелы раздавались с одних и тех же точек. Я пошел с юношей Сережкой Константиновым на разведку.

Мы подошли к западной окраине Вохонова и, еще не доходя кладбища, услышали немецкую речь. Повернули обратно. В нашем лесном убежище надо было устраиваться покапительнее. Мужчины рыли землянки. Я выбрал место с восточной стороны холмистой гряды, все же поближе к нашим, и стал рыть нечто вроде пещеры. Иногда меня сменяла Люба. Затем она пошла к подругам на другую сторону гряды, а я продолжал копать.

67. НАШ!.. СВОИ!.. «НЕ ПОЛОЖЕНО».. ШТАТСГУТ СПАСЕН

Все же взгляд можно почувствовать. Я обернулся и стал всматриваться в заросли густого молодняка шагах в двадцати от меня. Мне показалось, что за мной следят.

Среди заснеженных веток я увидел направленное на меня дуло автомата. Над ним в маскхалате из-под капюшона розовело лицо. Кто это? Свой или чужой? Степкин нож был у меня за пазухой.

Я сделал вид, что ничего не заметил, наклонился над лопатой, копнул раз-другой и, словно вытирая пот, переместил нож в рукав фуфайки. Обернулся. Автомат все также смотрел на меня. Свой или чужой?..

На этот раз наши глаза встретились. Но из-за маскхалата я не мог разобрать формы: немецкая или наша? Однако позади наблюдавшего за мной военного никого не было. Кто же он?

Я повернулся лицом к нему, не окликая ни на каком языке, улыбнулся и сделал к нему шаг, другой. Дуло автомата повернулось ко мне еще точнее. Я сделал еще два шага, встретился глазами с взглядом незнакомца и... увидел выглядывавшую из-под капюшона звездочку. Нашу! Пятиконечную! Тогда я поднял руки и сказал: «Свой!..»

— Ты ближе не подходи,— предупредил красноармеец.— Ты кто?

— Я убежал из плена. Мы тут все убежали от немцев,— радостно затараторил я.— А ты откуда?..

В этот момент из-за холма показались девушки и увидели, что я разговариваю с красноармейцем. Он вышел из своей засады. Он за нами наблюдал больше часа. Во время ночной атаки на Вохоново, когда их роту рассеяли по лесу, он заблудился и никак не может выйти к своим.

Девушки окружили солдата. Вышли бабы, стали обнимать его. Мужчины тоже обнимали и пожимали руки. Звали парня Егором. Был он из Сибири, из-под Красноярска.

Егора повели угощать. А затем мы с ним отправились на разведку.

Возле деревни попали под огонь минометов. Над нами загудел самолет. С земли его встретили дружным огнем. Запестрели трассирующие пули.

Вероятно, подумал я, немцы еще в деревне. Наши так не стреляют. Мы возвратились. Егор переночевал в лесу с вохонцами. Утром он пошел на разведку в сторону Вохонова, я — правее, в сторону штатгута. Но не успели мы дойти, как шедший со мной Сережка Константинов, остановился. Замер и я. Переговаривались женщины. Явственно слышался голос Лизы-дурочки: «Ушли, мать их растак... А сколько наших побили гады, мать их!?!»

Ушли!!! Мы вернулись одновременно с Егором. Он выяснил, что в Вохонове уже его часть. Быстро все направились в деревню. Я шел впереди. Еще несколько минут — и скажу, кто я!.. Стану самим собой!..

Возле опушки над головами зашумели немецкие мины. Рвались они шагах в двухстах от нас. Но я вдруг наклонился, весь съежился, сжался: только не сейчас умереть!..

Мы ускорили шаги и вышли из лесу поблизости от дома старосты Василия Миронова.

— Зайди сюда,— указал мне Егор.— Я нашему батальонному сказал, что ты убежал из плена. Так он хотел тебя видеть.

Я с любопытством разглядывал наших. Еще на Егоре я увидел новое для себя — погоны и медаль «За оборону Ленинграда».

Егор держался с вохонцами, а особенно со мной, узнав, что я владею немецким, настороженно.

Мы вошли в избу. За столом сидели наши офицеры и дядя Вася. Тетя Лиза подавала на стол.

— Здравствуй, Александр, как тебя по фамилии не знаю.— Приподнялся мне навстречу из-за стола командир батальона с тремя тусклыми звездочками на защитных погонах.

— Я — не Александр, — отчетливо произнес я. — Я — Рафаил Соломонович Клейн, еврей. Александром я назвался, чтобы меня не расстреляли.

Командир открыл рот, шагнул ко мне и крепко пожал руку: «Это ты их увел в лес?»

— Я.

— Мне уже говорили, что ты ферму молочную им сжег. Правда? (Небось, Василий Миронов успел).

Тетя Лиза налила самогон, и мы чокнулись.

Через две минуты вся деревня знала, что «Сашка-то... жид!..»

В избу вошел невысокий плотный офицер с одной крупной звездой на погоне. Все встали. Командир батальона отрапортовал вошедшему. Тот был майором. Он окинул исподлобья взглядом присутствующих и приказал всем выйти на митинг.

Майору я повторил — кто я такой.

Возле сарая напротив дома Василия собрались жители.

Майор сунул мне в руки газету: «Читай».

Я прочел сводку совинформбюро. В ней говорилось, что наши войска, продолжая развивать наступление, 25 января 1944 года выбили врага из таких-то и таких-то пунктов. Перечислялись все мельчайшие деревеньки, не то что при отступлении в сорок первом. Называлось и Вохоново. Указывалось, что везде «население радостно встречает освободителей». А ведь, кроме Вохонова, ни в одной из окрестных, по крайней мере тридцати деревень, жителей не оставалось. Всех немцы эвакуировали.

Майор хмуро поздравил собравшихся с освобождением. Глянул на меня и снова спросил, как меня зовут.

— Давайте проедемте со мной, — сказал он, указывая на стоящую поблизости «эмку». Мы поехали по тряской дороге к Березневу.

— Вы знаете, что такое «контрразведка»? — спросил майор через минуту.

— Догадываюсь, — ответил я. — Это, наверное, для борьбы с шпионами и разведкой противника.

Майор утвердительно кивнул. Мы приехали в Березнево. Там он приказал шоферу отвести меня «пока». Я не сразу понял — куда. Сперва шофер привел меня в пустую избу. Там тщательно обыскал, забрал красноармейский ремень, Степкин нож, мундштук, осмотрел рюкзак, прощупал подкладку москвички, вытащил мою красноармейскую звездочку и сунул в карман себе.

Я дернулся: «Я же ее через весь плен пронес!..»

— Не положено. (В первый раз я услышал это многозначное выражение).

Затем шофер провел меня в соседний дом и сдал часовому. Тот проводил меня внутрь.

В большой комнате на полу лежали красноармейцы. Они не обратили на меня внимания. Рядом со мной оказался пожилой человек. Он, когда я было захотел сказать, что убежал из плена, легонько толкнул меня в бок и предложил: «Ляг рядом со мной. Отдохни. Отдохни...»

Когда я послушался, он тихонько шепнул: «Не трепи языком. Помолчи. Нельзя тут говорить. Понял?»

Я догадался, что «тут» нельзя распускать язык как при немцах. Пожилой сосед оказался капитаном. Он ведал подвозом боеприпасов. Задержка произошла не по его вине. Но с него сразу же сорвали погоны и привлекли к ответственности. Впрочем, он рассчитывал, что недоразумение разъяснится.

★ ★ ★

Я буквально по часам и минутам припоминаю весь этот день, 26 января 1944 года. Еще в деревне я узнал, что Сергей Константинов и Алексей Иванов, портной, с семьями в одно время с теми, которых увел в лес я, тоже ушли, но в другую сторону, к Березневу, на хутор Крумера. В ту же ночь их всех наша фронтовая разведка перевела через фронт, а сразу после освобождения вернула в Вохоново. Когда наши узнали, что в Вохонове есть население, то не стали обстреливать деревню из «катюши». Ее пустили в дело уже в бою за Николаевку, а перед этим дали залп по дороге на Сяськелево.

Дядя Костя Миронов, горбун, с Анной Петровной, Степан и Алексей Ручкин, которых успели угнать солдаты штатсгута, убежали в лес, не доезжая Николаевки. Вохоново оказалось единственным населенным островком в море пустых деревень. Немцы не сожгли, отступая, эти деревни и Вохоново, отчасти потому что не успевали, а главным образом, думаю, потому что боялись расправы: в сбрасываемых листовках указывалось, что поджигателей будут расстреливать на месте. В январе сорок четвертого немцы уже не могли скептически относиться к предупреждениям советского командования.

Полагаю, Вохоново могли взять раньше и со значительно меньшими потерями. Сергей Константинов-старший предлагал провести наших в обход, чтобы сразу перерезать немцам путь к отступлению на Микино и Николаевку. Тогда вся группа, засевшая в Вохонове и в штатсгута, вынуждена была бы

либо капитулировать, либо была бы уничтожена. Но к предложению дяди Сергея отнеслись недоверчиво. А посланную перед этим ночную разведку обстреляли и рассеяли. Одним из участников той разведки был Егор, красноармеец, встреченный мной в лесу.

В результате нескольких дней боев за Вохоново и атак, предпринятых через чистые поля, а не со стороны леса, наши потеряли более ста человек убитыми и ранеными. Немцы в самой деревне потеряли несколько человек, но уже в штатсгуте, где снаряд попал в погреб «молькерай», в канавах между штатсгутом и Большим Сяськелевым погибло несколько десятков солдат и офицеров. Вероятно, несколько убитых, не считая раненых, отступающим удалось прихватить с собой.

Трактора, повозки, машины штатсгута с инвентарем, с мешками с зерном, даже велосипеды, «штрассенфлоу», все стадо, племенного быка, жеребца Ханзеля, вероятно, во время налета нашей авиации, штатсгутовские вояки бросили возле бывшей МТС, не доходя Николаевки. Мечта моя сбылась: без потерь все имущество штатсгута досталось нашим, весь штатсгут в лучшем виде, чем был до войны. Все вохоновцы спаслись от эвакуации, вернулись в деревню.

Еще толком не понимая, где нахожусь, я с нетерпением ждал, когда смогу свои знания, приобретенные в плену, свои способности, свою жизнь поставить на службу моей Красной Армии.

68. «С КАКИМ ЗАДАНИЕМ ПОДОСЛАН!!»...

Часа через два меня вызвали и отвели в соседнюю избу.

Там рядом с майором, который меня привез (позднее я узнал, что его фамилия Сорокин), сидел другой майор, высокий, щеголеватый брюнет с аккуратно подстриженными усиками, не в защитных, а в широких золотых погонах.

Я, так долго сдерживавшийся в плену, захлебываясь от нетерпения, стал рассказывать о своих приключениях...

Щеголеватый майор слушал, покачивая ногой в блестящем добротном сапоге. Иногда он повторял вполголоса слово «бикицы, бикицы» (впоследствии я узнал, что это было еврейское слово «бекицер» (короче). Я не обращал на это внимания.

Вдруг майор резко поднялся и спросил: «Ты можешь доказать, что ты еврей?»

Я смущенно улыбнулся и ответил, что могу... спустить брюки...

Майор посмотрел на Сорокина и снова обратился ко мне: «И ты говоришь, немцы не знали, что ты еврей?!»...

— Если б они знали, поверьте, я бы не стоял здесь.

— Ах ты жидовская морда!— возгласил щеголь и ногой ударил меня в нижнюю часть живота так, что я, вдруг задохнувшись, упал,— что ты все врешь?! Говори, мать твою..., с каким заданием подослан?! Кем завербован?! Когда?! Сколько продал?! Сколько повесил?! Сколько получил, продажная тварь?! Кличка?!— он орал, а я, корчась от боли, пытался собрать дыхание и подняться с пола.

Наконец, я кое-как вдохнул и сказал, что я не предатель, никого не предал и не продал, что обо мне можно спросить в Вохоново, в двух километрах отсюда, откуда меня только что привез товарищ майор.

При словах «товарищ майор» щеголеватый вскипел: «Какой тебе «товарищ»?! Гусь свинье не товарищ! (Я понял, что являюсь каким-то из этих двух животных) Говори: сколько продал? Где перебежал к ним?!»

Нелепые вопросы сыпались градом. Допрашивавший вырвал у меня ус, несколько раз ударил, требуя, чтоб я признался, что добровольно сдался в плен, что вербовал во власовскую армию и так далее.

Описывать, как и вспоминать все это, слишком больно. Думаю, моя история тут мало отличается от множества других... Дополню лишь, что ночью, после того как Бляхман, вызвав старшину, устроил мне инсценировку расстрела, я струсил и начал плести на себя совершенно фантастическое «задание», по подсказкам следователя впутывал в него «фон Бляйхерта, завербовавшего меня», неизвестно где находившихся Жору Мамонтова и Лешу Декснера (кого я еще знал из полиции?) из лагеря военнопленных; «признался» и собственноручно написал, предварительно спросив, вытирая кровь из разбитого носа, «сколько вам надо, чтоб я завербовал — тысячу, двести, сто, восемьдесят?..» И в ответ: «Ладно, пиши восемьдесят». Я написал, что в лагере военнопленных в конце марта или в начале апреля сорок второго года «завербовал к немцам в добровольцы, во власовцы, значит, восемьдесят человек», «наверху-то», думал я, знают, что в это время никаких вербовок не было и быть, тем более там, не могло, а сам Власов еще командовал второй ударной армией Волховского фронта. Конечно, ни одной фамилии «завербованных» я «не помнил». Сам не завербовался.

Никак не мог я «признать», что «добровольно сдался в плен», что «немцы знали, что я еврей». Тут моя фантазия истощалась.

Ночью, когда я писал самонаклеп, Бляхман, оставивший меня под наблюдением сонного ординарца, подошел, указал, что мне «будет лучше, если припомню, что участвовал в немецкой пропаганде». Тут я дописал эпизод с хауптманом Гофманом, «дополнив» его тем, что «прочитал два стихотворения Пушкина». На чтение «обращения» моей фантазии опять-таки не хватило...

Ординарец вышел по нужде. Майор, видя, что я покорно пишу, уже не смотрел на меня так свирепо.

Внезапно донесся шум моторов и началась стрельба по близко летевшему самолету. Я стоял возле стола: поднялся, когда вошел Бляхман.

В некотором отдалении грохнул разрыв и майор проворно бросился под стол, крикнув оттуда мне: «Ложись!» Но я стоял. Я уже понимал, что совершил непоправимое и молил Бога, чтобы бомба попала прямо сюда, убила меня и уничтожила мои «собственноручные показания». Но этого не произошло.

Утром, лежавший рядом со мной капитан, сочувственно покачал головой и сказал, что ему больше «повезло»: его допрашивает Сорокин.

Меня передали из дивизионной контрразведки в корпусную, заместителем начальника которой был Бляхман. Там, когда попытался отказаться от своих «собственноручных показаний», подполковник, начальник корпусной контрразведки, черный высоченный украинец со зверским лицом, ударил меня сапогом в живот так, что я едва пришел в себя через полчаса и предпочел «признать», что имею «задание», «завербован» и прочую подкасанную гадость.

Затем меня передали, как «особо опасного», в армейскую контрразведку, где я сочинял с помощью очень милого молодого украинца-следователя, который меня не бил и, по-моему, понимал, что я невиновен, всякие «мелочи»—«неверие в победу Красной Армии», «выявление настроений через подслушивание» (бррр!.. Только люди, сами способные на такое, могут приписывать это другим), «антисемитские высказывания»(?!!), «доносничество» и, конечно то, что был «лучшим другом и советником фон Бляйхерта»...

Итак, после всей этой «увертюры» меня перевезли в Ленинград на улицу Войнова, в самую что ни на есть образцовую следственную тюрьму. Там не мучили. Спать, правда, иногда не давали: допрашивали. Наконец, благодаря еврею, начальни-

ку отдела, неглупому майору, «задание» с меня сняли. Остальное его не интересовало. Без свидетелей и защиты я предстал перед военным трибуналом, с чего начал свое повествование.

69. В СМЕРТНОЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПЕРВОЙ ГЛАВЕ

В смертной камере настроение у меня было хорошее. Только томил голод и потому боялся, что если возьмут на расстрел ночью (ночью, говорят, брали на расстрел), я не смогу съесть утреннюю пайку хлеба. А умирать совсем натошак, да еще зная, что твою пайку съедят тюремщики, обидно.

Сознание того, что закончилось мучительное следствие, что можно спать сводило на нет воздействие смертного приговора. О нем не думалось. Но ночами с момента первой ночи в контрразведке стали постоянно сниться немцы и мой побег. Во сне все было страшнее, чем на самом деле: смешивались события, рядом оказывались люди, знавшие, что я еврей. Разоблачение грозило больше, явственнее, неотвратимее — и во сне наступало...

Думаю, мой последний предсмертный сон снова вернет меня в ужасы моего плена, побега из него, в «следствие» в контрразведке и в Ленинграде, в те этапы, тюрьмы и лагеря, которые я затем прошел, чудом уцелев.

* * *

В одиночной смертной камере меня держали двое суток. Камера находилась в конце «мостков», своеобразного коридора, что ли, в «образцовой тюрьме». Дежурные давали мне остатки баланды, наливая по две миски, что при моем крайнем истощении было большой поддержкой. Когда я говорил коридорным, что убежал из плена и оклеветал сам себя (это я уже не боялся сказать), они посмеивались: «Если б убежал — наградили бы орденом, а так... Не ври». В разговоры вступать запрещалось и «беседа» обрывалась.

Днем, меряя камеру из угла в угол шагами по диагонали, я начал мечтать о том, что было бы, если б я не убежал... Уходил бы вместе с немцами и... добрался до Франции, до Парижа. Там брат моей матери, дядя Сима. Живет с двадцатых годов... Мы обнимаемся, говорим по-французски... Нет! Я правильно сделал, что убежал: я спокоен. Расстреляют — одна секунда — и все... Главное, я — есть я. Комеди-я!..

На исходе вторых суток ночью лязгнул замок и мне дали

знак: выходи. Повели по мосткам-коридорам (я гадал: неужели истекли 72 часа, после которых должны или расстрелять или помиловать?) и остановились возле серии камер, не таких опрятных, как та, в которой я сидел.

Лязгнул замок и меня втокнули в одну из них.

Это была обычная одиночка, тускло освещенная лампочкой из-под потолка. Но в этой камере были настланы доски, как нары. На них, прикрытые тряпьем, неподвижно лежали тела.

Мне показалось, что это трупы. Вдруг тряпье зашевелилось и один «труп» приподнял голову, чем-то напоминая голову кобры, белой кобры, на длинной сухой шее, покрытой мелкими седыми волосками. «Труп» уставился на меня белками глаз. Весь он казался серым, бесцветным.

Рядом поднялась еще одна голова. Равнодушно глянула на меня.

— Боже,— подумал я,— неужели и я за несколько часов пребывания в смертной камере незаметно для себя стал похожим на них!?

— Вы сколько часов здесь?— обратился я к первому «трупу».

Он непонимающе глядел на меня.

— А вы сколько?— повернулся я к другому.

«Трупы» переглянулись. Лежавший с краю матерно выругался: «Дурак, мать твою... ложись»,—и опять прибавил ругательства.

— Устраивайся,— сказал первый «труп»— Ты, очевидно, совсем новый... Сколько ты в смертной?

— Уже около двух суток.

— Я уже сорок,— заметил он, с усмешкой глянув на мое удивленное лицо.— Он (кивок в сторону ругавшегося)— семьдесят пять; он (кивок в сторону третьего смертника)— тридцать семь... И ты не меньше здесь пробудешь. Одного взяли, тебя привели».

В дверной глазок глянул коридорный. Стукнул в кормушку: «Тише. Спать».

Здесь кормили совсем плохо. Книг не давали. На прогулку не выводили. Один раз повели в баню в подвале этого же здания. Вшей здесь сразу уничтожали. Умели с ними бороться, не то что немцы.

Томило отсутствие курева. Жадно ловили просачивающийся изредка запах махорочного дымка от подходившего к кормушке дежурного.

В смертной со мной сидели махровый бандит Антон Похит-

няк (он «протянул» около восьмидесяти суток), угнавший во время блокады машину с продуктами с целью спекуляции и при этом убивший военного; бывший начальник советской дивизионной разведки или контрразведки (так он отрекомендовался) майор Гурьянов-Лашков, попавший в плен и ставший у немцев преподавателем шпионской школы в Риге, откуда его выкрали по специальному заданию наши партизаны (все это с его слов); власовец-лейтенант или старший лейтенант полиции из Гатчины — Клыков, в последний момент убежавший, как он говорил, от немцев (сам он был уроженцем Гатчины) и благообразный чудесный старик, дедушка Тит, староста одной из оккупированных деревень. Последний был очень хорошим честным русским человеком, добрым, простым, патриархальным в глубокой порядочности и безыскусственной вере в Бога.

70. «ЗА-МЕ-НИТЬ...»

Больше всего мучил голод. Бандита вскоре вызвали ночью...

Все камеры всего этажа были смертными. Это мы знали по перестукиванию с соседями.

Тянулись дни (про себя их считал каждый). Дверь не отворялась. Только открывали «кормушку», когда давали утреннюю пайку хлеба, единственный вид реальной пищи; баланда, в которой редко плавало несколько крупинок, не в счет.

Развлекая других, я отвлекал от грустных мыслей себя, рассказывая приключенческие романы, читая стихи и поэмы.

— В лагере будешь в театре, — пророчил Гурьянов.

Иногда мы слышали лязганье замков: открывали ночью или днем какую-нибудь камеру, и мы гадали, пока перестукивание не приносило точные известия: оттуда-то одного взяли или в такую-то камеру одного привели. Даже утреннюю проверку, как и вечернюю, производили через глазок в двери. «Козырек» заслонял все окошко под потолком камеры и днем в ней царил такой же полумрак, как ночью от слабой лампочки.

Лежали мы на досках, прикрываясь собственным тряпьем и обрывками одеял, давно списанных даже с тюремного оснащения.

Лязг замка, особенно ночью, настораживал любого: не за ним ли? Неделями двери камер не открывались.

Дни считал каждый...

На двадцать четвертые сутки моего пребывания в смертной ночью противно залязгал замок. Дверь отворилась. За нею мы

все, сразу приподнявшие головы: за кем?—увидели трех надзирателей.

— Кто тут на «К»?

— Клыков!

— Нет. А еще?

— Клейн, — сказал я.

— Имя, отчество?

Я назвал.

— Выходи. Быстро!

Сердце бешено заколотилось.

— С вещами? (Это был рюкзак. Но в каждой детали «с» или «без»—ожидалась подсказка—на расстрел или нет).

— Бери.

Я попрощался с дедушкой Титом и товарищами.

— Ложку брать?

— Оставь. (Новая загадка).

В коридоре, представлявшем собой огороженные металлической сеткой мостки, трое дежурных повели меня.

Завернули за один угол, за второй. Прошли еще дальше и за одним из углов втокнули в малюсенькую комнатенку дежурного по этажу или корпусу. Там за столиком сидел старшина или старший сержант, уже не помню, а рядом с ним—еще два надзирателя. Провожатые стояли в дверях.

На этот раз я стоял действительно в трепетном ожидании: решалось все.

— Фамилия? Имя? Отчество?...

Я назвал.

— Помилование писали?

— Писал. Сразу после суда дали бумагу: пиши.

Старший почесал под носом и пристально посмотрел на меня.

— Так вот, на ваше помилование пришел ответ,—сказал старший. В руках он держал какую-то бумажку.

А я стоял в ожидании.

Старший, покуривая толстую самокрутку, глянул на товарищей. Все затихли и он начал медленно читать:

«...Верховного Совета... Союза Советских Социалистических Республик (полагаю, там просто стояло «СССР», но читающий не мог отказать себе в удовольствии протянуть наслаждение от этой маленькой психологической пытки)...приговор Клейну Рафаилу Со-ло-мо-но-вичу... расстрел...»—Дай прикурить,—обратился читавший к одному из дежурных.—Опять погасла.»

Сосед дал прикурить. Старший что-то промышчал, шаря глазами по листку, и снова начал:

—Та-ак,... «Приговор Клейну... Рафаилу Соломоновичу... расстрел (он снова сделал паузу и по слогам продолжал)... заменить (снова пауза)... двадцатью годами каторжных работ». Распишись.

Я еще не мог осознать толком, что такое «каторжных», но понял главное: расстрел заменен.

— Дайте, пожалуйста, докурить, гражданин начальник!

— На!—и он протянул мне недокуренную сигарку.

* * *

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Пробыть почти два года с половиной в плену неизвестным, убежать неизвестным, обдурить всех «знатоков» расовой теории, не сменить своей формы, не уронить чести солдата, принести столько вреда врагу и пользы своим, никого не предать, не продать, не одного и не одну спасти—и за все это получить «Высшую меру награды»—расстрел и клеймо «врага народа»?!. Такое в мозгу не укладывалось.

«Прием», оказанный мне, ошеломил и сломал меня...

Что было потом?.. После «вышки», крайне истощенный, я «странствовал» в одной компании с ворами, бандитами и бывшими полицией, куда более агрессивными, чем вохоновский Панфилов.

Находясь у нас, я не пытался скрывать, что я еврей, но по привычке просил называть меня «Сашкой, Александром». Имя, спасшее мне жизнь, я оставил себе в обиходе и сделал позднее своим сценическим и литературным псевдонимом.

Весь сорок четвертый год прошел в этапах и пересыльных тюрьмах. Потом вместе с другими каторжанами-инвалидами я попал в «Александровский централ» (тюрема № 5 Иркутской области). Пользуясь тем, что я был слаб, иным хотелось выместить злобу на «жиде», который был в голодных отеках. Но я не бегал жаловаться к «волчку». Надо мной издевались те, кого я имел все основания бояться в плену... Не все были такими. Были агрессивные, были пассивные «наблюдатели». Тем дороже стали мне люди, которые среди общего голодного ожесточения оказались настоящими друзьями. Это Федор Степанович Фесенко, сухорукий, раненый на фронте, юноша (на год моложе меня), попавший в тюрьму за то, что не выдал своего товарища, утачившего у него тайком черновики эниграмм на Кагановича, Ворошилова и еще кого-то из наших незадач-

ливых руководителей и отдавший немцам в оккупированном Пятигорске. Те напечатали в газете на русском языке и поместили подпись «Федор Фесенко». Ему дали расстрел—и он считал, что правильно.

Федя без карандаша и бумаги (их запрещалось иметь) сочинял стихи и поэмы. Если б не каторга, уверен, он мог бы стать большим поэтом и Совестью нашего времени. Это был талант.

Не знаю, «за что» сидели со своей пятьдесят восьмой статьей харьковский инженер немец Георгий Шенберг и житомирский инженер Александр Емельянович Федченко, образованные, благородные люди. Справедливыми, убежден, ни в чем неповинными людьми были полицай из Черниговской области Афанасий Варфоломеевич Водяноко, таджикский пастух, правоверный мусульманин Курбан Манебий 1909 года рождения, председатель колхоза на Харьковщине Егор Ильич Жук; одноглазый полицай Филипп Остапко, рывший землю и возивший вместе со мной тачки на строительстве плотины в Кемеровской области, после того как из тюрьмы меня в числе еще нескольких сотен тех, кто не успел умереть, перевели в лагеря; болгарин Степан Желязков, там же работавший на плотине; латыш Лауданс, с которым мы вдвоем работали за шестерых (так проводили по нарядам) на двадцать шестой шахте Воркуты и еще платили «лапу» бригадиру. Опуская лопату и вытирая пот, наивный Лауданс говаривал: «Нет, Сашка, ти не жид, жида так не вкаливайт»... Нет, «вкалывали»—и еще почище.

А чем отблагодарить одноногую заключенную—врача на Новосибирской пересылке, минчанку БERTУ Борисовну, вольнонаемного врача в Александровском центре Зинаиду Борисовну,—евреек, относившихся одинаково трогательно ко всем заключенным и каторжанам, не в пример главврачихе Александровского центра (не хочу даже называть ее подлую фамилию, хотя она чисто русская).

В тюрьме в общей сложности, не считая этапов, я провел более шести лет. Из Кемеровской области нас перевезли в Воркуту. После тюрьмы лагерь казался мне волей... И здесь я встретил настоящих друзей, людей, ума, совести и сердца—врача Антона Викторовича Лесничего, фельдшера Станислава Гайдова, с которым в одну ночь вышел из смертной, репрессированного еще в тридцать седьмом году немца Бруно Мессинга, выдержанных умниц Ефима Абрамовича Рисина и Александра Владимировича Бака. Последний попал по статье 58 часть 12 («знал, но не сказал». А что он должен был «знать»?..). В Воркуте же с «маленьким сроком», пятнадцать лет каторги,

я встретил чудесного юношу Сергея Бухштабера, мальчишкой скрывшего свое происхождение на оккупированной территории...

Не буду касаться подробностей моего пребывания в тюрьмах и лагерях, отмечу главное. Когда в сорок седьмом году разрешили переписку и получение посылок я, не надеясь, что дядя Борис жив, написал письмо брату моей покойной матери в Самару (Куйбышев). Но именно он уже умер. Однако его вдова переслала письмо подруге моей матери в Москву, Ольге Исааковне Ратнер, «тете Гольде», как я ее называл. Незамужняя тетя Гольда вместе с матерью была врачом во время гражданской войны. Тогда «разделились» многие семьи: почти все братья моей матери были белогвардейцами, а она и ее подруга — красными. О принципиальности тети Гольды говорить то, что она не побоялась выставить из вагона — она была главврачом санитарного поезда — не вовремя явившегося командарма Фрунзе.

Получив известие обо мне, тетя Гольда написала в Киев, вернувшемуся из эвакуации дяде Борису. Он стал помогать мне посылками. В холодном декабре сорок седьмого года шестидесятисемилетняя подруга моей матери на попутном грузовике добралась из Иркутска за семьдесят с лишним километров к Александровскому централу и принесла мне передачу. Свидания не дали. Но, будучи прекрасным врачом, она в селе Александровском принесла за две недели пребывания много пользы жителям, не имевшим квалифицированной медицинской помощи. Тетя Гольда когда-то училась вместе с матерью в Берне, всю жизнь работала в институте Склифосовского. Она и потом пыталась хлопотать за меня, ходила в военную прокуратуру, ругалась с чиновниками; едва я освободился, зимой приехала проведать меня в Воркуту.

Дядя Борис два года посылал мне посылки, пока меня не перевели в лагерь. Наступил пятидесятый год — и старый профессор прекратил связь со мной. Она возобновилась уже после моего освобождения в конце пятьдесят пятого года. По амнистии с меня сняли судимость, поражение в правах, другие ограничения.

Но устроиться на работу, даже в Воркуте, было трудно. Много мытарств выпало на мою долю и там. Много гадостей делали мне разные улыбочивые «товарищи», от которых зависела моя судьба. Потому так дороги мне милые честные коми, поэт Серафим Алексеевич Попов и бывший редактор газеты «Заполярье» Егор Николаевич Терентьев, журналисты Инна Степановна Котова, Лев Гдальевич Козинец, Лев Давыдович Бичай и Борис Иосифович Гольдфарб и его жена Маргарита

Ароновна, инженер Дмитрий Федорович Скрыпник; заслуженные деятели искусств Коми АССР, бывшие ссыльные Наталья Альбертовна Генчель и Николай Николаевич Массальский, изумительный педагог-человек, образованнейшая умница Тамара Павловна Ручина, народный учитель Александр Александрович Католиков, моя молодая жена Светлана.

Мне дороги и на всю жизнь близки мои преподаватели Театрального института, воплощение интеллигентности и гражданской смелости,— Елена Львовна Финкельштейн (Куникова) и Лидия Аркадьевна Левбарг, не отворачивавшиеся от меня никогда; товарищи по институту и фронту Сергей Николаев, Виктор Галагаев, Геннадий Некрасов, театроведы — профессора Юрий Арсеньевич Дмитриев и Анатолий Яковлевич Альтшуллер; уехавшие в Израиль впоследствии — доцент Дмитрий Львович Брудный, талантливые ученые-физики, доктор Дебора Михайловна Самойлович и кандидат Наум Целесин, скромный кинороботник Николай Дмитриевич Костин, чудо-эрудит Александр Львович Баумштейн.

Лучший друг моего детства Соля Аронович погиб в сорок первом под Вязьмой, служа в кавалерии, бездарно погубленной там нашими «гениальными» полководцами. Моя пассия, Валя, актриса Московского Центрального детского театра, вышла замуж еще до окончания войны.

Только на шестьдесят четвертом году я приехал в Ленинград, разыскал всех вохоновцев и приехал в деревню, которая вместе с ее жителями стала мне родной, и, посещая Ленинград, я всегда навещал тех, кто знал меня только «Сашкой» и для кого я остался и остаюсь «Сашкой». Гостил я всегда у Павла. Его сын Витюшка смог убежать из «Арбайтсдинста» только в Восточной Пруссии; затем работал на Путиловском заводе. Недавно Виктор умер. Надюша Дорофеева, так громко плакавшая в лесу при бегстве от немцев, давным-давно мать и бабушка, и живет в Вологде. Тоня (по мужу — Гипик) — заслуженная учительница в Москве. В восьмидесятых годах умерли Павел и Шура Дорофеевы, самые близкие мне вохоновцы, как и многие, многие, которых всегда храню в благодарной памяти, как дядя Костя Миронов и Анна Петровна, как Федя Ипатов, умершие раньше. Давно умерла и Мария Семенова из села Кривино.

В Вохонове я встретил Зою Дементьеву, Сою Драченко, Таню Свяни, Ольгу Казакову, беженку, так и присоседившуюся к гостеприимным вохоновцам и оставшуюся там жить, бывшего старосту Василия Миронова, отсидевшего десять лет, в том числе в Воркуте, его жену тетю Лизу, а также тетю Веру

Наукас. Ее сын Павлик, как и младший из братьев Константиновых, Иван, погибли на фронте.

Как-то, еще в лагере Воркуты, незадолго до освобождения, разъезжая с концертной бригадой, я встретил Алексея Декснера (его правильная фамилия оказалась Декснис), которого из чудовского лагеря вместе с его другом Жорой Мамонтовым зондерфюрер увел на службу в полицию. Первый вопрос Леша, еще не знавшего, кто я, был: «Сашка, а ты-то за что?!?!...» Алексея и Георгия осудили уже после войны. Кошаш, сказал мне Алексей, остался за границей.

В той же концертной бригаде в 1954 году я встретил, поразившего меня отличным голосом на концерте в Вонохово Розина. Он сообщил, что в 1944 или в 1945 году, уже в Прибалтике, немцы докопались, что Ефим Готкевич (Астров) еврей и расстреляли его.

В шестьдесят шестом году меня реабилитировали, после тщательной проверки... Нашли и свидетелей и факты, доказавшие абсурдность моего самонаклепа, где «спасая свою шкуру» («юридическая» формулировка из моего приговора), я фантазировал при помощи следователей...

При реабилитации сообщили, что мой первый следователь еще в период между окончанием моего следствия и судом был «за зверские избиения» уволен из органов... Правда, на фронте он задержался всего лишь на сутки и продолжил службу в тылу...

Увы, немцев, знакомых по плену, несмотря на розыски, пока мне встретить не довелось. Знаю, что на двадцать шестой шахте до моего прибытия в Воркуту находился генерал Гёнике, тот, который, между прочим, разрешил меня повесить в Чудове. Таня Свягина (Свяни), эвакуированная из Вонохова вместе с финнами, теперь снова русская, заслуженный работник культуры (библиотекарь), говорила, что в сорок четвертом году видела фон Бляйхерта на улице в Таллинне. А очень хотелось бы повидать Эрнста Виттерна, Эрвина Франка, Мельхиора Клауса, Вилли Хёвельмайера, Хеннеля, Антона Хингара, Карла Ценнига, Райзена, Руди Ноймана, Бэра, Альфреда Вицека, Георга Ланге, того же Хорста фон Бляйхерта... Их всех я вижу всегда молодыми.

Давно сгорели в Вонохове дома, где размещались канцелярия, кузница, свинарник, казарма, мольерай, склад, конюшня... Сгорели через много лет после войны... Умерли многие мои друзья-воноховцы. Но нет-нет да приходит письмо; раздастся звонок межгорода. Звонит Тоня Дорофеева из Москвы или из Вологды, где теперь живет ее младшая сестра Надя —

и вновь «минувшее проходит предо мною...» Как хочется, чтобы те, что будут жить после нас, унаследовали от прошлого не вражду, а любовь и доверие.

В 1989 году по приглашению брата моей матери я приехал в Париж. Первые слова, с которыми я обнял девяностотрехлетнего старика, бывшего прапорщика армии Врангеля, были: «Милый дядя Сима, какой ты умница, что не вернулся». Действительно, поверь он обещаниям большевиков, не дожидаясь бы на свободе до почтенного возраста...

Но пришла пора великих перемен. Я познакомился с чудесными французами, немцами, венграми, американцами. Вернувшись на многострадальную Родину, я переписываюсь с ними. Я верю в их добрые чувства.

Полагаю, здесь будет уместно выразить сердечную благодарность именно представителям более молодых поколений. Не знаю, чем я заслужил бескорыстную помощь заместителя министра культуры Республики Коми Маргариты Григорьевны Примы и министра культуры Алексея Семеновича Безносикова? Но без них и сейчас бы эта книга не вышла. И пусть их имена во всех переизданиях и переводах (а они, уверен, будут) войдут в нее, как светлая частица моей биографии.

Появлению книги предшествовали хлопоты руководителя Всесоюзной Комиссии по литературному наследию репрессированных писателей Виталия Александровича Шенталинского, отзвыв далеких и близких благодетелей-писателей, в первую очередь Владимира Николаевича Леоновича (Москва), Андрея Валерьевича Канева (Сыктывкар), Всероссийской мемуарной библиотеки Литературного представительства А. И. Солженицына (Москва).

Как же мне не верить в людей, не верить людям?

Бизнесмен Михаил Борисович Глузман, с которым я прежде и знаком-то не был, оплатил издание сборника моих стихов «Мой номер 2П-904» (Сыктывкар, 1992), хотя знал, что оно не принесет ничего, кроме убытка, несмотря на последовавшие отличные рецензии в зарубежной и нашей столичной и республиканской прессе (что поделать: стихи не в моде...). Безвозмездно оформляя сборник и обложку этой книги моя бывшая ученица, милая молодая художница Наташа Князева (Москва). Знаю: моими настоящими друзьями остаются многие мои ученики и ученицы — Лиля Вохминцева, Ольга Копосова, Люда Ефимовская и многие другие, которым я преподавал искусство сценической речи, художественного слова, историю театра и мировой художественной культуры.

Вероятно, не все согласятся с мыслями, высказанными по

ходу невыдуманного повествования. Но полвека тому назад я, сын времени и его обстоятельств, воспитанный в те ядовитые годы, рассуждал так, как написал. В книге я не стал себе придумывать взглядов конца века. Я окунулся в прошлое и заново пережил его, чтобы читатель мог получить правильное представление о людях эпохи и их понимании событий, в которых они участвовали.

Прошлое не забыто. Если в честь моего деда я назвал сына Ильей, то в память о придуманной себе в плену спасительной фамилии — Ксенин — я назвал мою доченьку Ксенией. Если есть Бог, пусть он дарует им долгую счастливую жизнь.

Уходят дни... Можно бы еще писать и писать. Может быть, это и нужно? Но даже часть моих воспоминаний, надеюсь, поможет людям оглянуться на жизнь, на себе подобных и стать добрее. Я встречал прекрасных людей среди различных национальностей, на разных должностях, работах и службах. Я ненавижу только предателей, продажников, трусов, независимо от их анкетных данных.

Судьба уберегла меня от подлостей, от стукачества, от крыстолюбия. Судьба подарила мне испытанных друзей на моем крестном пути. Мне много делали и делают пакости, прикрываясь всякими предлогами, а по существу, из мелкого антисемитизма. Иным колет глаза пятый пункт моей анкеты: еврей. Но... «Пусть будет стыдно тому, кто об этом подумает худо» (надпись на английском ордене подвязки). Впрочем, глупость — право каждого...

Никогда я не определял свое отношение к человеку его национальным происхождением. Всегда в людях искал — и рад, если находил Человеческое. Может быть, за это Бог спас меня, проведя через все испытания фронта, плена, тюрем, лагерей и несправедливостей после моего освобождения. Может быть, за это же Он дал моему замечательному старику, профессору Борису Ильичу Клейну, долгую жизнь — сто три года. Мне такой не иметь. Слишком много выпало на мою долю душевных и физических невзгод. Описать их, хотя частично, я был обязан. Пусть пройденное мною было еврейской трагикомедией, есть в ней и общечеловеческое. Для всех дорог, для всех земель, для всех испытаний. Навсегда!
Остаюсь Александром.

СИЛА СУДЬБЫ

[Послесловие]

Когда читаешь «Божественную комедию», бессмертный памятник XIV века, который является величайшим вкладом итальянского народа в сокровищницу мировой литературы, то вместе с Данте Алигьери и Вергилием проходишь все круги ада. Читая роман Александра Клейна «Дитя смерти», тоже проходишь все круги ада, только более страшные своей реальностью — земные. Если бы роман вышел в свет сразу же как был написан, он бы уже давно занял самое достойное место среди таких прозаичных откровений как «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, «Зубр» Даниила Гранина, «В круге первом» Александра Солженицына, «Белые одежды» Владимира Дудинцева, «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина и многих других. В один ряд с ними ставят роман Клейна страшная историческая правдивость авторского «я» и описания тогдашней советской действительности и германского плена.

Но увы, надо воздать должное рьяным провинциальным «непускалам», благодаря им читатель сможет познакомиться с этим произведением лишь в середине девяностых годов. Этот факт сам по себе не новость. Ведь роман того же Гроссмана «Жизнь и судьба» был арестован в феврале 1961 года. Предсказывали, что он может быть издан только через два-три века. Но вышла ошибка: всего около тридцати лет «отбивало срок» это выдающееся произведение о Сталинградской эпопее. Роман «Дитя смерти» стоит в ряду высших образцов российской мемуарной литературы, а раз это так, значит, когда бы роман и каким бы тиражом он не вышел впервые в свет, все равно останется в литературе уже навсегда.

«Судьба современных русских книг, — писал А. Солженицын, — «если и выныривают, то ущипанные...» Сия горькая чаша, к счастью, миновала «Дитя смерти», роман «вышел в люди» с печатных станков таким, каким хотел бы его видеть сам автор, зоркий читатель, видимо, почувствовал это, на протяжении всей книги, где автор касается еврейского вопроса. Со страниц романа перед нами встают видные деятели науки и искусства и простые русские люди, спасшие из военного пожара целое поколение, и люди, предавшие коммунистическую власть, а также солдаты и офицеры германской армии, описанные без пропагандистской предвзятости. На страницах романа Александр Клейн порой с горькой усмешкой и наслоениями неизбежного страха размышляет о раннем взрослении юных, о дружбе и товариществе, о любви к родной земле. Человек, вышедший живым из зем-

ного ада германского плена и сталинских лагерей как никто иной вправе, написав книгу, рассказать нам о целой эпохе унижений личностей, о трудной науке остаться самим собой в изменяющихся обстоятельствах, отдавая людям и обществу то, к чему был призван — истинное мастерство актера. Темы добра и зла, истины и криводушия, чести и приспособленчества, звучащие во всем творчестве Александра Клейна, поэта и драматурга, получили в романе «Дитя смерти» дальнейшее развитие.

Любимый мною грузинский писатель Нодар Думбадзе в одном из своих произведений писал, что душа человеческая гораздо тяжелее человеческого тела, так давайте же помогать друг другу носить наши души. Видимо, это очень верно, потому что с годами душа человеческая, действительно все больше и больше отягощается не только победами и радостями, но и грузом утрат и несчастий. Каждому отмеряно и того и другого, каждому в своей лишь ему предназначенной пропорции. Как известно из Библии любимых чад своих Господь испытует больше...

На долю кандидата искусствоведения, писателя, артиста, драматурга и поэта Александра Клейна выпало столько испытаний и страданий, что хватило бы на добрую сотню слабовольных людей. За его плечами война и плен, двенадцать лет заключения и реабилитация. Если быть точным в перечислении основных вех жизни Александра Клейна — человека, то суровой чередой встают следующие годы. В 1939 году поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института; в 1941 году добровольно ушел на фронт; участвовал в боях; контуженный, при выходе из окружения поздней осенью 1941 года был захвачен в плен. Скрыл свое происхождение; пять раз бежал; в январе 1944 года пятый побег удался (в плену был в Ленинградской области). В контрразведке был вынужден оклеветать себя, хотя на самом деле был чист; без свидетелей и защиты 21.04.44 г. приговорен к расстрелу; 14.05.44 г. расстрел заменен двадцатью годами каторги. После следствия стал инвалидом, поэтому весь 1944 год гоняли по этапам. С конца 1944 г. до марта 1948 г. — в Александровском центре; 1948 — 50 гг. (март) — в Златоустовской режимной тюрьме. 1950 — 51 гг. — на стройке плотины в Сиблаге (ст. Суслово, Кемеровской области), с конца января 1951 г. — в Воркутлаге. В ноябре 1955 года освобожден по амнистии, в 1966 году, после настойчивых требований, дело пересмотрено; реабилитирован. Остался жить в Воркуте; был одним из организаторов Воркутинского литературного объединения при редакции Воркутинской газеты «Заполярье» и театра кукол, в котором работал актером (1957 — 1964 гг.). С 1964 года живет и работает в Сыктывкаре.

Великая человеческая боль выплеснулась на страницы автобиографического романа «Дитя смерти». Вот что пишет о творческой натуре его автора Н. Изюмская: «Почему судьба так несправедлива к талантливым людям? Можно только предположить, сколько бы еще стихов и пьес написал поэт и драматург Александр Клейн, сколько бы интересных ролей сыграл актер Александр Клейн, о скольких мастерах сцены написал бы

книги критик Александр Клейн! А впрочем следует не корить, а благодарить судьбу, что он остался жив, пройдя через кровавое месиво страшных лет, и сохранил в себе столько энергии. Он обладает феноменальной памятью. Он помнит все, и, я надеюсь, о многом еще напишет...» За каторжным номером «2П-904» автора «Дитя смерти» в Воркутлаге — судьба Александра Клейна и его книга о фронте и плене, побеге и «награде» — камере смертника, тюрьме и лагере, об отчаянии и надежде, разлуках и встречах, исповедальные строки о мимолетных увлечениях, боли и радости обретения свободы и любви.

Александр Клейн, родившийся в 1922 году в Киеве, известен читателям, как автор сборников стихов «Земное тяготение», «Секунды» и «Мой номер 2П-904» (Сыктывкар, 1963, 1971, 1993). Его стихи так же публиковались в нескольких коллективных сборниках и журналах как местных, так и центральных. Из десяти пьес-сказок для детей (семь из них по мотивам коми фольклора) — особенно известны «Камень жизни» и «Ожерелье Судбея», которые шли как в Москве, так и в других городах России. Автор повести-сказки «Волшебный камень и Книга белой совы» (Сыктывкар, 1975, 2-е изд., 1983), автор книг-монографий о коми актерах, в 1969 году, окончив театроведческий факультет ЛГИТМиКа, работает преподавателем истории искусств и сценречи в Сыктывкарском училище культуры.

Необычность и новизна романа Александра Клейна «Дитя смерти» заключается в том, что он впервые в русской советской литературе, не боясь обвинений в свой адрес псевдопатриотов, коснулся, так называемого, еврейского вопроса. Ведь положения русских евреев во время Великой Отечественной войны касаться избегали, хотя более 170 человек этой национальности получили звание Героев Советского Союза. Поднимали эту тему, но совсем в ином разрезе лишь Гроссман, Бакланов («Тяжелый песок»), Эренбург («Буря»), Кузнецов («Бабий яр»).

Недостаточно уделяли внимание в русской советской литературе и рассказу о положении пленных солдат Красной Армии в лагерях на оккупированной территории СССР, считалось новаторством ужасаться зверствами фашистов лишь в таких знаменитых интернациональных концлагерях, как «Освенцим» или «Бухенвальд». Впервые в «Дитя смерти» описана жизнь русских крестьян на оккупированной территории неподалеку от Прибалтики, сложные межнациональные отношения, жизнь и труд в, так называемом, государственном имении, обустроенном немцами.

В самой России оккупационная политика гитлеровцев значительно отличалась от той, которую они проводили, скажем, во Франции, Голландии, даже в Прибалтике. В наших произведениях о войне немцы показывались однозначно — враг, фашист, убийца... Лишь за редким исключением тот или иной офицер или солдат выводился как положительный образ, да и то зачастую лишь в тех случаях, когда они переходили гласно или негласно на службу противнику. Срабатывала стереотипная схема: масса и исключение. Но враг-то, он на поле боя враг и убийца, а в быту далеко

в тылу, может даже стать чем-то вроде приятеля. В силу безупречного знания немецкого языка, герою романа «Дитя смерти», который несмотря на все предложения, оставался простым русским пленным, на каждом шагу приходилось сталкиваться с немцами, которые в силу многих причин с русским были откровеннее, чем друг с другом. Не случайно уже в роковом октябре 1941 года из уст немецкого жандарма Сашка, пребывающий в информационном вакууме, с удивлением слышит пророчество о гибели гитлеровской Германии. На протяжении всего плена, постоянно находясь под дамокловым мечом разоблачения и расстрела, Сашка встречает среди солдат и офицеров немецкой армии очень честных и гуманных людей. Что не скажешь о его соотечественниках в стенах советских пересылок и тюрем. Вот что по этому поводу пишет Т. Кузовлева (Москва, «Личное мнение». Советский писатель, 1990 г.): «Размышляя о судьбе такого человека, неизменно понимаешь: всякое отступление от демократии, всяческие попытки затормозить процесс демократизации и гласности чреваты произволом, насилием, несправедливостью. Потому-то и сегодняшнее время требует от нас собранности и, даруя раскрепощенность нашим душам и гибкость нашему разуму, бескомпромиссности в вопросах чести и долга».

Как, почему Александр Клейн остался жив? Видимо, судьба его испытывала, она же его и хранила. А. Солженицын в своем «Круге первом» задает вопрос: «Чего-то всегда постоянно боюсь — остаемся ли мы людьми?» Сашка, герой романа «Дитя смерти», нормальный человек, он не чужд страхам, но истинное мужество и тяга к жизни заключается в борьбе и победе над страхом.

Но не только враг видимый подстерегал его на каждом шагу, был и еще враг, не менее ощутимый, имя ему — голод. Так же как и в «Колымских рассказах» Варлаама Шаламова, встает его костлявый призрак и со страниц невыдуманного романа «Дитя смерти».

На мой взгляд, написанное профессором СГУ, доктором филологических наук А. К. Микушевым об Александре Клейне — драматурге в книге «На таежных просторах» (Современник, Москва, 1986): «Увлечательность сюжета, неожиданность перипетий, напряженность драматических ситуаций, яркие характеры, сценичность...» раскрывает Александра Клейна и как прозаика. Именно так и написан роман «Дитя смерти». В нем автор ведет беспощадный рассказ-воспоминание о немецких и сталинских лагерях, где он провел более десяти лет и нашел в себе силы поведать нам предельно искренне и правдиво о мире по ту сторону добра и зла, о попоранном человеческом достоинстве; о мире, где смерть реальнее жизни. «Дитя смерти» — это живое свидетельство человека, прошедшего страшный жизненный путь.

В своей краткой рецензии сотрудник Всероссийской Мемуарной Библиотеки Литературного представительства А. И. Солженицына С. Божко пишет: «Дитя смерти» А. Клейна — повествование о нечеловеческой реальности нацистских и коммунистических лагерей уничтожения. Открывая его,

убеждаешься, что автору удалось трагическую серьезность темы уравновесить артистической легкостью изложения и захватывающим сюжетом, а искренняя интонация сразу же покоряет читателя. К этому можно добавить, что вместе с героем мы знакомимся с тем, что можно назвать «этнографией смерти» — мельчайшими деталями машины подавления человеческой личности в условиях войны и лагерей. Книга рекомендуется к публикации...» Что, наконец-то, и произошло...

Андрей КАНЕВ,
прозаик.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. Начало конца

1. Вместо пролога. Кто? Чей приговор?	3
2. Стоит ли жить? Мария Семенова.	3
3. По лесам и болотам. Я — «Александр»	6
4. Киев. Угол Большой Житомирской и Стрелецкой	12
5. Вороний Остров. Я говорю по-немецки	18
6. Еврейский вопрос. Воспоминание о Якире	26
7. Под небом Любани. Минное поле	32
8. Друг детства	43
9. «Йозеф» советует. Рота доктора Фёрстера	44
10. Опасная баня. «Зимнее обмундирование»	51
11. Круг знакомств расширяется	57
12. Смена охраны. Пророчество Райзена	61
13. Жандармы	66
14. Вокруг эсэсовцы. Знаток из Пскова	68
15. Кто первый попадет в русского? Речь фюрера	76
16. Мой спаситель — оберштурмбанфюрер ЭсЭс	80
17. Нашел с кем спорить... Дитя смерти	88
18. «Слепой барак». Расстрелы	95
19. Я — «офицер». Встреча с «Зошенко»	105
20. Ассенизатор и истопник. Беседы в сортире	110
21. В ожидании своих... Абрам и «союзники»	115
22. Лагерь. Комендант. Коля-моряк. День рождения фюрера	120
23. Опять о тридцать седьмом годе. Колю уводят	130
24. Пасха. Отец Александр	137
25. Пленные летчики и комдивы. «Милый» интендант	139
26. Третий Гофман!.. Смерть — в глаза. Я доказываю, что я — не я...	146
27. Весна. Могилы-«бассейны». Молодой палач	154
28. Мрачные предсказания Александра Ивановича	158
29. Тиф!	161
30. «Я хочу ее видеть».. «Христос». Испытание памяти	165
31. Этап. Гатчина. Врачи. Шахматы	169
32. «Еврейские приметы». Умиравшие генералы	174
33. В «красных казармах». Назначение. Меня украли	179

Часть II. Вохоново.

34. Первые впечатления. Хорст фон Бляйхерт	186
35. Павел Дорофеев и другие	193
36. Подкрепление. Москвин. Театральные воспоминания	197
37. Собака — враг, и... спаситель	202
38. Пленение генерала Власова. Староста и полицай	206
39. Две войны, «редисочная» и шахматная	213
40. Д-р Геббельс, порнография и нацист Виттерн	218
41. Чистота крови. «Золотой пес» Пунди	228
42. Где вы, союзники?!	231
43. Воззвание Власова. Мартин и Маруся	233
44. Генерал-лейтенант Людерс	242
45. Комендант Шперлинг. Арест. Воспоминания о свободе	251

46. Эрнст Витгерн и еврейка. По окрестным деревьям	259
47. «Чума», «ящур» и русская баня. Опять о евреях	269
48. «Сюркуф», Франк и яйца. Вещий сон	276
49. Сталинград. Пожар. Провокация пропаганды	281
50. Доктор Мозес и спасение Кати. Справка	288
51. Мои «концерты». Отъезд унтер-офицера Мартина	294
52. Артисты. Тревога. Лестное предложение	299
53. Верепьевский заповедник. Охота. Власовцы	304
54. Мартин вернулся! Самоубийство	313
55. Знакомство с испанцами	316
56. Новая дивизия. Штабсфельд. Генерал. Барон фон Корф	322
57. Подготовка к побегу. Предательница. Граф фон Хузен	329
58. Эвакуация финнов. Попытка заступничества	336
59. Гадалка. Дубы. Бегство Орлова. Мой «дядя»	345
60. Ночной допрос. «Фон» берет меня на поруки	352
61. Мельхиор Клаус	363
62. Мой «адъютант» Вицек. Спасение девушек. Я — «овер»...	367
63. «Унтер-офицер Бэр не виноват»	372
64. Последние часы. «Итак, до Николаевки». Побег.	377
65. В лесу. Я уважу вохоновцев	384
66. Под огнем. «Куда ты — туда и мы»	389
67. Наш!.. Свои!.. «Не положено»... Штатсгут спасен	392
68. «С каким заданием подослан?!»...	396
69. В смертной. Возвращение к первой главе	399
70. «За-ме-нить...»	401
Вместо эпилога	403
Сила судьбы (Послесловие)	410
Содержание	415

Александр (Рафаил) Соломонович Клейн

ДИТЯ СМЕРТИ

Невыдуманный роман

Редакторы М. П. Витязева, А. В. Канев, Художник Н. Князева. Технический редактор В. П. Захарова, Корректор И. А. Малыгина.

Сдано в набор 10.08.93 г. Формат 60×84/16. Печать высокая. Усл. печ. л. 24.19. Уч.-изд. л. 26.08. Тираж 20.000. Заказ № 3487. АО «Коми республиканская типография». 167610, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70.

